

И [(O)] В [Ь] И [Т] И
М [Т] И [Р]

11



1963

НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIX

№ 1

Январь, 1963 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МИХАИЛ ЛУКОНИН — Минуты века, стихи	3
А. СОЛЖЕНИЦЫН — Два рассказа	9
АННА АХМАТОВА — Из новых стихов	64
И. ЭРЕНБУРГ — Люди, годы, жизнь. Книга пятая	67
ЛЕОНИД ВОЛЫНСКИЙ — Сквозь ночь. К истории одной безымянной могилы	113
ВИКТОР КИН — Лилль. Из неоконченного романа о первой мировой войне	144
ОГДЕН НЭШ — Стихи разных лет. С английского. Перевела И. Комарова	153

В МИРЕ НАУКИ

И. ЗАБЕЛИН — Человек коммунизма, природа и наука	160
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

И. ПЕШКИН — Операция «ХЛ»	185
---------------------------	-----

В МИРЕ ИСКУССТВА

ТАТЬЯНА БАЧЕЛИС — Режиссер Станиславский (К 100-летию со дня рождения)	199
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ю. МАНН — Художественная условность и время (К вопросу о современном стиле)	218
Ф. БИРЮКОВ — «Железный поток» и его комментаторы (К 100-летию со дня рождения А. С. Серафимовича)	236

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

В. Гривнин, кандидат филологических наук. Боевой год	245
--	-----

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	249
Е. Старикова. Прощание с юностью.— О. Чайковская. Рассказы молодого писателя.— А. Берзер. Из лучших побуждений...— В. Гаевский. О Дорошевиче и его фельетонах.— Б. Зингерман. Книга историка и критика.	
<i>Политика и наука</i>	267
А. Яковлев. Население нашей страны.— Л. Лопатников. На подступах к новой науке.— М. Гутин, кандидат исторических наук. Это и есть подвиг.— Профессор Г. Кассиль. Они рисковали жизнью.— А. Бельская. Манифест Уильяма Дугласа.	
КОРОТКО О КНИГАХ	281
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

Берите всю радость себе, не отдавайте и муку,
 это только вдвоем открывают,
 уж если любовь.
 Воспоминания о любви
 не годятся в науку,
 все не так.
 Все по-новому, снова,
 не снова, а вновь.
 Нельзя объяснить —
 что это, со мной или с вами.
 Один среди поля,

под ливнем,
 и ходит гроза.

Об этом никак невозможно чужими словами,
 слова не приходят —
 молчите глазами в глаза.
 Молчите,
 чтобы ресницы заделали ресницы,
 чтоб сердце услышало сердце другое в громах.
 Не бойтесь,
 не думайте — явь это все
 или снится,
 любите друг друга,
 не бойтесь,
 не ройтесь в томах.

Ни адреса нет, ни параграфа нету, ни ГОСТа,
 будет она неотступна, мучительна,
 как и со мной.

Не пишется это,
 не слышится.
 Дышится просто.
 Так и поэзия —
 дышится жизнью самой.

В полете

Лечу,
 шепчу свое законно,
 мотив старинный напевая.
 Как сохранить оседлость тона? —
 ответь,
 дорога кочевая.

Летишь на винтовом, бывало,
 воздушными охвачен ямами,
 проваливало,
 и взмывало,
 и не давало бредить ямбами.
 А тут —
 не чаял и не верил,
 прислушиваюсь к песне дивной,
 звенит
 в классической манере
 «ИЛ-восемнадцать» реактивный...

Луконин, мы с тобой стареем:
то пишем ямбом,
то хореем...

Смеюсь себе,
а все же боязно:
вот — скажут — к нам теперь приколот,
выискивал, пока был молод.
Все к одному придут
из поиска!

Нет,
надо, чтоб свободно пелось,
не для манеры или моды.
Свободный стих

имеет смелость
не быть рабом своей свободы.
Условности нас заковали,
хоть у Луны у самой побыли.
Так долго мы не рисковали,
и не пытались,
и не пробовали.

Поэзия, удвой усилия,
сама себя скорее вычисти
от робости и от бескрылия,
а то наступит
культ приличности.
Кто говорит, что ямбы выбыли?
Кто говорит, что ямб полезнее?
Свободный стих

свободен в выборе,
когда стучится
жизнь-поэзия.

Осень

Земля летела.
Торопился с нею.
Чуть-чуть не пролетел тебя с утра,
прости, Байкал,
я за себя краснею,
прости меня, товарищ Ангара.
Спасибо —
дали время извиниться.
Земля мне больше нравится пока.
Пусть без меня пока
через границы

летят
за облаками облака.
А тут всю землю осень осенила,
к Иркутску подступила вся тайга,
ее неувядающая сила
напомнила цветущие луга.
А тут еще комбайны не умолкли,
и жатва возвращается ко мне,

как будто я теперь от самой Волги
иду за урожаем по стране.
Опять бетон ложится на основы,
затворы тихо скрылись под водой,
и снова море полнится,
и снова
наполнен провод силой молодой.
И то же поле вижу в дали дымной,
такой же, как над Волгой, небосклон.
Так я пришел
землей своей родимой
от Волгоградской
к Братской
на поклон.
В разливе дней, в смешенье пересвета
гудит вокруг сибирская страда.
И кажется,
вернулось снова лето
и не покинет больше никогда.

Спите, люди

Спите, люди,
отдохните.
Вы устали.
Отдохните от любви и маяты.
Млечный Путь усеян звездными кустами,
ваши окна
отцветают, как цветы.
Наработались, устали ваши руки,
нагляделись
и наискрились глаза,
и сердца, устав от радости и муки,
тихо вздрагивают,
встав на тормоза.
Спите, люди,
это просто ночь покуда,
вы не бойтесь —
день проснется, снова жив.
Спите, люди,
ночь такая — просто чудо,
отдыхайте,
пятки-яблоки сложив.
Я на щипочках хожу,
и мне счастливо.
Вспоминаю,
как цветасто спит Париж,
спит Марсель у знаменитого залива.
И тебя я помню, Прага,—
сладко спишь.
Вспоминаю ночи Дели и Рангуна.
К пальмам голову —
некрепко спит Ханой.

И Пном-Пень, устав от солнечного гуда,
спит на ложе красоты своей земной.
В Таиланде

тихо спит вода Сиама.

Спят плавучие базары. Ночь в порту.

«Тише, тише! —

я шептал над ухом прямо.—

Берегите, люди, эту красоту!..»

Спали в Хельсинки.

Ногами снег сминаю.

И хожу так осторожно, словно лось...

Тишина.

Я все хожу и вспоминаю,

как в Пекине

что-то очень не спалось.

Вот и ты теперь уснула под Москвою.

Спи, родная,

спи с ладонью под щекой.

Я взволнован

красотой

и добротою.

Ты прости мне этот сложный беспокой.

Снова Волгу звезды крупно оросили,

здесь, у хутора Глухого, спать пора.

Снюсь я дочери своей, Анастасии,

тише, тише —

не будите до утра.

Спите, люди, сном предутренним одеты,

отдыхайте

для работы,

для игры,

привязав на нитке дальние ракеты,

словно детские зеленые шары.

Чтобы дети и колосья вырастали,

чтоб проснуться

в свете дня,

а не во мгле,—

спите, люди,

отдохните.

Вы устали.

Не мешайте жить друг другу на земле.



А. СОЛЖЕНИЦЫН

★

ДВА РАССКАЗА

Случай на станции Кречетовка

- **А** ле, это диспетчер?
- Ну.
- Кто это? Дьячихин?
- Ну.
- Да не ну, а я спрашиваю — Дьячихин?
- Гони цистерны с седьмого на третий, гони. Дьячихин, да.
- Это говорит дежурный помощник военного коменданта лейтенант Зотов! Слушайте, что вы творите? Почему до сих пор не отправляете на Липецк эшелона шестьсот семьдесят... какого, Валя?
- Восьмого.
- Шестьсот семьдесят восьмого!
- Тянуть нечем.
- Как это понять — нечем?
- Паровоза нет, как. Варнаков? Варнаков, там, на шестом, четыре платформы с углем видишь? Подтяни их туда же.
- Слушайте, как паровоза нет, когда я в окно вон шесть подряд вижу.
- Это сплотка.
- Что — сплотка?
- Паровозная. С кладбища. Эвакуируют.
- Хорошо, тогда маневровых у вас два ходит!
- Товарищ лейтенант! Да маневровых, я видел, — три!
- Вот рядом стоит начальник конвоя с этого эшелона, он меня управляет — три маневровых. Дайте один!
- Их не могу.
- Что значит не можете? А вы отдаете себе отчет о важности этого груза? Его нельзя задерживать ни минуты, а вы...
- Подай на горку.
- ...а вы его скоро полсуток держите!
- Да не полсуток.
- Что у вас там — детские ясли или диспетчерская? Почему младенцы кричат?
- Да набились тут. Товарищи, сколько говорить? Очистите комнату. Никого отправить не могу. Военные грузы и те стоят.
- В этом эшелоне идет консервированная кровь! Для госпиталя! Поймите!
- Все понимаю. Варнаков? Теперь отцепись, иди к водокачке, возьми те десять.
- Слушайте! Если вы в течение получаса не отправите этого эшелона — я буду докладывать выше! Это не шутка! Вы за это ответите!

— Василь Васильич! Дайте трубку, я сама...

— Передаю военному диспетчеру.

— Николай Петрович? Это Подшебякина. Слушай, что там в депо? Ведь один СУшка уже был направлен.

— Так вот, товарищ сержант, идите в конвойный вагон, и если через сорок минут... Ну, если до полседьмого вас не отправят — придете доложите.

— Есть прийти доложить! Разрешите идти?

— Идите.

Начальник конвоя круто, четко развернулся и, с первым шагом отпустив руку от шапки, вышел.

Лейтенант Зотов поправил очки, придававшие строгое выражение его совсем не строгому лицу, посмотрел на военного диспетчера Подшебякину, девушку в железнодорожной форме, как она, рассыпав обильные белые кудряшки, разговаривала в старомодную трубку старомодного телефона, — и из ее маленькой комнаты вышел в свою такую же маленькую, откуда уже дальше не было двери.

Комната линейной комендатуры была угловая на первом этаже, а наверху, как раз над этим углом, повреждена была водосточная труба. Толстую струю воды, слышно хлеставшую за стеной, толчками ветра отводило и рассыпало то перед левое окно, на перрон, то перед правое, в глухой проходик. После ясных октябрьских заморозков, когда утро заставляло всю станцию в инее, последние дни отсырело, а со вчерашнего дня лило этого дождя холодного не переставая так, что удивляться надо было, откуда столько воды на небе.

Зато дождь и навел порядок: не было этой бестолковой людской перетолчки, постоянного кишения гражданских на платформах и по путям, нарушавшего приличный вид и работу станции. Все спрятались, никто не лазил на карачках под вагонами, не перелезал по вагонным лесенкам, местные не перлись с ведрами вареной картошки, а пассажиры товарных составов не бродили меж поездов, как на толкучке, развесив на плечах и руках белье, платье, вязаные вещи. (Торговля эта очень смущала лейтенанта Зотова: ее как будто и допускать было нельзя и запрещать было нельзя — потому что не отпускалось продуктов для эвакуируемых.)

Не загнал дождь только людей службы. В окно виден был часовой на платформе с зачехленными грузами — весь облитый струящимся дождем, он стоял и даже не пытался его стряхивать. Да по третьему пути маневровый паровоз протягивал цистерны, и стрелочник в брезентовом плаще с капюшоном махал ему палочкой флажка. Еще темная малорослая фигурка вагонного мастера переходила вдоль состава второго пути, ныряя под каждый вагон.

А то все было — дождь-косохлест. В холодном настойчивом ветре он бил в крыши и стены товарных вагонов, в грудь паровозам; сек по красно-обожженным изогнутым железным ребрам двух десятков вагонных остовов (коробки сгорели где-то в бомбежке, но уцелели ходовые части, и их оттягивали в тыл); обливал четыре открыто стоявших на платформах дивизионных пушки; сливаясь с находящимися сумерками, серо затягивал первый зеленый кружок семафора и кое-где вспышки багровых искр, вылетающих из теплушечных труб. Весь асфальт первой платформы был залит стеклянно-пузырящейся водой, не успевавшей стекать, и блестя от воды рельсы даже в сумерках, и даже темно-бурая насыпка полотна вздрагивала невсачивающимися лужами.

И все это не издавало звуков, кроме глухого подрагивания земли да слабого рожка стрелочника, — гудки паровозов отменены были с первого дня войны.

И только дождь трубил в разоренной трубе.

За другим окном, в проходике у забора пакгауза, рос дубок. Его трепало, мочило, он додержал еще темных листьев, но сегодня слетали последние.

Стоять и глазеть было некогда. Надо было раскатывать маскировочные бумажные шторы на окнах, зажигать свет и садиться за работу. Еще много надо было успеть до смены в девять часов вечера.

Но Зотов не опускал шторок, а снял командирскую фуражку с зеленым околышем, которая на дежурстве даже в комнате всегда сидела у него на голове, снял очки и медленно потирал пальцами глаза, утомленные переписыванием шифрованных номеров транспортов с одной карандашной ведомости на другую. Нет, не усталость, а тоска подобралась к нему в темнеющем прежде времени дне — и заскребла.

Тоска была даже не о жене, оставшейся с еще не рожденным ребенком далеко в Белоруссии, под немцами. Не о потерянном прошлом, потому что у Зотова не было еще прошлого. Не о потерянном имуществе, потому что он его не имел и иметь не хотел бы никогда.

Угнетенность, потребность выть вслух была у Зотова от хода войны, до дикости непонятно. По сводкам Информбюро провести линию фронта было нельзя, можно было спорить, у кого Харьков, у кого Калуга. Но среди железнодорожников хорошо было известно, что за Узловую на Тулу поезда уже не шлют и через Елец дотягиваются разве что до Верховья. То там, то сям прорывались бомбардировщики и к рязань-воронежской линии, сбрасывали по несколько бомб, досталось и Кречетовке. А дней десять назад свалились откуда-то два шальных немецких мотоциклиста, влетели в Кречетовку и на ходу строчили из автоматов. Одного из них положили, другой унесся, но на станции от стрельбы все испереполошились, и начальник отряда спецназначения, ведающий взрывами в случае эвакуации, успел рвануть водокачку заложенным ранее толком. Теперь вызвали восстановительный поезд, и третий день он работал здесь.

Но не в Кречетовке было дело, а — почему же война так идет? Не только не было революции по всей Европе, не только мы не вторгались туда малой кровью и против любой комбинации агрессоров, но сошлось теперь — до каких же пор? Что б ни делал он днем и ложась вечером, только и думал Зотов: до каких же пор? И когда был не на службе, а спал на квартире, все равно просыпался по радиоперезвону в шесть утра, томясь надеждой, что сегодня-то загремит победная сводка. Но из черного раструба безнадежно выползали вяземское и волоколамское направления и клешнили сердце: а не сдадут ли еще и Москву? Не только вслух (вслух спросить было опасно), но самого себя Зотов боялся так спросить — все время об этом думал и старался не думать.

Однако темный этот вопрос еще был не последним. Сдать Москву еще была не вся беда, Москву сдавали и Наполеону. Жгло другое: а — потом что? А если — до Урала?..

Вася Зотов преступлением считал в себе даже пробегание этих дрожащих мыслей. Это была хула, это было оскорбление всемогущему, всезнающему Отцу и Учителю, который всегда на месте, все предвидит, примет все меры и не допустит.

Но приезжали из Москвы железнодорожники, кто побывал там в середине октября, и рассказывали какие-то чудовищно-немыслимые вещи о бегстве заводских директоров, о разгроме где-то каких-то кас или магазинов — и молчаливая мука опять сжимала сердце лейтенанта Зотова.

Недавно, по дороге сюда, Зотов прожил два дня в командирском резерве. Там был самодетельный вечер, и один худощавый бледно-

лицый лейтенант с распадающимися волосами прочел свои стихи, никем не проверенные, откровенные. Вася сразу даже не думал, что запомнил, а потом всплыли в нем оттуда строчки. И теперь, шел ли он по Кречетовке, ехал ли поездом в главную комендатуру узла или телегой в прикрепленный сельсовет, где ему поручено было вести военное обучение пацанов и инвалидов,— Зотов повторял и перебирал эти слова, как свои:

Наши села в огне и в дыму города...
И сверлит и сверлит в иступление
Мысль одна: да когда же? когда же?! когда
Остановим мы их наступление?!

И еще так, кажется, было:

Если Ленина дело падет в эти дни —
Для чего мне останется жить?

Тоже и Зотов совсем не хотел уцелеть с тех пор, как началась война. Его маленькая жизнь значила лишь — сколько он сможет помочь Революции. Но, как ни просился он на первую линию огня,— присох в линейной комендатуре.

Уцелеть для себя — не имело смысла. Уцелеть для жены, для будущего ребенка — и то было не непременно. Но, если бы немцы дошли до Байкала, а Зотов чудом бы еще был жив,— он знал, что ушел бы пешком через Кяхту в Китай, или в Индию, или за океан — но для того только ушел бы, чтобы там влиться в какие-то окрепшие части и вернуться с оружием в Россию и в Европу.

Так он стоял в сумерках под лив, хлест, толчки ветра за окнами и, сжавшись, повторял стихи того лейтенанта.

Чем гуще в комнате темнело, тем ясней калилась вишнево-нагретая дверца печи и падал желтый рассеянный снопик через остекленную шибку двери из соседней комнаты, где дежурный военный диспетчер по линии НКПС сидела уже при свете.

Она хотя и не подчинялась дежурному помощнику военного коменданта, но по работе никак не могла без него обойтись, потому что ей не положено было знать ни содержания, ни назначения грузов, а только номера вагонов. Эти номера носила ей списчица вагонов тетя Фрося, которая и вошла сейчас, тяжело обивая ноги.

— Ах, дождь заливённый! — жаловалась она. — Ах, заливённый! А все ж сбывает мал-малешко.

— Но семьсот шестьдесят пятый надо переписать, тетя Фрося,— сказала Валя Подшебякина.

— Ладно, перепишу, дай фонарь направить.

Дверь была не толста и прикрыта не плотно, Зотову был слышен их разговор.

— Хорошо, я угля управилась получить,— говорила тетя Фрося.— Теперь ничего не боюсь, на одной картошке ребятишков передержу. А у Дашки Мелентевой — недокопана. Поди-ка поройся в грязё.

— Скажи, мороз хватит. Холодает как.

— Ранняя зима будет. Ох, в такую войну да зима ранняя... А вы сколько картошки накопили?

Зотов вздохнул и стал опускать маскировку на окнах, аккуратно прижимая шторку к раме, чтоб ни щелочкой не просвечивало.

Вот этого он понять не мог, и это вызывало в нем обиду и даже ощущение одиночества. Все эти рабочие люди вокруг него как будто так же мрачно слушали сводки и расходились от репродукторов с такой же молчаливой болью. Но Зотов видел разницу: окружающие жили как будто и

еще чем-то другим, кроме новостей с фронта, — вот они копали картошку, доили коров, пилили дрова, обмазывали стекла. И по времени они говорили об этом и занимались этим гораздо больше, чем делами на фронте.

Глупая баба! Привезла угля — и теперь «ничего не боится». Даже — танков Гудериана?

Ветер тряс деревцо у пакгауза и в том окне чуть позвенивал одним стеклышком.

Зотов опустил последнюю шторку, включил свет. И сразу стало в теплой, чисто выметенной, хотя и голой комнате уютно, как-то надежно, обо всем стало думаться бодрей.

Прямо под лампочкой, посередине комнаты, стоял стол дежурного, позади его у печки — сейф, к окну — старинный дубовый станционный диван на три места со спинкой (из спинки толстыми вырезанными буквами выступало название дороги). На диване этом можно было ночью прилечь, да редко приходилось за работой. Еще была пара грубых стульев. Между окон висел цветной портрет Кагановича в железнодорожном мундире. Висела раньше и карта путей сообщения, но капитан, комендант станции, велел снять ее, потому что в комнату сюда входят люди и если среди них затешется враг, то, скосясь, он может сориентироваться. Какая дорога куда.

— Я — чулки выменивала, — хвастала в соседней комнате тетя Фрося, — пару чулков шелковых брала у их за пяток картофельных лепешек. Чулков теперь, может, до конца войны не будет. Ты мамке скажи, чтоб она не зевала, из картошки б чего настряпала — и туда, к теплушкам. С руками вырывают. А Грунька Мострюкова надьсь какую-то чудную рубашку выменяла — бабью, ночную, мол, да с прорезьями, слышь, в таких местах... ну, смехота! Собрались в ее избе бабы, глядели, как она мерила, — животы порвали!.. И мыло тоже можно брать у их, и дешево. А мыло теперь продукт дефективный, не купишь. Ты скажи мамке, чтоб не зевала!

— Не знаю, тетя Фрося...

— Чо, тебе чулки не нужны?

— Чулки очень нужны, да как-то совестно... у эвакуированных...

— У выковыренных-то и брать! Они отрезки везут, кустюмы везут, мыло везут — прям как на ярмарку и снаряжались. Там такие мордастые еду-у-ть! — отварную курицу им, слышь, подавай, другого не хотят! У кого даже, люди видели, сотенные прямо пачками перевязаны, и пачек полон чемойдан. Банк, что ль, забрали? Только деньги нам не нужны, везите дальше.

— Ну, вот твои квартиранты...

— Э-этих ты не равняй. Эти голь да босота, они из Киева подхватились в чем были, как до нас доехали — удивляться надо. Полинка на почту устроилась, зарплата ей недохударная, а и чего — та зарплата? Я бабку повела, подпол ей открыла — вот, говорю, картошку бери, и капусту квашеную бери, и за комнату мне с вас тоже ничего не надо. Бедных я, Валюша, всегда жалею, богатый — пощады не проси!

На письменном столе Зотова стояло два телефона — один путейский, такая же старинная крутилка в желтой деревянной коробке, как у военного диспетчера, и второй свой, зуммерный, полевой, связанный с кабинетом капитана и с караульным помещением станционного продпункта. Бойцы с продпункта были единственной военной силой кречетовской комендатуры, хотя главная задача их была охранять продукты. Всё ж они тут топили, убирали, и сейчас ведро крупного бриллиантового угля в запас стояло перед печкой, топи — не хочу.

Зазвонил путейский телефон. Уже преодолев свою сумеречную минутную слабость, Зотов бодро подбежал, схватил трубку, другой рукой

натягивая фуражку, и стал ответно кричать в телефон. На дальнейшее расстояние он всегда кричал — иногда потому, что слышно было плохо, а больше по привычке.

Звонили из Богоявленской, просили подтвердить, какие попутные он получил, какие еще нет. Попутные — сопроводительные зашифрованные указания от предыдущей комендатуры о том, какие транспорты куда направляются, — передавались по телеграфу. Только час назад Зотов сам отнес несколько таких телеграфистке и получил от нее. В полученных надлежало быстренько разбираться, какие транспорты группировать с какими и на какую станцию, и давать указания железнодорожному военному диспетчеру, какие вагоны сцеплять с какими. И составлять и отправлять новые попутные, а себе оставлять копии от них и подкалывать.

И, положив трубку, Зотов тут же поспешно бухнулся в стул, близко-руко наклонился над столом и углубился в попутные.

Но немного мешали ему опять из той комнаты. Там вошел, стуча сапогами, мужчина и бросил на пол сумку с железом. Тетя Фрося спросила про дождь, тишает ли. Тот буркнул что-то и, должно быть, сел.

(Правда, из поврежденной трубы уже не хлестало так слышно, но крепчал и толкался в окна ветер.)

— Чего ты сказал, старик? — крикнула Валя Подшебякина.

— Студенеет, говорю, — отозвался старик густым еще голосом.

— Ты ведь слышишь, Гаврила Никитич? — прикрикнула и тетя Фрося.

— Слышу, — ответил старик. — Только в уху пошалкивает.

— А как же ты вагоны проверяешь, дед? Ведь их простукивать надо.

— Их и так видно.

— Ты, Валя, не знаешь, он наш кречетовский, это Кордубайло. По всем станциям вагонные мастера, сколько их есть, — его ученики. Уж он до войны десять лет на печи сидел. А вот вышел, видишь.

И опять, опять тетя Фрося что-то завела, Зотову досаждать стала болтовня, и он хотел уже пойти пугнуть ее, как в соседней комнате стали обговаривать вчерашний случай с эшелонном окруженцев.

О случае этом Зотов знал от своего подсменного, такого ж, как сам он, дежурного помощника военного коменданта, которому вчера и досталось принимать меры, потому что на станции Кречетовка не было своей этапной комендатуры. Вчера утром на станции сошлись рядом два эшелона: со Щигр через Отрожку везли тридцать вагонов окруженцев, и на тридцать вагонов отчаянных этих людей было пять сопровождающих от НКВД, которые сделать с ними, конечно, ничего не могли. Другой же, встречный, эшелон из Ртищева был с мукой. Мука везлась частью в запломбированных вагонах, частью же в полувагонах, в мешках. Окруженцы сразу разобрались, в чем дело, атаковали полувагоны, взлезли наверх, вспарывали ножами мешки, насыпали себе в котелки и обращали гимнастерки в сумки и сыпали в них. От конвоя, шедшего при мучном эшелоне, стояло на путях два часовых — в голове и в хвосте. Головной часовой, совсем еще паренек, кричал несколько раз, чтобы не трогали, — его не слушал никто, и из конвойной теплушки к нему подмога не подходила. Тогда он вскинул винтовку, выстрелил и единственным этим выстрелом уложил в голову одного окруженца — прямо там, наверху.

Зотов слушал-слушал их разговор — не так они говорили, не так понимали. Он не выдержал, пошел объяснить. Раскрыв дверь и став на пороге, он посмотрел на них на всех через простые круглые свои очки.

Справа за столом сидела тоненькая Валя над ведомостями и графиками в разноцветных клетках.

Вдоль окна, закрытого такой же синей маскировочной бумагой, шла простая скамья, на ней сидела тетя Фрося, немолодая, матерая, с властным, мужественным складом, какой бывает у русских женщин, привыкших самим управляться и на работе и дома. Брезентовый мокрый серо-зеленый плащ, даваемый ей в дежурство, корбился на стене, а она сидела в мокрых сапогах, в черном обтерханном гражданском пальтишке и ладила коптилку, вынутую из ручного четырехугольного фонаря.

На входной двери наклеен был розовый листок, какие всюду развешивались по Кречетовке: «Берегись сыпного тифа!» Бумага плакатика была такая же болезненно-розовая, как сыпь тифозного или как те обожженные железные кости вагонов из-под бомбежки.

Недалеко от двери, чтобы не наследить, сидел чуть в сторону печи прямо на полу, оплонясь о стену, старик Кордубайло. Рядом с ним лежала кожаная старая сумка с тяжелым инструментом, брошенная так, чтоб только не на дороге, и рукавицы, измызганные в мазуте. Старик, видно, сел, как пришел — не отряхавшись и не раздеваясь, и сапоги его и плащ подтекали по полу лужицами. Между ногами, подтянутыми в коленях, стоял на полу незажженный фонарь, такой же, как у тети Фроси. Под плащом на старике был неопрятный черный бушлат, опоясанный бурым грязноватым кушаком. Башлык его был откиннут: на голове, еще кудлатой, крепко насажен был старый-престарый железнодорожный картуз. Картуз затенял глаза, на свет лампочки выдавался только сизый носик да толстые губы, которыми Кордубайло сейчас слюнявил газетную козью ножку и дымил. Растрепанная борода его меж сединой сохраняла еще черноту.

— А что ж ему оставалось? — доказывала Валя, пристукивая карандашиком. — Ведь он на посту, ведь он часовой!

— Ну, правильно, — кивал старик, роняя крупный красный пепел махорки на пол и на крышку фонаря. — Правильно... Есть все хотят.

— К чему это ты? — нахмурилась девушка. — Кто это — все?

— Да хоть бы мы с тобой, — вздохнул Кордубайло.

— Вот бестолковый ты, дед! Да что ж они — голодные? Ведь им казенный паек дают. Что ж их, без пайка везут, думаешь?

— Ну, правильно, — согласился дед, и с сигарки опять посыпались раскаленные красные кусочки, теперь к нему на колено и полу бушлата.

— Смотри, сгоришь, Гаврила Никитич! — предупредила тетя Фрося.

Старик равнодушно глядел, не стряхивая, как гасли махорочные угольки на его мокрых темных ватных брюках, а когда они погасли, чуть приподнял кудлато-седую голову в картузе:

— Вы, девки, часом, сырой муки, в воде заболтавши, не ели?

— Зачем же — сырую? — поразилась тетя Фрося. — Заболтаю, замешу да испеку.

Старик чмокнул бледными толстыми губами и сказал не сразу — у него все слова так выступали не сразу, а будто долго еще на костылях шли оттуда, где рождались:

— Значит, голоду вы не видали, милые.

Лейтенант Зотов переступил порог и вмешался:

— Слушай, дед, а что такое п р и с я г а — ты воображаешь, нет?

Зотов заметно для всех окал.

Дед мутно посмотрел на лейтенанта. Сам дед был невелик, но велики и тяжелы были его сапоги, напитанные водой и кой-где вымазанные глиной.

— Чего другого, — пробурчал он. — Я и сам пять раз присягал.

— Ну, и кому ты присягал? Царю Миколашке?

Старик мотнул головой:

— Хватай раньше.

— Как? Еще Александру Третьему?

Старик сокрушенно чмокнул и курил свое.

— Ну! А теперь — народу присягают. Разница есть?

Старик еще просыпал пеплу на колено.

— А мука чья? Не народная? — горячилась Валя и все отбрасывала назад веселые спадающие волосы. — Муку — для кого везли? Для немцев, что ли?

— Ну, правильно, — ничуть не спорил старик. — Да и ребята тоже не немцы ехали, тоже наш народ.

Докуренную козью ножку он согнул до конца и погасил о крышку фонаря.

— Вот старик непонятливый! — задело Зотова. — Да что такое порядок государственный — ты представляешь? Это если каждый будет брать, что ему понравится, я возьму, ты возьмешь — разве мы войну выиграем?

— А зачем мешки ножами резали? — негодовала Валя. — Это по-каковски? Это наш народ?

— Должно быть, защиты были, — высказал Кордубайло и вытер нос рукой.

— Так — разорничать? чтоб мимо сыпалось? на путя? — возмущилась тетя Фрося. — Сколько прорвали да сколько просыпали, товарищ лейтенант! Это сколько детей можно накормить!

— Ну, правильно, — сказал старик. — А в такой вот дождь в полувагонах и остальная помокнет.

— А, да что с ним говорить! — раздосадовался Зотов на себя больше, что встрял в никчемный и без того ясный разговор. — Не шумите тут! Работать мешаете!

Тетя Фрося уже пообчистила фитиль, зажгла коптилку и укрепила ее в фонаре. Она поднялась за своим отвердевшим, скоробившимся плащом:

— Ну-к, подвостри мне, Валюша, карандашик. Пойду семьсот шестьдесят пятый списывать.

Зотов ушел к себе.

Вся эта вчерашняя история могла кончиться хуже. Окруженцы, когда убили их товарища, оставили мешки с мукой и бросились с ревом на мальчишку-часового. Они уже вырвали у него винтовку — да, кажется, он ее и отдал без сопротивления, — начали бить его и просто бы могли растерзать, если б наконец не подоспел разводящий. Он сделал вид, что арестовал часового, и увел.

Когда везут окруженцев, каждая комендатура поднравливает спихнуть их сразу дальше. Прошлой ночью еще один такой эшелон — 245413-й, из Павельца на Арчеду — Зотов принял и поскорее проводил. Эшелон простоял в Кречетовке минут двадцать, окруженцы спали и не выходили. Окруженцы, когда их много вместе, — страшный, лихой народ. Они не часть, у них нет оружия, но чувствуют они себя вчерашней армией, это те самые ребята, которые в июле стояли где-нибудь под Бобруйском, или в августе под Киевом, или в сентябре под Орлом.

Зотов робел перед ними — с тем же чувством, наверно, с каким мальчишка-часовой отдал винтовку, не стреляя больше. Он стыдился за свое положение тылового коменданта. Он завидовал им и готов был, кажется, принять на себя даже некоторую их безупречность, чтоб только знать, что за его спиной тоже — бои, обстрелы, переправы.

Сокурсники Васи Зотова, все друзья его — были на фронте.

А он — здесь...

Так тем настойчивей надо было работать! Работать, чтоб не только сдать смену в ажуре, но еще другие, другие дела успевать делать! Как можно больше и лучше успеть в эти дни, уже осененные двадцать четвертой годовщиной. Любимый праздник в году, радостный наперекор природе, а в этот раз — рвущий душу.

Кроме всей текучки, уже неделю тянулось за Зотовым дело, имевшее начало в его смену: был налет на станцию, и немцы порядочно разбомбили эшелон с воинскими грузами, в котором были и продукты. Если б они разбомбили его начисто — на этом бы дело и закрылось. Но, к счастью, уцелело многое. И вот теперь требовали от Зотова составить в четырех экземплярах полные акты-перечни: грузов, приведенных в полную негодность (их должны были списать с соответствующих адресатов и отнарядить новые); грузов, приведенных в негодность от сорока до восьмидесяти процентов (об использовании их должно было решиться особо); грузов, приведенных в негодность от десяти до сорока процентов (их должны были направлять дальше по назначению с оговорками или частичной заменой); наконец грузов, оставшихся в целости. Усложнялось дело тем, что, хотя грузы разбомбленного поезда все теперь были собраны в пакгаузах, но это произошло не тотчас, по станции бродили непричастные люди, и можно было подозреть хищения. Кроме того, установка процента годности требовала экспертизы (эксперты приезжали из Мичуринска и из Воронежа) и бесконечной переставки ящиков в пакгаузах, а грузчиков не хватало.

Разбомбить и дурак может, а поди разберись!

Впрочем, Зотов и сам любил dokonечную точность в каждом деле, поэтому он много уже провернул из этих актов, мог позаняться ими сегодня, а за неделю думал и все подогнать.

Но даже и эта работа была — текучка. А выглядел Зотов себе еще работу такую. Вот сейчас он. человек с высшим образованием, а в характере с задатками систематизации, работает на комендантской работе — и получает полезный опыт. Ему особенно хорошо видны сейчас: и недостатки наших мобилизационных предписаний, с которыми нас застала война; и недостатки в организации слежения за воинскими грузами; видны и многие значительные и мелкие улучшения, которые можно было бы внести в работу военных комендатур. Так не прямой ли долг его совести такие все наблюдения делать, записывать, обрабатывать — и подать в виде докладной записки в Наркомат обороны? Пусть его труд не успеет быть использован в эту войну, но как много он будет значить для следующей!

Так вот для какого еще дела надо найти время и силы! (Хотя выскажи такую идею капитану или в комендатуре узла — будут смеяться. Недалекие люди.)

Скорей же разбираться с попутными! Зотов потер одну о другую круглые ладонца с короткими толстенькими пальцами, взял химический карандаш и, сверясь с шифровкой, разносил на несколько листов ясным овальным почерком многозначные, иногда и дробные номера транспортов, грузов и вагонов. Эта работа не допускала описки — так же, как прицел орудия. Он в усердии мелко наморщил лоб и оттопырил нижнюю губу.

Но тут в стекольце двери стукнула Подшебьякина:

— Можно, Василь Васильич? — И, не очень дожидаясь ответа, вошла, неся тоже ведомость в руках.

Вообще-то не полагалось ей сюда заходить, решить вопрос можно было на пороге или в той комнате, — но с Валею у него уже не раз совпадали дежурные сутки, и просто деликатность мешала ему не пустить ее сюда.

Поэтому он только залистнул шифровку и как бы случайно чистой бумагой прикрыл колонки чисел, которые писал.

— Василь Васильич, я что-то запуталась! Вот, смотрите...— Второго стула не было вблизи, и Валя прилегла к ребру стола и повернула к Зотову ведомость с кривоватыми строчками и неровными цифрами.— Вот, в эшелоне четыреста сорок шесть был такой вагон — пятьдесят семь восемьсот тридцать один. Так — куда его?

— Сейчас скажу.— Он выдвинул ящик, сообразил, какой из трех скоросшивателей взять, открыл (но не так, чтоб она могла туда засматривать) и нашел сразу: — Пятьдесят семь восемьсот тридцать первый — на Пачелму.

— Угу,— сказала Валя, записала «Пач», но не ушла, а обсасывала тыльце карандаша и продолжала смотреть в свою ведомость, все так же приклоненная к его столу.

— Вот ты «че» неразборчиво написала,— укорил ее Зотов,— а потом прочтешь как «вэ» — и на Павелец загонишь.

— Неужели! — спокойно отозвалась Валя.— Будет вам, Василь Васильич, ко мне придираться-то!

Посмотрела на него из-под локона.

Но подправила «ч».

— Потом во-от что...— протянула она и опять взяла карандаш в рот. Обильные локоны ее, почти льняные, спустились со лба, завесили глаза, но она их не поправляла. Такие они были вымытые и, наверно, мягонькие,— Зотов представил, как приятно потрепать их рукой.— Вот что... Платформа один — ноль пять — сто десять.

— Малая платформа?

— Нет, большая.

— Вряд ли.

— Почему?

— Одной цифры не хватает.

— И что ж теперь делать? — Она откинула волосы. Ресницы были у нее такие ж беленькие.

— Искать, что! Надо внимательней, Валя. Эшелон — тот же?

— У-гм.

Заглядывая в скоросшиватель, Зотов стал примеряться к номерам.

А Валя смотрела на лейтенанта, на его смешные отставленные уши, нос картошкой и глаза бледно-голубые с серинкой, хорошо видные через очки. По работе он был въедливый, этот Василь Васильич, но не злой. А чем особенно ей нравился — был он мужчина не развязный, вежливый.

— Эх! — рассердился Зотов.— Сечь тебя розгами! Не ноль пять, а два ноля пять, голова!

— Два-а ноля! — удивилась Валя и вписала ноль.

— Ты ж десятилетку кончила, как тебе не стыдно?

— Да бросьте, Василь Васильич, при чем тут десятилетка? И — куда ее?

— На Кирсанов.

— У-гу,— записала Валя.

Но не уходила. В том же положении, наклоненная к столу, близ него, она задумалась и пальцем одним играла с отщепинкой в доске столешницы: отклоняла отщепинку, а та опять прижималась к доске.

Мужские глаза невольно прошлись по небольшим девичьим грудям ее, сейчас в наклоне видимым ясно, а то всегда скраденным тяжеловатой железнодорожной курткой.

— Скоро дежурство кончится,— надула Валя губы. Они были у нее свеженькие, бледно-розовые.

— Еще до «кончится» поработать надо! — нахмурился Зотов и перестал разглядывать девушку.

— Вы — опять к своей ба-а-бке пойдете... Да?

— А куда ж еще?

— Ни к кому в гости не сходите...

— Нашла время для гостей!

— И чего вам сладкого у той бабки? Даже кровати нет путевой. На ларе спите.

— А ты откуда знаешь?

— Люди знают, говорят.

— Не время сейчас, Валечка, на мягком нежиться. А мне — тем более. И так стыдно, что не на фронте.

— Так что ж вы? дела не делаете? Чего тут стыдного! Еще и в окопах, небось, навалаетесь. Еще живы ли будете... А пока можно, надо жить, как люди.

Зотов снял фуражку, растер стянутый лоб (фуражка была маловата ему, но на складе другой не нашлось).

Валя на уголке ведомости вырисовывала карандашом длинную острую петельку, как коготок.

— А чего вы от Авдеевых ушли? Ведь там лучше было.

Зотов опустил глаза и сильно покраснел.

— Ушел — и все.

(Неужели от Авдеевых разнеслось по поселку?..)

Валя острила и острила коготок.

Помолчали.

Валя покосилась на его круглую голову. Снять еще очки — и ребячья какая-то будет голова, негустые светлые волосы завиточками там и сям поднялись, как вопросительные знаки.

— И в кино никогда не пойдете. Наверно, книги у вас интересные. Хоть бы дали почитать.

Зотов вскинулся. Краска его не сходила.

— Откуда знаешь, что книги?

— Думаю так.

— Нет у меня книг. Дома остались.

— Жалеете просто.

— Да нету, говорю. Куда ж таскать? У солдата — вещмешок, больше не положено.

— Ну, тогда у нас возьмите почитать.

— А у вас много?

— Да стоят на полочке.

— Какие же?

— Да какие... «Доменная печь»... «Князь Серебряный»... И еще есть.

— Ты все прочла?

— Некоторые.— И вдруг подняла голову, ясно поглядела и дыханием высказала:— Василь Васильич! А вы — переходите к нам! У нас комната Вовкина свободная — ваша будет. Печка туда греет, тепло. Мама вам готовить будет. Что за охота вам — у бабки?

И они посмотрели друг на друга, каждый со своей загадкой.

Валя видела, что лейтенант заколебался, что он сейчас согласится. И почему б ему не согласиться, чудаку такому? Все военные всегда говорят, что не женаты, а он один — женат. Все военные, расквартированные в поселке, — в хороших семьях, в тепле и в заботе. Хотелось и Вале, чтобы в доме, откуда отец и брат ушли на войну, жил бы мужчина. Тогда и со смены, поздно вечером, по затемненным, замешанным грязью

улицам поселка они будут возвращаться вместе (уж придется под руку), потом весело садиться вместе за обед, шутить, друг другу что-нибудь рассказывать...

А Вася Зотов едва ли не с испугом посмотрел на девушку, открыто зовущую его к себе в дом. Она была лишь годика на три моложе его и если называла по имени-отчеству и на «вы», то не из-за возраста, а из уважения к лейтенантским кубикам. Он понимал, что вкусными обедами из его сухого пайка и теплом от печки дело не кончится. Он заволновался. Ему-таки хотелось сейчас взять и потрепать ее доступные белые кудряшки.

Но — никак было нельзя.

Он поправил воротник с красными кубиками в зеленых петлицах, хоть воротник ему не жал, очки поправил.

— Нет, Валя, никуда не пойду. Вообще работа стоит, что мы разболтались?

И надел зеленую фуражку, отчего беззащитное курносое лицо его построжело очень.

Девушка посмотрела еще исподлобья, протянула:

— Да ла-адно вам, Василь Васильич!

Вздохнула. Не молодо, как-то с трудом поднялась из своего наклонного положения и, влача ведомость в опущенной руке, ушла.

А он растерянно моргнул. Может, вернись бы она еще раз и скажи ему твердо — он уступил бы.

Но она не возвращалась.

Никому тут Вася не мог объяснить, почему он жил в плохо отапливаемой нечистой избе старухи с тремя внуками и спал на коротком неудобном ларе. В огромной жестоковатой мужской толчее сорок первого года его уже раз-другой поднимали на пересмех, когда он вслух рассказывал, что любит жену и думает быть ей всю войну верен и за нее тоже вполне ручается. Хорошие ребята, подельчивые друзья хохотали дружно, как-то дико, били его по плечу и советовали не теряться. С тех пор он вслух не говорил такого больше, а тосковал только очень, особенно проснувшись глухими ночами и думая, каково ей там, далеко-далеко под немцами и ожидая ребенка.

Но не из-за жены даже он отказал сейчас Вале, а из-за Полины...

И не из-за Полины даже, а из-за...

Полина, чернявенькая стриженная киевляночка с матовым лицом, была та самая, которая жила у тети Фроси, а работала на почте. На почту, если выдавалось время, Вася ходил читать свежие газеты (пачками за несколько дней, они опаздывали). Так получалось пораньше, и все газеты можно было видеть сразу, не одну-две только. Конечно, почта — не читальня, и никто не обязан был давать ему читать, но Полина понимала его и все газеты выносила ему к концу прилавка, где он стоя, в холоде их читал. Как и для Зотова, для Полины война не была бесчувственным качеством неотвратимого колеса, но — всей ее собственной жизнью и будущим всем, и чтоб это будущее угадать, она так же беспокойными руками разворачивала эти газеты и так же искала крупинки, могущие объяснить ей ход войны. Они часто читали рядом, наперехват показывая друг другу важные места. Газеты заменяли им письма, которых они не получали. Полина внимательно вчитывалась во все боевые эпизоды сводок, угадывая, не там ли ее муж, и по совету Зотова прочитывала, морща матовый лоб, даже статьи о стрелковой и танковой тактике в «Красной звезде». А уж статьи Эренбурга Вася читал ей вслух сам, волнуясь. И некоторые он выпрашивал у Полины, из чьих-то недосланных газет вырезал и хранил.

Полину, ребенка ее и мать он любил так, как вне беды люди

любить не умеют. Сынишке он приносил сахару из своего пайка. Но никогда, перелистывая вместе газеты, он не смел пальцем коснуться ее белой руки — и не из-за мужа ее, и не из-за своей жены, а из-за того святого горя, которое соединило их.

Полина стала ему в Кречетовке — нет, по всю эту сторону фронта самым близким человеком, она была глазом совести и глазом верности его — и как же мог он стать на квартиру к Вале? что подумала бы Полина о нем?

Но и без Полины, без Полины — не мог он сейчас беспечно утешаться с какой-нибудь женщиной, когда грозило рухнуть все, что он любил.

И тоже как-то неловко было признаться Вале и лейтенантам, его сменщикам, что было-таки у него вечернее чтение, была-таки книга — единственная захваченная в какой-то библиотеке в суматошных путях этого года и возимая с собой в вещмешке.

Книга эта была — синенький толстенный первый том «Капитала» на шершавой рыжеватой бумаге тридцатых годов.

Все студенческие пять лет мечтал он прочесть заветную эту книгу, и не раз брал ее в институтской библиотеке, и пытался конспектировать, и держал по семестру, по году — но никогда не оставалось времени, заедали собрания, общественные нагрузки, экзамены. И, не кончив одной страницы конспекта, он сдавал книгу, когда шел с июньской обходной. И даже когда проходили политэкономия, самое время было читать «Капитал» — преподаватель отговаривал: «Утонете!», советовал нажимать на учебник Лапидуса, на конспекты лекций. И действительно, только успевали.

Но вот теперь, осенью сорок первого, в зареве огромной тревоги, Вася Зотов мог здесь, в дыре, найти время для «Капитала». Так он и делал — в часы, свободные от службы, от всеобщего и от заданий райкома партии. На квартире у Авдеевых, в зале, уставленном филодендронами и алоэ, он садился за шаткий маленький столик и при керосиновой лампе (не на все дома поселка хватало мощности дизельного движка), поглаживая грубую бумагу рукой, читал: первый раз — для охвата, второй раз — для разметки, третий раз — конспектируя и стараясь все окончательно уложить в голове. И чем мрачней были сводки с фронта, тем упрямей нырял он в толстую синюю книгу. Вася так понимал, что когда он освоит весь этот хотя бы первый том и будет стройным целым держать его в памяти — он станет непобедимым, неуязвимым, неотразимым в любой идейной схватке.

Но не много было таких вечеров и часов, и страниц было записано им несколько — как помешала Антонина Ивановна.

Это была тоже квартирантка Авдеевых, приезжая из Лисок, ставшая здесь, в Кречетовке, сразу заведующей столовой. Она была деловая и так на ногах держалась крепко, что в столовой у нее не очень было поскандальить. В столовой у нее, как Зотов узнал потом, совали за рубль в оконце глиняную миску с горячей серой безжирной водой, в которой плавало несколько макаронин, а с тех, кто не хотел просто губами вытягивать это все из миски, еще брали рубль залога за деревянную битую ложку. Сама же Антонина Ивановна, вечерами велела Авдеевым поставить самовар, выносила к хозяйскому столу хлеб и сливочное масло. Лет ей оказалось всего двадцать пять, но выглядела она женщиной основательной, была беложава, гладка. С лейтенантом она всегда приветливо здоровалась, он отвечал ей рассеянно и долго путал ее с прихожей родственницей хозяйки. Горбясь над своим томом, он не замечал и не слышал, как она, придя с работы тоже поздно, все ходила через его проходной залец в свою спальню и оттуда назад к хозяевам и опять к себе. Вдруг

она подходила и спрашивала: «Что это вы все читаете, товарищ лейтенант?» Он прикрывал том тетрадь и отвечал уклончиво. В другой раз она спрашивала: «А как вы думаете, не страшно, что я на ночь дверь свою не закладываю?» Зотов отвечал ей: «Чего бояться! Я же — тут, и с оружием». А еще через несколько дней, сидя над книгой, он почувствовал, что, перестав снова туда-сюда, она как будто не ушла из зальца. Он оглянулся — и остолбенел: прямо здесь, в его комнате, она постелилась на диване и уже лежала, распустив волосы по подушке, а одеялом не покрыв белых наглых плеч. Он уставился в нее и не находил, что теперь делать. «Я вам тут не помешаю?» — спросила она с насмешкой. Вася встал, теряя соображение. Он даже шагнул уже крупно к ней — но вид этой откормленной воровской сытости не потянул его дальше, а оттолкнул.

Он даже сказать ей ничего не мог, ему горло перехватило ненавистью. Он повернулся, захлопнул «Капитал», нашел еще силы и время спрятать его в вещмешок, бросился к гвоздю, где висели шинель и фуражка, на ходу снимая ремень, отягощенный пистолетом, — и так, держа его в руке, не опоясавшись, кинулся к выходу.

Он вышел в непроглядную темень, куда из замаскированных окон, ни с тучевого неба не пробивалось ни соломинки света, но где холодный осенний ветер с дождем, как сегодня, рвал и сек. Оступаясь в лужи, в ямы, в грязь, Вася пошел в сторону станции, не сразу сообразив, что так и несет в руках ремень с пистолетом. Такая жгла его бессильная обида, что он чуть не заплакал, бредя в этой черной стремнине.

С тех-то пор и не стало ему жизни у Авдеевых: Антонина Ивановна, правда, больше с ним не здоровалась, но стала водить к себе какого-то мордатого кобеля, гражданского, однако в сапогах и кителе, как требовал дух времени. Зотов пытался заниматься — она же нарочно не прикрывала своей двери, чтоб долго слышал он, как они шутили и как она повизгивала и постанывала.

Тогда он и ушел к бабке полуглухой, у которой нашел только ларь, застланный рядом.

Но вот, видно, разнеслась сплетня по Кречетовке. Неужели до Полины дойдет? Стыдно...

Отвлекли его эти мысли от работы. Он схватился опять за химический карандаш и заставил себя вникнуть в попутные и опять четким овальным почерком разносил номера транспортов и грузов, составляя тем самым новые попутные, под копирку. И кончил бы эту работу, но неясность вышла с большим транспортом из Камышина — как его разбивать. Дело это мог решить только сам комендант. Зотов дал один зуммер по полевому телефону, взял трубку и слушал. И еще дал один зуммер подольше. И еще долгий один. Капитан не отвечал. Значит, в кабинете его не было. Может быть, отдыхает дома после обеда. Перед сменной-то дежурных он придет обязательно — выслушать рапорта.

За дверью иногда Подшебякина звонила диспетчеру станции. Тетя Фрося пришла, опять ушла. Потом послышался тяжелый переступ в чetyре сапога. В дверь постучали, приоткрыли, звонко спросили:

— Разрешите войти?

И не дожидаясь и не дослышавая разрешения, вошли. Первый — гренадерского роста, гибкий, с розовым охолодавшим лицом, ступил на середину комнаты и с пристуком пятки доложил:

— Начальник конвоя транспорта девяносто пять пятьсот пять сержант Гайдуков! Тридцать восемь пульмановских вагонов, все в порядке, к дальнейшему следованию готов!

Он был в новой зимней шапке, ладной долгой шинели командирского покроя с разрезом, запоясан кожаным широким ремнем с пряжкой-звездой, и начищенные яловые были на нем сапожки.

Из-за спины его выступил слегка, как бы перетоптался, не отходя далеко от двери, второй — коренастый, с лицом одубело-смуглым, темным. Он полунехотя поднял пятерню к шлему-буденовке с опущенными, но не застегнутыми ушами и не отрапортовал, а сказал тихо:

— Начальник конвоя транспорта семьдесят один шестьсот двадцать восемь младший сержант Дыгин. Четыре шестнадцатитонных вагона.

Солдатская шинель его, охваченная узким брезентовым пояском, имела одну полу перекошенную или непоправимо изжеванную как бы машиной, сапоги были кирзовые, с истертыми переломами гармошки.

А лицо у сержанта Дыгина было набровое-челюстное лицо Чкалова, но не молодого лихого Чкалова, погибшего недавно, а уже пожившего, обтертого.

— Так! Очень рад! Очень рад! — сказал Зотов и встал.

Ни по званию своему, ни по роду работы совсем он не должен был вставать навстречу каждому входящему сержанту. Но он действительно рад был каждому и спешил с каждым сделать дело получше. Своих подчиненных не было у помощника коменданта, и эти, приезжающие на пять минут или на двое суток, были единственные, на ком Зотов мог проявить командирскую заботу и распорядительность.

— Знаю, знаю, попутные ваши уже пришли. — Он нашел на столе и просматривал их. — Вот они, вот они... девяносто пять пятьсот пять... семьдесят один шестьсот двадцать восемь... — И поднял доброжелательные глаза на сержантов.

Их шинели и шапки были только слегка примочены, вразнокап.

— А что это вы сухие? Дождь — кончился?

— Перемерзился, — с улыбкой тряхнул головой статный Гайдуков, стоящий и не по «смирно» будто бы, но вытянуто. — Северяк задувает крепенько!

Было ему лет девятнадцать, но с тем ранним налетом мужества, который на доверчивое лицо ложится от фронта, как загар от солнца.

(Вот этот налет фронта на лицах и поднимал Зотова от стола.)

А дел к ним у помощника коменданта было мало. Во всяком случае не полагалось разговаривать о составе грузов, потому что они могли везти вагоны запломбированными, ящики забитыми и сами не зная, что везут.

Но им — многое надо было от коменданта попутной станции.

И они врезались в него — одним веселым взглядом и одним угрюмым.

Гайдукову надо было понять, не прицепивая ли тыловая крыса этот комендант, не потянется ли сейчас смотреть его эшелон и груз.

За груз он, впрочем, не опасался нисколько, свой груз он не просто охранял, но любил: это было несколько сот отличных лошадей и отправленных смышленным интендантом, загрузившим в тот же эшелон прессованного сена и овса в достатке, не надеясь на пополнение в пути. Гайдуков вырос в деревне, смала пристрастен был к лошадям и ходил к ним теперь как к друзьям, в охотку, а не по службе помогая дежурным бойцам поить, кормить их и доглядывать. Когда он отодвигал дверь и по проволочной висячей стремянке подымался в вагон с «летучей мышью» в руке, все шестнадцать лошадей вагона — гнедые, рыжие, караковые, серые — поворачивали к нему свои настороженные длинные умные морды, иные перекладывали их через спины соседок и смотрели немигающими большими грустными глазами, еще чутко перебирая ушами, как

бы не сена одного прося, но — рассказать им об этом грохочущем подсакивающим ящике и зачем их, куда везут. И Гайдуков обходил их, протискиваясь между теплыми крупами, трепал гривы, а когда не было с ним бойцов, то гладил храпы и разговаривал. Им на фронт было ехать тяжелей, чем людям; им этот фронт был нужен, как пятая нога.

Чего Гайдуков опасался сейчас перед комендантом (но тот, видно, парень сходный и стеречься нечего) — чтоб не пошел он заглянуть в его теплушку. Хотя солдаты в конвое Гайдукова ехали больше новички, но сам он уже побывал на переднем крае и в июле был ранен на Днепре, два месяца пролежал в госпитале и поработал там при каптерке, и вот ехал снова на фронт. Поэтому он знал и уставы и как их можно и надо нарушать. Их двадцать человек молодых ребят лишь попутно везли лошадей, а, сдав их, должны были влиться в дивизию. Может быть, через несколько дней все это новое обмундирование они измажут в размокшей траншейной глине, да еще хорошо, если в траншеях, а то за бугорочками малыми будут прятать головы отседающих на плечи немецких мин — минометы немецкие больше всего досадили Гайдукову летом. Так сейчас эти последние дни хотелось прожить тепло, дружно, весело. В их просторной теплушке две чугунные печи калились, не переставая, углем-кулаком, добытым с других составов. Эшелон их пропускали быстро, нигде они не застаивались, но как-то успевали раз в сутки напоить лошадей и раз в три дня отоварить продаттестаты. А если эшелон шел быстро, в него просились. И хотя устав строго запрещал пускать гражданских в караульные помещения, сам Гайдуков и помощник его, перенявший от него разбитную манеру держаться, не могли смотреть на людей, стынувших на осеннем полотне и ошалело бегающих вдоль составов. Не то чтобы пускали просящих всех, но не отказывали многим. Какое-то инспектора хитрого пустили за литр самогону, еще рыжего старика с сидорами — за шматок сала, кого — ни за так, а особенно отзывно — не устаивало их сердце — подхватывали они в свой вагон, спуская руки навстречу, молодок и девок, тоже все едущих и едущих куда-то, зачем-то. Сейчас там, в жаре гомонящей теплушки, рыжий старик что-то лопочет про первую мировую войну, как он без малого не получил георгиевского креста, а из девок одна только недотрога, нахоться совушкой, сидит тут же у печки. Остальные давно от жары скинули пальто, телогрейки, даже и кофточки. Одна, оставшись в красной союлке и сама раскраснелая, стирает сорочки ребятам и пособника своего, выжимающего белье, хлопает мокрым скрутком, когда он слишком к ней подлезает. Две стряпают для ребят, заправляя домашним смальцем солдатский сухой паек. А еще одна сидит и вычинивает, у кого что порвалось. Уедут с этой станции — поужинают, посидят у огня, спуют под разухабистую болтанку вагона на полном ходу, а потом, не особо разбирая смены бодрствующей и отдыхающей (все намаиваются равно в водопой), — расползутся по нарам из неструганых досок, покатают спать. И из этих сегоднешних молодок, как и из вчерашних, лишь недавно проводивших мужей на войну, и из девок — не все устоят и там, в затеньях от фонаря, лягут с хлопцами, обнявшись.

Да и как не пожалеть солдату, едущего на передовую! Может, это последние в его жизни денечки...

И чего сейчас только хотел Гайдуков от коменданта — чтобы тот отпустил его побыстрее. Да еще бы вывести как-нибудь маршрутик: для пассажира — где их ссаживать, и для себя — на каком теперь участке воевать? мимо дому не придется ли кому проехать?

— Та-ак, — говорил лейтенант, поглядывая в попутные. — Вы не вместе ехали? Вас недавно сцепили?

— Да вот станций несколько.

Очками уперевшись в бумагу, лейтенант вытаращил губы.

— И почему вас сюда завезли? — спросил он старого Чкалова. — Вы в Пензе — были?

— Были, — отозвался хрипло Дыгин.

— Так какого ж черта вас крутанули через Ряжск? Это удивляться надо, вот головотяпы!

— Теперь вместе поедем? — спросил Гайдуков.

(Идя сюда, он узнал от Дыгина его направление и так хотел смекнуть свое.)

— До Грязей вместе.

— А потом?

— Военная гайна, — приятно окая, покрутил головой Зотов и сквозь очки снизу вверх прищурился на рослого сержанта.

— А все ж таки? Через Касторную, нет?.. — подговаривался Гайдуков, наклоняясь к лейтенанту.

— Там видно будет, — хотел строго ответить Зотов, но губы его чуть улыгнулись, и Гайдуков отсюда понял, что через Касторную.

— Прямо вечерком и уедем?

— Да. Вас держать нельзя.

— Я — ехать не могу, — проскрипел Дыгин веско, недружелюбно.

— Вы — лично? Больны?

— Весь конвой не смога'т.

— То есть... как? Я не понимаю вас. Почему вы не можете?

— Потому что мы — не собаки!! — прорвалось у Дыгина, и шары его глаз прокатились яростно под веками.

— Что за разговоры? — нахмурился Зотов и выпрямился. — А ну-ка поосторожней, младший сержант!

Тут он доглядел, что и зелененький-то треугольник младшего сержанта был ввинчен только в одну защитную петлицу шинели Дыгина, а вторая пуста была, осталась треугольная вмятина и дырочка посередине. Распушенные уши его буденновского шлема, как лопухи, свисали на грудь.

Дыгин зло смотрел исподлобья:

— Потому что мы... — простуженным голосом хрипел он, — одиннадцатый день... голодные...

— Как?? — откинулся лейтенант, и очки его сорвались с одного уха, он подхватил дужку, надел. — Как это может быть?

— Так. Быва'т... Очень просто.

— Да у вас продаттестаты-то есть?

— Бумагу жевать не будешь.

— Да как вы живы тогда?!

— Так и живы.

Как вы живы! Пустой ребячий этот вопрос очкарика вконец рассердил Дыгина, и подумал он, что не будет ему помощи и на станции Кречетовка. Как вы живы! Не сам он, а голод и ожесточение стянули ему челюсти, и он по-волжски тяжело смотрел на беленького помощника военного коменданта в теплой чистой комнате. Семь дней назад раздобылись они свеклой на одной станции, набрали два мешка прямо из сваленной кучи — и всю неделю свеклу эту одну парили в котелках, парили и ели. И уже воротить их стало с этой свеклы, кишки ее не принимали. Позапрошлой ночью, когда стояли они в Александро-Невском, поглядел Дыгин на своих заморенных солдатиков-запасников — все они были старше его, а и он не молод, — решился, встал. Ветер выл под вагонами и свиристал в щели. Чем-то надо было нутро угомонить хоть немножко. И — ушел во мрак. Он вернулся часа через полтора и три буханки кинул

на нары. Солдат, сидевший около, обомлел: «Тут и белая одна!» — «Ну? — равнодушно досмотрелся и Дыгин. — А я не заметил». Обо всем этом не рассказывать же было сейчас коменданту. Как вы живы!.. Десять дней ехало их четверо по своей родной стране, как по пустыне. Груз их был — двадцать тысяч саперных лопаток в заводской смазке. И везли они их — Дыгин знал это с самого места — из Горького в Тбилиси. Но все грузы были, видно, срочней, чем этот заклятый холодный в застывшей смазке груз. Начиналась третья неделя, а они еще и половины пути не проехали. Самый последний диспетчершишка, кому не лень, отцеплял их четыре вагона и покидал на любом полустанке. По продаттестатам получили они на три дня в Горьком, а потом на три дня в Саранске — и с тех пор нигде не могли прихватить продпункт открытым. Однако и это бы все было горе перетерпное, они б и еще пять дней переболодовали, если б знали, что потом за все пятнадцать получают. Но выло брюхо и стонала душа оттого, что закон всех продпунктов: за прошлые дни не выдается. Что прошло, то в воду ушло.

— Но почему ж вам не отоваривают? — добивался лейтенант.

— А вы — отоварите? — раздвинул челюсти Дыгин.

Он еще из вагона выпрыгивал — узнал у встречного бойца, что продпункт на этой станции есть. Но — стемнело уже, и, по закону, нечего было топтать к тому окошку.

Сержант Гайдуков забыл свою веселую стойку перед комендантом и повернут был к Дыгину. Теперь он длинной рукой трепнул того по плечу:

— Брато-ок! Да что ж ты мне не сказал? Да мы тебе сейчас подкинем!

Дыгин не колыхнулся под хлопком и не повернулся, все так же мертво глядя на коменданта. Он сам себе тошен был, что такой недотепистый со своими стариками — за все одиннадцать дней не попросили они есть ни у гражданских, ни у военных: они знали, что лишнего куска в такое время не бывает. И подъехать никто не просился в их теплушку заброшенную, отцепляемую. И табак у них кончился. А из-за того, что вся теплушка была в щелях, они зашили тесом три окошка из четырех, и в вагоне у них было темно и днем. И, уже махнув на все, они и топили-то поконце рук — и так на долгих остановках, по суткам и по двое, вокруг темноватой печки сидели, уваривали свеклу в котелках, пробовали ножом и молчали.

Гайдуков выровнялся молодеватым броском:

— Разрешите идти, товарищ лейтенант?

— Идите.

И убежал. Теплой рукой сейчас они отсыпят солдыгам и пшена и табачку. У той старухи слезливой ничего за проезд не брали — ну-ка, пусть для ребят выделит, не жметя. И инспектору надо еще по чемодану постучать, услышать обязан.

— Та-ак, седьмой час, — соображал лейтенант. — Продпункт наш закрыт.

— Они всегда закрыты быва'т... Они с десяти до пяти только... В Пензе я в очередь стал, шумят — эшелон отходит. Моршанск ночью проехали. И Ряжск ночью.

— Подожди-подожди! — засуетился лейтенант. — Я этого дела так не оставлю! А ну-ка!

И он взял трубку полевого телефона, дал один долгий зуммер.

Не подходили.

Тогда он дал тройной зуммер.

Не подходили.

— А, черт! — Еще дал тройной. — Гуськов, ты?

— Я, товарищ лейтенант.

— Почему у тебя боец у телефона не сидит?

— Отошел тут. Молока кислого я достал. Хотите — вам принесу, товарищ лейтенант?

— Глупости, ничего не надо!

(Он не из-за Дыгина так сказал. Он и все время запрещал Гуськову что-нибудь себе носить — принципиально. И чтобы сохранялась чистота деловых отношений, иначе с него потом службы не потребуешь. Напротив, Зотов и капитану докладывал, что Гуськов разбалтывается.)

— Гуськов! Вот какое дело. Приехал тут конвой, четыре человека, они одиннадцатый день ничего не получают.

Гуськов свистнул в телефон.

— Что ж они, раззявы!

— Так вышло. Надо помочь. Надо, слушай, сейчас как-нибудь звывать Чичишева и Саморукова, и чтоб они выдали им по аттестату.

— Где их найдешь, легкое дело!

— Где! На квартирах.

— Грязюка такая, ног по колено не выдерешь, да темно, как у

— Чичишев близко живет.

— А Саморуков? За путями. Да не пойдет он ни за что, товарищ лейтенант!

— Чичишев пойдет.

Бухгалтер Чичишев был военнослужащий, призван из запаса, и при-шлепали ему четыре треугольника, но никто не видел в нем военного, а обычного бухгалтера, немолодого, наторелого в деле. Он и разговаривать без счетов не мог. Спрашивал: «Сколько времени? Пять часов?» — и пять сейчас же для понимания крепко щелкал на косточках. Или рассуждал: «Если человек один (и косточку — щелк!), ему жить трудно. Он (и вторую к первой — щелк!) — женится». Когда от очереди, гудящей, сующей ему продаттестаты, он был отделен закрытым окном и решеткой и только малая форточка оставлена для сующихся рук — Чичишев бывал очень тверд, кричал на бойцов, руки отталкивал и форточку прикрывал, чтоб не дуло. Но если ему приходилось выйти прямо к толпе или команда прорывалась к нему в каморку — он сразу втягивал шар головы в маленькие плечи, говорил «братцы» и ставил штампы. Так же суетлив и услужлив он перед начальством, не посмеет отказать никому, у кого в петлицах кубики. Продпункт не подчиняется дежурному помощнику команданта, но Чичишев не откажет, думал Зотов.

— А Саморуков не пойдет, — твердил свое Гуськов.

Старшиной считался и Саморуков, но с презрением смотрел на лейтенантов. Здоровый, раскормленный волк, он был просто кладовщик и ларечник продпункта, но держался на четыре шпалы. С достоинством, на четверть часа позже он подходил к ларьку, проверял пломбы, открывал замки, поднимал и подпирал болтами козырек — и все с видом одолжения на неприязненном щекастом лице. И сколько бы красноармейцев, торопящихся на эшелоны, команд и одиночек, и инвалидов не теснилось бы перед окошком, матеря и костыляя друг друга, пробиваясь поближе, — Саморуков спокойно заворачивал рукава по локоть, обнажая жирные руки колбасника, придирчиво проверял на измятых, изорванных аттестатах штампы Чичишева и спокойно взвешивал (и уж наверно недовешивал!), ничуть не волнуясь, успеют ребята на свои эшелоны или нет. Он и квартиру себе выбрал на отшибе нарочно, чтоб его не беспокоили в нерабочее время, и хозяйку подыскал с огородом и с коровой.

Зотов представил себе Саморукова — и в нем забулькало. Эту породу он ненавидел, как фашистов, угроза от них была не меньше. Он не пони-

мал, почему Сталин не издаст указа — таких Саморуковых расстреливать тут же, в двух шагах от ларька, при стечении народа.

«Нет, Саморуков не пойдет», — соображал и Зотов. И злясь, и подло робея перед ним, Зотов не решился бы его тронуть, если б эти нерасторопные ребята не ели три или пять только дней. Но — одиннадцать!

— Ты вот что, Гуськов, ты не посылай бойца, а пойди к нему сам. И не говори, что четыре человека голодных, а скажи, что срочно вызывает капитан — через меня, понял? И пусть идет ко мне. А я — договорюсь!

Гуськов молчал.

— Ну, чего молчишь? Приказание понял? «Есть» — и отправляйся.

— А вы капитана спрашивали?

— Да тебе какое дело? Отвечаю — я! Капитан вышел, нет его сейчас.

— И капитан ему не прикажет, — рассудил Гуськов. — Такого порядка нет, чтоб ночью пломбу снимать и опять ставить из-за двух буханок да трех селедок.

И то была правда.

— А чего спешка такая? — размышлял Гуськов. — Пусть до десяти утра подождут. Одна ночь, подумаешь! На брюхо лег, спиной укрылся.

— Да у них эшелон сейчас уходит. Быстрый такой эшелон, жалко их отцеплять, они без того застряли. Груз-то их где-то ждут, где-то нужен.

— Так если эшелон уходит — все равно Саморуков прийти не успеет. Туда да назад по грязи, хоть и с фонарем, — полтора часа, не меньше. Два.

Опять-таки разумно расположил Гуськов...

Не разжимая челюстей, в шизаке буденовки с опущенными ушами, дочерна обветренный, Дыгин впивался в трубку — понять, что же толкуют с той стороны.

— И за сегодня пропало, — потерянно кивнул он теперь.

Зотов вздохнул, отпустил клапан, чтобы Гуськов не слышал.

— Ну, что делать, братец? Сегодня не выйдет. Может, до Грязей идите с этим эшелонем? Эшелон хороший, к утру — там.

И уговорил бы, но Дыгин уже почувствовал в этом лейтенанте слабину.

— Не поеду. Арестуйте. Не поеду.

В стекло двери постучали. Какой-то дородный гражданин в шерстяном широком кепи в черно-серую рябинку стоял там. С вежливым поклоном он, видимо, спрашивал разрешения, но здесь не было слышно.

— Ну-ну! Войдите! — крикнул Зотов. И нажал клапан трубки: — Ладно, Гуськов, положи трубку, я подумаю.

Мужчина за дверью не сразу понял, потом отворил немного и еще раз спросил:

— Разрешите войти?

Зотова удивил его голос — богатый, низкий и благородно-сдерживаемый, чтобы не хвалиться. Одет он был в какую-то долгополую, но с окороченными рукавами, тяжелую рыжую куртку невоенного образца, обут же — в красноармейские ботинки с обмотками. В руке он держал красноармейский небольшой засаленный вещмешок. Другой рукой, входя, он приподнял солидную кепку и поклонился обоим:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте.

— Скажите, пожалуйста, — очень вежливо, но и держась осанисто, как если б одет был не странно, а весьма даже порядочно, спросил вошедший, — кто здесь военный комендант?

— Дежурный помощник. Я.

— Тогда, вероятно, я — к вам.

Он поискал, куда деть рябую кепку, припыленную, кажется, и углем, не нашел, поджал ее под локоть другой руки, а освободившееся озабоченно стал расстегивать свой суконник. Суконник его был вовсе без ворота, а верхней, ворот был оторван, и теплый шерстяной шарф окутывал оголенную шею. Расстегнувшись, подо всем этим вошедший открыл летнее, сильно выгоревшее, испачканное красноармейское обмундирование — и еще стал отстегивать карман гимнастерки.

— Подождите-подождите, — отмахнулся Зотов. — Так вот что... — Он шурился на угрюмого неподвижного Дыгина. — Что в моей власти полнотью, то я тебе сделаю: отцеплю тебя сейчас. В десять часов утра отваришься...

— Спасибо, — сказал Дыгин и смотрел налитыми глазами.

— Да не спасибо, а вообще-то не положено. С таким хорошим эшелом идешь. Теперь к чему тебя прицепят — не знаю.

— Да уж две недели тащимся. Сутки больше, сутки меньше, — оживился Дыгин. — Груз я свой вижу.

— Не-ет, — поднял палец Зотов и потряс. — Нам с тобой судить нельзя. — Покосился на постороннего, подошел к Дыгину плотно и сказал еле внятно, но так же заметно окая: — Раз уж ты свой груз видишь — сообщи. Твоими лопатками сколько окопаться может? Две дивизии! А в землю влезть — это жизнь сохранить. Двадцать тысяч лопаток — это двадцать тысяч красноармейских жизней. Так?

Зотов опять покосился. Вошедший, поняв, что он мешает, отошел к стене, отвернулся и свободной рукой по очереди закрывал — нет, не закрывал, а грел уши.

— Что? Замерзли? — усмехнулся Зотов громко.

Тот обернулся, улыбаясь:

— Вы знаете, страшно похолодало. Ветер — безумный. И мокрый какой-то.

Да, ветер свистел, обтираясь об угол здания, и позвенивал непримечательным стеклом в правом окне, за шторкой. И опять пожуркивала вода из трубы.

Очень симпатичная, душу растворяющая улыбка была у этого небритого чудака. Он и стрижен не был наголо. Короткие и негустые, но покрывали его крупную голову мягкие волосы, сероватые от искорок седины.

Не был он похож ни на бойца, ни на гражданского.

— Вот, — держал он в руке приготовленную бумажку. — Вот моя...

— Сейчас, сейчас. — Зотов взял его бумажку, не глядя. — Вы... присядьте. Вот на этот стул можете. — Но еще взглянув на его шутовской кафтан, вернулся к столу, шифровку и ведомости собрал, запер в сейф, тогда кивнул Дыгину и вышел с ним к военному диспетчеру.

Она что-то доказывала по телефону, а тетя Фрося, на короточках присев к печи, обсушивалась. Зотов подошел к Подшебякиной и взял ее за руку — за ту, которая держала трубку.

— Валюша...

Девушка обернулась живо и посмотрела на него с игринкой — так, показалось ей, ласково он ее взял и держал за руку. Но еще кончила в телефон:

— А тысяча второй на проход идет, у нас к нему ничего. На тамбовскую забирай его, Петрович!..

— Валечка! Пошли быстренько тетю Фросю или переписать, или прямо сцепщикам показать эти четыре вагона, вот младший сержант с ней пойдет, — и пусть диспетчер их отцепит и отсунет куда-нибудь с прохода до утра.

Тетя Фрося с корточек, как сидела, большим суровым лицом обернулась на лейтенанта и сдвинула губу.

— Хорошо, Василь Васильич,— улыбнулась Валя. Она без надобности так и держала руку с трубкой, пока он не снял своих пальцев.— Пошлю сейчас.

— А состав тот — с первым же паровозом отправлять. Постарайся.

— Хорошо, Василь Васильич,— радостно улыбалась Валя.

— Ну, всё! — объявил лейтенант Дыгину.

Тетя Фрося вздохнула, как кузнечный мех, крикнула и распрямылась.

Дыгин молча поднял руку к виску и подержал так. Лопухий он был от распущенного шлема, и ничего в нем не было военного.

— Только мобилизован? Из рабочих, небось?

— Да.— Дыгин твердо благодарно смотрел на лейтенанта.

— Треугольничек-то привинти,— указал ему Зотов на пустую петлицу.

— Нету. Сломался.

— И шлем или уж застегни, или закатай, понял?

— Куда закатывать? — огрызнулась тетя Фрося уже в плаще.— Там дряпня заворачивает! Пошли, милоч!

— Ну, ладно, счастливого! Завтра тут другой будет лейтенант, ты на него нажимай, чтоб отправлял.

Зотов вернулся к себе, притворил дверь. Он и сам четыре месяца назад понятия не имел, как затягивать пояс, а поднимать руку для отдачи приветствия казалось ему особенно нелепо и смешно.

При входе Зотова посетитель не встал со стула полностью, но сделал движение, изъяслявшее готовность встать, если нужно. Вещмешок теперь лежал на полу, и мелко-рябое кепи покрывало его.

— Сидите, сидите.— Зотов сел за стол.— Ну, так что?

Он развернул бумажку.

— Я... от эшелона отстал...— виновато улыбнулся тот.

Зотов читал бумажку — это был догонный лист от ряжского военного коменданта — и, взглядывая на незнакомца, задавал контрольные вопросы:

— Ваша фамилия?

— Тверитинов.

— А зовут вас?

— Игорь Дементьевич.

— Это вам уже больше пятидесяти?

— Нет, сорок девять.

— Какой был номер вашего эшелона?

— Понятия не имею.

— Что ж, вам не объявляли номера?

— Нет.

— А почему здесь поставлен? Назвали его — вы?

(Это был 245413-й — тот арчединский, который Зотов проводил прошлой ночью.)

— Нет. Я рассказал в Ряжке, откуда и когда он шел — и комендант, наверно, догадался.

— Где вы отстали?

— В Скопине.

— Как же это получилось?

— Да если откровенно говорить... — та же сожалительная улыбка тронула крупные губы Тверитинова, — пошел... вещички поменять. На съестное что-нибудь... А эшелон ушел. Теперь без гудков, без звонков, без радио — так тихо уходят.

— Когда это было?

— Позавчера.

— И не успеваете догнать?

— Да, видимо, нет. И — чем догонять? На платформе — дождь. На площадке вагонной, знаете, такая с лесенкой — сквозняк ужасный, а то и часовые сгоняют. В теплушки не пускают: или права у них нет, или места у них нет. Видел я однажды пассажирский поезд, чудо такое, так кондукторы стоят на ступеньках по двое и прямо, знаете, сталкивают людей, чтоб не хватались за поручни. А товарные — когда уже тронутся, тогда садиться поздно, а пока стоят без паровоза — в какую сторону они пойдут, не догадаешься. Эмалированной дощечки «Москва—Минеральные воды» на них нет. Спрашивать ни у кого нельзя, за шпиона посчитают, к тому ж я так одет... Да вообще у нас задавать вопросы опасно.

— В военное время, конечно.

— Да оно и до войны уже было.

— Ну, не замечал!

— Было, — чуть сощурился Тверитинов. — После тридцать седьмого...

— А — что тридцать седьмой? — удивился Зотов. — А что было в тридцать седьмом? Испанская война?

— Да нет... — опять с той же виноватой улыбкой потупился Тверитинов. — Нет...

Мягкий серый шарф его распустился и в распахе суконника свисал ниже пояса.

— А почему вы не в форме? Шинель ваша где?

— Мне вообще шинели не досталось. Не выдали... — улыбнулся Тверитинов.

— А откуда этот... чапан?

— Люди добрые дали...

— М-м-да... — Зотов подумал. — Но вообще я должен сказать, что вы довольно быстро еще добрались. Вчера утром вы были у рязжского коменданта, а сегодня вечером уже здесь. Как же вы ехали?

Тверитинов смотрел на Зотова в полноту своих больших доверчивых мягких глаз. Зотову была на редкость приятна его манера говорить; его манера останавливаться, если казалось, что собеседник хочет возразить; его манера не размахивать руками, а как-то легкими движениями пальцев пояснять свою речь.

— Мне исключительно повезло. На какой-то станции я вылез из полувагона... Я за эти два дня стал разбираться в железнодорожной терминологии. «Полувагон» — я считал, в нем должно же быть что-то от вагона, ну, хотя бы полкрыши. Я залез туда по лесенке, а там просто железная яма, капкан, и сесть нельзя, прислониться нельзя: там прежде был уголь, и на ходу пыль взвихривается и все время кружит. Досталось мне там. Тут еще и дождь пошел...

— Так в чем же вам повезло? — расхохотался Зотов. — Не понимаю. Вон одежонку испачкали как!

Когда он смеялся, две большие добрые смеховые борозды ложились по сторонам его губ — вверх до разляпистого носа.

— Повезло, когда я вылез из полувагона, отряхнулся, умылся и вижу: цепляют к одному составу паровоз на юг. Я побежал вдоль состава — ну, ни одной теплушки, и все двери запломбированы. И вдруг смотрю — какой-то товарищ вылез, постоял по надобности и опять лезет в незакрытый холодный вагон. Я — за ним. А там, представляете, — полный вагон ватных одеял!

— И не запломбирован?!

— Нет! Причем, видимо, они сперва были связаны пачками, там по

десять или по пять, а теперь многие пачки развязаны, и очень удобно в них зарыться. И несколько человек уже спят!

— Ай-йяй-йяй!

— Я в три-четыре одеяла замотался и так славно, так сладко спал — целые сутки напролет! Ехали мы или стояли — ничего не знаю. Тем более третий день мне пайка не дают — я спал и спал, всю войну забыл, все окружение... Видел родных во сне...

Его небритое мятое лицо светилось.

— Стоп! — спохватую сорвался Зотов со стула. — Это в том составе... Вы с ним приехали — когда?

— Да вот... минут — сколько? Сразу к вам пришел.

Зотов кинулся к двери, с силой размахнул ее, выскочил:

— Валя! Валя! Вот этот проходной на Балашов, тысяча какой-то по-вашему...

— Тысяча второй.

— Он еще здесь?

— Ушел.

— Это — точно?

— Точно.

— Ах, черт!! — схватился он за голову. — Сидим тут, бюрократы проклятые, бумажки перекладываем, ничего не смотрим, хлеб зря едим! А ну-ка, вызовите Мичуринск-Уральский!

Он заскочил опять к себе и спросил Тверитинова:

— А вы номер вагона не помните?

— Нет, — улыбнулся Тверитинов.

— Вагон — двухосный или четырехосный?

— Я этого не понимаю...

— Ну как не понимаете! Маленький или большой? На сколько тонн?

— Как в гражданскую войну говорилось: «Сорок человек, восемь лошадей».

— Так, шестнадцать тонн, значит. И — конвоя не было?

— Да как будто нет.

— Василь Васильич! — крикнула Валя. — Военный диспетчер на проводе. Вам — коменданта?

— Да, может, и не коменданта, груз, может, и не военный.

— Так тогда разрешите, я сама выясню?

— Ну, выясните, Валечка! Может, эти одеяла просто эвакуируются, шут их там знает. Пусть пройдут внимательно, найдут этот вагон, определяют принадлежность, сактируют, запломбируют — одним словом, разберутся!

— Хорошо, Василь Васильич.

— Ну, пожалуйста, Валечка. Ну, вы — очень ценный работник!

Валя улыбнулась ему. Кудряшки засыпали все ее лицо.

— Але! Мичуринск-Уральский!..

Зотов затворил дверь и, еще волнуясь, прошел по комнате, побил пястью о пясть.

— Работы — не охватить, — окал он. — И помощника не дают!.. Ведь эти одеяла шутя могут разворовать. Может, уже недостача.

Он еще походил, сел. Снял очки протереть тряпочкой. Лицо его сразу потеряло деловитость и быстрый смысл, стало ребяческое, защищенное только зеленой фуражкой.

Тверитинов терпеливо ждал. Он обошел безрадостным взглядом шторы маскировки, цветной портрет Кагановича в мундире железнодорожного маршала, печку, ведро, совок. В натопленной комнате суконник его, ометенный угольной пылью, начинал тяготить Тверитинова. Он откинул его по-за плечи, а шарф снял.

Лейтенант надел очки и опять смотрел в догонный лист. Догонный лист, собственно, не был настоящим документом, он составлен был со слов заявителя и мог содержать в себе правду, а мог и ложь. Инструкция требовала крайне пристально относиться к окружающим, а тем более — одиночкам. Тверитинов не мог доказать, что он отстал именно в Скопине. А может быть, в Павельце? И за это время съездил в Москву или еще куда-нибудь по заданию?

Но в его пользу говорило, что уж очень быстро он добрался.

Впрочем, где гарантия, что он именно из этого эшелона?

— Так вам тепло было сейчас ехать?

— Конечно. Я б с удовольствием и дальше так поехал.

— Зачем же вы вылезли?

— Чтоб явиться к вам. Мне так велели в Рязске.

На большой голове Тверитинова все черты были крупны: лоб широк и высок, брови густые, крупные, и нос большой. А подбородок и щеки заросли равномерной серо-седоватой щетиной.

— Откуда вы узнали, что это Кречетовка?

— Грузин какой-то спал рядом, он мне сказал.

— Военный? В каком звании?

— Я не знаю, он из одеял только голову высунул.

Тверитинов стал отвечать как-то печально, как будто с каждым ответом теряя что-то.

— Ну, так.— Зотов отложил догонный лист.— Какие у вас есть еще документы?

— Да никаких,— грустно улыбнулся Тверитинов.— Откуда ж у меня возьмутся документы?

— Н-да... Никаких?

— В окружении мы нарочно уничтожали, у кого что было.

— Но сейчас, когда вас принимали на советской территории, вам же должны были выдать что-то на руки?

— Ничего. Составили списки, разбили по сорок человек и отправили.

Верно, так и должно было быть. Пока человек не отстал, он член со-роковки, не нужны ему документы.

Но свое невольное расположение к этому воспитанному человеку с такой достойной головой Зотову все же хотелось подтвердить хоть каким-нибудь материальным доказательством.

— Ну что-нибудь! Что-нибудь бумажное у вас в карманах осталось?

— Ну только разве... фотокарточки. Семьи.

— Покажите! — не потребовал, а попросил лейтенант.

У Тверитинова слегка поднялись брови. Он еще улыбнулся той растерянной или не могущей выразить себя улыбкой и из того же кармана гимнастерки (другой у него не застегивался, не было пуговицы) вынул плоский сверток плотной оранжевой бумаги. Он развернул его на коленях, достал две карточки девять на двенадцать, сам еще взглянул на ту и другую, потом привстал, чтобы поднести карточки коменданту, — но от стула его до стола было недалеко, Зотов переклонился и принял снимки. Он стал рассматривать их, а Тверитинов, продолжая держать разогнутую обертку у колена, выпрямил спину и тоже пытался издали смотреть.

На одной из карточек в солнечный день в маленьком саду и, наверно, ранней весной, потому что листочки еще были крохотные, а глубина деревьев — сквозистая, снята была девочка лет четырнадцати в полосатеньком сереньком платьице с перехватом. Из открытого ворота возвышалась длинная худая шейка, и лицо было вытянутое, тонкое — на снимке хоть и неподвижное, а как бы вздрогнувшее. Во всем снимке было что-то недозревшее, недосказанное, и получился он не веселый, а щемящий.

Девчушка очень понравилась Зотову. Его губы распустились.

— Как зовут? — тихо спросил он.

Тверитинов сидел с закрытыми глазами.

— Ляля, — еще тише ответил он. Потом открыл веки и поправился: — Ирина.

— Когда снята?

— В этом году.

— А где это?

— Под Москвой.

Полгода! Полгода прошло с минуты, когда сказали: «Ляленька! Снимаю!» — и шелкнули затвором, но уже грохнули десятки тысяч стволов с тех пор, и вырвались миллионы черных фонтанов земли, и миллионы людей прокружились в какой-то проклятой карусели — кто пешком из Литвы, кто поездом из Иркутска. И теперь со станции, где холодный ветер нес перемесь дождя и снега, где изнывали эшелоны, безутолку толпошились днем и на черных полах распологом спали ночью люди, — как было поверить, что и сейчас есть на свете этот садик, эта девочка, это платье?!

На втором снимке женщина и мальчик сидели на диване и рассматривали большую книжку с картинками во весь лист. Мать тоже была художавая, тонкая, наверно высокая, а семилетний мальчик с плотным лицом и умным-преумным выражением смотрел не в книжку, а на мать, объяснявшую ему что-то. Глаза у него были такие же крупные, как у отца.

И вообще все они в семье были какие-то отборные. Самому Зотову никогда не приходилось бывать в таких семьях, но мелкие засечки памяти то в Третьяковской галерее, то в театре, то при чтении незаметно сложились в понятие, что такие семьи есть. Их умным уютом пахло на Зотова с двух этих снимков.

Возвращая их, Зотов заметил:

— Да вам жарко. Вы разденьтесь.

— Да, — согласился Тверитинов и снял суконник. Он затруднился, куда его деть.

— Вон, на диван, — показал Зотов и даже сделал движение положить сам.

Теперь обнаружили латки, надорванность, разнота пуговиц летней обмундировки Тверитинова и неумелость с обмотками: свободные витки их сползали и побалтывались. Вся одежда такая казалась издевательством над его большой седоватой головой.

Зотов уже не сдерживал симпатии к этому уравновешенному человеку, не зря так сразу понравившемуся ему.

— А кто вы сами? — с уважением спросил он.

Грустно заворачивая карточки в оранжевую бумагу, Тверитинов усмехнулся своему ответу:

— Артист.

— Да-а? — поразился Зотов. — Как это я не догадался сразу! Вы очень похожи на артиста!..

(Сейчас-то он менее всего походил!..)

— ...Заслуженный, наверно?

— Нет.

— Где ж вы играли?

— В Драматическом, в Москве.

— В Москве я только один раз был — во МХАТе, мы экскурсией ездили. А вот в Иванове часто бывал. Вы — ивановский новый театр не видели?

— Нет.

— Снаружи — так себе, коробка серая, железобетонный стиль, а внутри — замечательно! Я очень любил бывать в театрах, ведь это не просто развлечение, ведь в театрах учишься, верно?..

(Конечно, акты о сгоревшем эшелоне кричали, что в них надо разбираться, но на то нужно было полных два дня все равно. А лестно познакомиться и часок поговорить с большим артистом!)

— В каких же ролях вы играли?

— Многих, — невесело улыбнулся Тверитинов. — За столько лет не перечислишь.

— Ну все-таки? Например?

— Ну... подполковник Вершинин... доктор Ранк...

— У-гм... у-гм... (Не помнил Зотов таких ролей.) А в пьесах Горького вы не играли?

— Конечно, обязательно.

— Я больше всего люблю пьесы Горького. И вообще — Горького! Самый наш умный, самый гуманный, самый большой писатель, вы согласны?

Тверитинов сделал бровями усилие найти ответ, но не нашел его и промолчал.

— Мне кажется, я даже фамилию вашу знаю. Вы — не заслуженный? Зотов слегка покраснел от удовольствия разговора.

— Был бы заслуженный, — чуть развел руками Тверитинов, — пожалуй, здесь бы не был сейчас.

— Почему?.. Ах, ну да, вас бы не мобилизовали.

— Нас и не мобилизовали. Мы шли — в ополчение. Мы записывались добровольно.

— Ну, так добровольно записывались, наверно, и заслуженные?

— Записывались все, начиная с главных режиссеров. Но потом некто после какого-то номера провел черту, и выше черты — остались, ниже черты — пошли.

— И было у вас военное обучение?

— Несколько дней. Штыковому бою. На палках. И как бросать гранаты. Деревянные.

Глаза Тверитинова уперлись в какую-то точку пола так прочно, что казались остеклелыми.

— Но потом вас — вооружили?

— Да, уже на марше подбрасывали винтовки. Образца девяносто первого года. Мы до самой Вязьмы шли пешком. А под Вязьмой попали в котел.

— И много погибло?

— Я так думаю, в плен больше попало. Небольшая нас группка слилась с окруженцами-фронтовиками, они нас и вывели. Я даже не представляю сейчас, где фронт? У вас карты нет?

— Карты нет, сводки неясные, но я так могу вам сказать: Севастополь с кусочком наш, Таганрог у нас, Донбасс держим. А вот Орел и Курск — у них...

— Ой-йо-йо!.. А под Москвой?

— Под Москвой особенно непонятно. Направления уже почти дачные. А Ленинград — тот вообще отрезан...

Лоб Зотова и вся полоса глаз сдвинулись в морщины страдания:

— А я не могу попасть на фронт!

— Попадете еще.

— Да вот разве потому только, что война — не на год.

— Вы были студент?

— Да! Собственно, мы защищали дипломы уже в первые дни войны... Какая уж там защита!.. Мы должны были к декабрю их готовить. Тут

нам сказали: тащите, у кого какие чертежи, расчеты, и ладно.— Зотову стало интересно, свободно, он захлебывался все сразу рассказать.— Да ведь все пять лет... Мы поступали в институт — уже поднял мятеж Франко! Потом сдали Австрию! Чехословакию! Тут началась мировая война! Тут — финская! Вторжение Гитлера во Францию! в Грецию! в Югославию!.. С каким настроением мы могли изучать текстильные машины?! Но дело не в этом. После защиты дипломов ребят послали сразу на курсы при Академии моторизации-механизации, а я из-за глаз отстал, очень близорукий. Ну, ходил штурмовал военкомат каждый день, каждый день. У меня опыт еще с тридцать седьмого года... Единственное, чего добился — дали путевку в Интендантскую академию. Ладно. Я с этой путевкой проезжал Москву, да и сунулся в Наркомат обороны. Допросился к какому-то полковнику старому, он спешил ужасно, уже портфель застегивал. Так, мол, и так, я инженер, не хочу быть интендантом. «Покажите диплом!». А диплома со мной нет... «Ладно, вот тебе один только вопрос, ответишь — значит, инженер: что такое кривошип?» Я ему чеканю с ходу: «Устройство, насаженное на ось вращения и шарнирно соединенное с шатуном для...» Зачеркнул Интендантскую, пишет: «В Транспортную академию». И убежал с портфелем. Я — торжествую! А приехал в Транспортную — набора нет, только курсы военных комендантов. Не помог и кривошип!..

Вася знал, что не время сейчас болтать, вспоминать, но уж очень был редок случай отвести душу с внимательным интеллигентным человеком.

— Да вы курите, наверно? — опомнился Вася.— Курите же, пожалуйста... — он скопился на догонный лист... — Игорь Дементьевич. Вот табак, вот бумага — мне выдают, а я не курю.

Он достал из ящика пачку легкого табака, едва начатую, и подвинул Игорю Дементьевичу.

— Курю, — сознался Игорь Дементьевич, и лицо его озарилось предвкушением. Он приподнялся, наклонился над пачкой, но не стал сразу сворачивать, а сперва просто набрал в себя табачного духу и, кажется, чуть престонал. Потом прочел название табака, покрутил головой: — Армянский...

Свернул толстую папиросу, склеил языком, и тут же Вася поджег ему спичку.

— А в ватных одеялах — там никто не курит? — осведомился Зотов.

— Я не заметил, — уже блаженно откинулся Игорь Дементьевич. — Наверно, не было ни у кого.

Он курил с прищуренными глазами.

— А что вы упомянули о тридцать седьмом? — только спросил он.

— Ну, вы же помните обстановку тех лет! — горячо рассказывал Вася.— Идет испанская война! Фашисты — в Университетском городке. Интербригада! Гвадалахара, Харама, Теруэль! Разве усидишь? Мы требуем, чтобы нас учили испанскому языку — нет, учат немецкому. Я достаю учебник, словарь, запускаю зачеты, экзамены — учу испанский. Я чувствую по всей ситуации, что мы там участвуем, да революционная совесть не позволит нам остаться в стороне! Но в газетах ничего такого нет. Как же мне туда попасть? Очевидно, что просто бежать в Одессу и садиться на корабль — это мальчишество, да и пограничники. И вот я — к начальнику четвертой части военкомата, третьей части, второй части, первой части: пошлите меня в Испанию! Сменяются: ты с ума сошел, там никого наших нет, что ты будешь делать?.. Вы знаете, я вижу, как вы любите курить, забирайте-ка эту пачку всю себе! Я все равно для угощения держу. И на квартире еще есть. Нет уж, пожалуйста, положите ее в вещмешок, завяжите, тогда поверю!.. Табачок теперь — «проходное свидетельство», пригодится вам в пути... Да, и вдруг, понимаете, читаю

в «Красной звезде», а я все газеты сплошь читал, цитируют французского журналиста, который, между прочим, пишет: «Германия и СССР рассматривают Испанию как опытный полигон». А я — дотошный. Выпросил в библиотеке этот номер, подождал еще дня три, не будет ли редакционного опровержения. Его нет. Тогда иду к самому военному и говорю: «Вот, читайте. Опровержения не последовало, значит, факт, что мы там воюем. Прошу послать меня в Испанию простым стрелком!» А военком как хлопнет по столу: «Вы — не провоцируйте меня! Кто вас подослал? Надо будет — позовем. Кру-гом!»

И Вася сердечно рассмеялся, вспоминая. Смеховые бороздки опять легли по его лицу. Очень непринужденно ему стало с этим артистом и хотелось рассказать еще о приезде испанских моряков, и как он держал к ним ответную речь по-испански, и расспросить, что и как было в окружении, вообще поговорить о ходе войны с развитым, умным человеком.

Но Подшебякина приоткрыла дверь:

— Василь Васильич! Диспетчер спрашивает: у вас есть что-нибудь к семьсот девяносто четвертому? А то мы его на проход пустим.

Зотов посмотрел в график:

— Это какой же? На Поворино?

— Да.

— Он уже здесь?

— Минут через десять подойдет.

— Там что-то грузов наших мало. Что там еще?

— Там промышленные грузы и несколько пассажирских теплушек.

— Ах, вот замечательно! Замечательно! Игорь Дементьевич, вот на этот я вас и посажу! Это очень для вас хороший поезд, вылезать не надо. Нет, Валечка, мои грузы идут там целиком, можно на проход. Пусть при-муд его тут поближе, на первый или на второй, скажи.

— Хорошо, Василь Васильич.

— А насчет одеял ты все передала?

— Все точно, Василь Васильич.

Ушла.

— Жалко только одно, что накормить мне вас нечем, ни сухаря тут в ящике нет.— Зотов выдвинул ящик, как бы все же не уверенный, может, сухарь-то и есть. Но паек его был как паек, и хлеб, приносимый на дежурство, Вася съедал с утра.— А ведь вы с тех пор, как отстали, ничего не едите?

— Не беспокойтесь, ради бога, Василь Васильич.— Тверитинов при-ложил развернутый веер из пяти пальцев к своей засмороженной гимна-стерке с разными пуговицами.— Я и так бесконечно вам благодарен.— И взгляд и голос его уже не были печальны.— Вы меня пригрели бук-вально и переносно. Вы — добрый человек. Время такое тяжелое, это очень ценить. Теперь, пожалуйста, объясните мне, куда же я поеду и что мне делать дальше?

— Сперва вы поедете, — с удовольствием разъяснял Зотов, — до стан-ции Грязи. Вот жалко. карты нет. Представляете, где это?

— Н-не очень... Название слышал, кажется.

— Да известная станция! Если в Грязях вы будете днем, пойдите с этим вашим листком — вот, я делаю на нем отметку, что вы были у меня, — пойдите к военному коменданту, он напишет распоряжение в продпункт, и вы получите на пару дней паек.

— Очень вам благодарен.

— А если ночью — сидите, не вылезайте, держитесь за этот эшелон! Вот бы влипли вы в своих одеялах, если б не проснулись — завезли б вас!.. Из Грязей ваш поезд пойдет на Поворино, но и в Поворино — разве только на продпункт, не отстаньте! — он довезет вас еще до Арче-

ды. В Арчеду-то и назначен ваш эшелон двести сорок пять четыреста тринадцать.

И Зотов вручил Тверитинову его догонный лист. Пряча лист в карман гимнастерки, все тот же, на котором застегивался клапан, Тверитинов спросил:

— Арчеда? Вот уж никогда не слышал. Где это?

— Это считайте уже под Сталинградом.

— Под Сталинградом,— кивнул Тверитинов. Но лоб его наморщился. Он сделал рассеянное усилие и переспросил:— Позвольте... Сталинград... А как он назывался раньше?

И — все оборвалось и охолонуло в Зотове! Возможно ли? Советский человек — не знает Сталинграда? Да не может этого быть никак! Никак! Никак! Это не помещается в голове!

Однако он сумел себя сдержать. Подобрался. Поправил очки. Сказал почти спокойно:

— Раньше он назывался Царицын.

(Значит, не окруженец. Подослан! Агент! Наверно, белоэмигрант, потому и манеры такие.)

— Ах, верно, верно, Царицын. Оборона Царицына.

(Да не офицер ли он переодетый? То-то карту спрашивал... И слишком уж переиграл с одежкой.)

Враждебное слово это — «офицер», давно исчезнувшее из русской речи, даже мысленно произнесенное, укололо Зотова, как штык.

(Ах, спростовал! Ах, спростовал! Так, спокойствие. Так, бдительность. Что теперь делать? Что теперь делать?)

Зотов нажал один долгий зуммер в полевом телефоне.

И держал трубку у уха, надеясь, что сейчас капитан снимет свою.

Но капитан не снимал.

— Василь Васильич, мне все-таки совестно, что я вас обобрал на табак.

— Ничего. Пожалуйста,— отклонил Зотов.

(Тюха-матюха! Раскис. Расстилался перед врагом, не знал, чем угодить.)

— Но уж тогда разрешите — я еще разик у вас надымлю. Или мне выйти?

(Выйти ему?! Прозрачно! Понял, что промах дал, теперь хочет смыться.)

— Нет-нет, курите здесь. Я люблю табачный дым.

(Что же придумать? Как это сделать?..)

Он нажал зуммер трижды. Трубку сняли:

— Караульное слушает.

— Это Зотов говорит.

— Слушаю, товарищ лейтенант.

— Где там Гуськов?

— Он... вышел, товарищ лейтенант.

— Куда это — вышел? Что значит — вышел? Вот обеспечить, чтобы через пять минут он был на месте.

(К бабе пошел, негодяй!)

— Есть обеспечить.

(Что же придумать?)

Зотов взял листок бумаги и, заслоня от Тверитинова, написал на нем крупно: «Валя! Войдите к нам и скажите, что 794-й опаздывает на час».

Он сложил бумажку, подошел к двери и отсюда сказал, протянув руку:

— Товарищ Подшебякина! Вот возьмите. Это насчет того транспорта.

— Какого, Василь Васильич?

— Тут номера написаны.

Подшебякина удивилась, встала, взяла бумажку. Зотов, не дожидаясь, вернулся.

Тверитинов уже одевался.

— Мы поезда не пропустим? — доброжелательно улыбался он.

— Нет, нас предупредят.

Зотов прошелся по комнате, не глядя на Тверитинова. Осадил сборки гимнастерки под ремнем на спину, пистолет перевел со спины на правый бок. Поправил на голове зеленую фуражку. Абсолютно нечего было делать и не о чем говорить.

А лгать Зотов — не умел.

Хоть бы говорил что-нибудь Тверитинов, но он молчал скромно.

За окном иногда журчала струйка из трубы, отметаемая и разбираемая ветром.

Лейтенант остановился около стола и, держась за угол его, смотрел на свои пальцы.

(Чтобы не дать заметить перемены, надо было смотреть по-прежнему на Тверитинова, но он не мог себя заставить.)

— Итак, через несколько дней — праздник! — сказал он. И насто- рожился.

(Ну, спроси, спроси: как о й праздник? Тогда уж последнего сомнения не будет.)

Но гость отозвался:

— Да-а...

Лейтенант взбросил на него взгляд. Тот продолжительно кивал, куря.

— Интересно, будет парад на Красной площади?

(Какой уж там парад! Он и не думал об этом, а просто так, чтобы время занять.)

В дверь постучали.

— Разрешите, Василий Васильевич? — Валя просунула голову. Тверитинов увидел ее и потянулся за вещмешком. — Семьсот девяносто четвертый задержали на перегоне. Придет на час позже.

— Да-а-а! Вот какая досада. (Его самого резала противная фальшь своего голоса.) Хорошо, товарищ Подшебякина.

Валя скрылась.

За окном близко, на первом пути, послышалось сдержанное дыхание паровоза, замедляющийся к остановке стук состава; передалось подрагивание земли.

— Что же делать? — размышлял вслух Зотов. — Мне ведь надо идти на продпункт.

— Так я выйду, я — где угодно, пожалуйста, — охотливо сказал Тверитинов, улыбаясь и вставая уже с вещмешком в руках.

Зотов снял с гвоздя шинель.

— А зачем вам мерзнуть где попало? В станционный залик не вступите, там на полу лежат сплошь. Вы не хотите пройти со мной на продпункт?..

Это звучало как-то неубедительно, и он добавил, чувствуя, что краснеет:

— Я... может быть, сумею вам... там... устроить что-нибудь поесть. Если б еще Тверитинов не обрадовался! Но он просиял:

— Это уж был бы с вашей стороны верх добросердечия. Я не смею вас просить.

Зотов отвернулся, осмотрел стол, тронул дверцу сейфа, потушил свет:

— Ну, пойдите.

Запирая дверь, сказал Вале:

— Если вызовут с телеграфа, я скоро вернусь.

Тверитинов выходил перед ним в своем дурацком чапане и расслабленных, сбивающихся обмотках.

Через холодный темный коридорчик с синей лампочкой они вышли на перрон.

В черноте ночи под неразличимым небом косо неслись влажные, тяжелые, не белые вовсе хлопья дряпни — не дождя и не снега.

Прямо на первом пути стоял поезд. Он весь был черен, но немного чернее неба — и так угадывались его вагоны и крыши. Слева, куда протянулся паровоз, огнедышаще светился зольник, сыпалась жаркая светящаяся зола на полотно и относилась в сторону быстро. Еще дальше и выше — ни на чем висел одинокий круглый зеленый огонь. Направо, к хвосту поезда, где-то вспрыскивали струйки огненных искр над вагонами. Туда, к этим искоркам жизни, по перрону торопились темные фигуры, больше бабьи. Сливалось тяжелое дыхание многих от чего-то невидимого навьюченного, громоздкого. Тянули за собой плачущих и молчаливых детей. Кто-то вдвоем, запышенные, оттолкнув Зотова, пронесли огромный сундук, что ли. Еще кто-то за ними со скрежетом тянул волоком по перрону что-то еще тяжелее. (Именно теперь, когда такая убойная стала езда, — теперь-то все и возили с собой младенцев, бабушек, таскали мешки неподым, корзины величиной с диваны и сундуки величиной с комоды.)

Если б не зола под паровозом, не семафор, не искры теплушечных труб да не приглушенный огонек фонаря, промелькнувший где-то на дальних путях, — поверить было бы нельзя, что многие эшелоны сбились тут и что это станция, а не дремучий лес, не темное чистое поле, в медлительных годовых переменах уже покорно готовое к зиме.

Но слышало ухо: лязганье сцепов, рожок стрелочника, пыхтение двух паровозов, топот и гомон всполошенных людей.

— Нам сюда! — позвал Зотов в проходик, в сторону от перрона.

У него был фонарик с осиненным стеклышком, и он несколько раз посветил под ноги, чтоб и Тверитинов видел.

— Ох! Чуть фуражку не сорвало! — пожаловался Тверитинов.

Лейтенант шел молча.

— Снег не снег, за воротник лезет, — поддерживал тот разговор.

У него и воротника-то не было.

— Здесь будет грязно, — предупредил лейтенант.

И они вступили в самую хлюпающую, чвакающую грязь, не разобравшись было дороги посуше.

— Стой!! Кто идет? — оглушающе крикнул часовой где-то близко.

Тверитинов сильно вздрогнул.

— Лейтенант Зотов.

Так напрямик, выше шиколотки в грязи и, где гуще, с усилием вытягивая ноги, они обошли флигель продпункта и с другой стороны взошли на крылечко. Постучали сильно ногами и с плеч сбили мокроту. Еще посветив фонариком в сенях, лейтенант ввел Тверитинова в общее помещение с пустым столом и двумя лавками (бойцы продпункта обедали здесь и проходили занятия). Давно искали шнура провести сюда лампочку, но и по сегодня небеленая тесовая комната эта слабо и неровно освещена была фонарем, поставленным на стол. Углы скрадывались темнотой.

Открылась дверь дежурки. Освещенный сзади электричеством, а спереди темный, стал в двери боец.

— Где Гуськов? — строго спросил Зотов.

— Стой!! Кто идет? — рывкнули снаружи.

На крыльце затопали, вошел Гуськов и бегавший за ним красноармеец.

— Явился, товарищ лейтенант.— Гуськов сделал только приблизительное движение, похожее на отдачу приветствия. На лице Гуськова, всегда немного нахальном, Зотов и в полусвете угадал сейчас недовольные подергивания — из-за того, что отрывал его по пустякам лейтенант, которому он почти и не подчинялся.

Вдруг Зотов сердито закричал:

— Сержант Гуськов! Сколько постов положено в вашем карауле?!

Гуськов не испугался, но удивился (Зотов не кричал никогда). Тихо он ответил:

— Положено два, но вы знаете, что...

— Ничего не знаю! Как в караульном расписании стоит — так поставьте немедленно!

Губа Гуськова опять дернулась:

— Красноармеец Бобнев! Возьмите оружие, станьте на пост.

Тот боец, что привел Гуськова, обошел начальство, тяжело стуча по полу, и ушел в соседнее помещение.

— А вы, сержант, пойдете со мной в комендатуру.

Уж и так Гуськов смекнул, что случилось что-то.

Красноармеец вернулся, неся винтовку с прикинутым штыком, прошагал мимо всех четко и у двери в сени стал в позу часового.

(И вот когда овладела Зотовым робость! Не шли слова, какие сказать.)

— Вы... я... — сказал Зотов очень мягко, с трудом поднимая глаза на Тверитинова, — ...я пока по другому делу... — Он особенно явственно выговаривал сейчас «о». — А вы здесь присядьте, пожалуйста. Пока. Подождите.

Дико выглядела голова Тверитинова в широкой кепке вместе с тревожной тенью своей на стене и на потолке. Перехлестнувшийся шарф удавкой охватывал его шею.

— Вы меня здесь оставите? Но, Василь Васильич, я тут поезд пропущу! Уж разрешите, я пойду на перрон.

— Нет-нет... Вы останетесь здесь... — спешил к двери Зотов.

И Тверитинов понял:

— Вы — задерживаете меня?! — вскрикнул он. — Товарищ лейтенант, но за что?! Но дайте же мне догнать мой эшелон!

И тем же движением, каким он уже раз благодарил, он приложил к груди пять пальцев, развернутых веером. Он сделал два быстрых шага вслед лейтенанту, но сообразительный часовой выбросил винтовку штыком впереклон.

Зотову невольно пришлось оглянуться и еще раз — последний раз в жизни — увидеть при тусклом фонаре это лицо, отчаянное лицо Лира в гробовом помещении.

— Что вы делаете! Что вы делаете! — кричал Тверитинов голосом гулким, как колокол. — Ведь этого не исправиль!

Он взбросил руки, вылезавшие из рукавов, одну с вешмешком, распух до размеров своей крылатой темной тени, и потолок уже давил ему на голову.

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, — уговаривал Зотов, ногой нащупывая порог сеней. — Надо будет только выяснить один вопросик...

И ушел.

И за ним Гуськов.

Проходя комнату военного диспетчера, лейтенант сказал:

— Этот состав задержите еще.

В кабинете он сел за стол и писал.

«Оперативный пункт ТО НКВД.

Настоящим направляю вам задержанного, назвавшегося окруженцем Тверитиновым Игорем Дементьевичем, якобы отставшим в Скопине от эшелона 245413. В разговоре со мной...»

— Собирайся!— сказал он Гуськову.— Возьми бойца и отвезешь его в узел.

Прошло несколько дней, миновали и праздники.

Но не уходил из памяти Зотова этот человек с такой удивительной улыбкой и карточкой дочери в полосатеньком платице.

Все сделано было, кажется, так, как надо.

Так, да не так...

Хотелось убедиться, что он таки переодетый диверсант или уж освобожден давно. Зотов позвонил в узел, в оперативный пункт.

— А вот я посылал вам первого ноября задержанного, Тверитинова. Вы не скажете — что с ним выяснилось?

— Разбираются!— твердо ответили в телефон.— А вы вот что, Зотов. В актах о грузах, сгоревших до восьмидесяти процентов, есть неясности. Это очень важное дело, на этом кто-то может руки нагреть.

И всю зиму служил Зотов на той же станции, тем же помощником коменданта. И не раз тянуло его еще позвонить, справиться, но могло показаться подозрительным.

Однажды из узловый комендатуры приехал по делам следователь. Зотов спросил его как бы невзначай:

— А вы не помните такого Тверитинова? Я как-то осенью задержал его.

— А почему вы спрашиваете?— нахмурился следователь значительно.

— Да просто так... интересно... чем кончилось?

— Раз-берутся и с вашим Тверикиным. У нас брака не бывает.

Но никогда потом во всю жизнь Зотов не мог забыть этого человека...

Матренин двор

Иа сто восемьдесят четвертом километре от Москвы еще с добрых полгода после того все поезда замедляли свой ход почти как бы до ошупи. Пассажиры льнули к стеклам, выходили в тамбур: чинят пути, что ли? Из графика вышел?

Нет. Пройдя переезд, поезд опять набирал скорость, пассажиры усаживались.

Только машинисты знали и помнили, отчего это все.

Да я.

Летом 1953 года из пыльной горячей пустыни я возвращался наугад — просто в Россию. Ни в одной точке ее никто меня не ждал и не звал, потому что я задержался с возвратом годиков на десять. Мне просто хотелось в среднюю полосу — без жары, с листовым рокотом леса. Мне хотелось затесаться и затеряться в самой нутряной России — если такая где-то была, жила.

За год до того по сую сторону Уральского хребта я мог наняться разве

таскать носилки. Даже электриком на порядочное строительство меня бы не взяли. А меня тянуло — учительствовать. Говорили мне знающие люди, что нечего и на билет тратиться, впустую проезжу.

Но что-то начинало уже страгиваться. Когда я поднялся по лестницеского облоно и спросил, где отдел кадров, то с удивлением увидел, что кадры уже не сидели здесь за черной кожаной дверью, а за остекленной перегородкой, как в аптеке. Я подошел к окошечку робко, поклонился и попросил:

— Скажите, не нужны ли вам математики где-нибудь подальше от железной дороги? Я хочу поселиться там навсегда.

Каждую букву в моих документах перешупали, ходили из комнаты в комнату и куда-то звонили. Тоже и для них редкость была — все ведь просятся в город, да покрупней. И вдруг-таки дали мне местечко — Высокое Поле. От одного названия веселела душа.

Название не лгало. На взгорке между ложков, а потом других взгорков, цельно-обомкнутое лесом, с прудом и плотинкой, Высокое Поле было тем самым местом, где не обидно бы и жить и умереть. Там я долго сидел в рощице на пне и думал, что от души бы хотел не нуждаться каждый день завтракать и обедать, только бы остаться здесь и ночами слушать, как ветви шуршат по крыше — когда ниоткуда не слышно радио и все в мире молчит.

Увы, там не пекли хлеба. Там не торговали ничем съестным. Вся деревня волокла снесь мешками из областного города.

Я вернулся в отдел кадров и взмолился перед окошечком. Сперва и разговаривать со мной не хотели. Потом все ж ходили из комнаты в комнату, позвонили, поскрипели и отпечатали мне в приказе: «Т о р ф о п р о д у к т».

Торфопродукт? Ах, Тургенев не знал, что можно по-русски составить такое!

На станции Торфопродукт, состарившемся временном серо-деревянном бараке, висела строгая надпись: «На поезд садиться только со стороны вокзала!» Гвоздем по доскам было доцарапано: «И без билетов». А у кассы с тем же меланхолическим остроумием было навсегда вырезано ножом: «Билетов нет». Точный смысл этих добавлений я оценил позже. В Торфопродукт легко было приехать. Но не уехать.

А и на этом месте стояли прежде и перестояли революцию дремучие, непрохожие леса. Потом их вырубил — торфоразработчики и соседний колхоз. Председатель его, Шашков, свел под корень изрядно гектаров леса и выгодно сбыв в Одесскую область.

Меж торфяными низинами беспорядочно разбросался поселок — однообразные бараки тридцатых годов и, с резьбой по фасаду, с остекленными верандами, домики пятидесятых. Но внутри этих домиков нельзя было увидеть перегородки, доходящей до потолка, так что не снять мне было комнаты с четырьмя настоящими стенами.

Над поселком дымила фабричная труба. Туда и сюда сквозь поселок проложена была узкоколейка, и паровозики, тоже густо-дымящие, пронзительно свистя, таскали по ней поезда с бурым торфом, торфяными плитами и брикетами. Без ошибки я мог предположить, что вечером над дверьми клуба будет надрываться радиола, а по улице пображивать пьяные — не без того, чтобы пырнуть друг друга ножом.

Вот куда завела меня мечта о тихом уголке России. А ведь там, откуда я приехал, мог я жить в глинобитной хатке, глядящей в пустыню. Там дул такой свежий ветер ночами и только звездный свод распахи-вался над головой.

Мне не спалось на станционной скамье, и я чуть свет опять побрел по поселку. Теперь я увидел крохотный базарец. По рани единственная

женщина стояла там, торгуя молоком. Я взял бутылку, стал пить тут же.

Меня поразила ее речь. Она не говорила, а напевала умильно, и слова ее были те самые, за которыми потянула меня тоска из Азии:

— Пей, пей с душою желадной. Ты, потай, приезжий?

— А вы откуда? — просветлел я.

И я узнал, что не всё вокруг торфоразработки, что есть за полотном железной дороги — бугор, а за бугром — деревня, и деревня эта — Тальново, испокон она здесь, еще когда была барыня-«цыганка» и кругом лес лихой стоял. А дальше целый край идет деревень: Часлицы, Овинцы, Слудни, Шевертни, Шестимирово — все поглуше, от железной дороги подале, к озерам.

Ветром успокоения потянуло на меня от этих названий. Они обещали мне кондовую Россию.

И я попросил мою новую знакомую отвести меня после базара в Тальново и подыскать избу, где бы стать мне квартирантом.

Я казался квартирантом выгодным: сверх платы сулила школа за меня еще машину торфа на зиму. По лицу женщины прошли заботы уже не умильные. У самой у нее места не было (они с мужем воспитывали ее престарелую мать), оттого она повела меня к одним своим родным и еще к другим. Но и здесь не нашлось комнаты отдельной, было тесно и шумно.

Так мы дошли до высыхающей подпруженной речушки с мостиком. Милей этого места мне не приглянулось во всей деревне; две-три ивы, избушка перекосяченная, а по пруду плавали утки, и выходили на берег гуси, отряхавшись.

— Ну, разве что к Матрене зайдем, — сказала моя проводница, уже уставая от меня. — Только у нее не так уборно, в запущии она живет, болеет.

Дом Матрены стоял тут же, неподалеку, с четырьмя оконцами в ряд на холодную некрасную сторону, крытый щепой, на два ската и с украшенным под теремок чердачным окошком. Однако изгибалась щепка, посерели от старости бревна сруба и ворота, когда-то могучие, и проредилась их обвершка.

Калитка была на запоре, но проводница моя не стала стучать, а просунула руку под низом и отвернула заветку — нехитрую затею против скота. Дворик не был крыт, но в доме многое было под одной связью. За входной дверью внутренние ступеньки поднимались на просторные мосты, высоко осененные крышей. Налево еще ступеньки вели вверх в горницу — отдельный сруб без печи, и ступеньки вниз, в подклеть. А направо шла сама изба, с чердаком и подпольем.

Строено было давно и добротнo, на большую семью, а жила теперь одинокая женщина лет под шестьдесят.

Когда я вошел в избу, она лежала на русской печи, тут же, у входа, накрытая неопределенным темным тряпьем, таким бесценным в жизни рабочего человека.

Просторная изба и особенно лучшая приоконная ее часть была уставлена по табуреткам и лавкам — горшками и кадками с фикусами. Они заполнили одиночество хозяйки безмолвной, но живой толпой. Они разрослись привольно, забирая небогатый свет северной стороны. В остатке света и к тому же за трубой кругловатое лицо хозяйки показалось мне желтым, больным. И по глазам ее замутненным можно было видеть, что болезнь измотала ее.

Разговаривая со мной, она так и лежала на печи ничком, без подушки, головой к двери, а я стоял внизу. Она не проявила радости заполу-

чить квартиранта, жаловалась на черный недуг, из приступа которого выходила сейчас: недуг налетал на нее не каждый месяц, но, налетев,

— ...держит два-дни и три-дни, так что ни встать, ни подать я вам не приспею. А избу бы не жалко, живите.

И она перечисляла мне других хозяек, у кого будет мне покойней и угожей, и слала обойти их. Но я уже видел, что жребий мой был — поселиться в этой темноватой избе с тусклым зеркалом, в которое совсем нельзя было смотреться, с двумя яркими рублевыми плакатами о книжной торговле и об урожае, повешенными на стене для красоты.

И хотя Матрена Васильевна вынудила меня походить еще по деревне, и хотя в мой второй приход долго отнекивалась:

— Не умеши, не варёмши — как утрафишь? — но уж встретила меня на ногах, и даже будто удовольствие пробудилось в ее глазах от того, что я вернулся.

Поладили о цене и о торфе, что школа привезет.

Я только потом узнал, что год за годом, многие годы, ниоткуда не зарабатывала Матрена Васильевна ни рубля. Потому что пенсии ей не платили. Родные ей помогали мало. А в колхозе она работала не за деньги — за палочки. За палочки трудодней в замусленной книжке.

Так и поселился я у Матрены Васильевны. Комнаты мы не делили. Ее кровать была в дверном углу у печки, а я свою раскладушку развернул у окна и, оттесняя от света любимые Матренины фикусы, еще у одного окна поставил столик. Электричество же в деревне было — его еще в двадцатые годы подтянули от Шатуры. В газетах писали тогда «лампочки Ильича», и мужики, глаза тараща, говорили: «Царь Огонь!»

Может, кому из деревни, кто побогаче, изба Матрены и не казалась доброжилой, нам же с ней в ту осень и зиму вполне была хороша: от дождей она еще не протекала и ветрами студенными выдувало из нее печное грево не сразу, лишь под утро, особенно тогда, когда дул ветер с прохуdivшейся стороны.

Кроме Матрены и меня, жили в избе еще — кошка, мыши и тараканы.

Кошка была немолода, а главное — колченога. Она из жалости была Матреной подобрана и прижилась. Хотя она и ходила на четырех ногах, но сильно прихрамывала: одну ногу она берегла, больная была нога. Когда кошка прыгала с печи на пол, звук касания ее о пол не был кошачье-мягок, как у всех, а — сильный одновременный удар трех ног: туп! — такой сильный удар, что я не сразу привык, вздрагивал. Это она три ноги подставляла разом, чтоб уберечь четвертую.

Но не потому были мыши в избе, что колченогая кошка с ними не справлялась: она как молния за ними прыгала в угол и выносила в зубах. А недоступны были мыши для кошки из-за того, что кто-то когда-то, еще по хорошей жизни, оклеил Матренину избу рифлеными зеленоватыми обоями, да не просто в слой, а в пять слоев. Друг с другом обои склеились хорошо, от стены же во многих местах отстали — и получилась как бы внутренняя шкура на избе. Между бревнами избы и обоейной шкурой мыши и проделали себе ходы и нагло шуршали, бегая по ним даже и под потолком. Кошка сердито смотрела вслед их шуршанью, а достать не могла.

Иногда ела кошка и тараканов, но от них ей становилось нехорошо. Единственное, что тараканы уважали, это черту перегородки, отделявшей устье русской печи и кухоньку от чистой избы. В чистую избу они не переползали. Зато в кухоньке по ночам кишели, и если поздно вечером, зайдя испить воды, я зажигал там лампочку — пол весь, и скамья большая, и даже стена были чуть не сплошь бурыми и шевелились. Приносил я из химического кабинета буры, и, смешивая с тестом, мы их тра-

вили. Тараканов менело, но Матрена боялась отравить вместе с ними и кошку. Мы прекращали подсыпку яда, и тараканы плодились вновь.

По ночам, когда Матрена уже спала, а я занимался за столом,— редкое быстрое шуршание мышей под обоями покрывалось слитным, единым, непрерывным, как далекий шум океана, шорохом тараканов за перегородкой. Но я свыкся с ним, ибо в нем не было ничего злого, в нем не было лжи. Шуршанье их — была их жизнь.

И с грубой плакатной красавицей я свыкся, которая со стены постоянно протягивала мне Белинского, Панферова и еще стопу каких-то книг, но — молчала. Я со всем свыкся, что было в избе Матрены.

Матрена вставала в четыре-пять утра. Ходикам Матрениным было двадцать семь лет, как куплены в сельпо. Всегда они шли вперед, и Матрена не беспокоилась — лишь бы не отставали, чтоб утром не запоздниться. Она включала лампочку за кухонной перегородкой и тихо, вежливо, стараясь не шуметь, топила русскую печь, ходила доить козу (все животы ее были — одна эта грязно-белая криворогая коза), по воду ходила и варила в трех чугунок: один чугунок — мне, один — себе, один — козе. Козе она выбирала из подполья самую мелкую картошку, себе — мелкую, а мне — с куриное яйцо. Крупной же картошки огород ее песчаный, с довоенных лет не удобренный и всегда засаживаемый картошкой, картошкой и картошкой,— крупной не давал.

Мне почти не слышались ее утренние хлопоты. Я спал долго, просыпался на позднем зимнем свету и потягивался, высовывая голову из-под одеяла и тулупа. Они да еще лагерная телогрейка на ногах, а снизу мешок, набитый соломой, хранили мне тепло даже в те ночи, когда стужа толкалась с севера в наши хилые оконца. Услышав за перегородкой сдержанный шумок, я всякий раз размеренно говорил:

— Доброе утро, Матрена Васильевна!

И всегда одни и те же доброжелательные слова раздавались мне из-за перегородки. Они начинались каким-то низким теплым мурчанием, как у бабушек в сказках:

— М-м-мм... также и вам!

И немного погодя:

— А завтрак вам приспе-ел.

Что на завтрак, она не объявляла, да это и догадаться было легко: карто́вь необлупленная, или суп карто́нный (так выговаривали все в деревне), или каша ячневая (другой крупы в тот год нельзя было купить в Торфопродукте, да и ячневую-то с бою — как самой дешевой ею откармливали свиней и мешками брали). Не всегда это было посолено, как надо, часто пригорало, а после еды оставляло налет на нёбе, деснах и вызывало изжогу.

Но не Матрены в том была вина: не было в Торфопродукте и масла, маргарин нарасхват, а свободно только жир комбинированный. Да и русская печь, как я приглаголся, неудобна для стряпни: варка идет скрыто от стряпухи, жар к чугунку подступает с разных сторон неравномерно. Но потому, должно быть, пришла она к нашим предкам из самого каменного века, что, протопленная раз на досветьи, весь день хранит в себе теплыми корм и пойло для скота, пищу и воду для человека. И спать тепло.

Я покорно съедал все наваренное мне, терпеливо откладывал в сторону, если попадалось что неурядное: волос ли, торфа кусочек, тараканья ножка. У меня не хватало духу упрекнуть Матрену. В конце концов она сама же меня предупреждала: «Не уметьши, не варёмши — как утрафишь?»

— Спасибо,— вполне искренне говорил я.

— На чем? На своем на добром? — обезоруживала она меня луче-

зарной улыбкой. И, простодушно глядя блекло-голубыми глазами, спрашивала: — Ну, а к ужоткому что вам приготовить?

К у ж о т к о м у значило — к вечеру. Ел я дважды в сутки, как на фронте. Что мог я заказать к ужоткому? Все из того же, к а р т о в ь или суп к а р т о н н ы й.

Я мирился с этим, потому что жизнь научила меня не в еде находить смысл повседневного существования. Мне дороже была эта улыбка ее круглового лица, которую, заработав наконец на фотоаппарат, я тщетно пытался уловить. Увидев на себе холодный глаз объектива, Матрена принимала выражение или натянутое, или повышено-суровое.

Раз только запечатлел я, как она улыбалась чему-то, глядя в окошко на улицу.

В ту осень много было у Матрены обид. Надоумили ее соседки добиваться пенсии. Была она одинокая кругом, а с тех пор, как стала сильно болеть — и из колхоза ее отпустили. Наворочено было много несправедливостей с Матреной: она была больна, но не считалась инвалидом; она четверть века проработала в колхозе, но потому что не на заводе — не полагалось ей пенсии з а с е б я, а добиваться можно было только з а м у ж а, то есть за утерю кормильца. Но мужа не было уже двенадцать лет, с начала войны, и нелегко было теперь добыть те справки с разных мест о н а с т а ш е и сколько он там получал. Хлопоты были — добыть эти справки; и чтоб написали все же, что получал он в месяц хоть рублей триста; и справку заверить, что живет она одна и никто ей не помогает; и с года она какого; и потом все это носить в собес; и перенашивать, исправляя, что сделано не так; и еще носить. И узнавать — дадут ли пенсию.

Хлопоты эти были тем затруднены, что собес от Тальнова был в двадцати километрах к востоку, сельский совет — в десяти километрах к западу, а поселковый — к северу, час ходьбы. Из канцелярии в канцелярию и гоняли ее два месяца — то за точкой, то за запятой. Каждая проходка — день. Сходит в сельсовет, а секретаря сегодня нет, просто так вот нет, как это бывает в селах. Завтра, значит, опять иди. Теперь секретарь есть, да печати у него нет. Третий день опять иди. А четвертый день иди потому, что сослепу они не на той бумажке расписались, бумажки-то все у Матрены одной пачкой сколоты.

— Притесняют меня, Игнатич,— жаловалась она мне после таких бесплодных проходов.— Иззаботилась я.

Но лоб ее недолго оставался омраченным. Я заметил: у нее было верное средство вернуть себе доброе расположение духа — работа. Тотчас же она или хваталась за лопату и копала к а р т о в ь. Или с мешком под мышкой шла за торфом. А то с плетеным кузовом — по ягоды в дальний лес. И не столам конторским кланяясь, а лесным кустам, да наломавши спину ношей, в избу возвращалась Матрена уже просветленная, всем довольная, со своей доброй улыбкой.

— Теперича я зуб наложила, Игнатич, знаю, где брать,— говорила она о торфе.— Ну и местечко, работá одна!

— Да Матрена Васильевна, разве моего торфа не хватит? Машина целая.

— Фу-у! твоего торфу! Еще столько, да еще столько — тогда, бывает, хватит. Тут как зима закрутит, да дуэль в окна, так не только топишь, сколько выдувает. Летось мы торфу натаскивали сколища! Я ли бы и теперь три машины не натаскала? Так вот ловят. Уж одну бабу нашу по судам тягают.

Да, это было так. Уже закруживалось пугающее дыхание зимы. Стояли вокруг леса, а топки взять было негде. Рычали кругом экскаваторы на болотах, но не продавалось и торфу жителям, а только везли —

начальству, да кто при начальстве, да по машине — учителям, врачам, рабочим завода. Тальновским топлива не было положено — и спрашивать о нем не полагалось. Председатель колхоза ходил по деревне, смотрел в глаза требовательно или простодушно и о чем угодно говорил, кроме топлива. Потому что сам он запася. А зимы не ожидалось.

Что ж, воровали раньше лес у барина, теперь тянули торф у треста. Бабы собирались по пять, по десять, чтобы смелей. Ходили днем. За лето накопано было торфу повсюду и сложено штабелями для просушки. Этим и хорош торф, что, добыв, его не могут увезти сразу. Он сохнет до осени, а то и до снега, если дорога не станет. За это-то время бабы его и брали. Зараз уносили в мешке торфин шесть, если были сыроваты, торфин десять, если сухие. Одного мешка такого, принесенного иногда километра за три (и весил он пуда два), хватало на одну протопку. А дней в зиме двести. А топить надо: утром русскую, вечером «голландку».

— Да чего говорить обáпол! — сердилась Матрена на кого-то невидимого. — Как лошадей не стало, так чего на себе не припрешь, того и в дому нет. Спина у меня никогда не заживает. Зимой салазки на себе, летом вязанки на себе, ей-богу правда!

Ходили бабы в день — не по разу. В хорошие дни Матрена приносила по шесть мешков. Мой торф она сложила открыто, свой прятала под мостами, и каждый вечер забивала лаз доской.

— Разве уж догадаются, враги, — улыбалась она, вытирая пот со лба, — а то ни в жисть не найдут.

Что было делать тресту? Ему не отпускалось штатов, чтобы расставлять караульщиков по всем болотам. Приходилось, наверно, показав обильную добычу в сводках, затем списывать — на крошку, на дожди. Иногда, порывами, собирали патруль и ловили баб у входа в деревню. Бабы бросали мешки и разбегались. Иногда, по доносу, ходили по домам с обыском, составляли протокол на незаконный торф и грозились передать в суд. Бабы на время бросали носить, но зима надвигалась и снова гнала их — с санками по ночам.

Вообще, приглядываясь к Матрене, я замечал, что, помимо стряпни и хозяйства, на каждый день у нее приходилось и какое-нибудь другое немалое дело, закономерный порядок этих дел она держала в голове и, проснувшись поутру, всегда знала, чем сегодня день ее будет занят. Кроме торфа, кроме сбора старых пеньков, вывороченных трактором на болоте, кроме брусники, намачиваемой на зиму в четвертях («Поточи зубки, Игнатич», — угощала меня). кроме копки картошки, кроме беготни по пенсионному делу, она должна была еще где-то раздобывать сенца для единственной своей грязно-белой козы.

— А почему вы коровы не держите, Матрена Васильевна?

— Э-эх, Игнатич, — разъясняла Матрена, стоя в нечистом фартуке в кухонном дверном вырезе и оборотясь к моему столу. — Мне молока и от козы хватит. А корову заведи, так она меня самою с ногами съест. У полотна не скоси — там свои хозяева, и в лесу косить нету — лесничество хозяин, и в колхозе мне не велят — не колхозница, мол, теперь. Да они и колхозницы до самых белых мух всё в колхоз, а себе уж из-под снега — что за трава?.. По-бывалошному кипели с сеном в межень. с Петрова до Ильина. Считалась трава — медовая...

Так, одной утельной козе собрать было сена для Матрены — труд великий. Брала она с утра мешок и серп и уходила в места, которые помнила, где трава росла по обмежкам, по задороге, по островкам среди болота. Набив мешок свежей тяжелой травой, она тащила ее домой и во двореке у себя раскладывала пластом. С мешка травы получалось подсохшего сена — навильник.

Председатель новый, недавний, присланный из города, первым делом обрезал всем инвалидам огороды. Пятнадцать соток песочка оставил Матрене, а десять соток так и пустовало за забором. Впрочем, когда рук не хватало, когда отнекивались бабы уж очень упорно, жена председателя приходила к Матрене. Она была тоже женщины городской, решительная, коротким серым полупальто и грозным взглядом как бы военная.

Она входила в избу и, не здороваясь, строго смотрела на Матрену. Матрена мешалась.

— Та-ак,— раздельно говорила жена председателя.— Товарищ Григорьева! Надо будет помочь колхозу! Надо будет завтра ехать навоз вывозить!

Лицо Матрены складывалось в извиняющую полуулыбку — как будто ей было совестно за жену председателя, что та не могла ей заплатить за работу.

— Ну что ж,— тянула она.— Я больна, конечно. И к делу вашему теперь не присоединена.— И тут же спешно исправлялась: — Какому часу приходиться-то?

— И вилы свои бери! — наставляла председательша и уходила, шурша твердой юбкой.

— Во как! — пеняла Матрена вслед.— И вилы свои бери! Ни лопат, ни вил в колхозе нету. А я без мужика живу, кто мне насадит?..

И размышляла потом весь вечер:

— Да что говорить, Игнатич! Помочь надо, конечно,— без навоза им какой урожай? А только ни к столбу, ни к перилу у них работа: станут бабы, об лопаты опершись, и ждут, скоро ли с фабрики гудок на двенадцать. Да еще заведутся счеты своят. кто вышел, кто не вышел. По мне работать — так чтоб звуку не было, только ой-ой-ойиньки, вот обед подкатил, вот вечер подступил.

Понутру она уходила со своими вилами.

Но не колхоз только, а любая родственница дальняя или просто соседка приходила тоже к Матрене с вечера и говорила:

— Завтра, Матрена, придешь мне пособить. Картошку будем докапывать.

И Матрена не могла отказать. Она покидала свой черед дел, шла помогать соседке и, воротясь, еще говорила без тени зависти:

— Ах, Игнатич, и крупная ж картошка у нее! В охотку копала, уходить с участка не хотелось, ей-богу правда!

Тем более не обходилось без Матрены ни одна пахота огорода. Тальновские бабы установили доточно, что одной вскопать свой огород лопатою тяжеле и дольше, чем, взяв соху и вшестером впрягшись, вспахать на себе шесть огородов. На то и звали Матрену в помощь.

— Что ж, платили вы ей? — приходилось мне потом спрашивать.

— Не берет она денег. Уж поневоле ей вопрятаешь.

Еще суета большая выпадала Матрене, когда подходила ее очередь кормить козых пастухов: одного — здоровенного, немоглого, и второго — мальчишку с постоянной слюнявой сигаркой в зубах. Очередь эта была в полтора месяца раз, но вгоняла Матрену в большой расход. Она шла в сельпо, покупала рыбные консервы, расстарывалась и сахару и масла, чего не ела сама. Оказывается, хозяйки выкладывались друг перед другом, стараясь накормить пастухов получше.

— Бойся портного да пастуха,— объясняла она мне.— По всей деревне тебя ославят, если что им не так.

И в эту жизнь, густую заботами, еще врывалась временами тяжелая немочь, Матрена валилась и сутки-двое лежала пластом. Она не жаловалась, не стонала, но и не шевелилась почти. В такие дни Маша, близ-

кая подруга Матрены с самых молодых годков, приходила обихаживать козу да топить печь. Сама Матрена не пила, не ела и не просила ничего. Вызвать на дом врача из поселкового медпункта было в Тальнове вдиво, как-то неприлично перед соседями — мол, барыня. Вызывали однажды, та приехала злая очень, велела Матрене, как отлежится, приходите на медпункт самой. Матрена ходила против воли, брали анализы, посылали в районную больницу — да так и заглохло. Была тут вина и Матрены самой.

Дела звали к жизни. Скоро Матрена начинала вставать, сперва двигалась медленно, а потом опять живо.

— Это ты меня прежде не видал, Игнатич, — оправдывалась она. — Все мешки мои были, по пять пудов тижелью не считала. Свекор кричал: «Матрена! Спину сломаешь!» Ко мне дивирь не подходил, чтоб мой конец бревна на передок подсадить. Конь был военный у нас Волчок, здоровый...

— А почему военный?

— А нашего на войну забрали. этого подраненного — взамен. А он стиховой какой-то попался. Раз с испугу сани понес в озеро, мужики отскакивали, а я, правда, за узду схватила, остановила. Овсяной был конь. У нас мужики любили лошадей кормить. Которые кони овсяные, те и тижели не признают.

Но отнюдь не была Матрена бесстрашной. Боялась она пожара, боялась молоньи, а больше всего почему-то — поезда.

— Как мне в Черусти ехать, с Нечаевки поезд вылезет, глаза здоровенные свои вылупит, рельсы гудят — аж в жар меня бросает, колени трясутся. Ей-богу правда! — сама удивлялась и пожимала плечами Матрена.

— Так, может, потому, что билетов не дают, Матрена Васильевна?

— В окошечко? Только мягкие суют. А уж поезд — трогацать! Мечемся туда-сюда: да взойдите ж в сознание! Мужики — те по лесенке на крышу полезли. А мы нашли дверь незапертую, вперлись прям так, без билетов — а вагоны-то все простые идут, все простые, хоть на полке растягивайся. Отчего билетов не давали, паразиты несочувственные, — не знато...

Все же к той зиме жизнь Матрены наладилась как никогда. Стали таки платить ей рублей восемьдесят пенсии. Еще сто с лишком получала она от школы и от меня.

— Фу-у! Теперь Матрене и умирать не надо! — уже начинали завидовать некоторые из соседок. — Больше денег ей, старой, и девать некуда.

Заказала себе Матрена скатать новые валенки. Купила новую телогрейку. И справила пальто из ношеной железнодорожной шинели, которую подарил ей машинист из Черустей, муж ее бывшей воспитанницы Киры. Деревенский портной-горбун подложил под сукно ваты, и такое славное пальто получилось, какого за шесть десятков лет Матрена не нашивала.

И в середине зимы зашила Матрена в подкладку этого пальто двести рублей себе на похороны. Повеселела:

— Маненько и я спокой увидала, Игнатич.

Прошел декабрь, прошел январь — за два месяца не посетила ее болезнь. Чаше Матрена по вечерам стала ходить к Маше посидеть, семечки пощелкать. К себе она гостей по вечерам не звала, уважая мои занятия. Только на крещение, воротясь из школы, я застал в избе пляску и познакомлен был с тремя Матрениными родными сестрами, звавшими Матрену как старшую — лелька или нянька. До этого дня мало было

в нашей избе слышно о сестрах — то ли опасались они, что Матрена будет просить у них помощи?

Одно только событие или предзнаменование омрачило Матрене этот праздник: ходила она за пять верст в церковь на водосвятие, поставила свой котелок меж других, а когда водосвятие кончилось и бросились бабы, толкаясь, разбирать — Матрена не поспела среди первых, а в конце — не оказалось ее котелка. И взамен котелка никакой другой посуды тоже оставлено не было. Исчез котелок, как дух нечистый его унес.

— Бабоньки! — ходила Матрена среди молящихся. — Не прихватил ли кто неурладкой чужую воду освященную? в котелке?

Не признался никто. Бывает, мальчишки созоровали, были там и мальчишки. Вернулась Матрена печальная.

Не сказать, однако, чтобы Матрена верила как-то истово. Даже скорей была она язычница, брали в ней верх суеверия: что на Ивана Постного в огород зайти нельзя — на будущий год урожая не будет; что если метель крутит — значит, кто-то где-то удавился, а дверью ногу прищемишь — быть гостю. Сколько жил я у нее — никогда не видал ее молящейся, ни чтоб она хоть раз перекрестилась. А дело всякое начинала «с богом!» и мне всякий раз «с богом!» норовила сказать, когда я шел в школу. Может быть, она и молилась, но не показно, стесняясь меня или боясь меня притеснить. Висели в избе иконы. Забудни стояли они темные, а во время всеобщей и с утра по праздникам зажигала Матрена лампадку.

Только грехов у нее было меньше, чем у ее колченогой кошки. Та — мышей душила...

Немного выдравшись из колотной своей житёнки, стала Матрена повнимательней слушать и мое радио (я не преминул поставить себе р а з в е д к у — так Матрена называла розетку).

Услышав от радио, что машины изобретены новые, ворчала Матрена из кухни:

— Все новые, новые, на старых работать не хотят, куда старые складывать будем?

Передавали, как облака разгоняют с самолетов, — Матрена качала головой с печи:

— Ой-ой-ойиньки, чего-нибудь изменят, зиму или лето.

Исполнял Шаляпин русские песни. Матрена стояла-стояла, слушала и приговорила решительно:

— Чудно поют, не по-нашему.

— Да что вы, Матрена Васильевна, да прислушайтесь!

Еще послушала. Сжала губы:

— Не. Не так. Ладу не нашего. И голосом балует.

Зато и вознаградила меня Матрена. Передавали как-то концерт из романсов Глинки. И вдруг после пятка камерных романсов Матрена, держась за фартук, вышла из-за перегородки растепленная, с пеленой слезы в неярких своих глазах:

— А вот это — по-нашему... — прошептала она.

2

Так привыкли Матрена ко мне, а я к ней, и жили мы запросто. Она не досаждала мне никакими расспросами. До того отсутствовало в ней бабье любопытство или до того она была деликатна, что не спросила меня ни разу: был ли я когда женат? Все тальновские бабы приставали к ней — узнать обо мне. Она им отвечала:

— Вам нужно — вы и спрашивайте. Знаю одно — дальний он.

И когда невскоре я сам сказал ей, что много провел в тюрьме, она только молча покивала головой, как бы подозревала и раньше.

А я тоже видел Матрену сегодняшнюю, потерянную старуху, и тоже не бередил ее прошлого, да и не подозревал, чтоб там было что искать.

Знал я, что замуж Матрена вышла еще до революции, и сразу в эту избу, где мы жили теперь с ней, и сразу к печке (то есть не было в живых ни свекрови, ни незамужней старшей золовки, и с первого послебрачного утра Матрена взялась за ухват). Знал, что детей у нее было шестеро и один за другим умирали все очень рано, так что двое сразу не жило. Потом была какая-то воспитанница Кира. А муж Матрены не вернулся с этой войны. Похоронного тоже не было. Односельчане, кто был с ним в роте, говорили, что либо в плен он попал, либо погиб, а только тела не нашли. За восемь послевоенных лет решила и Матрена сама, что он не жив. И хорошо, что думала так. Хоть и был бы теперь он жив — так женат где-нибудь в Бразилии или в Австралии. И деревня Тальново, и язык русский изглаживались бы из памяти его...

Раз, придя из школы, я застал в нашей избе гостя. Высокий черный старик, сняв на колени шапку, сидел на стуле, который Матрена выставила ему на середину комнаты, к печке-«голландке». Все лицо его облегал густые черные волосы, почти не тронутые сединой: с черной окладистой бородой сливались усы густые, черные, так что рот был виден едва; и непрерывные бакены черные, едва выказывая уши, поднимались к черным космам, свисавшим с темени; и еще широкие черные брови мостами были брошены друг другу навстречу. И только лоб уходил лысым куполом в лысую просторную маковку. Во всем облике старика показалось мне многознание и достоинство. Он сидел ровно, сложив руки на посохе, посох же отвесно уперев в пол, — сидел в положении терпеливого ожидания и, видно, мало разговаривал с Матреной, возившейся за перегородкой.

Когда я пришел, он плавно повернул ко мне величавую голову и назвал меня внезапно:

— Батюшка!.. Вижу вас плохо. Сын мой учится у вас. Григорьев Антошка...

Дальше мог бы он и не говорить... При всем моем порыве помочь этому почтенному старику, заранее знал я и отвергал все то бесполезное, что скажет старик сейчас. Григорьев Антошка был круглый румяный малец из 8-го «Г», выглядевший, как кот после блинов. В школу он приходил как бы отдохнуть, за партой сидел и улыбался лениво. Уж тем более он никогда не готовил уроков дома. Но, главное, борясь за тот высокий процент успеваемости, которым славилась школы нашего района, нашей области и соседних областей, — из году в год его переводили, и он ясно усвоил, что, как бы учителя ни грозились, все равно в конце года переведут, и не надо для этого учиться. Он просто смеялся над нами. Он сидел в 8-м классе, однако не владел дробями и не различал, какие бывают треугольники. По первым четвертям он был в цепкой хватке моих двоек — и то же ожидало его в третьей четверти.

Но этому полуслепому старику, годному Антошке не в отцы, а в деды и пришедшему ко мне на униженный поклон, — как было сказать теперь, что год за годом школа его обманывала, дальше же обманывать я не могу, иначе развалю весь класс, и превращусь в балаболку, и наплевать должен буду на весь свой труд и звание свое?

И теперь я терпеливо объяснял ему, что запущено у сына очень, и он в школе и дома лжет, надо дневник проверять у него почаще и круто братья с двух сторон.

— Да уж куда крутей, батюшка, — заверил меня гость. — Бью его теперь, что неделя. А рука тяжелая у меня.

В разговоре я вспомнил, что уж один раз и Матрена сама почему-то

ходатайствовала за Антошку Григорьева, но я не спросил, что за родственник он ей, и тоже тогда отказал. Матрена и сейчас стала в дверях кухоньки бессловесной просительницей. И когда Фаддей Миронович ушел от меня с тем, что будет заходить — узнавать, я спросил:

— Не пойму, Матрена Васильевна, как же этот Антошка вам приходится?

— Дивиря моего сын,— ответила Матрена суховато и ушла доить козу.

Разочтя, я понял, что черный настойчивый этот старик — родной брат мужа ее, без вести пропавшего.

И долгий вечер прошел — Матрена не касалась больше этого разговора. Лишь поздно вечером, когда я думать забыл о старике и работал в тишине избы под шорох тараканов и постук ходиков,— Матрена вдруг из темного своего угла сказала:

— Я, Игнатич, когда-то за него чуть замуж не вышла.

Я и о Матрене-то самой забыл, что она здесь, не слышал ее,— но так взволнованно она это сказала из темноты, будто и сейчас еще тот старик домогался ее.

Видно, весь вечер Матрена только об том и думала.

Она поднялась с убогой тряпичной кровати и медленно выходила ко мне, как бы идя за своими словами. Я откинулся — и в первый раз совсем по-новому увидел Матрену.

Верхнего света не было в нашей большой комнате, как лесом заставленной фикусами. От настольной же лампы свет падал кругом только на мои тетради,— а по всей комнате глазам, оторвавшимся от света, казался полумрак с розовинкой. И из него выступала Матрена. И щеки ее померещились мне не желтыми, как всегда, а тоже с розовинкой.

— Он за меня первый сватался... раньше Ефима... Он был брат — старший... Мне было девятнадцать, Фаддею — двадцать три... Вот в этом самом доме они тогда жили. Ихний был дом. Ихним отцом строенный.

Я невольно оглянулся. Этот старый серый изгнивающий дом вдруг сквозь блекло-зеленую шкуру обоев, под которыми бегали мыши, проступил мне молодыми, еще не потемневшими тогда, стругаными бревнами и веселым смолистым запахом.

— И вы его...? И что же?..

— В то лето... ходили мы с ним в рощу сидеть,— прошептала она.— Тут роща была, где теперь конный двор, вырубил ее... Без малого не вышла, Игнатич. Война германская началась. Взяли Фаддея на войну.

Она уронила это — и вспыхнул передо мной голубой, белый и желтый июль четырнадцатого года: еще мирное небо, плывущие облака и народ, кипящий со спелым жнивом. Я представил их рядом: смоляного богатыря с косой через спину; ее, румяную, обнявшую сноп. И — песню, песню под небом, каких теперь, при механизмах, не споешь.

— Пошел он на войну — пропал... Три года затаилась я, ждала. И ни весточки, и ни косточки...

Обвязанное старческим слинявшим платочком смотрело на меня в не прямых мягких отсветах лампы круглое лицо Матрены — как будто освобожденное от морщин, от будничного небрежного наряда — испуганное, девичье, перед страшным выбором.

Да. Да... Понимаю... Облетали листья, падал снег — и потом таял. Снова пахали, снова сеяли, снова жали. И опять облегал листья, и опять падал снег. И одна революция. И другая революция. И весь свет перевернулся.

— Мать у них умерла — и присватался ко мне Ефим. Мол, в нашу избы ты идти хотела, в нашу и иди. Был Ефим моложе меня на год.

Говорят у нас: умная выходит после Покровá, а дура — после Петровá. Рук у них не хватало. Пошла я... На Петров день повенчались, а к Миколе зимнему — вернулся... Фаддей... из венгерского плена.

Матрена закрыла глаза.

Я молчал.

Она обернулась к двери, как к живой:

— Стал на пороге. Я как закричу! В колена б ему бросилась!.. Нельзя... Ну, говорит, если б то не брат мой родной — я бы вас порубал обоих!

Я вздрогнул. От ее надрыва или страха я живо представил, как он стоит там, черный, в темных дверях и топором замахнулся на Матрену.

Но она успокоилась, оперлась о спинку стула перед собой и певуче рассказывала:

— Ой-ой-ойиньки, головушка бедная! Сколько невест было на деревне — не женился. Сказал: буду имечко твое искать, вторую Матрену. И привел-таки себе из Липовки Матрену, срубили избу отдельную, где и сейчас живут, ты каждый день мимо их в школу ходишь.

Ах, вот оно что! Теперь я понял, что видел ту вторую Матрену не раз. Не любил я ее: всегда приходила она к моей Матрене жаловаться, что муж ее бьет, и скаред муж, жилы из нее вытягивает, и плакала здесь подолгу, и голос-то всегда у нее был на слезе.

Но выходило, что не о чем моей Матрене жалеть — так бил Фаддей свою Матрену всю жизнь и по сей день и так зажал весь дом.

— Меня с а м ни разику не бил, — рассказывала она о Ефиме. — По улице на мужиков с кулаками бегал, а меня — ни разику... То есть был-таки раз — я с золовкой поссорилась, он ложку мне об лоб расшибил. Вскочила я от стола: «Захлентуься бы вам, подавиться, трутни!» И в лес ушла. Больше не трогал.

Кажется, и Фаддею не о чем было жалеть: родила ему вторая Матрена тоже шестерых детей (среди них и Антошка мой, самый младший, поскребыш) — и выжили все, а у Матрены с Ефимом дети не стояли: до трех месяцев не доживая и не болея ничем, умирал каждый.

— Одна дочка, Елена, только родилась, помыли ее живую — тут она и померла. Так мертвую уж обмывать не пришлось... Как свадьба моя была в Петров день, так и шестого ребенка, Александра, в Петров день схоронила.

И решила вся деревня, что в Матрене — порча.

— Пор ц и я во мне! — убежденно кивала и сейчас Матрена. — Возили меня к монашенке одной бывшей лечиться, она меня на кашель наводила — ждала, что пор ц и я из меня лягушкой выбросится. Ну, не выбросилась...

И шли года, как плыла вода... В сорок первом не взяли на войну Фаддея из-за слепоты, зато Ефима взяли. И как старший брат в первую войну, так младший без вести исчез во вторую. Но этот вовсе не вернулся. Гнила и старела когда-то шумная, а теперь пустынная изба — и старела в ней беспритульная Матрена.

И попросила она у той второй забитой Матрены — чрева ее урывочек (или кровиночку Фаддея?) — младшую их девочку Киру.

Десять лет она воспитывала ее здесь как родную, вместо своих невыстоявших. И незадолго до меня выдала за молодого машиниста в Черусти. Только оттуда ей теперь и помощь сочилась: иногда сахарку, когда поросенка зарежут — сальца.

Страдая от недугов и чая недалекую смерть, тогда же объявила Матрена свою волю: отдельный сруб горницы, расположенный под общей связью с избой, после смерти ее отдать в наследство Кире. О самой избе она ничего не сказала. Еще три сестры ее метили получить эту избу.

Так в тот вечер открылась мне Матрена сполна. И, как это бывает, связь и смысл ее жизни, едва став мне видимыми,— в тех же днях пришли и в движение. Из Черустей приехала Кира, забеспокоился старик Фаддей: в Черустях, чтобы получить и удержать участок земли, надо было молодым поставить какое-нибудь строение. Шла для этого вполне Матренина горница. А другого нечего было и поставить, неоткуда лесу взять. И не так сама Кира, и не так муж ее, как за них старый Фаддей загорелся захватить этот участок в Черустях.

И вот он зачастил к нам, пришел раз, еще раз, наставительно говорил с Матреной и требовал, чтоб она отдала горницу геперь же, при жизни. В эти приходы он не показался мне тем опирающимся о посох старцем, который вот развалится от толчка или грубого слова. Хоть и пригорбленный больною поясницей, но все еще статный, старше шестидесяти сохранивший сочную, молодую черноту в волосах, он наседавал с горячностью.

Не спала Матрена две ночи. Нелегко ей было решиться. Не жалко было саму горницу, стоявшую без дела, как вообще ни труда, ни добра своего не жалела Матрена никогда. И горница эта все равно была завещана Кире. Но жутко ей было начать ломать ту крышу, под которой прожила сорок лет. Даже мне, постояльцу, было больно, что начнут отрывать доски и выворачивать бревна дома. А для Матрены было это — конец ее жизни всей.

Но те, кто настаивал, знали, что ее дом можно сломать и при жизни.

И Фаддей с сыновьями и зятьями пришли как-то февральским утром и застучали в пять топоров, завизжали и заскрипели отрываемыми досками. Глаза самого Фаддея деловито поблескивали. Несмотря на то, что спина его не распрямлялась вся, он ловко лазил и под стропила и живо суетился внизу, покрывая на помощников. Эту избу он парнишкой сам и строил когда-то с отцом; эту горницу для него, старшего сына, и рубили, чтоб он поселился здесь с молодой. А теперь он яро разбирал ее по ребрышкам, чтоб увезти с чужого двора.

Переметив номерами венцы сруба и доски потолочного настила, горницу с подклетью разобрали, а избу саму с укороченными мостами отсекли временной тесовой стеночкой. В стенке они покинули щели, и все показывало, что ломатели — не строители и не предполагают, чтобы Матрене еще долго пришлось здесь жить.

А пока мужчины ломали, женщины готовили ко дню погрузки самогон: водка обошлась бы чересчур дорого. Кира привезла из Московской области пуд сахара, Матрена Васильевна под покровом ночи носила тот сахар и бутылки самогонщику.

Вынесены и соштабелеваны были бревна перед воротами, зять-машинист уехал в Черусти за трактором.

Но в тот же день началась метель — дуэль, по-матрениному. Она кутила и кружила двое суток и замела дорогу непомерными сугробами. Потом, чуть дорогу умяли, прошел грузовик-другой — внезапно потеплело, в один день разом распустило, стали сырые туманы, журчали ручьи, прорывшиеся в снегу, и нога в сапоге увязала по все голенище.

Две недели не давалась трактору разломанная горница! Эти две недели Матрена ходила как потерянная. Оттого особенно ей было тяжело, что пришли три сестры ее, все дружно обругали ее дурой за то, что горницу отдала, сказали, что видеть ее больше не хотят, — и ушли.

И в те же дни кошка колченогая сбрела со двора — и пропала. Одно к одному. Еще и это пришибло Матрену.

Наконец стаявшую дорогу прихватило морозом. Наступил солнечный день, и повеселело на душе. Матрене что-то доброе приснилось под тот день. С утра узнала она, что я хочу сфотографировать кого-нибудь за

старинным ткацким станом (такие еще стояли в двух избах, на них ткали грубые половики), — и усмехнулась застенчиво:

— Да уж погоди, Игнатич, пару дней, вот горницу, бывает, отправлю — сложу свой стан, ведь цел у меня — и снимешь тогда. Ей-богу правда!

Видно, привлекало ее изобразить себя в старине. От красного морозного солнца чуть розовым залилось замороженное окошко сеней, теперь укороченных, — и грел этот отсвет лицо Матрены. У тех людей всегда лица хороши, кто в ладах с совестью своей.

Перед сумерками, возвращаясь из школы, я увидел движение близ нашего дома. Большие новые тракторные сани были уже нагружены бревнами, но многое еще не поместилось — и семья деда Фаддея, и приглашенные помогать кончали сбивать еще одни, самодельные. Все работали, как безумные, в том ожесточении, какое бывает у людей, когда пахнет большими деньгами или ждут большого угощения. Кричали друг на друга, спорили.

Спор шел о том, как везти сани — порознь или вместе. Один сын Фаддея, хромой, и зять-машинист толковали, что сразу обои сани нельзя, трактор не утянет. Тракторист же, самоуверенный толстомордый здоровяга, хрипел, что ему видней, что он водитель и повезет сани вместе. Расчет его был ясен: по уговору машинист платил ему за перевоз горницы, а не за рейсы. Двух рейсов за ночь — по двадцать пять километров да один раз назад — он никак бы не сделал. А к утру ему надо было быть с трактором уже в гараже, откуда он увел его тайком для левой.

Старику Фаддею не терпелось сегодня же увезти всю горницу — и он кивнул своим уступить. Вторые, наспех сколоченные, сани подцепили за крепкими первыми.

Матрена бегала среди мужчин, суетилась и помогала накатывать бревна на сани. Тут заметил я, что она в моей телогрейке, уже измазала рукава о льдистую грязь бревен, — и с неудовольствием сказал ей об этом. Телогрейка эта была мне память, она грела меня в тяжелые годы.

Так я в первый раз рассердился на Матрену Васильевну.

— Ой-ой-ойиньки, головушка бедная! — озадачилась она. — Ведь я ее бегма подхватила, да и забыла, что твоя. Прости, Игнатич. — И сняла, повесила сушиться.

Погрузка кончилась, и все, кто работал, человек до десяти мужчин, прогремели мимо моего стола и нырнули под занавеску в кухню. Оттуда глуховато застучали стаканы, иногда звякала бутылка, голоса становились все громче, похвальба — задорнее. Особенно хвастался тракторист. Тяжелый запах самогона докатился до меня. Но пили недолго — темнота заставляла спешить. Стали выходить. Самодовольный, с жестоким лицом вышел тракторист. Сопровождать сани до Черустей шли зять-машинист, хромой сын Фаддея и еще племянник один. Остальные расходились по домам. Фаддей, размахивая палкой, догонял кого-то, спешил что-то втолковать. Хромой сын задержался у моего стола закутить и вдруг заговорил, как любит он тетку Матрену, и что женился недавно, и вот сын у него родился только что. Тут ему крикнули, он ушел. За окном зарычал трактор.

Последней торопливо выскочила из-за перегородки Матрена. Она тревожно качала головой вслед ушедшим. Надела телогрейку, накинула платок. В дверях сказала мне:

— И что было двух не срядить? Один бы трактор занемог — другой подтянул. А теперь чего будет — богу весты!..

И убежала за всеми.

После пьянки, споров и хождения стало особенно тихо в брошенной избе, выстуженной частым открыванием дверей. За окнами уже совсем стемнело. Я тоже влез в телогрейку и сел проверять тетради. Трактор стих в отдалении.

Прошел час, другой. И третий. Матрена не возвращалась, но я не удивлялся: проводив сани, должно быть, ушла к своей Маше.

И еще прошел час. И еще. Не только тьма, но глубокая какая-то тишина опустилась на деревню. Я не мог тогда понять, отчего тишина — оттого, оказалось, что за весь вечер ни одного поезда не прошло по линии в полуверсте от нас. Радио мое молчало, и я заметил, что очень уж, как никогда, развозились мыши: все нахальней, все шумней они бегали под обоями, скребли и попискивали.

Я очнулся. Был первый час ночи, а Матрена не возвращалась.

Вдруг услышал я несколько громких голосов на деревне. Еще были они далеко, но как подтолкнуло меня, что это к нам. И правда, скоро резкий стук раздался в ворота. Чужой властный голос кричал, чтоб открыли. Я вышел с электрическим фонариком в густую темноту. Деревня вся спала, окна не светились, а снег за неделю притаял и тоже не отсвечивал. Я отвернул нижнюю заvertку и впустил. К избе прошли четверо в шинелях. Неприятно это очень, когда ночью приходят к тебе громко и в шинелях.

При свете огляделся я, однако, что у двоих шинели — железнодорожные. Старший, толстый, с таким же лицом, как у того тракториста, спросил:

— Где хозяйка?

— Не знаю.

— А трактор с санями из этого двора уезжал?

— Из этого.

— Они пили тут перед отъездом?

Все четверо щурились, оглядывались в полутьме от настольной лампы. Я так понял, что кого-то арестовали или хотели арестовать.

— Да что случилось?

— Отвечайте, что вас спрашивают!

— Но...

— Поехали пьяные?

— Они пили тут?

Убил ли кто кого? Или перевозить нельзя было горницы? Очень уж они на меня наседали. Но одно было ясно: что за самогонщину Матрене могут дать срок.

Я отступил к кухонной дверке и так перегородил ее собою.

— Право, не заметил. Не видно было.

(Мне и действительно не видно было, только слышно.)

И как бы растерянным жестом я провел рукой, показывая обстановку избы: мирный настольный свет над книгами и тетрадями; голпу испуганных фикусов; суровую койку отшельника. Никаких следов разгула.

Они уже и сами с досадой заметили, что никакой попойки здесь не было. И повернули к выходу, между собой говоря, что, значит, пьянка была не в этой избе, но хорошо бы прихватить, что была. Я провожал их и допытывался, что же случилось. И только в калитке мне буркнул один:

— Разворотило их всех. Не соберешь.

А другой добавил:

— Да это мелочь. Двадцать первый скорый чуть с рельс не сошел, вот было бы.

И они быстро ушли.

Ошеломленный, я вернулся в избу. Кого — их? Кого — всех? Матрена-то где?

Я отвел полог и прошел в кухню. Самогонный смрад ударил в меня. Это было застывшее побоище — сгруженных табуреток и скамьи, пустых лежащих бутылок и одной неоконченной, стаканов, недоеденной селедки, лука и раскромсанного сала.

Все было мертво. И только тараканы спокойно ползали по полу битвы.

Что-то сказано было о двадцать первом скором. К чему?.. Может, надо было все это показать им? Я уже сомневался. Но что за манера проклятая — ничего не объяснить нечиновному человеку?

И вдруг скрипнула наша калитка. Я быстро вышел на мосты:

— Матрена Васильевна?

Дверь со двора открылась. Пошатываясь, сжимая руки, вошла ее подруга Маша:

— Матрена-то... Матрена-то наша, Игнатич..

Я усадил ее, и, мешая со слезами, она рассказала.

На переезде — горка, въезд крутой. Шлагбаума нет. С первыми санями трактор перевалил, а трос лопнул, и вторые сани, самодельные, на переезде застряли и разваливаться начали — Фаддей для них лесу хорошего не дал, для вторых саней. Отвезли чуток первые — за вторыми вернулись, трос ладили — тракторист и сын Фаддея хромым, и туда же, меж трактором и санями, понесло и Матрену. Что она там подсобить могла мужикам? Вечно она в мужичьи дела мешалась. И конь когда-то ее чуть в озеро не сшиб, под прорубь. И зачем на переезд проклятый пошла? — отдала горницу, и весь ее долг, рассчиталась.. Машинист все смотрел, чтобы с Черустей поезд не нагрязнул, его б фонари далеко видеть, а с другой стороны, от станции нашей, шли два паровоза сцепленных — без огней и задом. Почему без огней — неведомо, а когда паровоз задом идет — машинисту с тендера сыплет в глаза пылью угольной, смотреть плохо. Налетели -- и в мясо тех троих расплющили, кто между трактором и санями. Трактор изувечили, сани в щепки, рельсы вздыбились, и паровоза оба набок.

— Да как же они не слышали, что паровозы подходят?

— Да трактор-то заведенный орет.

— А с трупами что?

— Не пускают. Оцепили.

— А что я про скорый слышал... будто скорый?..

— А скорый десятичасовой — нашу станцию с ходу, и тоже к переезду. Но как паровозы рухнули — машинисты два уцелели, прыгнули и побежали назад, и руками махают, на рельсы ставши — и успели поезд остановить... Племянника тоже бревном покалечило. Прячется сейчас у Клавки, чтоб не знали, что он на переезде был. А то ведь затагают свидетелем!.. Незнайка на печи лежит, а знайку на веревочке ведут... А муж Киркин — ни царапины. Хотел повеситься, из петли вынули. Из-за меня, мол, тетя погибла и брат. Сейчас пошел сам, арестовался. Да его теперь не в тюрьму, его в дом безумный. Ах, Матрена-Матренушка!..

Нет Матрены. Убит родной человек. И в день последний я укорил ее за телогрейку.

Разрисованная красно-желтая баба с книжного плаката радостно улыбалась.

Тетя Маша еще посидела, поплакала. И уже встала, чтоб идти. И вдруг спросила:

— Игнатич! Ты помнишь... вязаночка серая была у Матрены... Она ведь ее после смерти прочила Таньке моей, верно?

И с надеждой смотрела на меня в полутьме — неужели я забыл?

Но я помнил:

— Прочила, верно.

— Так слушай, может, разреши, я ее заберу сейчас? Утром тут родня налетит, мне уж потом не получить.

И опять с мольбой и надеждой смотрела на меня — ее полувековая подруга, единственная, кто искренне любил Матрену в этой деревне...

Наверно, так надо было.

— Конечно... Берите... — подтвердил я.

Она открыла сундучок, достала вязанку, сунула под полу и ушла...

Мышами овладело какое-то безумие, они ходили по стенам ходенём, и почти зримыми волнами перекатывались зеленые обои над мышинными спинами.

Утром ждала меня школа. Час ночи был третий. И выход был: запереться и лечь спать.

Запереться, потому что Матрена не придет.

Я лег, оставив свет. Мыши пищали, стонали почти, и все бегали, бегали. Уставшей бессвязной головой нельзя было отделаться от невольного трепета — как будто Матрена невидимо металась и прощалась тут, с избой своей.

И вдруг в притемке у входных дверей, на пороге, я вообразил себе черного молодого Фаддея с занесенным топором:

«Если б то не брат мой родной — порубал бы я вас обоих!»

Сорок лет пролежала его угроза в углу, как старый тесак, — а ударила-таки...

3

На рассвете женщины привезли с переезда на санках под накинутым грязным мешком — все, что осталось от Матрены. Скинули мешок, чтоб обмывать. Все было месиво — ни ног, ни половины туловища, ни левой руки. Одна женщина сказала:

— Ручку-то правую оставил ей господь. Там будет богу молиться...

И вот всю толпу фикусов, которых Матрена так любила, что, проснувшись когда-то ночью в дыму, не избу бросилась спасать, а валить фикусы на пол (не задохнулись бы от дыму), — фикусы вынесли из избы. Чисто вымели полы. Тусклое Матренино зеркало завесили широким полотенцем старой домашней вытоки. Сняли со стены праздные плакаты. Сдвинули мой стол. И к окнам, под образа, поставили на табуретках гроб, сколоченный без затей.

А в гробу лежала Матрена. Чистой простыней было покрыто ее отсутствующее изуродованное тело, и голова охвачена белым платком, — а лицо осталось целехонькое, спокойное, больше живое, чем мертвое.

Деревенские приходили постоять-посмотреть. Женщины приводили и маленьких детей взглянуть на мертвую. И если начинался плач, все женщины, хотя бы зашли они в избу из пустого любопытства, — все обязательно подплакивали от двери и от стен, как бы аккомпанировали хором. А мужчины стояли молча навтыжку, сняв шапки.

Самый же плач доставалось вести родственницам. В плаче заметил я холодно-продуманный, искони-заведенный порядок. Те, кто подале, подходили к гробу ненадолго и у самого гроба причитали негромко. Те, кто считал себя покойнице роднее, начинали плач еще с порога, а достигнув гроба, наклонялись голосить над самым лицом усопшей. Мелодия была самодельная у каждой плакальщицы. И свои собственные излагались мысли и чувства.

Тут узнал я, что плач над покойной не просто есть плач, а своего рода политика. Слетелись три сестры Матрены, захватили избу, козу и печь, заперли сундук ее на замок, из подкладки пальто выпотрошили

двести похоронных рублей, приходящим всем втолковывали, что они одни были Матрене близкие. И над гробом плакали так:

— Ах, нянька-нянька! Ах, лёлька-лёлька! И ты ж наша единственная! И жила бы ты тихо-мирно! И мы бы тебя всегда приласкали! А погубила тебя твоя горница! А доконала тебя, заклятая! И зачем ты ее ломала? И зачем ты нас не послушала?

Так плачи сестер были обвинительные плачи против мужниной родни: не надо было понуждать Матрену горницу ломать. (А подспудный смысл был: горницу-ту вы взять-взяли, избы же самой мы вам не дадим!)

Мужнина родня — Матренины золовки, сестры Ефима и Фаддея, и еще племянницы разные приходили и плакали так:

— Ах, тётанька-тётанька! И как же ты себя не берегла! И, наверно, теперь о н и на нас обиделись! И родимая ж ты наша, и вина вся твоя! И горница тут ни при чем. И зачем же пошла ты туда, где смерть тебя стерегла? И никто тебя туда не звал! И как ты умерла — не думала! И что же ты нас не слушалась?..

(И изо всех этих причитаний выпирал ответ: в смерти ее мы не виноваты, а насчет избы еще поговорим!)

Но широколицая грубая «вторая» Матрена — та подставная Матрена, которую взял когда-то Фаддей по одному лишь имечку, — сбивалась с этой политики и простовато вопила, надрываясь над гробом:

— Да ты ж моя сестричка! Да неужели ж ты на меня обидишься? Ох-ма!.. Да бывалоча мы все с тобой говорили и говорили! И прости ты меня, горемычную! Ох-ма!.. И ушла ты к своей матушке, а, наверно, ты за мной заедешь! Ох-ма-а!..

На этом «ох-ма-а-а» она словно выпускала весь дух свой — и билась, билась грудью о стенку гроба. И когда плач ее переходил обрядные нормы, женщины, как бы признавая, что плач вполне удался, все дружно говорили:

— Отстань! Отстань!

Матрена отставала, но потом приходила вновь и рыдала еще неистовее. Вышла тогда из угла старуха древняя и, положа Матрене руку на плечо, сказала строго:

— Две загадки в мире есть: как родился — не помню, как умру — не знаю.

И смолкла Матрена тотчас, и все смолкли до полной тишины.

Но и сама эта старуха, намного старше здесь всех старух и как будто даже Матрене чужая вовсе, погода некоторое время тоже плакала:

— Ох ты, моя болезная! Ох ты, моя Васильевна! Ох, надоело мне в а с п р о в о ж а т ь!

И совсем уже не обрядно — простым рыданием нашего века, не бедного ими, рыдала злосчастная Матренина приемная дочь — та Кира из Черустей, для которой везли и ломали эту горницу. Ее завитые локончики жалко растрепались. Красны, как кровью залиты, были глаза. Она не замечала, как сбивается на морозе ее платок, или надевала пальто мимо рукава. Она невменяемая ходила от гроба приемной матери в одном доме к гробу брата в другом, — и еще опасались за разум ее, потому что должны были мужа судить.

Выступало так, что муж ее был виновен вдвойне: он не только вез горницу, но был железнодорожный машинист, хорошо знал правила не охраняемых поездов — и должен был сходить на станцию, предупредить о гракторе. В ту ночь в уральском скором тысяча жизней людей, мирно спавших на первых и вторых полках при полусвете пьездных ламп, должна была оборваться. Из-за жадности нескольких людей: захватить участок земли или не делать второго рейса трактором.

Из-за горницы, на которую легло проклятие с тех пор, как руки Фаддея ухватились ее ломать.

Впрочем, тракторист уже ушел от людского суда. А управление дороги само было виновно и в том, что оживленный переезд не охранялся, и в том, что паровозная сплотка шла без фонарей. Потому-то они сперва все старались свалить на пьянку, а теперь замять и самый суд.

Рельсы и полотно так искорежило, что три дня, пока гробы стояли в домах, поезда не шли — их заворачивали другою веткой. Всю пятницу, субботу и воскресенье — от конца следствия и до похорон — на переезде днем и ночью шел ремонт пути. Ремонтники мерзли и для обогрева, а ночью и для света раскладывали костры из даровых досок и бревен со вторых саней, рассыпанных близ переезда.

А первые сани, нагруженные, целые, так и стояли за переездом невдали.

И именно это — что одни сани дразнили, ждали с готовым тросом, а вторые еще можно было выхватывать из огня — именно это терзало душу чернобородого Фаддея всю пятницу и всю субботу. Дочь его трогалась разумом, над зятем висел суд, в собственном доме его лежал убитый им сын, на той же улице — убитая им женщина, которую он любил когда-то, — Фаддей только ненадолго приходил постоять у гробов, держась за бороду. Высокий лоб его был омрачен тяжелой думой, но дума эта была — спасти бревна горницы от огня и от козней Матрениных сестер.

Перебрав тальновских, я понял, что Фаддей был в деревне такой не один.

Что добром нашим, народным или моим, странно называет язык имущество наше. И его-то терять считается перед людьми постыдно и глупо.

Фаддей, не присаживаясь, метался то на поселок, то на станцию, от начальства к начальству, и с неразгибающейся спиной своей, опираясь на посох, просил каждого снизойти к его старости и дать разрешение вернуть горницу.

И кто-то дал такое разрешение. И Фаддей собрал своих уцелевших сыновей, зятей и племянников, и достал лошадей в колхозе — и с того бока развороченного переезда, кружным путем через три деревни, обвизил остатки горницы к себе во двор. Он кончил это в ночь с субботы на воскресенье.

А в воскресенье днем — хоронили. Два гроба сошлись в середине деревни, родственники поспорили, какой гроб вперед. Потом поставили их на одни розвальни рядышком, тетю и племянника, и по февральскому вновь обсыревшему насту под пасмурным небом повезли покойников на церковное кладбище за две деревни от нас. Погода была ветреная, неприятная, и поп с дьяконом ждали в церкви, не вышли в Тальново на встречу.

До околицы народ шел медленно и пел хором. Потом — отстал.

Еще под воскресенье не стихала бабья суетня в нашей избе: старушка у гроба мурлыкала псалтырь, Матренины сестры сновали у русской печи с ухватом, из чела печи пышело жаром от раскаленных торфин — от тех, которые носила Матрена в мешке с дальнего болота. Из плохой муки пекли невкусные пирожки.

В воскресенье, когда вернулись с похорон, а было уж то к вечеру, собрались на поминки. Столы, составленные в один длинный, захватывали и то место, где утром стоял гроб. Сперва стали все вокруг стола, и старик, здловкин муж, прочел «Отче наш». Потом налили каждому на самое дно миски — медовой сыты. Ее, на помин души, мы выхлебали

ложками, безо всего. Потом ели что-то и пили водку, и разговоры становились оживленнее. Перед киселем встали все и пели «Вечную память» (так и объяснили мне, что поют ее — перед киселем обязательно). Опять пили. И говорили еще громче, совсем уже не о Матрене. Золовкин муж расхвастался:

— А заметили вы, православные, что отпевали сегодня медленно? Это потому, что отец Михаил меня заметил. Знает, что я службу знаю. А иначе б — со святыми помощи, вокруг ноги — и все.

Наконец ужин кончился. Опять все поднялись. Спели «Достойная есть». И опять, с тройным повторением: вечная память! вечная память! вечная память! Но голоса были хриплы, розны, лица пьяны, и никто в эту вечную память уже не вкладывал чувства.

Потом основные гости разошлись, остались самые близкие, вытянули папиросы, закурили, раздались шутки, смех. Коснулось пропавшего без вести мужа Матрены, и золовкин муж, бья себя в грудь, доказывал мне и сапожнику, мужу одной из Матрениных сестер:

— Умер, Ефим, умер! Как бы это он мог не вернуться? Да если б я знал, что меня на родине даже повесят — все равно б я вернулся!

Сапожник согласно кивал ему. Он был дезертир и вовсе не расставался с родиной: всю войну перепрятался у матери в подполье.

Высоко на печи сидела оставшаяся ночевать та строгая молчаливая старуха, древнее всех древних. Она сверху смотрела немо, осуждающе на неприлично оживленную пятидесяти- и шестидесятилетнюю молодежь.

И только несчастная приемная дочь, выросшая в этих стенах, ушла за перегородку и там плакала.

Фаддей не пришел на поминки Матрены — потому ли, что поминал сына. Но в ближайшие дни он два раза враждебно приходил в эту избу на переговоры с Матрениными сестрами и с сапожником-дезертиром.

Спор шел об избе: кому она — сестре или приемной дочери. Уж дело упиралось писать в суд, но примирились, рассудя, что суд отдаст избу не тем и не другим, а сельсовету. Сделка состоялась. Козу забрала одна сестра, избу — сапожник с женою, а в зачет Фаддеевой доли, что он «здесь каждое бревношко своими руками перенячил», пошла уже свеженная горница, и еще уступили ему сарай, где жила коза, и весь внутренний забор, между двором и огородом.

И опять, преодолевая немощь и ломоту, оживился и помолодел ненастный старик. Опять он собрал уцелевших сыновей и зятей, они разбিরали сарай и забор, и он сам возил бревна на саночках, на саночках, под конец уже только с Антошкой своим из 8-го «Г», который здесь не ленился.

Избу Матрены до весны забили, и я переселился к одной из ее золовок, неподалеку. Эта золовка потом по разным поводам вспоминала что-нибудь о Матрене и как-то с новой стороны осветила мне умершую.

— Ефим ее не любил. Говорил: люблю одеваться культурно, а она — кое-как, всё по-деревенски. Ну, раз, мол, ей ничего не нужно, стал все излишки пропивать. А одново мы с ним в город ездили, на заработки, так он себе там сударку завел, к Матрене и возвращаться не хотел.

Все отзывы ее о Матрене были неодобрительны: и нечистоплотная она была; и за обзаводом не гналась; и не бережнiая; и даже поросенка не держала, выкармливать почему-то не любила; и, глупая, помогала чужим людям бесплатно (и самый повод вспомнить Матрену выпал — некого было дозвать огород вспахать на себе сохою).

И даже о сердечности и простоте Матрены, которые золовка за ней признавала, она говорила с презрительным сожалением.

И только тут — из этих неодобрительных отзывов золовки — выплыл передо мною образ Матрены, какой я не понимал ее, даже живя с нею бок о бок.

В самом деле! — ведь поросенок-то в каждой избе! А у нее не было. Что может быть легче — выкармливать жадного поросенка, ничего в мире не признающего, кроме еды! Трижды в день варить ему, жить для него — и потом зарезать и иметь сало.

А она не имела...

Не гналась за обзаводом... Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни.

Не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев.

Не понятая и брошенная даже мужем своим, схоронившая шесть детей, но не нрав свой общигельный, чужая сестрам, золовкам, смешная, по-глупому работающая на других бесплатно, — она не скопила имущества к смерти. Грязно-белая коза. колченогая кошка, фикусы...

Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село.

Ни город.

Ни вся земля наша.



АННА АХМАТОВА

★

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

Родная земля

*И в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.*

(1922)

В заветных ладанках не носим на груди,
О ней стихи навзрыд не сочиняем,
Наш горький сон она не бередит,
Не кажется обетованным раем.
Не делаем ее в душе своей
Предметом купли и продажи,
Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,
О ней не вспоминаем даже.

Да, для нас это грязь на калошах,
Да, для нас это хруст на зубах.
И мы мелем, и месим, и крошим
Тот ни в чем не замешанный прах,

Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно — своею.

1961

Последняя роза

Вы напишете о нас наискосок.

И. Б.

Мне с Морозовою класть поклоны,
С падчерицей Ирода плясать,
С дымом улетать с костра Дидоны,
Чтобы с Жанной на костер опять.
Господи! Ты видишь, я устала
Воскресать, и умирать, и жить.
Все возьми, но этой розы алой
Дай мне свежесть снова ощутить.

1962

Два четверостишия

* *
*

Ржавеет золото, и истлевает сталь,
Крошится мрамор, к смерти все готово...
Всего прочнее на земле печаль
И долговечней царственное слово.

1945

* *
*

О своем я уже не заплачу,
Но не видеть бы мне на земле
Золотое клеймо неудачи
На еще безмятежном челе.

1962

*Царскосельская ода**(Девяностые годы)*

Настоящую оду
Нашептало... Постой,
Царскосельскую одурь
Прячу в ящик пустой,
В роковую шкатулку,
В «Кипарисный ларец»,
А тому переулку
Наступает конец.
Здесь ни Темник, ни Шуя,
Город парков и зал,
Но тебя опишу я,
Как свой Витебск — Шагал,
Тут ходили по струнке,
Мчался рыжий рысак,
Тут еще до чугулки
Был знатнейший кабак.
Фонари на предметы
Лили матовый свет,
И придворной кареты
Промелькнул силуэт.
Так мне хочется, чтобы
Появиться могли
Голубые сугробы
С Петербургом вдали.
Там не древние клады,
А дощатый забор,
Интендантские склады
И извозчиный двор.
Шпелявя неловко
И с грехом пополам,
Молодая чертовка

Там гадает гостям.
Там солдатская шутка
Льется, желчь не тая...
Полосатая будка
И махорки струя.
Драли песнями глотку
И клялись попадъей,
Пили дѳпоздна водку,
Заедали кутьей.
Ворон криком прославил
Этот призрачный мир,
А на розвальнях правил
Великан-кирасир.

1961



И. ЭРЕНБУРГ

★

ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ

КНИГА ПЯТАЯ

1

Годы, о которых мне предстоит рассказать, врезались в память каждого. Им посвящены прекрасные повествования Некрасова, Казакевича, Гроссмана, Пановой, Берггольц, Бека (этот список, конечно, далеко не полный). Пусть читателя не удивит, что о некоторых важных событиях я упомяну вкратце или вовсе промолчу: нет нужды повторять то, что уже хорошо сказано другими.

Я говорил, что в мирное время у каждого человека свой путь, свои радости и горести, а война не только все рядит в одежду защитного цвета, она не терпит и душевного многообразия, перед нею отступают и возраст, и особенности характера, и биография. В годы войны я думал и чувствовал, как все мои соотечественники.

Мне неохота повторять и себя, но боюсь — это неизбежно. В длинном романе «Буря» много встреч, бесед, картин, переживаний связаны с воспоминаниями автора. Я помню два ржевских дома, их окрестили «полковник» и «подполковник», на них часто глядела одна из героинь романа Рая, я видел Осипа в Минске, когда взрывались здания, заминированные немцами, я был с Сергеем в Вильнюсе на кладбище Рус и, как доктор Крылов, в Щиграх я ночевал у молодой женщины, которая жила с немецким офицером. Мне хотелось бы не столько восстановить события, сколько попытаться взглянуть на них сегодняшними глазами.

Передо мной встают первые месяцы войны. Потом люди привыкли ко всему, сложился военный быт, а летом, осенью 1941 года города металась, скрипели, рушились, как деревья. Все было внове и непонятно — призывные пункты, расставания, задорные песни, слезы, дежурства на крышах, зловещие слухи, слово «окружение», страшное, как чума или мор, длинные эшелоны, дороги, забитые беженцами, нарастающая тревога. В моей записной книжке — даты и города: 27 июня — Минск, 1 июля — Рига, 10 июля — Остров, 14 июля — Псков, 17 июля — Витебск, 20 июля — Смоленск, 14 августа — Кривой Рог, 20 августа — Новгород, Гомель, Херсон, 26 августа — Днепрпетровск, 1 сентября — Гатчина, Каховка, 13 сентября — Чернигов, Ромны, 20 сентября — Киев... (Я записывал то, что узнавал в «Красной звезде»; сводки по большей части говорили о «направлении».) За три месяца мы потеряли территорию много большую, чем вся Франция. Теперь это страницы истории, тогда это было смертельным томлением. Затаив дыхание, мы ждали очередную сводку. Радиоприемники вскоре отобрали, остались «тарелки».

и дважды в день «тарелка» с хрипом сообщала, что отделение сержанта Васильева уничтожило три вражеских танка, что пленные говорят о моральном разложении немецкой армии, что греческие или голландские патриоты приветствуют Красную Армию и что мы отходим, все отходим и отходим.

«Какие новости?» — спрашивал я в редакции полковника Карпова. Он отвечал: «Направление вяземское, но Вязьму уже оставили». Понять что-либо было невозможно, оставалось верить, и вместе с другими я верил — наперекор сводкам, беженцам и женщинам с узлами, заполнившим московские улицы.

Я встречал много людей — и старых друзей, и незнакомых, которые приходили в редакцию «Красной звезды», бывал в военных госпиталях, на аэродромах, ездил на фронт, беседовал с генералами и солдатами. Я помнил первую мировую войну, пережил Испанию, видел разгром Франции, казалось, был ко многому подготовлен, но, признаюсь, порой мною овладевало отчаяние. А люди помоложе недоуменно спрашивали: «В чем дело?..» Им ведь говорили, что если враг сунет свое рыло в наш огород, то получит сокрушительный удар, что война будет протекать на чужой территории, и вот они увидели, как фашисты почти без остановки промчались от Бреста до Смоленска. В сводках повторялись те же слова «превосходящие силы противника» — они должны были многое объяснить, но они не объясняли главного: почему у немцев больше самолетов и танков?

Третьего июля рано утром мы слушали речь Сталина; он, видимо, волновался — слышно было, как он пил воду, да и начал он непривычно, назвал нас «братьями и сестрами», «друзьями». Сталин объяснял военные неудачи внезапностью нападения, говорил о «вероломстве» Гитлера. Одновременно он повторил, что благодаря германо-советскому пакту мы выиграли время и смогли подготовиться к обороне. Все слушали молча. Днем я ходил по городу. В Москве было жарко. Люди разговаривали на бульварах, в скверах, возле подъездов. На Пушкинской площади в витрине «Известий» висела большая карта. Москвичи мрачно смотрели на нее, потом расходились по домам.

Кто знает, сколько было в каждом из нас недоумения, горечи, тревоги! Но нам было не до исторических оценок — фашисты рвались к Москве!

По переулкам Замоскворечья шагали ополченцы, шагали нестройно — с одышкой, с гирями годов и недугов. Впрочем, в те дни мало кто думал о военной выправке.

Как другие, я переживал тревогу и, как другие, событиями был освобожден от сомнений. Никогда в жизни я так много не работал, писал по три-четыре статьи в день; сидел в Лаврушинском и стучал на машинке, вечером шел в «Красную звезду», писал статью в номер, читал немецкие документы, радиоперехваты, редактировал переводы, сочинял подписи под фотографиями. О «Красной звезде» я расскажу дальше, сейчас я только хочу передать мое состояние. Я доказывал, что мы победим. В победу я верил не потому, что рассчитывал на наши ресурсы или на второй фронт, но потому, что очень хотел верить — другого выхода ни у меня, ни у моих соотечественников тогда не было.

Начали приходиться телеграммы из-за границы: различные газеты предлагали мне писать для них: «Дейли геральд», «Нью-Йорк пост», «Ля Франс», шведские газеты, американское агентство Юнайтед Пресс. Приходилось менять не только словарь — для красноармейцев и для нейтральных шведов требовались различные доводы. Чуть ли не ежедневно я выступал по радио — и для советских слушателей, и для французов, чехов, поляков, норвежцев, югославов.

Лозовский сказал мне, что Сталин придает большое значение работе для Америки и Англии. Совинформбюро начало устраивать радиомитинги главным образом для Америки — славянские, еврейские, женские, молодежные. На еврейском митинге выступил и я. Говорили С. М. Михоэлс, С. М. Эйзенштейн, Перец Маркиш, Д. Бергельсон, архитектор Б. М. Иофан, а также П. Л. Капица, другие. (Некоторых из выступавших или подписавших обращение восемь лет спустя арестовали только потому, что они входили в Еврейский антифашистский комитет.)

В тот самый день ко мне пришел мой давний друг поэт Броневский — его незадолго до этого выпустили из тюрьмы. Он был мрачен, рассказывал, что пережил и передумал в заключении, многим возмущался. Я говорил ему, что теперь нужно разбить фашистов, он усмехался: «Я это понял раньше тебя...» Он говорил, что его судьба сидеть в тюрьме, он это знает. Если разобьют немцев и освободят Польшу, его там посадят. Но пусть посадят в польскую тюрьму — не потому, что там лучше, а потому, что он поляк...

Броневский был страстным и честным коммунистом. Я с ним встретился впервые в Варшаве при Пилсудском и подумал сразу: вот интернационалист!.. Что-то в мире изменилось, я еще не мог тогда этого сформулировать, но смутно чувствовал и понимал Броневского. Мы выросли на идеях XIX века, ненавидели национальную ограниченность, верили, что границы доживают свой век. В годы первой мировой войны все происходившее меня ошеломяло. Я искал разгадки у Декарта. А история никогда не посещала класс логики. В Испании я понимал горе народа, но там была гражданская война; подвиг интербригадцев как бы продолжал Коммуну, Домбровского, Гарибальди. И вдруг я почувствовал, что есть очень важное и цепкое — земля. Я сидел на московском бульваре. Рядом сидела женщина с ребенком, некрасивая, печальная, с бесконечно знакомыми мне чертами, она говорила: «Петенька, не шали, пожалей меня!..» Я понял, что она родная, что за Петеньку можно умереть. Идеи идеями, но есть и это...

В конце июля начались бомбежки Москвы. После Мадрида и Барселоны они мне казались слабыми — противовоздушная оборона работала хорошо. Но для москвичей они были внове. У людей разные характеры, и они по-разному себя вели: одни были спокойны, другие с непривычки пугались, некоторые тащили в убежища мешки с барахлом. Обычно бомбежки заставляли меня в «Красной звезде». В подвале особняка на Малой Дмитровке мы продолжали работать (шутя мы называли этот погреб «презрением к смерти»). Когда я выходил рано утром и шел по улице Горького, я радовался: все дома на месте! Архитектура этих домов мне никогда не нравилась, но я глядел на них с нежностью, как на близких людей, вышедших живыми из боя.

Как-то раз я вернулся ночью из редакции. Меня не хотели пропустить в Лаврушинский — наш дом был оцеплен. Работали пожарники. Я испугался: что с Любой, Ириной? Вскоре я нашел их в переулке — оказалось, небольшая бомба попала в наш корпус и всех удалили из дома.

Двадцать шестого июля бомбежка застала меня у себя; я писал статью. Поэт Сельвинский был контужен воздушной волной; помню его крик. Бомба разорвалась близко — на Якиманке.

Однажды я был на пресс-конференции: С. А. Лозовский показывал иностранным корреспондентам немецкие документы о подготовке химической войны. Завыли сирены, и я оказался в убежище с американским писателем Колдуэллом и его женой. Мы разговорились; несколько часов прошли незаметно. Когда дали отбой, я пошел домой с Е. П. Петровым.

Мы шли по Никольской, видели, как из-под обломков дома вытаскивали тела убитых. Вдалеке рыжели отсветы пожаров.

Еще в первые дни войны Лозовский собрал писателей, говорил о важности газетной работы. Некоторые тогда ему сказали, что нужно отказаться от штампов, предоставить писателям возможность говорить с читателями своим голосом. Лозовский многое понимал, но у него были ограниченные возможности: решал А. С. Щербаков. В моей записной книжке несколько строк посвящены длинному и трудному разговору с Александром Сергеевичем. (Это было 3 сентября.) Когда я сказал, что штампованные статьи люди читают равнодушно, Щербаков ответил: «Зажирили до войны...» Потом разговор перешел на союзников. Щербаков сказал, что я должен ежедневно писать для Запада. Я заметил, что мои статьи в Совинформбюро режут или вовсе задерживают. Он рассердился: «А вы не оригинальничайте...»

Вероятно, в другое время такой разговор меня обескуражил бы, но я продолжал работать: мне было не до сомнений. Наверно, такие минуты переживали тогда многие — одни в тылу, другие на фронте, сталкиваясь с беспорядком, ограниченностью, несправедливостью. Никто, однако, не останавливался на наших пороках, не останавливал своей работы, борьбы; жертвовали все и всем. Горше времени, кажется, не придумаешь, а люди, его пережившие, вспоминают о нем с гордостью.

Писатели долго (разумеется, не по своей воле) обходили первые месяцы войны молчанием, начиная повествование с контрнаступления в декабре 1941 года. А между тем все было решено именно в первые месяцы, когда народ показал свою душевную силу.

Конечно, были растерянность и паника; много раз я слышал жесткое слово «доигрались»... Я был в деревне Афонино на Брянском фронте — ее на короткий срок отбили у немцев. Колхозница поила водой бойцов и серьезно им доказывала, что сопротивляться глупо: у немцев порядок, приехали на машинах, аккуратно одеты, даже солдаты получают шоколад. Кто-то выругался. Были и такие, что сочувственно вздыхали.

В октябре хлеб стоял необранный. Эвакуация часто проходила беспорядочно. Немецкие танки прорывались в бреши, неслись на восток. Порой местные власти беспечно отвечали: «Нечего панику разводить», а несколько часов спустя уезжали. Аппарат был громоздким с «винтиками» и «колесиками»; в мирное время он плохо ли, хорошо ли работал, а осенью 1941 года требовалось другое: инициатива, чувство личной ответственности, гражданское вдохновение.

Помню речь Сталина в ноябре 1941 года. Меня резанули слова о «перепуганных интеллигентах». Конечно, были и среди интеллигенции люди растерявшиеся, но уж никак не больше, чем в других слоях населения. Не знаю, почему Сталин еще раз выбрал нашу интеллигенцию как козла отпущения. Интеллигенция была с народом, сражалась на фронте, работала в санбатах, на военных заводах. Напомню о писателях: с первого дня почти все делали, что могли. Гайдар, Крымов, Лапин, Хащевин, Петров, Ставский, Уткин, Вишневский, Гроссман, Симонов, Твардовский. Кирсанов, Сурков, Лидин, Габрилович, многие другие сразу уехали на фронт. Все мы хлебнули горя не только потому, что армия Гитлера была действительно сильной, но и потому, что видели, как тяжело сказались на обороне предвоенные годы: бахвальство, фимиам и окрики, бюрократизм, а главное, страшные потери, нанесенные командному составу Красной Армии, да и всем «интеллигентам».

Я просмотрел комплекты старых газет, с июля по ноябрь 1941 года, — имя Сталина почти не упоминалось, впервые за долгие годы не было ни его портретов, ни восторженных эпитетов; дым близких разрывов про-

гнал дым камильниц. (Значит, и Сталин понял, что ему нужно потесниться.) Одни знали, что защищают Октябрьскую революцию от тупого, жестокого фашизма, другие думали о родном домике, но народ держался, сражался, и вместе с народом шла в бой советская интеллигенция.

Иностранцы ломали себе голову: хотели разгадать, откуда у русских столько выдержки. Были такие, что отделялись по шпаргалке: «русским мистицизмом», «долготерпением», «фатализмом Востока». После контрастступления под Москвой один американский журналист говорил мне: «Никакой загадки тут нет — вас спасли размеры территории». На первый взгляд это казалось убедительным, но меня не убедило. Я помнил, как в Испании фашисты, почти не останавливаясь, прошли от Кадикса до предместий Мадрида и неожиданно для себя натолкнулись на яростное сопротивление. Будь Москва ближе к Бресту, декабрь мог бы приключиться в сентябре или в октябре.

Помню беседу с Колдуэллом во время бомбежки. Он спрашивал, хотел понять, говорил, что, видимо, сильна привязанность к родной земле. Я ему отвечал, что мы привязаны и к русской земле, и к советскому строю, хотя жилось нам трудно. (О всех трудностях Колдуэллу я тогда не мог сказать — мешала гордость. Но наши люди многое знали и шли на смерть не потому, что им приказывали: когда смерть рядом, одной дисциплины мало — нужно самопожертвование.)

С точки зрения военного историка первые месяцы выглядят достаточно мрачно; небольшие успехи наших войск у Ельни, у Брянска не могли уравновесить немецких побед, захвата врагом огромной территории, окружения наших крупных соединений. Но я не терял надежды. Под Брянском я увидел наши слабые и сильные стороны; было много беспорядка, хромала связь; немецкие танки безнаказанно прорывались вперед, да и в небе противник был куда сильнее. Но люди сражались, даже зная, что они обречены, и немцы несли большие потери.

Под Брянском я познакомился с генералом Еременко. Он беседовал с пополнением — необстрелянными юнцами, говорил хорошо, по-человечески, признавался, что сначала всем страшно, нужно взять себя в руки; рассказал бойцам, что в детстве он был пастухом.

Там же я встретил одного из «испанцев» — танкиста генерала Петрова. Он усмехнулся: «Помнишь?.. Та же картина... Только здесь, думаю, выстоим...» Мы сидели в избе. Изможденная крестьянка цыкала на ребенка: «Тише — генерал думает...»

По дорогам скрипели повозки. Немцы пикировали, и снова я увидел мать, которая голосила над убитым мальчиком. Было много горя, очень много, но, как это ни странно, люди в те месяцы были добрее друг к другу. Я ничего не хочу идеализировать, это сущая правда: люди, которые в мирное время ругались между собой в коммунальных квартирах из-за отодвинутой кастрюли или у прилавков из-за отреза на котлет, теперь делились ломтем хлеба, помогали нести детей.

На Волге я видел пожилого машиниста; он вел состав семьдесят два часа подряд, рассказывал, что, когда одолевал сон, останавливал поезд и тер лицо снегом. Он удивился моему удивлению: «А как же?.. Теперь иначе нельзя...» Ко мне в «Красную звезду» пришла старая еврейка из Винницы, рассказала, как ей удалось уйти, она прошла сто километров пешком; потом ее взяли на грузовик, и вот она унесла чужого ребенка — родителей немцы убили. Из Орла вывозили музей Тургенева, и директор музея на всех станциях молил, чтобы не отцепили вагон с музейными экспонатами. Люди сердились: «Да кому нужна этакая рухлядь?» — в вагоне стоял старый продырявленный диван; директор в сотый раз объяснял, что это диван-«самосон», так его прозвал Иван Сергеевич. Люди смягчались: «Вези...» Все это я рассказываю несвязно. Я написал

«Бурю», там был план, сюжет; а сейчас, когда я вспоминаю те месяцы, слезы подступают к горлу: уж очень тяжело было людям, право, они этого не заслужили.

Немцы быстро продвигались к Москве. Все помрачнели. Одна маленькая девочка сказала матери: «Мамочка, да роди ты меня обратно!..»

«Красную звезду» перевели в подвал Театра Красной Армии, сказали, что там спокойнее — под землей. Кругом театра были ямы, даже рвы; а ночи были темными; я упал, расшибся, статью в номер все же написал.

Что скрывать — настроение было отвратительное. Но людям необходимо посмеяться, и однажды нас развеселил П. Г. Богатырев, ученый-славист. Я с ним подружился еще в Праге в двадцатые годы. Он разбирался куда лучше в старом чешском фольклоре, нежели в карте военных операций. Он ходил громко, как еж — топ-топ. Пришел утром чрезвычайно веселый, сказал, что немцев скоро разобьют. Люба спросила, откуда у него такие радужные сведения. Петр Григорьевич объяснил: «Я ехал к вам, и кто-то — не просто, а военный — сказал, что армия Гудерьяна подходит к Москве. Много танков. Значит, немцев прогонят». Богатырев решил, что Гудерьян — армянин. Мы долго смеялись, а Петр Григорьевич помрачнел: «Но в таком случае здесь нет ничего смешного...»

К середине октября в нашем доме в Лаврушинском переулке мало кто остался. Я не хотел уезжать. Вдруг позвонил Е. П. Петров: приказ Щербакова эвакуировать Информбюро и группу писателей, которая при нем состоит. В суматохе первых месяцев меня забыли ввести в штаты. Редактор «Красной звезды» считал меня своим. А Щербаков говорил, что я должен работать для заграницы, важнее всего, чтобы я посылал статьи через Информбюро. Щербаков был секретарем ЦК, и спорить с ним не приходилось.

На Казанском вокзале происходило бог весть что. Впрочем, чума — повсюду чума, а я уже видел Барселону и Париж. У меня пропал ручной чемоданчик с рукописью третьей части «Падения Парижа». Потом я огорчился, а тогда думал о чем угодно, только не о литературе, горевал, что пропала бритва — как я буду бриться?.. Повезли нас в пригородном вагоне; было очень тесно — трудно повернуться, а ехали мы до Куйбышева пять дней. Состав был длинный; в спальном вагоне разместились дипломаты, в другом вагоне — работники Коминтерна (помню Долорес, Раймонда Гьюю). На остановках дипломаты штурмовали буфеты. Жена Ярославского, глядя на неубранный хлеб, то плакала, то ругалась. Петров пробовал острить, но даже у него ничего не выходило. Афиногенов вслух доказывал самому себе, что все в порядке. На какой-то заваленной беженцами станции мы услышали сводку: враг прорвал линию обороны и приближается к Москве.

В Куйбышеве мы переночевали у редактора газеты «Волжская коммуна», потом несколько дней прожили в общежитии «Гранд-отеля», откуда нас выселили: англичане потребовали места для горничных посольства.

Меня приютил на ночь Я. З. Суриц. Мы почти до утра проговорили. Он не мог удержаться, говорил, что Сталина предупреждали много раз о готовящемся нападении, что он не знает, как живет страна, а его обманывают. Потом Яков Захарович вынул из чемодана рисунок Родена, прислонил его к спинке кровати и, забыв про все на свете, требовал, чтобы я восхищался.

Я писал статьи в коридоре здания, где разместились Наркоминдел и Совинформбюро, — поставил машинку на ящик.

Потом мы получили жилье. В соседней комнате жили приехавшие с

фронта Гроссман и Габрилович. Я поставил машинку на чемодан и продолжал стучать.

Иностранные корреспонденты изводили меня жалобами: почему их не пускают на фронт, почему привезли в Куйбышев и говорят, что нужно помечать телеграммы Москвой?.. Они жили в «Гранд-отеле», много пили, порой угощали Петрова и меня виски или водкой. Они считали, что через месяц-другой Гитлер завоюет всю Россию, иногда утешали себя и нас тем, что борьба будет продолжаться в Египте или в Индии. Когда пришли известия о нападении японцев на Пирл-Харбор, американцы в «Гранд-отеле» подрались с японскими журналистами. Афиногенова вызвали в Москву, там он сразу погиб при бомбежке. Мы не знали, как рассказать об этом его жене Дженни.

Уманский описывал Америку, и от его рассказов становилось неудобно. Литвинов перед отъездом в Вашингтон за ужином добродушно сказал мне: «Боюсь, будет плохо...» — почему, он не объяснил; все-таки он был куда больше дипломатом, чем Суриц: умел вовремя замолкать.

В начале декабря я был возле Саратова на параде армии генерала Андерса, образованной из военнопленных поляков. Приехал Сикорский, его сопровождал Вышинский. Не знаю, почему для такой okazji выбрали именно Вышинского. Может быть, потому, что он был польского происхождения? А я вспоминал его на процессе в роли прокурора... Он чокался с Сикорским и сладко улыбался. Среди поляков было много людей угрюмых, озлобленных пережитым; некоторые не могли удержаться — признавались, что нас ненавидят. Я чувствовал, что эти не смогут перешагнуть через прошлое. Сикорский и Вышинский называли друг друга «союзниками», а за любезными словами чувствовалась неприязнь.

В Саратове играл МХАТ. Ставили «Три сестры». Вершинин на сцене говорил: «Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной...» Все слушали и вздыхали.

Я настаивал, чтобы мне разрешили вернуться в Москву. Лозовский отвечал: «Через неделю все прояснится. Пока что нужно работать...»

Я сидел и писал по пяти статей в день.

Редактор «Красной звезды» генерал Ортенберг (он же Вадимов) сразу решил меня прикрепить к своей газете; говорил, что фронтовикам нравятся мои статьи. Однажды, это было еще в июле, он сказал, что я должен написать передовую. Я попытался возразить: вот этого я не умею. Он ответил: «На войне нужно все уметь». Два часа спустя я принес ему статью; он начал читать и рассмеялся, а смеялся он очень редко, да и не было в статье ничего веселого. «Какая же это передовица? С первой фразы видно, кто написал...» Оказалось, что передовые нужно писать так, чтобы все слова были привычными. Ортенберг подписал под статьей мое имя: «Пойдет на третьей полосе...»

Может быть, фронтовикам нравились мои короткие статьи именно потому, что они не походили на передовицы. А может быть, потому, что мне порой удавалось выразить частицу того, что люди тогда чувствовали. Обычно война приносит с собой ножницы цензора; а у нас в первые полтора года войны писатели чувствовали себя куда свободнее, чем прежде.

Вот несколько фраз из моих статей того времени. «Враг наступает. Враг грозит Москве. У нас должна быть только одна мысль — выстоять». «Вероятно, мы сможем исправить наши недостатки, но и со всеми нашими недостатками мы выстоим. Может быть, врагу удастся еще глубже врезаться в нашу страну. Мы готовы и к этому. Мы не сдадимся. Мы перестали жить по минутной стрелке, от утренней сводки до вечерней.

Мы перевели дыхание на другой счет. Мы смело глядим вперед: там горе и там победа...» «Многие у нас привыкли к тому, что за них кто-то думает. Теперь не такое время. Теперь каждый должен взять на себя всю тяжесть ответственности... Не говори, что кто-то за тебя думает. Не рассчитывай, что тебя спасет другой...» «Плохо ли, хорошо ли, но мы жили у себя дома. Немцы несут гибель всем...» «Мы многого не понимали. У нас были седые люди с душой младенца. Теперь у нас и дети все понимают. Мы выросли на сто лет...»

Не знаю, почему А. С. Щербаков обвинил меня в оригинальничании. По фразам, которые я переписал, видно, что в моих статьях не было никаких оригинальных мыслей. А фронтовики их читали, видимо, с охотой: каждый день я получал много писем от солдат и офицеров.

Я писал тогда в газете «Литература и искусство»: «Придет время для «Войны и мира». Теперь у нас война без кавычек — не роман, а жизнь... Писатель должен уметь писать не только для веков, но и для короткой минуты, если в эту минуту решается судьба его народа...»

В мирное время каждому писателю хочется, как и композитору, услышать нечто еще невнятное другим. Это не всегда удается, чаще писатель оказывается в роли музыканта, облюбовавшего тот или иной инструмент. Бывают, однако, времена, когда писатель только инструмент — труба или свирель, которую находят на дороге и которая звенит потому, что в нее врывается дыхание других.

2

Шестнадцатого сентября в редакции я прочитал очерк Б. Лапина и З. Хацревина, переданный из Киева по телефону. Они писали, что немцы подошли вплотную к городу, но киевляне не унывают: «Как всегда многолюден и шумен Крещатик. По утрам его поливают из шлангов, моют, скребут... Начались занятия в школах... Во всех переулках баррикады... Очередь у кассы цирка...» Четыре дня спустя по Крещатику шагали немцы.

Лапин и Хацревин уехали на фронт еще в июне. В августе они приехали в Москву. Хацревин заболел. Редакция «Красной звезды» горючила, и через неделю они снова уехали в Киев. В начале сентября Лапин позвонил из Киева, шутил, говорил, что скоро, наверно, увидимся...

В 1932 году я познакомился со многими молодыми писателями: Лапиным, Славиним, Борисом Левиным, Габриловичем, Хацревиным. Мы говорили о новых формах, о роли очерка, о романтике, о путях нашей литературы. Лапин подарил мне свою книгу «Тихоокеанский дневник», она мне понравилась свежестью и вместе с тем мастерством. Заинтересовал меня и автор: с виду он походил на скромного молодого доцента, на человека сугубо книжного, а в действительности колесил по миру, охотно меняя письменный стол на палубу, юрту, барак пограничника.

Все книги Лапина были поисками нового жанра; фантастику он выдавал за историческую хронику, очерки писал, как новеллы, старался стереть грань между сухим протоколом и поэзией. Это было связано с душевной природой автора: Лапин читал труды историков и экономистов, филологов и ботаников, а любил он больше всего поэзию.

Я рассказывал в одной из предшествующих частей этой книги, как Ирина мне сообщила, что вышла замуж за Лапина. Я был в Испании, когда нам дали квартиру в писательском доме в Лаврушинском переулке. Мы прожили вместе полгода в 1937—1938-м, потом последний предвоенный год. Это немного, но время было такое, что люди, кажется, в один присест съедали пуд соли. Я узнал и полюбил Бориса Матвеевича.

Когда началась революция, Лапину было двенадцать лет. Отец его был врачом и, отправившись на фронт гражданской войны, взял сына с собой (мать уехала за границу). Семнадцатилетним подростком Лапин выпустил сборник стихов, задорных и сумасбродных, в них были и возраст автора, и противоречия эпохи. Он увлекался старыми немецкими романтиками и китайской революцией, космосом и словообразованиями, ходил на бурные литературные диспуты, мечтал об Индии. Вскоре он перешел на прозу, но стихи продолжали притягивать его к себе. В различные книги он включал свои стихотворения, выдавая их за переводы старых таджикских поэтов, чукотских заклинаний, японских танок, американских песенок.

У Ирины сохранился старый документ: «Предъявитель сего удостоверения действительно является товарищем Бури, сыном Мустафа-Куля, туземцем Аджаристанского вилайета, который явился в 1927 году 11-го мая по приказу Советского государства для производства всеобщей переписи и в течение девяти дней нанес на бумагу все население Язгуложской общины, а теперь возвращается своим путем, для чего товарищу Бури, сыну Мустафа-Куля и выдано настоящее удостоверение». Товарищ Бури, сын Мустафа-Куля был двадцатидвухлетним Борисом Матвеевичем Лапиным, который то верхом, то на арбе продвигался по селениям Памира в вагном цветном халате и в афганских остроносых туфлях. Он изучал таджикский язык и забыл о Гофмане, увлеченный древней персидской поэзией.

Год спустя Лапин отправился на Чукотку, поступил на службу в пушную факторию; жил среди чукчей, изучал их язык; чукчи звали его ласково «тиндлиляккой», что означало «очкастенький». Он побывал на Аляске, на Курильских островах; вернулся в Москву, написал книгу и мог бы превратиться в нормального столичного литератора. Но он искал любую возможность, чтобы повидать новые земли и новых людей. Он отправился с экспедицией геоботаников в Среднюю Азию и с экспедицией археологов в Крым; нанялся штурманом на пароход «Чичерин», увидел Турцию, Александрию. Дважды его посылали в Монголию. В 1939 году он вместе с Хацревиным работал военным корреспондентом «Красной звезды» на Халхин-Голе.

Этот перечень путешествий и профессий может сбить с толку — он похож на послужной список любителя походов. Однако меньше всего Лапин напоминал туриста, падакого на экзотику. Он входил в будничную жизнь Памира или Чукотки, выполнял любую работу, быстро начинал говорить на языке местных жителей, находил в их характере, в их обычаях нечто ему милое и родное.

Языки ему давались легко, в нем жила страсть лингвиста. Он читал на немецком и на фарси, на английском и на языках народов Севера; знал сотни китайских иероглифов. Перед войной по вечерам мы сидели в соседних комнатах и слушали радио. Иногда я возвращался поздно домой, заходил к нему, чтобы спросить, какие новости передавали из Лондона. Оказывалось, что он увлекся и слушал передачи на языках, которых не знал; радовался, что многое понял из сообщения на сербском языке или на норвежском. Его увлекали корни слов, в этом он тоже оставался поэтом.

При всех навыках бродячей жизни он был очень трудолюбив. Я вижу его за рабочим столом, над белым листом он мог просидеть несколько часов, чтобы найти точное сравнение, нужное слово. Иногда он писал сценарий или очерк вместе со своим другом Хацревиным, которого мы шутливо звали Хацем. Хацревин написал хорошую книгу «Тегеран», у него была фантазия, а мешала ему лень. Он ложился на кровать, иногда говорил «не то» или «здесь нужно дать пейзаж». Лапин прилежно писал.

Борис Матвеевич принадлежал к первому поколению интеллигенции, сложившемуся уже в советское время. Многие из того, что меня удивляло, восхищало или отталкивало, ему казалось естественным. Настал 1937 год. Моим сверстникам — Мандельштаму, Паустовскому, Пастернаку, Федину, Бабелю — было за сорок; мы многое успели написать, а главное, продумать. Лапина и писателей его поколения события настигли врасплох; они только-только распрощались с молодостью, начинали подумывать о зрелых книгах. Им было куда труднее, чем нам — старшим.

Борис Матвеевич был человеком мужественным. Помню, генерал Вадимов, ругая некоторых сотрудников газеты, говорил: «Вот за Лапина и Хацревина я спокоен — эти не будут отсиживаться в штабах, я их видел у Халхин-Гола...» Да, Борис Матвеевич любил опасность. Но когда в 1937 году начали бесследно исчезать друзья, товарищи, знакомые, он душевно сжался. Был он любознательным, общительным, и новая наука далась ему с трудом: он научился не спрашивать и не отвечать. Он и прежде разговаривал негромко, а в то время начал говорить еще тише. Порой он шутил с Ириной, со мной, а когда снимал очки, я видел в его глазах грусть и недоумение.

Однажды — это было в начале 1938 года — я зашел в его комнату. Он писал. Почему-то мы заговорили о литературе, о том, что теперь делать писателям. Борис Матвеевич, улыбаясь, говорил: «Я пишу о пустыне Гоби... Когда я писал «Тихоокеанский дневник», «Подвиг», я выбирал темы — писал, как жил. Теперь иначе... Мне очень хотелось бы написать про другую пустыню, но это невозможно... А нужно работать — иначе еще труднее...»

Время, о котором я говорю, было для Лапина особенно тяжелым: он страдал от перерождения человеческих взаимоотношений. Он был человеком на редкость верным; больше всего его ранило недоверие, пренебрежение дружбой, стремление некоторых (тщетное) спастись любой ценой.

Почти каждый вечер к Лапину приходил Хацревин, человек обаятельный и странный. Он был внешне привлекательным, нравился женщинам, но боялся их, жил бобылем. Меня в нем поражали мягкость, мечтательность и мнительность. Почему-то он скрывал от всех, даже от Бориса Матвеевича, что болен эпилепсией. В августе Лапин уговаривал его остаться на месяц-другой в Москве, но Хацревин хотел скорее вернуться на фронт.

Я рассказывал, как в один из последних вечеров мы читали в Переделкине роман Хемингуэя. Вдали лаяли зенитки. Иногда мы откладывали листы рукописи, и Борис Матвеевич рассказывал про все, что видел на фронте, про геройство, беспорядок, отвагу, растерянность — ему ведь пришлось пережить отступление первых недель. Почему-то мы вспомнили тридцать седьмой. Лапин сказал: «Знаете, все-таки теперь легче — все как-то стало на место...» Мы снова читали. Поглядев на него, я подумал, что, сам того не замечая, к нему привязался. А когда мы возвращались в Москву, он сказал: «Вот кончится война, наверно, многие напишут настоящие книги. Как Хемингуэй...»

Той книги, о которой он мечтал, он написать не смог.

Лапин и Хацревин вместе с армией ушли из Киева в Дарницу, дошли до Борисполя. Немцы окружили наши части. Некоторым удалось выйти из окружения. От них мы потом узнали про судьбу Лапина и Хацревина. Нельзя было терять ни минуты, а Хацревин лежал — у него был очередной припадок. Лапин не захотел оставить друга. «Скорее! Немцы близко!» — сказал ему один корреспондент. Борис Матвеевич ответил: «У меня револьвер...» Это последние его слова, которые до меня дошли.

Ирина долго надеялась на чудо. Во время войны неизбежно рождаются мифы: приходили люди, которые якобы видели Лапина то на одном, то на другом фронте.

Перед отъездом в Киев Борис Матвеевич переписал начисто свои старые стихи. Может быть, и возле Борисполя он еще слушал звучание слов, недописанные строфы — он был поэтом, стыдливый, не выдававший своих чувств «очкастенький», как говорили чукчи, снисходительный ко всем, только не к себе. Мне вспомнились сейчас строки таджикского поэта X века Рудаки, переведенные очень давно Лапиным: «...И много пустынь разбито под пышный цветущий сад, и часто увидишь пустыню, где сад золотой был...»

Девятого мая 1945 года был праздник: пустыня войны кончилась. Но в жизни почти каждого из нас была новая пустыня, та, что не зазеленеет — память о близких...

3

Разговаривая с бойцами в первые месяцы войны, я то испытывал гордость, то доходил до отчаяния. Конечно, мы были вправе гордиться тем, что советские учителя воспитывали детей и подростков в духе братства. Но мы сдавали за городом город, а я не раз слышал от красноармейцев, что солдат противника пригнали к нам капиталисты и помещики, что, кроме Германии Гитлера, существует другая Германия, что если рассказать немецким рабочим и крестьянам правду, то они побросают оружие. Многие в это искренне верили, другие охотно к этому прислушивались — немцы стремительно продвигались вперед, а человеку всегда хочется на что-то надеяться.

Люди, защищавшие Смоленск или Брянск, повторяли то, что слышали сначала в школе, потом на собраниях, что читали в газетах: рабочий класс Германии силен, это передовая индустриальная страна, правда, фашисты, поддерживаемые магнатами Рура и социал-предателями, захватили власть, но немецкий народ против них, он продолжает бороться. «Конечно, — говорили красноармейцы, — офицеры — фашисты, наверное, и среди солдат попадают люди, сбитые с толку, но миллионы солдат идут в наступление только потому, что им грозит расстрел». Наша армия в первые месяцы не знала подлинной ненависти к немецкой армии.

На второй день войны меня вызвали в ПУР и попросили написать листовку для немецких солдат, говорили, что фашистская армия держится на обмане и на железной дисциплине. Тогда и многие командиры еще возлагали надежды на листовки и громкоговорители.

Листовок было много, казалось бы убедительных, а немцы продолжали продвигаться вперед.

Может быть, и я разделял бы иллюзии многих, если бы в предвоенные годы жил в Москве и слушал доклады о международном положении. Но я помнил Берлин 1932 года, рабочих на фашистских собраниях, в Испании я разговаривал с немецкими летчиками, пробыл полтора месяца в оккупированном Париже. Я не верил в громкоговорители и листовки.

Редкие пленные (главным образом танкисты), которых я видел в первые месяцы войны, держались все самоуверенно, считали, что с ними приключилась неприятность, но что не сегодня-завтра их освободят наступающие части. Один даже предложил командиру полка сдаться на милость Гитлера: «Я гарантирую всем вашим солдатам жизнь и хорошее содержание в лагере для военнопленных. А к рождеству война кончится, и вы вернетесь домой». Среди этих военнопленных были ра-

бочие. Правда, после неудачи под Москвой я впервые услышал от перепуганных пленных «Гитлер капут», но летом 1942 года, когда немцы двинулись на Кавказ, немцы снова уверовали в свою непобедимость. На допросах пленные держались осторожно — боялись и русских, и своих товарищей. А если и попадались солдаты, искренне ругавшие Гитлера, то это были главным образом крестьяне из глухих деревень Баварии, католики, отцы семейств. Настоящий перелом начался только после Сталинграда, да и то до лета 1944 года сотни миллионов листовок приносили мизерное количество перебежчиков.

В начале войны у наших бойцов не только не было ненависти к врагу, в них жило некоторое уважение к немцам, связанное с преклонением перед внешней культурой. Это тоже было результатом воспитания. В двадцатые и тридцатые годы любой советский школьник знал, каковы показатели культуры того или иного народа — густота железнодорожных сетей, количество автомашин, наличие передовой индустрии, распространенность образования, социальная гигиена. Во всем этом Германия занимала одно из первых мест. В вещевых мешках пленных красноармейцы находили книги и тетради для дневников, усовершенствованные бритвы, а в карманах фотографии, замысловатые зажигалки, самопишущие ручки. «Культура!» — восхищенно и в то же время печально говорили мне красноармейцы, пензенские колхозники, показывая немецкую зажигалку, похожую на крохотный револьвер.

Помню тяжелый разговор на переднем крае с артиллеристами. Командир батареи получил приказ открыть огонь по шоссе. Бойцы не двинулись с места. Я вышел из себя. Один мне ответил: «Нельзя только и делать, что палить по дороге, а потом отходить, нужно подпустить немцев поближе, попытаться объяснить им, что пора образумиться, восстать против Гитлера, и мы им в этом поможем». Другие сочувственно поддакивали. Молодой и на вид смысленный паренек говорил: «А в кого мы стреляем? В рабочих и крестьян. Они считают, что мы против них, мы им не даем выхода...»

Конечно, самым страшным было в те месяцы превосходство немецкой военной техники: красноармейцы с «бутылками» шли на танки. Но меня не менее страшили благодушие, наивность и растерянность.

Я помнил «странную войну» — торжественные похороны немецкого летчика, рев громкоговорителей... Война — страшное, ненавистное дело, но не мы ее начали, а враг был силен и жесток. Я знал, что мой долг показать подлинное лицо фашистского солдата, который отменной ручкой записывает в красивую тетрадку кровожадный, суеверный вздор о своем расовом превосходстве, вещи бесстыдные и свирепые, которые смутили бы любого дикаря. Я должен был предупредить наших бойцов, что тщетно рассчитывать на классовую солидарность немецких рабочих, на то, что у солдат Гитлера заговорит совесть, не время искать в наступающей вражеской армии «добрых немцев», отдавая на смерть наши города и села. Я писал: «Убей немца!»

В статью, которую я назвал «Оправдание ненависти» и которая была написана в очень трудное время — летом 1942 года, я говорил: «Эта война не похожа на прежние войны. Впервые перед нашим народом оказались не люди, но злобные и мерзкие существа, дикари, снабженные всеми достижениями техники, изверги, действующие по уставу и ссылающиеся на науку, превратившие истребление грудных младенцев в последнее слово государственной мудрости. Ненависть не далась нам легко. Мы ее оплатили городами и областями, сотнями тысяч человеческих жизней. Но теперь мы поняли, что на одной земле нам с фашистами не жить... Конечно, среди немцев имеются добрые и злые люди, но дело не в душевных качествах того или иного гитлеровца... Они убивают потому,

что уверовали, что на земле достойны жить только люди немецкой крови... Наша ненависть к гитлеровцам продиктована любовью к родине, к человеку, к человечеству. В этом сила нашей ненависти, в этом и ее оправдание. Сталкиваясь с гитлеровцами, мы видим, как слепая злоба опустошила душу Германии. Мы далеки от подобной злобы. Мы ненавидим каждого гитлеровца за то, что он — представитель человеконенавистнического начала, за то, что он — убежденный палач и принципиальный грабитель, за слезы вдов, за омраченное детство сирот, за тоскливые караваны беженцев, за вытопанные поля, за уничтожение миллионов жизней. Мы сражаемся не против людей, а против автоматов, которые выглядят как люди. Наша ненависть еще сильнее от того, что с виду они похожи на человека, что они могут смеяться, могут гладить собаку или коня, что в своих дневниках они занимаются самоанализом, что они загромождены под людей, под культурных европейцев... Не о мести мечтают наши люди. Не для того мы воспитали наших юношей, чтобы они снизились до гитлеровских расплат. Никогда не станут красноармейцы убивать немецких детей, жечь дом Гете в Веймаре или библиотеку Марбурга. Мечь — это расплата той же монетой, разговор на том же языке. Но у нас нет общего языка с фашистами... Мы радуемся многообразию и сложности жизни, своеобразию народов и людей. Для всех найдется место на земле. Будет жить и немецкий народ, очистившись от страшных преступлений гитлеровского десятилетия. Но есть предел и у широты: я не хочу сейчас ни говорить, ни думать о грядущем счастье Германии, освобожденной от Гитлера, — мысли и слова неуместны, да и не искренни, пока на нашей земле бесчинствуют миллионы немцев...»

Я прочитывал ежедневно немецкие газеты, военные приказы, дневники и письма немецких солдат: мне нужно было показать духовное убожество фашистов, показать точно, документально.

На войне человеку хочется порой улыбнуться, и я не только обличал солдат Гитлера, я над ними и посмеивался. Кажется, одним из первых я пустил в ход прозвище «фриц». Вот название некоторых коротких статей (я писал каждый день): «Фриц-философ», «Фриц-нарцисс», «Фриц-блудодей», «Фриц в Шмоленгсе», «Фриц-мистик», «Фриц-литератор» и так далее — десятки, сотни.

Впервые я увидел ненависть к врагу, когда наши части при контрастном пленении под Москвой заняли сожженные немцами деревни. У головешек грелись женщины, дети. Красноармейцы ругались или злобно молчали. Один со мной разговаривался, сказал, что ничего не может понять — он считал, что города бомбят потому, что там начальство, казармы, газеты. Но зачем немцы жгут избы? Ведь там бабы, дети. А на дворе стужа... В Волоколамске я долго глядел на виселицу, сооруженную фашистами. Глядели на нее и бойцы... Так рождалось новое чувство, и это предрешило многое.

Война, начатая фашистской Германией, не походила на прежние войны: она не только губила и калечила тела, она искажала душевный мир людей и народов. Гитлеровцам удалось внушить миллионам немцев пренебрежение к людям другого происхождения, лишить солдат моральных тормозов, превратить аккуратных, честных, работающих обывателей в «факельщиков», сжигавших деревни, устраивающих охоту на стариков и детей. Прежде в любой армии встречались садисты или мародеры — война не школа морали. Но Гитлер вовлек в массовые зверства не только эсэсовцев, гестаповцев, профессиональных или самодельных палачей, а всю свою армию, связал десятки миллионов немцев круговой порукой. Я вспомнил одного белобрысого, на вид добродушного немца; до войны он работал мастером в Дюссельдорфе, у него там была семья; он бросил русского младенца в колодезь, потому что страдал бессонни-

цей, принял несколько таблеток люминала, а ребенок не давал ему уснуть. Я держал в руках мыло со штампом «чисто еврейское мыло» — его изготовляли из трупов расстрелянных. Да что вспоминать — об этом написано тысячи книг.

Русский человек добродушен, его нужно очень обидеть, чтобы он расвирепел; в гневе он страшен, но быстро отходит. Однажды я ехал на «виллисе» к переднему краю — меня попросили среди пленных отыскать эльзасцев. Шофер был белорусом; незадолго до этого он узнал, что его семью убили немцы. Навстречу вели партию пленных. Шофер схватил автомат, я едва успел его удержать. Я долго разговаривал с пленными. Когда мы ехали назад на КП, шофер попросил у меня табаку. С табаком тогда было плохо, накануне раздобыв в штабе дивизии две пачки, я одну отдал водителю. «Где же твой табак?..» Он молчал. Наконец ему пришлось признаться: «Пока вы разговаривали с вашими французами, фрицы меня обступили. Я спросил, есть ли среди них шоферы. Двое шоферов было, я им дал закурить. Здесь все начали клянчить... Одно из двух — или пускай их всех убивают, а если нельзя, так курить-то человеку нужно...» Это было в 1943 году, а год спустя возле Минска в Тростянце, где гитлеровцы убивали женщин, детей, я снова убедился в отзывчивости наших людей. Наши солдаты злобно ругались, говорили, что не нужно никого брать в плен. Рядом в лесочке держалась группа немцев. Привели одного пленного пехотинца. Майор попросил меня быть переводчиком. Когда пленного спросили, много ли солдат в лесу, он ответил, что ему трудно говорить — его мучает жажда. Ему принесли в кружке воды. Он поморщился, сказал, что кружка грязная, и вытер носовым платком края. Меня это разозлило: когда человека мучает жажда, он не привередничает. А солдаты, вначале кричавшие, что нечего с ним разговаривать, пристрелить зверя, успели отойти, и полчаса спустя один принес пленному миску-супа: «Жри, сволочь!»

(Да и я так вел себя: много раз, видя пленных, боявшихся, что их убьют, писал на клочках бумаги, что они эльзасцы или что они «хорошие немцы», и подписывался — словом, ненавидя фашизм, спасал разоруженных фашистов. Думаю, что любой человек при подобных обстоятельствах поступил бы так же.)

Гebbельсу нужно было пугало, и он распространил легенду об еврее Илье Эренбурге, который жаждет уничтожить немецкий народ.

У меня сохранились вырезки из немецких газет, радиоперехваты, листовки. Гитлеровцы часто писали обо мне, говорили, что я толстый, косой, с кривым носом, что я очень кровожаден, что в Испании я похитил музейные ценности на пятнадцать миллионов марок и продал их в Швейцарии, что меня обслуживает тот же биржевой маклер, что и голландскую королеву Вильгельмину, что мои капиталы размещены в бразильских банках, что я каждый день бываю у Сталина и составил для него план уничтожения Европы, назвав его «Трест Д. Е.», что я хочу превратить в пустыни земли, лежащие между Одером и Рейном, что я призываю насиловать немок и убивать немецких детей.

В приказе от 1 января 1945 года меня удостоил внимания сам Гитлер: «Сталинский придворный лакей Илья Эренбург заявляет, что немецкий народ должен быть уничтожен».

Пропаганда сделала свое дело: немцы меня считали исчадием ада. В начале 1945 года я был в городе Восточной Пруссии Бартенштейне, накануне занятом нашими частями. Советский комендант попросил меня пойти в немецкий госпиталь и объяснить, что ничто не угрожает ни немецкому медицинскому персоналу, ни раненым. Я долго успокаивал главного врача; наконец он сказал: «Хорошо, но вот Илья Эренбург...»

Мне надоело с ним разговаривать, и я ответил: «Не бойтесь, Илья Эренбурга здесь нет — он в Москве». Врач несколько успокоился.

Все это было смешно и отвратительно. Немцев, которые вторглись в нашу страну, я ненавидел не потому, что они жили «между Одером и Рейном», не потому, что они говорили на том же языке, на котором писал один из наиболее мне близких поэтов — Гейне, а потому, что они были фашистами. Еще в детстве я столкнулся с расовой и национальной спесью, немало в жизни страдал от нее, верил в братство народов и вдруг увидел рождение фашизма. В утопическом романе «Трест Д. Е.», на который часто ссылался Геббельс, Европа гибнет от безумия европейских фашистов, поддерживаемых жадными американскими бизнесменами. Конечно, во многом я ошибся: когда я писал эту книгу, в Руре стояли французские оккупанты и еще теплилась надежда на революцию в Германии. В романе Германию, Польшу и часть Советского Союза разоряет Франция, во главе которой стоит фашист Брандево. Фигуры танца оказались другими: Франция, Польша и часть Советского Союза были разорены немецкими фашистами и Брандево оказался Адольфом Гитлером.

Я расскажу об одной истории, связанной со мной, но выходящей за пределы частной биографии. В 1944 году командующий армейской группой «Норд», желая приподнять своих солдат, обескураженных отступлением, писал в приказе: «Илья Эренбург призывает азиатские народы «пить кровь» немецких женщин. Илья Эренбург требует, чтобы азиатские народы насильствовали немецких женщин: «Берите белокурых женщин — это ваша добыча!» Илья Эренбург будит низменные инстинкты степи. Подлостью было бы отступить, ибо немецкие солдаты теперь защищают своих жен». Узнав об этом приказе, я тотчас написал в «Красной звезде»: «Когда-то немцы подделывали документы государственной важности. Они докатились до того, что подделывают мои статьи. Цитаты, которые немецкий генерал приписывает мне, выдают автора».

Легенда, созданная гитлеровским генералом, пережила и крах Третьего рейха, и Нюрнбергский процесс, и многое другое.

Недавно Киндлер, издатель немецкого перевода моей книги «Люди, годы, жизнь», проживающий в Мюнхене, передал мне забавные фотодокументы. Оказалось, некто Юрген Торвальд в 1950 году опубликовал в Штутгарте историю войны, в которой писал: «В течение трех лет Илья Эренбург свободно, открыто, полный ненависти говорил красноармейцам, что немецкие женщины будут их военной добычей». Оказалось также, что Юрген Торвальд — не кто иной, как Гейнц Богарц, который в 1941 году выпустил книгу, восхвалявшую Гитлера, и посвятил ее военному преступнику адмиралу Редеру.

В 1962 году мюнхенская газета «Зольдатенцейтунг» начала кампанию против издания в Западной Германии моей книги. Разумеется, газета припомнила о мнимой листовке с призывом насильствовать немки; грозила издателю, называла меня «величайшим в мировой истории преступником». Некоторые писатели, как, например, Эрнст Юнгер, поддержали фашистский листок. Другие, однако, возмутились. Киндлер доказал, что Торвальд повторил ложь Геббельса; и все же до сих пор реваншисты продолжают повторять: «Мемуары убийцы и насильника».

Повторяю — дело не во мне. Но среди пятидесяти миллионов жертв второй мировой войны нет одной — фашизма. Он пережил май 1945 года, поболел, похандрил, но выжил.

В годы войны я повторял изо дня в день: мы должны прийти в Германию, чтобы уничтожить фашизм. Я боялся, что все жертвы, подвиг советского народа, отвага партизан Польши, Югославии, Франции, горе и гордость Лондона, печи Освенцима, реки крови — все это может

остаться бенгальским огнем победы, эпизодом истории, если снова возьмет верх низкая, нечистая политика.

Я писал в 1944 году: «Французский писатель Жорж Бернанос, воинствующий католик, с негодованием отвергая попытки некоторых демократов заступиться за фашизм, пишет в «Ля марсейез»: «До войны значительная часть общественного мнения в Англии, в Америке, во Франции оправдывала, поддерживала, восхваляла фашизм. Я повторяю — не только допускала фашизм, но ему способствовала в надежде, скажу глупой, контролировать эту чуму, использовать ее против своих соперников и конкурентов... Мюнхен не был просто глупостью, Мюнхен был подлой развязкой спекулянтской затен...» К сожалению, и поныне имеются люди, которые хотят сохранить заразу «про запас», только несколько разбавив бульон, в котором разводятся чумные бактерии... Мы должны помнить: фашизм родился от жадности и тупости одних, от коварства и трусости других. Если человечество хочет покончить с кровавым кошмаром этих лет, то оно должно покончить с фашизмом. Если фашизм оставят где-нибудь на разводку, то через десять или двадцать лет снова прольются реки крови... Фашизм — страшная раковая опухоль, ее нельзя лечить на минеральных водах, ее нужно удалить. Я не верю в доброе сердце людей, которые плачут над палачами, эти мнимые добряки готовят смерть миллионам невинных».

Я смотрю на старые газетные листы, и мне становится не по себе. Ведь все произошло именно так, как мне мерещилось. Оставили на разводку фашистов. Оставили про запас кадры рейхсвера. Хотят дать германской армии ядерное оружие; поддерживают лихорадку реванша; продолжается то, что покойный Бернанос назвал «спекулянтской затеей», — только на зеленом сукне уже не классические «бочки с порохом», не танки и бомбардировщики, а ракеты и водородные бомбы. Право же, совесть не может с этим помириться!

Я забежал на двадцать лет вперед. Нужно вернуться к первой военной зиме. Мы ехали по Варшавскому шоссе к Малоярославцу, вокруг которого еще шли бои; ехали мимо сожженных деревень. Кругом лежали, а порой стояли, прислонившись к дереву, убитые немцы. Была сильная стужа; солнце казалось розоватым замерзшим сгустком, снег синел. На морозе лица мертвых румянились, мнились живыми. Офицер, который ехал со мной, восторженно восклицал: «Видите, сколько набили! Эти в Москву не придут...» И — не скрою — я тоже радовался.

Могут сказать: нехорошее, недоброе чувство. Да, конечно. Как и другим, ненависть мне далась нелегко, это ужасное чувство — оно вымораживает душу. Я это знал и в годы войны, когда писал: «Европа мечтала о стратосфере, теперь она должна жить как крот в бомбоубежищах и землянках. По воле Гитлера и присных настало затемнение века. Мы ненавидим немцев не только за то, что они низко и подло убивают наших детей, мы их ненавидим и за то, что мы должны их убивать, что из всех слов, которыми богат человек, у нас осталось одно «Убей!». Мы ненавидим немцев за то, что они обворовали жизнь». Я писал это в газетной статье, но мог бы написать в дневнике или в письме к близкому человеку. Молодые вряд ли поймут, что мы пережили. Годы всеобщего затемнения, годы ненависти, обкраденная, изуродованная жизнь...

Шли быстро, хотя снег был глубоким. Среди почерневших сугробов торчал указательный столб «Покровское»; а села не было — его сожгли немецкие факельщики. Может быть, красноармейцам казалось, что, прибавив шагу, они не дадут сжечь деревню, спасут людей. Ведь в Бело-

усове не только все избы уцелили, а немцы побросали, убегая, свои вещи, в Балабанове, застигнутые ночью врасплох, они повыскакивали из домов в кальянах.

Усталые красноармейцы ожесточенно врезались заступами в промерзшую насквозь землю: вырывали трупы немецких солдат, погребенных на площади Малоярославца.

Немцы заботливо хоронили своих (пожалуй, это единственное, чему я у них завидовал). Я видел потом много кладбищ с выстроенными шеренгами березовыми крестами, с аккуратно выписанными именами. А в первый год войны они почему-то хоронили своих убитых на площадях русских городов. Может быть, так было легче, а может быть, хотели показать, что пришли надолго. Красноармейцев это возмущало. От недавнего благодушия мало что осталось — шла война даже с мертвыми.

Колхозники тоже были разъярены. А один старик мне сказал: «Я думал, немец образованный, нас-то он не тронет, а он, паразит, корову у меня забрал, всю посуду опоганил — ноги мыл, мать его!.. Вчера четверо пришли: просят в избу — замерзли. Бабы прибежали, забили насмерть...»

Стояли на редкость сильные морозы, а красноармейцы-сибиряки ругались: «Вот бы мороз настоящий, они бы мигом окоchuрились...» Один украинец рассказывал: «Как я увидел, что немец драпает, сердце у меня заиграло...»

Победа всем показалась неожиданной. Колхозницы признавались: «Вот уж не думали, что наши вернутся...» Солдаты курили найденные в брошенном штабе болгарские сигареты и мечтали: «До весны управимся»...

Генерал Голубев, усмехаясь, говорил: «Я две академии кончил. А эта — третья, посерьезнее». Он рассказывал, что побывал в окружении и вышел — в генеральской форме, но в лаптях. «Что такое обхват? Нужно пересмотреть все теории...» Говорил, что его армии сильно помогли старые рабочие Подольска: завод эвакуировали, а старики остались, продолжали изготавливать боеприпасы для минометов.

Все было для меня внове: песни, перцовка, обжигавшая небо, какая-то Машенька — не то связистка, не то жена командира, долгие разговоры о прошлом и будущем. У всех развязались языки; ругали бюрократов; один офицер сердито говорил: «У нас прокурор чем хвастал? Количеством приговоров — перевыполнял норму»; другой задумчиво сказал: «Хороших людей губили...» И, однако, все понимали, что защищают не только свою хату, но и советское государство, милое им, несмотря на обиды, на изъяны, понимали, что именно советские рабочие в Подольске помогли армии, что слова «наше дело правое» не один из очередных лозунгов, а сущая правда. Народ голосовал — без агитаторов и не бюллетенями — кровью.

Во мне мешались два чувства: первая победа и мне вскружила голову, но я пытался себя урезонить — немецкая армия еще очень сильна, война только начинается. Трудно, однако, было трезво размышлять: ведь немцы еще недавно заверяли, что рождество они встретят в Москве, и вот их гонят на запад!.. Да и вид пленных вдохновлял: замерзшие, с головами, замотанными в платки, в тряпье, перепуганные, хныкавшие, они напоминали наполеоновских солдат двенадцатого года, изображенных одним из передвижников, разумеется, с сосулькой под носом.

Взяли Медынь, начали говорить с Вязьме, даже о Смоленске. Всем хотелось верить, что наступил перелом. Верил и я (пророка из меня не вышло)... В день зимнего солнцеворота я писал: «Солнце — на лето, зима — на мороз, война — на победу...»

Да, еще в январе мне казалось, что наше наступление не остановится.

18 января я был у генерала Говорова. Он сразу мне понравился. В этой части книги мне придется не раз говорить о встречах с генералами. Как и писатели, да и как люди любой профессии, генералы были разными — новаторами или рутинерами, умными или ограниченными, скромными или чванливыми. Л. А. Говоров был настоящим артиллеристом, то есть человеком точного расчета, ясной и трезвой мысли. Он рассказал мне, что учился в петроградском политехническом институте кораблестроения; шла первая мировая война, и в 1917 году молоденького прапорщика отправили на фронт. Он очень любил Ленинград, и было в нем что-то от классического ленинградца — сдержанность, хорошо скрытая страсть. Он говорил, что в битве за Москву основную роль сыграла артиллерия: в его 5-й армии он не мог рассчитывать на пехоту — потери были большими, а пополнение задерживалось; развил целую теорию: при перенасыщенности в современной войне автоматическим оружием артиллерия не может ограничиться подавлением огневых точек, а должна участвовать во всех фазах битвы. Он не только говорил с увлечением, он и меня увлек. Хотя военное дело — скорее искусство, чем точная наука, оно зависит от техники, и самые передовые концепции быстро устаревают. (Есть, впрочем, вид искусства, тоже зависящий от техники, — кинематограф; скульптура Акрополя нам кажется непревзойденной, а немые фильмы смотришь с усмешкой.) Леонид Александрович, конечно, не мог в 1942 году предвидеть эру ядерного оружия. Рассказываю я об этом теперь, только чтоб передать облик человека: в холодной избе возле Можайска я увидел не бравого вояку, а скорее математика или инженера, хорошего русского интеллигента. (Потом я иногда встречал Леонида Александровича на фронте, в Москве, в Ленинграде; помню вечер в мае 1945 года — мы говорили о красоте белых ночей, о поэзии, об игле Адмиралтейства.) При всей своей сдержанности, даже наклонности к скепсису, Говоров, как и все, был приподнят удачами, говорил: «Пожалуй, через неделю Можайск возьмем...» А Можайск взял несколько часов спустя. Генерал Орлов не послушался своего начальника и ночью ворвался в город. Говоров смеялся: «Победителей не судят...»

Снова я увидел сожженные села — Семеновское, Бородино, взорванные дома. Солдаты торопились, но немецкие могилы в центре города не остались на месте. Крепчал мороз — минус тридцать пять, крепчала и злоба. Пожилая женщина пустыми глазами глядела на солдат, на снег, на белое небо; ее муж был учителем математики, и ему было шестьдесят два года. Он шел по улице и вынул из кармана носовой платок; его расстреляли за попытку сигнализировать русским. На стене я прочел приказы о «нормализации жизни», о том, что за содействие партизанам и за укрытие евреев жители города будут повешены. На следующий день я добрался до Бородина. Немцы, уходя, подожгли музей, и он еще горел. За два дня дивизия прошла около двадцати километров. Генерал Орлов шутил: «Скоро ко мне приедете...» (Он был из Белоруссии.) Ночью один майор раздобыл водку, колбасы, и мы пиروвали. Майор, загигая большие заскорузлые пальцы, считал: «До Гжатска шестнадцать километров. Можем дойти в два дня...» Но до Гжатска оказалось четыреста тридцать дней — предстояло страшное лето 1942 года. Тогда мы об этом не знали.

(Я не был одинок в своих надеждах. В. С. Гроссман, бывший тогда корреспондентом «Красной звезды» на Юго-Западном фронте, писал мне: «Люди точно стали иными — живыми, инициативными, смелыми. Дороги усеяны сотнями немецких машин, брошенными пушками, тучи штабных бумаг и писем носит ветром по степи, всюду валяются трупы немцев. Это, конечно, еще не отступление наполеоновских войск, но симптомы возможности этого отступления чувствуются. Это чудо, пре-

красное чудо! Население освобожденных деревень кипит ненавистью к немцам. Я говорил с сотнями крестьян, стариков, старух, они готовы погнать сами, сжечь свои дома, лишь бы погибли немцы. Произшел огромный перелом — народ словно вдруг проснулся... Конечно, это не конец, это начало конца. Хочу думать, что так и есть, много оснований так думать». Василий Семенович обычно был очень осторожен в выводах, но и он тогда не предвидел последующих испытаний.)

А. С. Щербаков с насмешкой мне сказал: «А вы критиковали нашу печать, говорили, что москвичи нервничают. Золотой народ!» Москва действительно теряла свой облик прифронтового города. Правда, ночью патрули останавливали на каждых ста шагах, приходилось держать пропуск в рукавице; но «ежи» с улиц убрали; да и прохожих стало больше. Открылась даже выставка пейзажей; в помещении было холодно, и люди любовались живописью в шинелях или тулупах...

Люди вспомнили о своих должностях, да и о своих привычках. Редактор «Известий» позвонил мне ночью: «Вы написали, что Риббентроп разъезжал по столицам и его повсюду принимали, как джентльмена. Это можно понять как намек — он ведь и к нам приезжал. Переделайте...» Ночью в «Правде» я присутствовал при длительном разговоре о стихотворении Симонова «Жди меня»; редактор и еще один ответственный товарищ хотели изменить слова «желтые дожди»; дождь не может быть желтым. Мне из всего стихотворения понравились именно «желтые дожди», я их отстанвал, как мог, ссылаясь и на глинистую почву и на Маяковского. Под утро редактор решил рискнуть, и дожди остались желтыми. В «Красной звезде» как-то ночью начался переполох: «Увлечлись войной, а про даты забыли! Завтра пятая годовщина смерти Орджоникидзе...»

В Клубе писателей было очень холодно, но туда приходили пить водку, закусывали солеными грибами. Многие писатели были в военной форме — от фронта до Москвы можно было доехать за три-четыре часа. Помню там Петрова, Симонова, Светлова, Алигер, Гехта, Габриловича, Катаева, Фадеева, Лидина, Суркова, Ставского, Славина. Однажды членов президиума угостили солониной. Потом началось заседание. В некоторых речах уже сказался новый стиль, который пышно расцвел пять-шесть лет спустя. Л. Н. Сейфуллина не выдержала: «Мой отец был обрусевшим татаринном, мать русской, всегда я себя чувствовала русской, но, когда я слышу такие слова, мне хочется сказать, что я татарка...» Когда мы уходили, я обнял Лидию Николаевну. (В жизни много случайного, чуть ли не каждый день в течение долгих лет встречаешь людей далеких, да и немилых, а тех, к кому тянешься, видишь очень редко. С Л. Н. Сейфуллиной мне привелось побеседовать по-настоящему три или четыре раза, а была она мне мила своей редкостной честностью. В двадцатые годы ее книги сыграли крупную роль в становлении молодой советской литературы. Меня они подкупали искренностью в эпоху, когда писатели часто жили двойной жизнью. Лидия Николаевна оградила себя от лжи. Ее почти не замечали, никогда она не пыталась выбежать вперед, удерживала ее не только большая скромность, но и правдивость. В моей памяти остался образ маленькой женщины с добрыми раскосыми глазами татарки и с той совестливостью, которую, вспоминая литературу прошлого века, мы часто называем русской.)

В один из вечеров ко мне пришел поэт Долматовский. Он попал в окружение, видел зверства немцев и говорил: «Мне кажется, что я покойник или что прежней жизни не было...» Ему удалось убежать. Он прочитал мне стихи о воде: как он мечтал, когда не давали пить, о глотке воды. Рассказывал, как добрался до нашей части; его сердечно встретили, а потом отвели в штаб и долго допрашивали. Нужно было дока-

зять, что он это он, а окружение это окружение. Он просидел у меня до четырех часов утра. Я заснул и сразу проснулся от собственного крика: мне приснилось, что меня допрашивают и я не могу доказать, что я это я; а кто меня допрашивал — не помню.

Из Ленинграда приехал исхудавший Тихонов. Он часами рассказывал о всех ужасах блокады, не мог остановиться, говорил о героизме людей, о дистрофии, о том, как съели всех собак, как в морозных, нетопленных квартирах лежат умершие — у живых нет сил их вынести, похоронить.

Я познакомился с Маргаритой Алигер. Она мне прочитала печальные стихи — пламя свечи, голубая и розовая Калуга... У нее на фронте погиб муж. Она походила на маленькую птичку, и голос у нее был тонкий, но я в ней почувствовал большую внутреннюю силу.

В начале февраля приехали из Куйбышева Люба и Ирина. Ортенберг подписал приказ о Лапине и Хацреvine — «пропали без вести». Ирина держалась мужественно, только глаза ее выдавали — я иногда отворачивался.

Казалось, все должны погибнуть от бомбы или от снаряда и что естественная смерть неестественна. А в конце декабря умер художник Лисицкий. В марте я узнал о смерти Хосе Диаса.

Жизнь продолжалась. Стало плохо с продовольствием; все начали говорить о пайках, талонах. В январе в гостинице «Москва» еще можно было получить еду; как-то мы обедали с Лидиным, и он сказал: «Мы еще эту печенку вспомним»; действительно, через месяц все изменилось. Я получал в ЦДРИ один обед, его ели почти всегда трое, а то и четверо.

В Москву вернулись из Куйбышева иностранные корреспонденты. Некоторые ко мне приходили — Шапиро, Хендлер, Шампенуа, Верт. Все они жаждали новостей, рвались на фронт, обижались, ворчали. Я продолжал писать статьи для заграничной печати — для Юнайтед Пресс, для «Марсейез», для английских и шведских газет.

Почти каждый день мне приходилось выступать — то в госпиталях для раненых, то на аэродромах, то у зенитчиков или у аэростатчиков. Я видел много горя и много мужества. Народ как-то сразу вырос, люди сражались, трудились, умирали с сознанием, что гибнут не зря: тростник мыслит.

Было и другое. Лидин с первого месяца войны был на фронте, много писал в газетах, и вот одна его статья («Враг») кого-то рассердила. Я ее перечитал несколько раз, но так и не понял, что в ней предосудительного. Владимир Германович ходил к редактору «Известий», писал Щербакову, но ничего не добился; его перестали печатать. Рассердились и на Е. Петрова за невиннейшую статью «Трофейная овчарка». К. А. Уманский говорил: «Скучно! Немцы в Гжатске. Идет переброска дивизий из Франции. Мне поручили написать ноту о зверствах. А тут открывают второй фронт — наступление на Женю Петрова...»

Но бог с ними — с начетчиками, перестраховщиками и помпадурями, — в годы войны у нас была другая забота, и мы о них старались не думать. Каждый день я получал десятки писем с фронта, из тыла от читателей. Мне хочется привести здесь письма от женщин — о наших женщинах в годы войны мало написано, а они воистину строили победу. Вот письмо от колхозницы Калининской области: «От Семеновы Елизаветы Ивановны. Обида на сурового врага. Когда появился к нам в Козицино враг, у меня, у Семеновой, первой взяла корову. Потом у меня взяла гусей. Я стала не давать, дали мне по щеке. И затоптал он на месте: «Уйди!» Дети увидели, что дали мне по щеке, и закричали: «Уйди! Пускай враг жрет». На другой день ко мне пришли, брали последнюю овцу. Я стала плакать, не давать. Германский тогда затоптал ногами

и закричал: «Уйди, матка!» Когда я обернулась назад, он выстрелил. Я от ужаса упала в снег. А последнюю овцу все-таки взял. Когда они от нас отступали, сожгли мой хутор, сожгли все мое крестьянское имущество, и осталась я без последствий с тринми детьми в чужой постройке. Два сына в Красной Армии — Круглов Алексей Егорыч, Круглов Георгий Егорыч. Сыновья мои, если вы живы, бейте врага без пощады! А мы будем вам помогать, чем только можем».

Вот отрывки из письма сибирской крестьянки, которое мне переслал красноармеец Дедов: «Здравствуй, любимый братец Митроша! Шлю тебе чистосердечный привет и желаю всего хорошего в ваших победах над злейшим врагом. Первым долгом я хочу сообщить о том, что Филя героически погиб в борьбе с немецкими фашистами... Когда пришло известие о том, что он погиб, папу вызвали в милицию. Когда он пришел домой, он сильно заплакал. Мама спрашивает: «О чем плачешь?» Он не говорит, но когда сказал, что Филю убили, то мама сразу обмерла. Мы очень плакали целые два дня. Теперь мы его не увидим и не услышим голоса. Он нас веселил, все писал: «Папа, мама, о сыне не беспокойтесь, я живу прекрасно, и здоровье мое хорошее...» Митроша, деньги от тебя получили, очень большое спасибо. Но за Филю, Митроша, отомсти немцам, за своего братом!.. Митроша, очень нам сейчас скучновато, пропиши, где ты сейчас находишься... Мы недавно получили письма от Тани и Наташи, пишут, что живут пока ничего. Наташа бригадиром в колхозе. Но теперь напишу о своей жизни. Живем сейчас плохо, хлеба нет, есть совершенно нечего. Из колхоза дадут 9 кг. на 7 человек на 5 дней. На нашу семью на один день, а остальные живи как хочешь. Но все ничего. Все переживем. У нас сейчас берут девушек на фронт. Митроша, я бы с удовольствием пошла, отомстила бы за своего любимого брата, он погиб за счастье народа...»

Вот отрывки из письма О. Хитровой: «Часто слышишь, что теперь война и поэтому скоро и нам конец и поэтому не стоит делать хорошо. А разве это верно? По-моему, как раз наоборот. Раз война, то надо делать все еще лучше. А если уж раньше смерти умрешь, то победы не увидишь... Я работаю на дорожных работах. Спрашиваем прораба, какие задания, а он не говорит, вообще на все смотрит спустя рукава. А зачем это? Ведь от такого подхода никакое дело не выйдет. Я в начале войны тоже было поддалась такому настроению, услышу плохую сводку с утра — и весь день все из рук валится. А теперь душой скрепилась. Услышу сводку — плохо, а я себе говорю — назло убирать буду, и шить буду, и штаны красноармейцу постираю, да и заштопаю. Не хочу умирать раньше смерти! Если у нас где-нибудь шпион, пусть увидит, что мы держимся...»

Вот отрывки из письма руководителя кафедры западной литературы Киевского университета, эвакуированной в село Котельниково, Эдды Халиф: «...Затем наступил день, когда надо было оставить дом. Каждый член моей семьи имел рюкзак, только я «по нежестости», как говорят в Котельникове, была от него освобождена. Перед самым уходом я снова вошла в свою комнату, сожгла фотографии близких, письма, подошла к книжным полкам, взяла в руки свои работы — вот лексикология французского языка, работала над ней год, вот история французского литературного языка XIX века — два года, небольшой спецкурс введения в романское языкознание — четыре года работы, поглядела, полистала и положила снова на полку. Ушла с пустыми руками. Мы оставили позади Киев, вы знаете, что это значит... Где-то в пути мы повстречали эшелон с земляками, среди них был вагон с детьми и работниками испанского детдома. Некоторые из работников преподавали у нас на факультете, а дети приходили к нам на елку. Восемилетний Октавио объяснял моей трехлетней племяннице Наташе, что скоро наши летчики прогонят фаши-

стов и тогда Наташа вернется в Киев, а он уедет в Бильбао. Привезли нас в Котельниково. Там Наташа увидела верблюдов не в зоо, а в степи. Много было страшного. Потеряла здесь отца. Пришли известия с фронта о гибели близких. Временами мне казалось, что сердце не выдержит. Выдерживает. Оказалось, что если горе, страдания сочетаются с жгучей ненавистью, то становишься крепким, хочешь, как шутливо говорят мои друзья фронтовики, «выдержать рентгеновское просвечивание войной»... Нелегко приходится — новая среда, новое окружение требуют новых норм поведения. Как ни странно, оказалось сложным переключиться с университетской работы на работу секретаря поселкового Совета. Здесь все проще, обнаженнее, и в этом сложность обстановки... Чтобы выдержать просвечивание, чтобы после войны честно смотреть в глаза товарищам, приходится мобилизовать все свои внутренние ресурсы...»

Я и теперь разволновался, перечитав груды писем, тогда они меня поддерживали. Я тоже знал, что нужно выдержать «рентгеновское просвечивание войной»...

Жил я в гостинице «Москва» (моя квартира была повреждена при бомбежке), жил, как в раю, или, вернее, как в «Князем дворе» в 1920 году — тепло, светло. Воспользовавшись передышкой на фронте, в январе — феврале дописал последние главы «Падения Парижа». Каждый день я встречал друзей, которые жили в гостинице, — Петрова, Сурица, Уманского. Иногда мы заговаривали о будущем. Петров, как всегда, был оптимистом, считал, что весной союзники откроют второй фронт, немцев разобьют, а после победы у нас много переменится. Суриц сердился: «Люди не так легко меняются» — и, понизив голос, добавлял: «Он тоже не изменился...» Уманский говорил, что союзники начнут воевать, когда немцы истощатся в боях с нами, а насчет послевоенных перспектив молчал или нехотя говорил: «Лучше ждать худшего»...

К концу января стало ясно, что наше наступление приостановлено. 23 января я поехал с Павленко в штаб Западного фронта. Командующий генерал Жуков рассказал нам, как протекало наступление; битва за Москву закончена; может быть, на некоторых участках удастся несколько продвинуться вперед, но немцы укрепились и до весны, видимо, война будет носить позиционный характер. Потом неожиданно для меня генерал заговорил о роли Сталина, говорил он без привычных трафаретов — «гениального стратега» не было, да и в тоне не чувствовалось обожания; поэтому его слова на меня подействовали. Он повторял: «У этого человека железные нервы!» Рассказывал, что много раз говорил Сталину: необходимо попытаться отбросить противника, иначе немцы прорвутся в Москву; дважды в день разговаривал по прямому проводу. Сталин неизменно отвечал: нужно подождать — через три дня придет такая-то дивизия, через пять дней пододвинут противотанковые орудия. (У Сталина была записная книжка, и там значились части и техника, которые перебрасывали к Москве.) Только когда Жуков сказал, что немцы устанавливают тяжелую артиллерию и собираются обстрелять Москву, Сталин разрешил начать операцию. Вернувшись в Москву, я все это записал.

Я не военный специалист, да и нет у меня данных, чтобы судить о стратегическом даре Сталина. Еще семь-восемь лет тому назад наши историки приписывали победу над Германией прежде всего его «гениальности». Большая Советская Энциклопедия в статье о Великой Отечественной войне дает цветную репродукцию плохой картины, изображающей Сталина над военными картами; в хронологии событий, где приведены почти шестьсот важнейших, сто относятся не к военным операциям, а к выступлениям Сталина, награждениям его различными орденами, его приветствиям и приемам. Что касается военных операций, то, судя по той же энциклопедии, в 1944 году противнику были нанесены

«десять сталинских ударов». Приложена фотография: «Телеграфный аппарат, по которому И. В. Сталин вел переговоры с фронтом». Аппарат я себе представляю, а вот что говорил Сталин по ВЧ различным командующим, я не знаю. Конечно, при жизни Сталина его роль в победе над Германией непомерно преувеличивалась. Но рассказ командующего Западным фронтом звучит правдоподобно. Мы все знаем, что Сталин остался в Москве, выступил 7 ноября, сказал, что врага остановят.

(Успехи нашей армии под Москвой подняли за границей авторитет Сталина. А наши солдаты в него свято верили. На стенах берлинских развалин я видел его портреты, вырезанные из газет или из «Огонька». Снова припомню слова Твардовского: «Тут ни убавить, ни прибавить...»)

Говорят, что нужно уметь умереть вовремя. Кто знает, умри Сталин в 1945 году, может быть, война заслонила бы многое; люди надолго сохранили бы иллюзии, что миллионы невинных погибли от Ягоды, Ежова, Берии, и в памяти участников войны остался бы образ Сталина в солдатской шинели — трудные дни битвы за Москву. Пушкин говорил, что возвышающий обман дороже «тьмы низких истин». Однако бывают обманы, которые принижают человека, и я часто благодарю судьбу за то, что дожил до наших дней и услышал жестокую правду.)

В декабре 1941 Гитлер утверждал, что немцы отошли от Москвы по доброй воле, желая перезимовать на более удобных позициях, что если и вышла заминка, то виноваты в этом редкостные морозы, что летом наступление возобновится. Последнее оказалось правдой, но в слова о добровольном «сокращении линии фронта» не поверили даже самые наивные немцы. Под Москвой фашистской Германии был нанесен тяжелый удар, не столько ее боеспособности, сколько ее престижу. Конечно, вместе со многими я преувеличивал масштабы наших успехов, и очень скоро мне пришлось увидеть свою ошибку: наступило страшное лето 1942 года, когда немцы в течение двух-трех месяцев дошли до Волги, до Северного Кавказа. Однако битва под Москвой не была военным эпизодом, она многое предредила.

Никто не упрекнет немецких солдат в отсутствии храбрости; техника у рейхсвера была высокая, командный состав обладал военными знаниями, опытом. Все это бесспорно, но в зиму 1941—1942 годов обозначилась слабая сторона фашистской армии — она оказалась пригодной только для наступления, она вдохновлялась сознанием своего превосходства, и стоило солдатам Гитлера натолкнуться на подлинное сопротивление, как они душевно дрогнули. Битва под Москвой была для Германии первой примеркой разгрома.

5

Я сейчас задумался над этой книгой; я пишу предпоследнюю часть, приближаюсь, следовательно, к концу. Читатель может спросить, почему пережитые мною годы часто выглядят черными, а люди, с которыми я встречался, описаны любовно, показаны их хорошие стороны. Конечно, я встречался с доносчиками, корыстными перебежчиками, карьеристами, но я с ними не дружил — не потому что был особенно зорким, просто судьба смиростивилась. Были и у меня разочарования, порой я если и не дружил, то водился с людьми, которые потом оказывались мелкими, бессердечными, но я предпочитаю, вспоминая многое, рассказывать не о них, а о годах, об обстоятельствах, благоприятствовавших душевному падению, не хочу судить, тем паче что не убежден в своем беспристрастии.

Все же я дошел в воспоминаниях до короткой встречи с человеком, который причинил людям много зла, и не могу эту главу опустить.

Пятого марта 1942 года я поехал на фронт по Волоколамскому шоссе. Впервые я увидел развалины Истры, Ново-Иерусалимского монастыря: все было сожжено или взорвано немцами. Вот уже двенадцать лет, как я живу возле Нового Иерусалима. Истра отстроилась, но порой, проезжая мимо новых домов, парка, памятника Чехову, я вижу снег и черноту далекого морозного дня, пустоту, смерть.

Я проехал через Волоколамск. Возле Лудиной горы в избе помещался КП генерала А. А. Власова. Он меня изумил прежде всего ростом — метр девяносто, потом манерой разговаривать с бойцами — говорил он образно, порой нарочито грубо и вместе с тем сердечно. У меня было двойное чувство: я любовался и меня в то же время корбило — было что-то актерское в оборотах речи, интонациях, жестах. Вечером, когда Власов начал длинную беседу со мной, я понял истоки его поведения: часа два он говорил о Суворове, и в моей записной книжке среди другого я отметил: «Говорит о Суворове как о человеке, с которым прожил годы».

На следующий день солдаты говорили со мною о генерале, хвалили его: «простой», «храбрый», «ранили старшину, он его закутал в свою бурку», «ругаться мастер»...

Война была в то время позиционной. Шли бесконечные бои за Безымянную высоту, за деревню Петушки. От деревни давно ничего не осталось. Атаковали холмик, брали, потом отдавали. Когда я сидел с Власовым в блиндаже, немцы открыли шквальный огонь. Он рассказывал о больших потерях обеих сторон.

Потом я увидел расщепленный лес, он казался мертвым. Снег был еще белым, даже голубоватым, но на солнце млея и чуть поникая. Час спустя все загудело. Наши пошли в атаку. Танки очистили от немцев ложбинку.

Мы прошли в блиндаж; видимо, там жили немецкие офицеры: стояли две никелированные кровати, валялись иллюстрированные еженедельники с портретами Гитлера и киноактрис. Боец нашел банку голландского какао. Санитары выносили раненых. Власов говорил: «А до Петушков не дошли... Треклятые Петушки!.. Впрочем, так нужно — прогрызаем их оборону...»

Мы поехали назад. Машина забуксовала. Стоял сильный мороз. На КП девушка, которую звали Марусей, развела уют: стол был покрыт скатеркой, горела лампа с зеленым абажуром и водка была в графинчике. Мне приготовили постель. До трех часов утра мы проговорили; вернее, говорил Власов — рассказывал, рассуждал. Кое-что из его рассказов я записал. Он был под Киевом, попал в окружение; на беду простудился, не мог идти, солдаты его вынесли на руках. Он говорил, что после этого на него косились. «Но тут позвонил товарищ Сталин, спросил, как мое здоровье, и сразу все переменялось». Несколько раз в разговоре он возвращался к Сталину. «Товарищ Сталин мне доверил армию. Мы ведь пришли сюда от Красной Поляны — начали чуть ли не с последних домов Москвы, шестьдесят километров отмахали без остановки. Товарищ Сталин меня вызвал, благодарил... Многое он критиковал: «Воспитывали плохо. Я спрашиваю красноармейца, кто командует его батальоном, он отвечает «рыженький», даже фамилии не знает. Не воспитали уважения. Вот Суворов умел себя поставить...» Желая что-либо похвалить, повторял: «Культурно, хорошо». Рассказывая о повешенной немцами девушке, выругался: «Мы до них доберемся...» Вскоре после этого сказал: «У них есть чему поучиться. Видели в блиндаже кровати? Из города вытащили. Культура. У них каждый солдат

уважает своего командира, не ответит «рыженький»...» Говоря о военных операциях, добавлял: «Я солдатам говорю: не хочу вас жалеть, хочу вас сбечь. Это они понимают...»

Среди ночи он разнервничался: немцы осветили небо ракетами. «На самолетах пополнение подбрасывают. Завтра, наверно, возьмут назад ложбинку...» Часто он вставлял в рассуждения поговорки, прибаутки, были такие, каких я раньше не знал; одну запомнил: «У всякого Федорки свои отговорки». Еще он говорил, что главное — верность; он об этом думал в окружении: «Выстоим — верность поддержит...»

Рано утром Власова вызвали по ВЧ. Он вернулся взволнованный: «Товарищ Сталин оказал мне большое доверие...» Власов получил новое назначение. Мгновенно вынесли его вещи. Изба опустела. Сборами командовала Маруся в ватнике. Власов взял меня в свою машину — поехал на передний край проститься с бойцами. Там под минометным огнем мы с ним расстались. Он уехал в Москву, а меня удержали военные: «Пообедаем...» В Москву я вернулся ночью. Надрывались зенитки. А я думал о Власове. Мне он показался интересным человеком, честолюбивым, но смелым; тронули его слова о верности. В статье, посвященной боям за Безымянную высоту, я коротко описал командующего армией.

Полковник Карпов мне сказал, что Власову поручили командование 2-й ударной армией, которая попытается прорвать блокаду Ленинграда, и я подумал: что ж, выбор неплохой...

Четыре месяца спустя, а именно 16 июля, немцы сообщили, что взяли в плен крупного советского командира; он прятался в избе, был одет, как солдат, но, увидев немцев, закричал, что он генерал, и, приведенный в штаб, доказал, что действительно является командующим Особой армией генералом Власовым.

Потом один советский офицер, выбравшийся из окружения, рассказал мне, что Власов был легко ранен в ногу, он шел по обочине, опираясь на палку, и ругался.

Прошел еще месяц, и немцы передали, что генерал Власов образовывает из военнопленных армию, которая будет сражаться «на стороне Германии — за установление в России нового порядка и национал-социалистического строя».

Мне принесли листовку, подобранную на фронте, она у меня сохранилась. В ней идет речь обо мне: «Жидовская собака Эренбург кипятится», подписана листовка «Власовцы». Я прочитал, вспомнил, как рослый генерал в бурке полгода назад при прощании меня трижды поцеловал, и я выругался (правда, не цветисто — я не Власов).

Конечно, чужая душа потемки; все же я осмелюсь изложить мои догадки. Власов не Брут и не князь Курбский, мне кажется все было гораздо проще. Власов хотел выполнить порученное ему задание; он знал, что его снова поздравит Сталин, он получит еще один орден, возвысится, поразит всех своим искусством перебивать цитаты из Маркса суворовскими прибаутками. Вышло иначе: немцы были сильнее, армия снова попала в окружение. Власов, желая спастись, переделался. Увидев немцев, он испугался: простого солдата могли прикончить на месте. Оказавшись в плену, он начал думать, что ему делать. Он знал хорошо политграмоту, восхищался Сталиным, но убеждений у него не было — было честолюбие. Он понимал, что его военная карьера кончена. Если победит Советский Союз, его в лучшем случае разжалуют. Значит, остается одно: принять предложение немцев и сделать все, чтобы Германия победила. Тогда он будет главнокомандующим или военным министром обкорнанной России под покровительством победившего Гитлера. Разумеется, Власов никогда никому так не говорил; он заявлял по радио, что давно вознена-

видел советский строй, что он жаждет «освободить Россию от большевиков», но ведь он сам привел мне пословицу: «У всякого Федорки свои отговорки»...

Власову удалось набрать из военнопленных несколько дивизий. Одни пошли измученные голодом, другие потому, что боялись своих. В боях власовцы оказались нестойкими, и немцы ими пользовались главным образом для подавления партизанского движения. Когда после войны я приехал во Францию, жители Лимузена рассказывали о жестоких расправах власовцев с населением. Плохие люди есть повсюду, это не зависит ни от политического строя, ни от воспитания.

В июле 1942 года, когда Власов решил служить врагам своей родины, три пулеметчика и санитарка Вера Степановна Бадина защищали бугорок возле хутора Большой Должик. Их окружил батальон, они отстреливались. Немцы открыли артиллерийский огонь. Снаряд убил двух пулеметчиков, третий и санитарка были тяжело ранены. Немцы сразу пристрелили пулеметчика Напивкова, а девушке, обливавшейся кровью, грозили пистолетом — хотели, чтоб она попросила пощады. Вера Бадина действительно попросила у немецкого офицера, но не пощады, а револьвер, чтобы застрелиться. Ей было двадцать девять лет.

А в тот самый день, когда мне принесли листовку власовцев, я получил письмо с припиской: «Найдено у сержанта Мальцева Якова Ильича, убитого под Сталинградом». Вот что писал Мальцев: «Дорогой Илья Григорьевич! Убедительно прошу вас обработать мое корявое послание и напечатать в газете. Старшина Лычкин Иван Георгиевич жив. Его хотели представить к высокой награде, но батальон, в котором мы находились, погиб. Завтра или послезавтра я иду в бой. Может быть, придется погибнуть. В последние минуты до боли в душе хочется, чтобы народ узнал о геройском подвиге старшины Лычкина». Сержант рассказывал, как в августе 1941 года батальон попал в окружение; несколько человек трусили, убежали к немцам, других убили; живых осталось трое, и Лычкин их вывел из окружения, подбил немецкий танк, взял в плен двух немцев. Я тогда выполнил посмертную волю Мальцева. Идя в бой и, видимо, понимая, что его ждет смерть, он в последнюю ночь думал не о себе, а о своем боевом друге.

Можно ли ответить на вопрос: что такое человек, на что он способен? Да на все, решительно все. Может низко пасть, как пал Власов, может и подняться так высоко, что об этом не расскажешь. Я часто думаю о том, как различны люди, выросшие на одной земле, ходившие в те же школы, повторявшие те же слова. Именно поэтому я решил рассказать о Власове. (Все о нем давно позабыли, даже его сподручные, вовремя убежавшие в американскую зону оккупации. Они ведь теперь прославляют не национал-социализм, а «свободный мир», им неудобно вспоминать о том, что они были власовцами.)

Птицы летают, рептилии ползают. А человек не только всеядное существо, он воистину всеуш — он и парит высоко, и умеет пресмыкаться; это известно всем, а привыкнуть к этому нельзя, это всякий раз поражает не только ребенка, но и старого человека, казалось бы потерявшего дар удивления.

Передо мной маленькая фотография: редакция «Красной звезды» ночью. Я принес очередную статью, за столом капитан Копылев, рядом стоит Моран; лампа освещает газетную полосу.

Я проработал в «Красной звезде» с первых дней войны до апреля 1945-го — с ней связаны годы моей жизни. В течение долгого времени эта

газета полнее и ярче других освещала фронтовые дела. Помню, как седой от пыли, измученный солдат (та пехота, что шагает) упрямо повторял: «Нет, ты мне дай «Звездочку»...» У меня сохранилось письмо от женщины из Томска: «Я вас очень прошу, дайте мне возможность хотя бы иногда читать «Красную звезду». Я знаю, что не имею на это никакого права, но у меня три сына на фронте, четвертый погиб в первые дни...» В октябре 1941 года в Куйбышеве произошла драка между двумя американскими журналистами из-за свежего номера «Красной звезды». Конечно, вполне естественно, что в годы войны газета армии привлекает к себе внимание, но успех «Красной звезды» создали люди.

В 1941—1943 годы газету редактировал Д. И. Ортенберг-Вадимов. Он был талантливым газетчиком, хотя, насколько я помню, сам ничего не писал. Он не шадил ни себя, ни других. Я был с ним под Брянском. В полевом госпитале лежал раненый корреспондент газеты Р. Д. Моран. Мы пошли его проведать. Ортенберг спросил: «Как вас ранило?» Моран ответил: «Минует...» Ортенберг удовлетворенно улыбнулся: «Молодец!» О том, что он не боялся ни бомб, ни пулеметного огня, не стоит говорить — он был человеком достаточно обстрелянным. Но и на редакторском посту он показал себя смелым. В сороковые годы на газетном жаргоне существовало выражение «ловить блох»: после того, как все статьи были выправлены и одобрены, редактор тщательно перечитывала полосу, выискивая слово, а то и запятую, которые могут кому-нибудь наверху не понравиться. Так вот генерал Вадимов если и «ловил блох», то без лупы; часто пропускал то, что зарезал бы другой. Конечно, я знал, что, когда он говорил «переписать на хорошей бумаге», это означало, что он сомневается, хочет послать статью Сталину, но это приключалось нечасто. Однажды Ортенберг получил военный очерк от Авдеенко, который незадолго до войны по заданию Сталина был исключен из Союза писателей. Ортенберг послал Сталину очерк с сопроводительным письмом — писал, что Авдеенко «боевыми действиями искупил свою вину». Очерк был напечатан. Раза два или три мои статьи переписывались на хорошей бумаге. Пожаловаться на Ортенберга я не могу; порой он на меня сердился и все же статью печатал. Однажды он вызвал Морана (наиболее эрудированного сотрудника газеты) проверить, действительно ли существовали Эринии; пожалуй, он был прав — фронтовики не обязаны были знать греческую мифологию, он протестовал также против «рептилий», против ссылки на Тютчева, протестовал и, однако, печатал. Копылев мне недавно рассказал, что, случайно узнав, что мы с Любой получаем один тощий обед из ЦДРИ, доложил об этом редактору. Генерал Вадимов сначала не поверил, потом рассвирепел и отправился ни более ни менее как к начальнику тыла Красной Армии генерал-лейтенанту Хрулеву с просьбой зачислить меня на военное довольствие. Из всех сотрудников газеты Ортенберг больше всего любил Симонова: вероятно, киплинговские нотки, которые проскальзывали в очерках и стихах молодого Симонова, отвечали его наклонностям.

В конце июля 1943 года я вернулся в Москву из-под Орла. Генерал Вадимов меня расспрашивал о положении на фронте; сказал, что только что получено сообщение об отставке Муссолини. Я заметил, что он нервничает. Часа два спустя я пошел к нему с написанной статьей. Кабинет был пуст. Копылев мне объяснил: «Умчался... Сейчас звонил, спрашивал, все ли в порядке... В общем, его сняли. Щербаков его не выносит...»

Ортенберг вскоре уехал на фронт в армию генерала Москаленко. Я послал ему сборник своих статей; он написал в ответ: «Вы, вероятно, и сами не предполагаете, какое огромное значение имеет крепкая дружеская рука, протянутая в дни жестоких бурь!»

Недели две спустя я увидел в редакции спокойного, очень вежливого генерала — это был Н. А. Таленский, новый редактор «Красной звезды». Я с ним проработал год, и ни разу у нас не было столкновений. Когда он ушел, я хлебнул горя, к счастью, это было незадолго до конца войны. А с генералом Таленским я ездил в 1962 году в Брюссель на совещание «Круглого стола», посвященное разоружению, и снова подумал, как легко работать с этим человеком.

Когда выпадал свободный час, я разговаривал с Мораном о поэзии. Не знаю, как он попал в военную газету. Любил он поэзию и теперь переводит стихи, да и пишет свои, а тогда частенько писал передовицы — Вадимов шагал, прихрамывая, по кабинету и объяснял, что Моран именно должен написать. Моран был милым и чрезвычайно скромным. Когда кончилась война, он пошел работать в «Известия», его арестовали как «космополита», и я снова его увидел только в 1955 году.

Работал в редакции М. Р. Галактионов, человек с военным образованием, почему-то впавший в немилость и не имевший военного звания. С ним обращались как с мальчишкой, хотя он был моим сверстником, покрикивали на него. И неожиданно все переменялось, кто-то наверху вспомнил, что был такой Галактионов, и я увидел Михаила Романовича в генеральском мундире. С ним начали разговаривать учтиво. А он по-прежнему тихо, аккуратно выполнял свою работу. В 1946 году я поехал с ним в Америку, и о нем, об его судьбе напишу в последней части этой книги.

Ортенберг сумел прикрепить к газете хороших писателей. В. Гроссман просидел в Сталинграде самые трудные месяцы, там он написал очерки «Направление главного удара» и «Глазами Чехова», которые мне кажутся до сих пор замечательными. Мне запомнились очерки Симонова о Северном фронте. Е. Петров в начале войны писал для «Известий», но последние, севастопольские очерки появились в «Красной звезде». Среди военных корреспондентов газеты были и другие писатели — Павленко, Сурков, Габрилович. Полковник Карпов умел уговорить А. Н. Толстого сесть и сразу написать статью. Что касается меня, то я часто выполнял обычную редакционную работу — составлял информационные заметки, переводил сообщения из иностранных газет — словом, делал что мог.

Мне хочется припомнить военных корреспондентов газеты. Их работа была тяжелой и неблагодарной: приходилось писать наспех, между двумя бомбежками, часто при свете копилки, потом «проталкивать» статью, то есть умолять связистов передать ее по проводу, разыскивать оказию, информация порой устаревала, и Вадимов или Карпов швыряли телеграмму в корзину.

Корнейчук в пьесе «Фронт» вывел противного журналиста Крикуна. (На беду, в редакции одной из фронтовых газет оказался журналист с фамилией Крикун. Он мне говорил, что над ним все начали смеяться.) Конечно, попадались среди военных корреспондентов люди, похожие на героя комедии, но не так уж часто. Меня скорее поражала скромность большинства военных корреспондентов. Случайно у меня сохранилось письмо С. Борзенко. «Одновременно с этой запиской я послал в редакцию «Красной звезды» очерк о последнем бое нашей гвардейской дивизии. Я участвовал в этом бою и старался правдиво описать все, что видел. Очень прошу вас, возьмите этот очерк, прочтите его, и, если он вам понравится, скажите свое мнение редактору. Там дело со снегом, пусть это вас не смущает — сегодня 30 марта, а мороз у нас 20 градусов». С. Борзенко стал Героем Советского Союза, об его геройстве узнали все.

Но кто помнит тишайшего Льва Иша, этого чернорабочего газеты, который не писал, а правил чужие статьи? Однажды, это было осенью

1941 года, он сидел над корреспонденцией с Западного фронта и вдруг вскрикнул — в статье рассказывалось, что в Ельне немцы зверски убили его отца. Иш настоял, чтобы его отправили на фронт военным корреспондентом. Он писал статьи и терзался. В 1942 году он писал из осажденного Севастополя: «...Я с завистью вижу, как другие стреляют в немцев и могут это делать не раз в месяц, а каждый день...» (Лев Иш много раз ходил в разведку.) Настала развязка; на мысу сражались последние защитники Севастополя; среди них был Лев Иш, и погиб он в бою.

Я читал в редакции статьи полковника Донского. Осенью 1943 года в Слободке — напротив все еще занятого немцами Киева — я встретился с полковником Донским. Его настоящая фамилия была Олендер. Статьи его были хорошим, спокойным разбором военных операций, он многому научил молодых командиров. А мы заговорили не о войне — о жизни, об искусстве. Олендер декламировал Блока, Багрицкого. Потом мы толковали о верности, о белых хатах, о разлуке. Олендер походил на романтического юношу, и я ему сказал: «Будь я моложе, будь вы старше, а главное, будь век другим, мы бы сидели с вами в какой-нибудь «Ротонде» и говорили бы не о рокадной дороге, не о понтонах, а совсем о другом, вот как сегодня...» Мы расстались будто старые друзья, а пробыли вместе всего несколько часов. В 1944 году Олендер погиб как солдат — от пули.

На Днепре я встречал Гроссмана, Долматовского, на Соже — Симонова, у Можайска — Ставского, в Белоруссии — Твардовского, в Вильнюсе — Павленко. Мы не успевали поспорить о литературе — нам было не до этого.

Я вспоминаю конец сороковых годов... Трудно себе представить, что во время войны мы жили, как бойцы одной роты. Я просмотрел папку с письмами военных лет. Конечно, я понимаю, что мне писали мои старые друзья — А. Я. Таиров, П. П. Кончаловский, А. Н. Толстой, А. А. Ахматова, А. А. Игнатьев. Но много писем от писателей, которых я до того не знал и с которыми после войны очень редко встречался. Тогда у нас был общий враг; мы хорошо знали, что такое немецкие танки или немецкие автоматчики. Я перечитал сейчас одно из писем тех лет. Молодой поэт писал мне с фронта: «...Чего, например, стóят все эти стишки о том, что солдат идет в бой, распевая песню о любимой или что-либо в этом роде? Чего стоят бесконечные варианты «Синего платочка»? Неужели так и не подымеется смелый, авторитетный голос в защиту русской поэзии против пошлости, с которой, как с грязью на солдатских сапогах, мы рискуем дойти до самой победы? Но пошлость хоть плавает на поверхности, с ней легче воевать, а что делать с бесконечным потоком стихов пустых, трескучих и бездумных, в которых при титаническом труде не обнаружишь и тени собственной оригинальной мысли? Ими, такими стихами, забиты сплошь и рядом журналы». Далее автор письма просил меня прочитать посылаемые им стихи и объяснял, почему он обращается ко мне: «Почему именно к вам? Говорю без лести, под честное слово — потому что всегда, в том числе в самые трудные минуты, ваш голос был с нами, потому что вы пользуетесь доверием фронтовиков. Кроме того, ваш авторитет и любовь к русской литературе гарантируют прямоту и резкость суждений — лучшие качества в критике...» Письмо было подписано Н. Грибачевым.

Признаюсь, меня в те годы мало огорчали даже трескучие стихи. (Мне это самому странно. Вероятно, голос войны все заглушал.) Просматривая уцелевшие записные книжки, я нахожу военные новости, адреса полевой почты, имена немецких пленных, с которыми я разговаривал. У меня появилось много новых друзей не писателей, даже не журналистов — артиллеристов, летчиков, саперов. Я переписывался со многими фронтовиками, о некоторых из них попытаюсь дальше рассказать.

Генерал П. И. Батов в воспоминаниях о Сталинградской битве рассказывает, как его часть захватила «Двенадцать заповедей» — инструкцию, написанную Гитлером, как немцы должны обращаться с русскими. П. И. Батов пишет: «Политработники 65-й армии использовали «заповеди» в беседах с бойцами. Помнится, у чеботаевцев беседу проводил лично командир полка. Гневный смех. Резолюция: «1. Клянемся бить фашистов беспощадно и первыми выйти к Волге. 2. Послать «заповеди» товарищу Эренбургу и просить раздраконить фрицев через «Красную звезду». Таких заказов я получал сотни. Я писал о фрицах, писал о войне, о наших людях.

Одну из моих статей 1942 года я озаглавил «Жить одним!». Прожить жизнь одним очень трудно, это доступно только революционеру в подполье, верующему в катакомбах да еще, может быть, ученому. Человек — сложное существо: не птица и не рыба, он живет в различных стихиях, живет разным и по-разному. Но, видимо, почти каждому придется хотя бы раз в жизни оказаться отлученным от самого себя, от привычных раздумий и сомнений, от круга друзей, от своей внутренней темы. Так было со мной в 1941—1945 годы — в годы «Красной звезды»...

7

Это был один из первых весенних дней. Утром в дверь моей комнаты постучали. Я увидел высокого грустноглазого юношу в гимнастерке. Ко мне приходили много фронтовиков — просили написать о погибших товарищах, о подвигах роты, приносили отобранные у пленных тетрадки, спрашивали, почему затишье и кто начнет наступать — мы или немцы.

Я сказал юноше: «Садитесь!» Он сел и тотчас встал: «Я вам прочитаю стихи». Я приготовился к очередному испытанию — кто тогда не сочинял стихов о танках, о фашистских зверствах, о Гастелло или о партизанах.

Молодой человек читал очень громко, как будто он не в маленьком номере гостиницы, а на переднем крае, где режут орудия. Я повторял: «Еще... еще...»

Потом мне говорили: «Вы открыли поэта». Нет, в это утро Семен Гудзенко мне открыл многое из того, что я смутно чувствовал. А ему было всего двадцать лет; он не знал, куда деть длинные руки, и сконфуженно улыбался.

Одно из первых стихотворений, которое он мне прочитал, теперь хорошо известно: «Когда на смерть идут — поют, а перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою — час ожидания атаки... Сейчас настает мой черед. За мной одним идет охота. Будь проклят сорок первый год — ты, вмерзшая в снега пехота! Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины. Разрыв — и лейтенант хрипит. И смерть опять проходит мимо... Бой был короткий. А потом глушили водку ледяную, и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую».

Я видел первую мировую войну, пережил Испанию, знал много романов и стихов о битвах, об окопах, о жизни в обнимку со смертью — романтически приподнятых или разоблачительных — Стендаля и Толстого, Гюго и Киплинга, Дениса Давыдова и Маяковского, Золя и Хемингуэя. В 1941 году нашими поэтами было написано немало хороших стихотворений. Они не глядели на войну со стороны; многим из них ежедневно грозила гибель, но никто не выковыривал ножом из-под ногтей вражескую кровь. Штык оставался штыком, лира — лирой. Может быть, это придавало даже самым удачным стихам тех поэтов, которых я знал до войны, несколько литературный характер. А Гудзенко не нужно было ничего доказывать, никого убеждать. На войну он пошел солдатом-до-

бровольцем; сражался во вражеском тылу, был ранен. Сухиничи—Думиничи—Людиново были для него не строкой в блокноте сотрудника московской или армейской газеты, а буднями. (При первом знакомстве он мне сказал: «Я читал, что вы ездили к Рокоссовскому и были в Маклаках. Вот там меня ранили. Конечно, до вашего приезда...»)

В то утро он мне прочитал и «Балладу о дружбе». Слово «баллада» еще шло от традиционной романтики, а стихи были совсем не романтичными. Боец знает: один из двух должен погибнуть, выполняя задание,—он или его друг. «Мне дьявольски хотелось жить,—пусть даже врозь, пусть не дружить. Ну, хорошо, пусть мне идти, пусть он останется в живых...»

Я сказал, что Гудзенко мне многое открыл. Война, которую мы переживали, была жестокой, ужасающей, и вместе с тем мы твердо знали, что нужно разбить фашистов. Нам не подходили ни былые честные проклятия, ни новые столь же честные восхваления: «На сажень человеческого мяса нашинковано»... Нет, изменились не только масштабы, но и восприятие. Священная война?.. Не те слова! И вот я услышал стихи Гудзенко...

В то утро я ни о чем его не спрашивал — слушал стихи; узнал только, что он киевлянин, что у него есть мать, что он учился в ИФЛИ и слышал мои стихи о Париже в сороковом году.

(Гудзенко мне показался поэтом с головы до ног, подростком, еще не научившимся думать вне поэзии. А он тогда записал в своей записной книжке: «Вчера был у нас Илья Эренбург. Он, как почти всякий поэт, очень далек от глубоких социальных корней...» Так часто бывает при первой встрече: мы не знали друг друга и рисовали собеседника, руководствуясь своей собственной душевной настроенностью.)

Я читал стихи Гудзенко всем — Толстому, Сейфуллиной, Петрову, Гроссману, Сурицу, Уманскому, Морану; звонил в Клуб писателей, в различные редакции: мне хотелось со всеми поделиться нечаянной радостью.

Он пришел снова, мы пригляделись друг к другу. Я его полюбил.

Стихи его напечатали. Потом устроили вечер в Клубе писателей; он вошел в литературу. Время было военное: быстро призывали, быстро признавали, быстро и забывали.

Он был смелым и удивительно чистым; перед смертью он не оробел; а в литературной среде на первых порах выглядел смущенным подростком. Расскажу об истории с двумя строками, которые я привел выше: «Будь проклят сорок первый год — ты, вмерзшая в снега пехота». Редактор потребовал замены. Гудзенко послушно написал: «Ракеты просит небосвод и вмерзшая в снега пехота». Я его спросил, при чем тут небосвод, он виновато улыбнулся: «Что я мог сделать?..» (Прошло пятнадцать лет. Гудзенко умер, и в издании 1957 года появился новый вариант, столь же нелепый: «Тяжелый сорок первый год и вмерзшая в снега пехота» — как будто солдат, которому кажется, что он притягивает мины, академически размышляет: год тяжелый. Только в 1961 году, после того как оттаяла вмерзшая в снега поэзия, восстановили подлинный текст.)

В феврале 1945 года он мне писал с фронта: «Посылаю вам пять стихотворений — печатных и непечатных. Пишу вообще много, записные книжки полны, но что из этого получится, бог знает. Если что из стихов можно напечатать, будет хорошо... В стихах чернилами даны печатные варианты. Я ведь обучен цензурой с первого стиха».

В 1942 году Гудзенко говорил о будущем сурово и с доверием. Как все его однополчане, да и как почти все его соотечественники, он верил, что после победы жизнь будет лучше, чище, справедливее.

Гудзенко, едва оправившийся от тяжелого ранения, в Москве попал под машину. Он долго пробыл в тылу; работал в Сталинграде, в выездной редакции «Комсомольской правды». Оттуда он прислал мне свои

стихи о Сталинграде, и одно меня снова поразило, как открытие: «...И наконец-то с третьим эшелонем сюда пришла сплошная тишина. Она лежит, неслыханно большая, на гильзах и на битых кирпичках, таким сердцебиением оглушая, что с ходу засыпаешь сгоряча». В сентябре 1943 года он мне писал: «Собираюсь на Украину. Киев не дает покоя. Вероятно, скоро там буду. О тыле больше писать здесь не могу. Снова пишу о фронте. Что получится?»

В ноябре Гудзенко пришел ко мне, радовался, что едет на фронт, скоро увидит Киев, и вместе с тем по его лицу вдруг пробежала тень, как от одинокого облака. Почему-то я пометил в записной книжке: «Гудзенко спрашивал, зачем ввели раздельное обучение, вводят форму, рассказывал, как обидели еврея-киевлянина. За год он очень повзрослел».

Гудзенко шел с армией на запад. Стоит ли напоминать, что высокая поэзия всегда рождалась в часы испытания? В 1942 году Гудзенко писал: «Каждый помнит по-своему, иначе, и Сухиничи, и Думиничи, и лесную тропу на Людиново — обожженное, нелюдимое». В 1945 году изменились не только названия городов, где шли бои, изменилась и душевная настроенность. Гудзенко прислушивался не к биению сердца, а к звонким словам, к рифмам: «Занят Деж, занят Клуж, занят Кымпелунг... Нет надежд. Только глушь. Плачет нибелунг»...

Незадолго до победы он писал мне: «Война на нашем участке еще настоящая. Все повторяется. Недавно попал под сильную бомбежку у переправы через Мораву... Лежал долго там и томительно. Умирать в 1945 году очень не хочется...»

Кончилась война. Выживших демобилизовали. Я увидел Семена в пиджаке. Но в душе он все еще донашивал старую, вылинявшую гимнастерку. Конечно, менялись сюжеты стихов — он описывал села Закарпатской Украины, колхозы, жизнь мирного гарнизона. Он знал, что это большие дела большой столицы, но что «у каждого поэта есть провинция», признавался: «И у меня есть тоже неизменная, на карту не внесенная, одна, суровая моя и откровенная, далекая провинция — Война...»

Есть в его книжке такая запись: «Читал на станкозаводе имени Орджоникидзе... Слушали... Мне самому от своих стихов было скучно...»

Существует много повестей, фильмов, стихов о ностальгии солдата, возвращенного к мирной жизни. Гудзенко об этом не писал, но о чем бы он ни писал, в его стихах ностальгия фронтовика. Внешне все выглядело хорошо: он нашел счастье или его иллюзию, громко говорил, часто улыбался, ездил по стране, много работал, слыл примерным оптимистом. (Я вспоминаю его юношеское признание: «Вечные спутники счастья — сорок сомнений и грусть».) Как-то мимоходом он сказал мне: «Я научился писать, а пишу хуже. Впрочем, это понятно...» Я не возражил, а может быть, он ждал возражений, не знаю.

Он казался здоровым, возмужал, даже потяжелел. В 1946 году он писал: «Мы не от старости умрем, — от старых ран умрем. Так разливай по кружкам ром, трофейный рыжий ром!» Это напоминало обычную армейскую песенку. А в 1952-м мне рассказали, что Гудзенко болен — последствия военной контузии, сделали трепанацию, врачи не знают, выживет ли он. Я вдруг вспомнил кружку с рыжим ромом...

Борясь со смертью, Гудзенко написал три стихотворения. Он снова набрал высоту, как в ранних стихах 1942 года. Он умирал в родной и далекой провинции, умирал, как умирали его однополчане. «До чего мне жить теперь охота, будто вновь с войны вернулся я!»

За несколько месяцев до болезни он пришел ко мне. Мы долго разговаривали, а разговора не вышло; может быть, потому, что с ним пришел его друг, поэт, может быть, виноват был я; да и время было не очень-то благоприятное для задушевных бесед. Два или три дня спустя он забе-

жал ко мне на минутку, будто бы забыл надписать книгу, постоял, улыбался и, уже прощаясь, сказал: «Многое не так получилось... Но мы еще увидимся, поговорим...» Больше я его не видел.

Да, многое не так получилось, как мы думали в 1942 году. Настала эпоха атомной бомбы. Никто не знал, что будет завтра. Арестовывали невинных — снова и снова стреляли по своим. А Гудзенко умер в зимний месяц — февраль, в очень зимний, холодный, темный февраль 1953 года — незадолго до первой оттепели.

Для меня он остался поэтом того поколения, которое начало жизнь у Сухиничей, у Ржева, под Сталинградом. Многие его сверстники не вернулись с войны. Я смутно помню молодых поэтов, читавших накануне войны свои стихи, — Кульчицкого, Когана. Потом я прочитал их стихи; они погибли слишком рано, и лучшее написано ими до войны. А Гудзенко сумел заговорить среди шума битв, сказал многое за себя и за других. В стихотворении, которое он назвал «Мое поколение», навязчиво повторяется строка: «Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели...» Когда Гудзенко писал эти стихи, он мечтал, что его сверстники вернутся домой с победой и узнают всю меру счастья. В 1951 году он сказал мне в темной передней: «Многое не так получилось...»

А Гудзенко жалко. Я его запомнил очень молодым, таким, каким он был в далекое утро 1942 года, когда на короткий срок поднялся, увидел и сказал...

8

Десятого марта 1942 года мне позвонил представитель Сражающейся Франции Роже Гарро. Мне нужно было угостить его обедом, это было нелегко. После долгих переговоров директор «Метрополя» согласился предоставить крохотный номер. (Умывальник стыдливо прикрыли скатертью.) По тому времени обед был прекрасный; дали водку. Гарро оказался подвижным французом, небольшого роста, но с темпераментом. Он рассказывал, как трудно де Голлю в Лондоне: для англичан он эмигрант, и только. Гарро строил планы: почему бы не создать в Советском Союзе французских дивизий? Можно начать с авиации. О положении во Франции он отзывался скорее мрачно: «Возмущаются немцами почти все, но, что вы хотите, люди держатся за деньги, за место, лучше других ведут себя рабочие...» Себя он неизменно называл «якобинцем».

Гарро пригласил меня провести с ним вечер. Среди гостей были французский генерал Пети, журналист Шампенуа, турецкий консул и настоятель московской католической церкви отец Брон. Гарро неистовствовал: «Вы увидите, что англичане и американцы купят по дешевке немецкие заводы и начнут защищать «бедную Германию». Для них война — это партия в крикет...»

Я рассказывал о том, что видел на фронте, и отец Брон возмущался фашистскими зверствами. Вскоре после этого А. С. Щербаков сказал мне, что немцы направили на Восточный фронт словацкие части: «Напишите для них листовку — вы ведь бывали в Словакии...» Я сразу подумал о Броне: среди словацких крестьян было много верующих и на них должно было подействовать обращение католического священника. Я пошел к отцу Брону, который жил тогда в комфортабельном флигеле американского посольства (дипломаты еще находились в Куйбышеве). Брон мне долго объяснял, что святой отец любит терпимость и что с Ватиканом нельзя шутить. Мы говорили о догматах церкви, о положении на фронте, о де Голле. Листовку Брон написал, но после этого начал требовать от меня горючего для своей машины. Я обратился в учреждение, распределявшее бензин, мне ответили, что Брон получает больше положенного. Отец Брон писал, что ему приходится очень много передви-

гаться, чтобы причащать умирающих, а получив отказ, начал мне угрожать не муками на том свете, а тривиальным скандалом.

В апреле, когда я получил за «Падение Парижа» Сталинскую премию, Гарро мне передал поздравительную телеграмму де Голля. А генерал Пети прислал длиннущий трут для зажигалки: всю войну в отличие от отца Брона я мог не беспокоиться о бензине.

Генерал Пети был начальником военной миссии, товарищем де Голля по военному училищу, верующим католиком. Он меня сразу подкупил искренностью, прямоотой и большой скромностью. Он видел, как сражается советский народ, понял его и полюбил, говорил мне, что вернулся во Францию другим человеком. После войны его назначили военным вице-губернатором Парижа; я был у него во Дворце инвалидов. На этом посту он, однако, остался недолго — не скрывал своих чувств к Советскому Союзу, ко вчерашним партизанам, а это уже было не по времени. Недавно, когда я был в Париже, осовцы подложили взрывчатку в его квартиру. Улыбаясь, он мимоходом сказал: «Вчера меня пластиковали...»

В моей записной книжке я нашел некоторые фразы Гарро: «Второй фронт отложен — возврат мюнхеномании», «Англичане и до войны проводили уик-энд в Дьепе — увеселительная прогулка, а мы поверили», «Вы воюете у Сталинграда, а они обучают будущих комиссаров для стран, которые надеются когда-нибудь освободить от немцев и в свою очередь оккупировать»...

Двадцать восьмого сентября 1942 года Советское правительство признало Национальный комитет Сражающейся Франции как единственную организацию, имеющую право выступать от лица французского народа. Гарро меня обнимал. Он выступил по радио со страстной речью: «Сейчас становится все более ясно, что будущее Европы зависит от взаимного доверья между СССР и Францией, которая вернет себе престиж и величие». В ресторане «Арагви» Гарро восклицал: «Мы должны повесить всех генералов вермахта, это не военные, а преступники!..»

В декабре 1944 года в Москву приехал де Голль, его сопровождали генерал Жюэн и министр иностранных дел Бидо. Переговоры о франко-советском пакте зашли в тупик: де Голль не хотел признать новое польское правительство («Люблинский комитет»). Меня пригласили на обед во французское посольство. Там не было, и рядом с де Голлем сидели С. А. Лозовский и я. Де Голль почти все время разговаривал со мной. Он был в дурном настроении и жаловался на холод москвичей. Потом мне рассказали, что перед обедом его повели в метро, посещение которого входило в программу всех иностранных гостей. Метро менее всего могло заинтересовать де Голля — он ведь человек XVII века, а тогда не было ни фашизма, ни метро, ни других новшеств. Вагоны были переполнены, и для французов очистили детскую площадку. Пассажиры громко высказывали возмущение. А генерал де Голль вздумал обратиться к ним с приветствием. Услышав, что высокий француз — генерал де Голль, роптавшие испугались. В вагоне воцарилась тишина, и только один старичок, вспомнив гимназический урок, дребезжащим голосом произнес «мерси». Де Голль рассердился и добрый час доказывал мне, что московская толпа напоминает ему каторжников. Для меня он был человеком Сопротивления, и я старался его уверить в любви советских людей к Франции.

Генерал Жюэн показался мне бравым военным. На «Жизели», пока танцевала Уланова, он дремал, говорил: «Я думал, что у вас по крайней мере нет всей этой чепухи с привидениями...» На следующий день он увидел ансамбль Красной Армии. Когда начали плясать вприсядку, он вскочил и радостно крикнул: «Наконец-то казаки!» Кажется, только это ему и понравилось. Меня не удивило, что теперь он солидаризировался с ОАС.

Бидо пил водку и злился. Подошла последняя, решающая ночь. Французов пригласили в Кремль. Бидо для храбрости опорожнил графинчик водки. За ужином Сталин, увидев, что де Голль пьет только боржом, стал угощать Бидо, которого вскоре пришлось отвезти домой. Де Голль уехал в посольство, Молотов и Гарро договаривались о спорных формулировках пакта. Гарро мне рассказал, что под утро он поехал за Бидо, который лежал с головой, обмотанной мокрым полотенцем: «Господин министр, наденьте брюки,— мы договорились, вам нужно подписать документы».

В 1942 году все было просто и ясно. В Лондоне тогда выходила французская газета «Марсейез», издавал ее Киллиси. Он просил меня присылать статьи, что я и делал. В октябре редактор «Марсейез» ответил мне газетной статьей: «Больше года Россия почти одна несет тяжесть войны против немецкой армии. Эренбург просматривал нашу газету, несомненно искал ответа на свои обращения. Сегодня мы можем ему ответить... Французские рабочие отказываются работать в Германии. Я знаю, что меня упрекнули за сравнение упрямого отказа французского рабочего с мужеством защитника Сталинграда. Но вы, Эренбург, знаете, что нужна повседневная решимость, когда рядом плачут голодные дети, решимость для забастовок под пулеметами»...

Война рождает то, что мы называли «чувством локтя». У меня в гостинице «Москва», на Кропоткинской набережной у генерала Пети, во французском посольстве собирались люди, которых трудно назвать единомышленниками,— Морис Торез, Гарро, Жан-Ришар Блок, генерал Пети, советник посольства Шмитлейн, Шампенуа, Горс, Катала. Мы дружески беседовали. В 1944 году я привез из Вильнюса несколько бутылок старого бургундского — мне их дали танкисты, разочарованно говоря: «Илья пьет крепко, а любит квас...» На бутылках значилось по-немецки: «Только для вермахта. Продажа запрещена». Я позвал к себе московских французов. Гарро чокался с Торезом «за победу»; вино мы пили с особенным удовольствием — оно ведь предназначалось для немецких офицеров.

В конце 1942 года, в очень тяжелые дни, в Советский Союз приехала первая группа французских летчиков — эскадрилья «Нормандия». Французов поместили возле Иванова, там они должны были освоить наши истребители. Я поехал к ним вместе с Шампенуа; мы повезли подарок — патефон и пластинки. Приехали мы как раз к сочельнику, который во Франции празднуют все, как у нас Новый год. По случаю праздника освободили из-под ареста одного провинившегося. Его история нас развеселила: в ивановском цирке девушка сунула французскому летчику записку — назначала свидание. «Нормандия» стояла в десяти километрах от города. Кругом были сугробы. Французы, не привыкшие к таким зимам, зябли. Но летчик, получивший записку, решил попытать счастья и добраться до девушки по указанному ею адресу. Он сбился, потонул в сугробах, его вытащили, и комендант эскадрильи посадил его на семь суток под арест. Освобожденный весело говорил: «Все равно я ее найду...» Французам устроили пышный ужин. Все выпили, расчувствовались и начали петь хором фривольные песни. Мотив был печален, и одна из подавальщиц мне шепнула: «Молятся... Убьют их, да еще на чужбине...»

Действительно, из первой группы летчиков, прибывшей еще до сталинградской победы, мало кто уцелел. Погиб майор Тюлян, маленький, веселый, которого летчики дружески звали «Тютю». Генерал Захаров после гибели капитана Литтольфа, командира эскадрильи, настаивал, чтоб Тюлян не рисковал собой: «Вы — командир, не имеете права...» Но Тюлян погиб летом 1943 года под Орлом. Погиб замечательный человек Лефевр, которому посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Возле Витебска весной 1944 года его самолет загорелся. Обожженный, он был

доставлен в Москву. Помню, в военном госпитале в Сокольниках врач хмуро говорил: «Положение очень тяжелое»... Мы его похоронили на Немецком кладбище (по странной иронии судьбы, рядом была братская могила французов, погибших при походе Наполеона на Россию). Санитарка плакала. Погибли капитан Литгольф, лейтенанты Тедеско, Дервилль, де Гейн, Дени, Жуар, Дюран, Фуко, много других. Два Героя Советского Союза уцелели: Альберт, в прошлом рабочий завода Рено, и аристократ — виконт де ла Пуап. (Один из его предков был генералом французской революции, сражался против шуанов, а потом в Италии против Суворова.) «Нормандия» стала «Нормандия — Неман», на ее боевом счету было триста сбитых самолетов. В нашем небе сражались девяносто пять французских летчиков, из них в живых осталось тридцать шесть...

Я навещал летчиков «Нормандии» возле Орла, потом около Минска; встречал их в Москве, в Туле, в Париже, и мне хочется сказать, что они были хорошими товарищами, не унывали, легко приспособились к жизни на чужбине. Наши летчики, механики, переводчики их полюбили. Могу ли я забыть, как лейтенант де Сейн погиб, потому что не хотел спастись и оставить советского механика? Могу ли забыть, как капитан Назарьян спас в заливе Фришгафф лейтенанта де Жоффра? Тогда о дружбе народов говорили не на конференциях... Кровь оказалась вязкой.

Двадцать второго августа 1944 года, вернувшись с фронта в Москву, я прочитал в редакции сообщения о восстании в Париже. Рано утром мне позвонил Гарро: «Париж победил...» Я пошел во французское посольство. Там были генерал Пети, Гарро, Шампенуа, сотрудники посольства, несколько старых женщин. Маленький патефон непрерывно исполнял «Марсельезу». Мы от волнения ничего не могли сказать. У Жан-Ришара Блока в глазах были слезы. Потом мы пили: за Францию, за Красную Армию, за партизан, за Парижский комитет освобождения. Я спросил Гарро, кто это полковник Роль — в одной из телеграмм говорилось, что он руководил уличными боями. Гарро восхищенно ответил: «Кажется, это не настоящая фамилия. Я слышал, что он рабочий, коммунист. Во всяком случае он герой!»

Правительство де Голля наградило меня крестом офицера Почетного легиона. Новый посол генерал Катру торжественно прикрепил крест к моей груди, обнял меня и сказал, что Франция никогда не забудет тех, кто остался ей верен в черные годы.

Летом 1946 года я был в Париже, там устроили торжественный вечер. Зал Плейель (тот самый, где три года спустя собрался Первый конгресс сторонников мира) был переполнен. В президиуме сидели Эдуард Эррио, Ланжевен, Торез, генерал Пети. Ждали председателя Совета министров Бидо. Он опаздывал, публика нервничала, и вечер начали без него. Когда я выступал, в зал вошел Бидо, сопровождаемый двумя «фликами» (так зовут французы полицейских в форме или в гражданской одежде). Председатель прислал мне записку. Бидо хочет сразу выступить — он торопится. Я шел от микрофона к столу, а Бидо шел мне навстречу. Он хотел со мной поздороваться, но зашатался; я его вовремя поддержал; в зале, наверно, думали, что мы обнимаемся... Все же он произнес речь, восхвалял меня...

Весной 1950 года, когда Бидо снова возглавил правительство, мне нужно было поехать из Брюсселя в Женеву, я попросил у французоз транзитную визу. Мне отказали. На парижском аэродроме пришлось менять самолет. «Флик» зорко глядел, чтоб я не улизнул, проводил меня на борт швейцарского самолета; видимо, ему показалось, что я иду недостаточно быстро, и он меня подтолкнул, как будто я не офицер Почетного легиона а воришка, которого ведут в каталажку.

Вот я дошел и до наших дней. Как известно, генералы бывшего рейхсвера на французской земле обучают военной науке детей тех самых солдат, которых я видел в Париже, захваченном немцами. (Гарро когда-то мечтал, что всех генералов Гитлера повесят; говорят, он теперь изменился; я его не встречал.) Недавно возле Реймса состоялся парад — французские солдаты маршировали рядом с немецкими.

Когда я был мальчиком, танцевали кадрили — джаза еще не было; в этом танце много фигур, и время от времени кто-то восклицал: «Кавалеры меняют дам!» В моей жизни мне пришлось увидеть достаточно фигур кровавой кадрили. В 1912 году русские газеты писали об единстве славян, об освободительной войне против тиранической Турции. Сербь, болгары и греки разбили турок, подписали мирный договор, а месяц спустя недавние союзники подрались между собой; началась война между Болгарией — с одной стороны, Сербией и Грецией — с другой. Турция в свою очередь напала на болгар. Я тогда был молод и удивлялся. Потом я ко всему привык. В 1915 году Италия, входившая в Тройственный союз, начала войну против своих вчерашних союзников. Французские газеты восхищались пылом Д'Аннунцио и Муссолини. За Италией на четверть века укрепилось прозвище «латинская сестра». В 1940 году «сестра» напала на Францию. Все это непонятно или слишком хорошо понятно.

Почему же телеграмма о франко-немецком параде меня обидела? Ведь я знаю, что дипломатия и мораль не состоят в родстве. На обыкновенного человека неизменно производят впечатление, казалось бы, несущественные детали; я об этом упоминал, рассказывая об одной злополучной телеграмме, посланной в декабре 1940 года Риббентропу. Я вспомнил Реймс в годы первой мировой войны, искалеченный собор, школу в винном погребе; вспомнил рассказы о партизанах, уроженце Реймса, расстрелянном в 1943 году; и мне стало не по себе. Может быть, это наивно, но мне кажется, что у мертвых есть свои права, что кровь не вино на политическом банкете, что совесть не всегда в ладу с расчетом и что азбуку морали куда труднее изменить, чем направление внешней политики. (Парад был закуской. После него некоторые политики изготовили следующее блюдо: союз Франции с немецкой военщиной. Не хочу гадать, каким будет десерт.)

Конечно, мои чувства к Франции не могли перемениться от зигзагов того или иного французского правительства. В одном моем стихотворении есть такие строки: «Ты говоришь, что я замолк, и с ревностью, и с укоризной. Париж не лес, и я не волк, но жизнь не вычеркнуть из жизни. А жил я там, где, сер и сед, подобен каменному бору и голубой, и в пепле лет стоит, шумит великий город... Прости, что жил я в том лесу, что все я пережил и выжил, что до могилы донесу большие сумерки Парижа».

В другом стихотворении имеется горькое признание: «Зачем только черт меня дернул влюбиться в чужую страну?»

Но это сказано в сердцах — я не мог, да и не могу относиться к Франции, как к чужой мне стране; слишком долго прожил в Париже, слишком многому там научился. В моих рассуждениях я часто несправедлив, и читатель это легко поймет.

Недавно пионеры Орла написали мне, что обнаружили в области могилы двух французских летчиков. Я вспомнил веселых и смелых французов, наполнивших смехом, песнями, аргю Бельвилля или Менильмонта березовый лесок, где летом 1943 года расположилась эскадрилья.

Я знаю, что забвение — закон жизни, это репетиция смерти. Обидно другое — как под влиянием событий невольно деформируются челове-

ские взаимоотношения. Говоря это, я думаю о некоторых людях, которых считал друзьями. Кажется, будто идешь сам по себе, а это иллюзия: шагаешь, и командует взводный, которого в торжественные минуты именуют «временем» или «историей»: «Налево! Направо! Поворот кругом! Шагом марш!» Потом остается вежливо отмечать: с таким-то больше не встречался, наши пути разошлись...

9

После долгой и суровой зимы все радовались весне. Мы не жили на солнце и гадали, что нам сулит лето. Вспоминаю Думиничи. До войны там был завод, на котором изготовляли ванны. Городок сожгли. Среди щебня на солнце сверкали ванны — все, что оставалось от Думиничей. Немолодой сержант с седой щетиной на щеках лениво философствовал: «Санитария! А ему, гаду, что? Ему лишь бы поломать... Сходил бы я сейчас в баньку! Только, я думаю, этому конца не будет, наверно еще год провоюем. Говорят, у нас теперь танки замечательные. Вот вы напишите, да покрепче. Люди очень переживают... Вчера политрук говорил: «Да если он, нахал, сунется, мы его так тряхнем, что он свою фразу не узнает». А кто его знает, что он еще придумал? Очень людей жалко. У нас Осипова, паразит, убил. В газете про него было... Вы мне объясните, почему он, гад, людей убивает?..»

В Сухиничах я познакомился с генералом Рокоссовским. После битвы под Москвой его имя все выделяли; да и внешность у него была привлекательная. Кажется, он был самым учтивым генералом из всех, которых я когда-либо встречал. Я знал, что жизнь его была нелегкой. Поэтесса О. Ф. Берггольц мне рассказывала, что, когда ее арестовали, в соседней камере сидел Рокоссовский. В Сухиничах он был ранен, осколок снаряда задел печень. Рокоссовский ничего почти не мог есть, езда в машине, резкие движения причиняли ему боль; об этом мало кто догадывался — Константин Константинович отличался редкостным самообладанием. Разумеется, я спросил его, что будет дальше. Он спокойно ответил, что напрасно немцы все валят на русскую зиму, зима их скорее выручила — приостановила наше наступление. Может быть, он это говорил, чтобы приободрить других, может быть, так думал — если шахматист не знает замыслов партнера, то фигуры на доске он все-таки видит, а командиру приходится основываться на данных разведки, иногда не соответствующих действительности.

Два месяца спустя я слышал от военных: «Зря мы силы разбрасывали — Юхнов, Сухиничи... А к обороне не подготовились». У меня нет здесь своего мнения. В математике трудно разобраться, нужна подготовка, но если поймешь, то ясно, что это именно так, а не иначе. Другое дело история — любое событие можно истолковать по-разному. Музу геометрии и астрономии Уранию художники изображали с циркулем, а музу истории Клио с рукописью и пером. В сборнике русских пословиц, собранных Далем сто лет назад, несколько страниц посвящены искусству вымысла; есть там и такая поговорка: «Черт ли писал, что Захар комиссар».

Восемнадцатого мая в сводке говорилось о наших больших успехах на харьковском направлении. Я сидел, писал статью, когда пришел полковник Карпов и, загадочно усмехаясь, сказал: «О харьковском направлении не пишите — есть указания...» Неделю спустя немцы сообщали, что на юг от Харькова окружены три советские армии. 5 июня мне позвонил Щербаков: «Пишите за границу о втором фронте»... Молотов вылетел в Лондон. 10 июня немцы начали крупное наступление на Южном фронте.

Началось горькое лето 1942 года. В сводках появились новые названия фронтов: Воронежский, Донской, Сталинградский, Закавказский. Страшно было подумать, что бюргер из Дюссельдорфа прогуливается по Пятигорску, что марбургские бурши дивятся пескам Калмыкии. Все казалось неправдоподобным.

Я сидел и писал, писал ежедневно в «Красную звезду», писал для «Правды», для ПУРа, в английские и американские газеты. Я хотел поехать на фронт, редакция меня не отпускала.

В газету приходили военные, рассказывали об отступлении. Помню полковника, который угрюмо повторял: «Такого драпа еще не было...»

Отступление казалось более страшным, чем год назад: тогда можно было объяснить происходящее внезапностью нападения. Офицеры, политработники, красноармейцы слали мне письма, полные тревоги и раздумий. Не про все я тогда знал, да и не про все из того, что знал, мог написать; все же мне удалось летом 1942 года сказать долю правды — никогда не напечатали бы такие признания ни за три года до этого, ни три года спустя. Вот отрывок из статьи в «Правде»: «Помню, несколько лет назад я зашел в одно учреждение и ушибся о стол. Секретарь меня успокоил: «Об этот стол все расшибаются». Я спросил: «Почему не переставите?» Он ответил: «Заведующий не распорядился. Переставлю — вдруг с меня спросят: «Почему это ты придумал, что это означает?» Стоит и стоит — так спокойней...» У нас у всех синяки от этого символического стола, от косности, перестраховки, равнодушия». А вот из статьи в «Красной звезде»: «Кто сейчас расскажет, как люди думают на переднем крае — напряженно, лихорадочно, настойчиво. Они думают о настоящем и прошлом. Они думают, почему не удалась вчерашняя операция, и о том, почему в десятилетке их многому не научили. Они думают о будущем, о той чудесной жизни, которую построят победители... Война — большое испытание и для народов и для людей. Много на войне передумано, пересмотрено, переоценено... По-другому люди будут и трудиться и жить. Мы приобрели на войне инициативу, дисциплину и внутреннюю свободу...»

На фронте было много бестолочи и много потрясавшего меня героизма. Немцы приближались к Сталинграду, а Красная Армия приближалась к победе, но мы тогда этого не знали. Меня, как и всех моих соотечественников, в то лето поддерживало ожесточение.

Москва была одновременно и глубоким тылом, и наблюдательным пунктом на переднем крае. Немцы сидели по-прежнему в Гжатске, но на этом участке они атаковать не пытались, и Москва не знала лихорадки минувшей осени. Какой-то шутник сочинил стишки: «Жил-был у бабушки серенький козлик. Сказка-то сказкой, а немцы-то возле...» На улицах было много народу, стояли очереди, шли переполненные трамваи. Люди хмурились, молчали. Все знали, что немцы захватили пшеницу Кубани, нефть Майкопа, хотят отрезать Москву от Урала, Сибири. В газетах появилось старое предупреждение французских якобинцев: «Отечество в опасности!»

У меня сохранилась записная книжка того лета; записи коротки и несвязны — даты событий, чьи-то фразы, лоскутки жизни.

Из Керчи приехал Сельвинский, говорил: «Бойцы научились, генералы нет», рассказывал о панике, о немецких зверствах — загнали в катакомбы сначала евреев, потом военнопленных. Темин привез из Севастополя фотографии — агония города: развалины, памятник Ленину, убитые дети, матрос в окровавленной тельняшке.

Пришло сообщение о смерти Петрова. Я пошел к Катаеву, у него был Ставский. Мы сидели и молчали.

Я спросил английского посла Керра, когда же откроют второй фронт. Вместо ответа он начал меня допрашивать, какой формы трубка Сталина — он хочет привезти ему из Лондона самую лучшую трубку. Я сказал, что не знаю, какую трубку курит Сталин, я с ним не встречаюсь, да это и неважно — пора открыть второй фронт. Керр деликатно улыбнулся и замолк.

Я сидел в своем номере, когда в коридоре раздались крики. Я выбежал в коридор и узнал, что с верхнего этажа в пролет лестницы упал поэт Янка Купала.

Прибежал в возмущении корреспондент Юнайтед Пресс Шапиро — цензура ему вычеркнула фразу: «От Воронежа до Дона восемь километров».

Женщина продавала картошку — сорок пять рублей за килограмм. Ее убили. Кусочек сахара стоил десять рублей. В Москве жила французская Аннет, вышедшая замуж за советского архитектора. У нее был грудной ребенок. Муж был далеко. Однажды она позвонила и, задыхаясь от волнения, сообщила: «Ванечка приехал, привез бутылку масла...»

Двадцать шестого июля был книжный базар. Писатели надписывали свои книги. Одна женщина запротестовала: «Почему вы ему поставили дату, а мне нет?» Никто не улыбнулся.

А. Н. Толстой пыхтел в трубку, говорил: «Немцев все-таки расколотят. А что будет после войны? Люди теперь не те...»

Двадцать девятого июля был опубликован указ об учреждении новых орденов — Суворова, Кутузова, Александра Невского. В тот же день по ротам читали приказ Сталина; в нем шла речь не об орденах, а об оставлении без приказа Ростова и Новочеркасска, о беспорядке, панике; так дольше продолжаться не может, время опомниться: «Ни шагу назад!..» Никогда прежде Сталин не говорил с такой откровенностью, и впечатление было огромное. Один из военных корреспондентов «Красной звезды» сказал мне: «Отец обращается к детям и говорит: «Мы разорены, мы должны теперь жить по-другому...» Слово «отец» он произнес без иронии и без восхищения — как справку.

Немцы, однако, продолжали идти вперед к Северному Кавказу.

Приехал генерал Говоров, рассказал, что был у Сталина, настаивал на эвакуации гражданского населения из Ленинграда.

В редакции я прочитал, что футурист Маринетти отправился в Россию — хочет посмотреть, как фашисты перевоспитывают мужиков. Я вспомнил давние стихи Маринетти: «Мое сердце из красного сахара».

Я получил дневник секретаря полевой полиции 626-й группы Фридриха Шмидта. Вот его запись от 25 февраля: «Коммунистка Екатерина Скороедова за несколько дней до атаки русских на Буденовку знала об этом. Она отрицательно отзывалась о русских, которые с нами сотрудничают. Ее расстреляли в 12.00... Старик Савелий Петрович Степаненко и его жена из Самсоновки были также расстреляны... Уничтожен также четырехлетний ребенок любовницы Горавилина. Около 16.00 ко мне привели четырех восемнадцатилетних девушек, которые перешли по льду из Ейска. Нагайка их сделала более послушными. Все четверо студентки и красотки...» Я напечатал дневник и получил письмо старшины из Буденовки, который знал расстрелянных. Трудно было жить, зная, что такие люди под боком.

Мне прислали «Народный календарь, спутник сельского хозяйства», его издали на русском языке немцы для захваченных областей. Каждый день тогда я прочитывал страшные документы — о зверствах, садизме, о стремлении фашистов не только разорить, но и унижить наш народ. Что по сравнению с приказами Гитлера какой-то дурацкий календарь?

Но так порой бывает — возмущает деталь; я разозлился, выписал «памятные даты»: «Январь. 12-е — рождение Геринга и Розенберга, 29-е — рождение Чехова. Февраль. 10-е — смерть Пушкина, 23-е — смерть Хорста Весселя, 24-е — годовщина провозглашения Гитлером программы национал-социалистической партии, 26-е — смерть Шевченки» и так далее. Я вдруг припоминал и ругался: «Геринг и Чехов! Хорошо!..»

Пятнадцатого августа было собрание писателей. Председательствующий говорил, что время трудное, нужно подтянуться, не скулить и не пить. В тот день немцы заняли Элисту.

Казах Аскар Лехеров писал мне с фронта: «Что такое жизнь? Это очень большой вопрос. Потому что каждый хочет жить, но смерть раз в жизни неизбежна. А тогда надо умереть, как герой...»

Немцы дошли до Моздока. Каждый день кто-нибудь из моих знакомых получал извещение о гибели отца, сына, мужа. Я несколько раз ездил на фронт. Дороги чинили измученные женщины. На заводах работали дети и в перерывах затевали игры. Все мешалось — героизм и оцепенение, духовный рост и жестокий быт.

С начала немецкого наступления все гадали, когда же союзники откроют второй фронт. Уманский мне говорил: «Не рассчитывайте — никакого второго фронта не будет...» Я писал резкие статьи в «Ньюс кроникл», «Ивнинг стандарт», «Дейли геральд», говорил, что думают наши о бездействии союзников. Газеты статьи печатали, даже благодарили меня, но ничего, конечно, не менялось. Правда, член парламента консерватор Дэвисон, обратившись с запросом к министру информации, сослался на одну из моих корреспонденций, но английские министры, даже информации, в совершенстве обладают искусством оставлять неуместные вопросы без ответа.

Я часто встречался с иностранными корреспондентами. Леланд Стоу был оптимистом, говорил: «Скоро будет десант во Франции или в Голландии», — оптимизм у него был прирожденным, как у Е. П. Петрова, который, уезжая в Севастополь, сказал мне: «Наверно, второй фронт откроют через неделю-другую...» Хиндус и Верт, напротив, были скептиками. Об иностранных корреспондентах я расскажу позднее, помню несколько смешных историй, а в то лето нам было не до смеха... И если мы порой смеялись, то невесело: открывая американские консервы, именовавшиеся «тушенкой», фронтовики злобно приговаривали: «Ну, откроем-ка второй фронт...»

В Лондоне и Нью-Йорке были грандиозные митинги: простые люди требовали второго фронта. 12 августа в Москву приехал Черчилль. Мы волновались: договорятся или нет? Прибежал Шапиро: «Гарриман недоволен результатами». Я рассказал об этом Уманскому. Константин Александрович усмехнулся: «А кто доволен? Разве что Петен?» Коммюнике было туманным.

Только Черчилль уехал, как пришло сообщение о высадке англичан в Дьепе. Люди на улицах собирались, радостно обсуждали: «Теперь немцы скиснут!..» Меня спрашивали, где Дьеп. Я был настроен скорее скептически, но вечером в редакции все говорили, что это начало больших операций, Сталин убедил Черчиля, немцам придется сразу убрать несколько дивизий с нашего фронта. Ортенберг позвонил Молотову: нужно ли посвятить высадке в Дьепе передовицу.

Иллюзии длились недолго: десант в Дьепе оказался небольшим рейдом. Может быть, английское правительство захотело несколько успокоить общественное мнение? В редакции Моран декламировал стихи Полежаева: «Британский лорд свободой горд, упрям и тверд, как патриот. Он любит честь — он любит есть и после сесть на пароход...»

Не знаю, как отнеслись к экскурсии в Дьеп рядовые англичане, но

у нас люди возмущались — им казалось, что их обманули. На войне исчезают многие хорошие чувства; часто я ловил себя на том, что огрубел. Но одно высокое чувство, связанное с самоотверженностью, расцветает именно в военные годы; в газетах его называли «боевой выручкой». Постепенно на нас переставали действовать рассказы о снайпере, у которого на боевом счету полсотни немцев, или о пехотинце, уничтожившем «бутылками» пять танков, — можно приглядеться и к отваге. Но одно неизменно волновало и меня и людей, с которыми я встречался, — самопожертвование, смерть солдата, решившего спасти товарища и принявшего на себя удар. К этому нельзя привыкнуть — каждый раз это потрясает, кажется чудом, и, как бы ни было трудно, начинаешь снова доверять жизни.

Есть дипломатия, она доступна специалистам. Есть то, что называется внешней политикой, — она может быть понятной всем, но, будучи связанной с расчетом, со стратегией или тактикой, она апеллирует к разуму. Есть и нечто другое — совесть. Ее опасно оскорбить. Поскольку я рассказываю о пережитом, я не могу умолчать о том, что мы пережили в то окаянное лето. Конечно, я понимаю, почему союзники начали военные операции летом 1944 года, а не 1942. Уилки, а позднее Иден говорили мне, что к десанту они не были достаточно подготовлены и не хотели «лишних жертв». Армия Гитлера, по их мнению, должна была сноситься на нашем фронте. «Лишние жертвы» достались нам. Понять подобный расчет можно — не такие уж это сложные выкладки, а вот забыть о происшедшем трудно — почти у каждого из нас оно связано с личным горем.

10

В сентябре генерал Ортенберг разрешил мне поехать ко Ржеву, где начиная с августа шли ожесточенные бои. В истории войны об этих боях говорится: «Наступательные действия в районе Ржева, угрожавшие немецкому плацдарму группы «Центр», находившейся под командой генерал-полковника Моделя, и сковывавшие крупные силы противника, тем самым содействовали обороне Сталинграда». В летописи многих советских семей Ржев связан с потерей близкого человека — бои были очень кровопролитными. Мне не удалось побывать у Сталинграда, и о битве на Волге я знаю только по очеркам Гроссмана, по роману Некрасова да по рассказам друзей. Но Ржева я не забуду. Может быть, были наступления, стоившие больше человеческих жизней, но не было, кажется, другого столь печального — неделями шли бои за пять-шесть обломанных деревьев, за стенку разбитого дома да крохотный бугорок.

Зарядили дожди; вопреки утверждению редактора «Правды» они казались желтыми, даже рыжими. Что может быть тоскливее в осеннюю пору, чем тверские болота с грязным небом, с пестрой лихорадочной листвой, с засасывающей хлябью дорог! Машины буксовали, и с отчаянными криками «раз» их пытались столкнуть с места. Кое-где дорога была устлана срубленными деревьями, и замызганные «виллисы» подпрыгивали, как раненые птицы. Ехали ко Ржеву долго. Вместо Торжка, Старицы, сожженных немецкой авиацией, чернели обугленные корпуса пустых домов. В деревнях женщины копали картошку и сжимали картофелины, как камешки золотоносной породы.

С одного из бугров можно было разглядеть Ржев; от него мало что оставалось, хотя издали он казался обыкновенным живым городом. Наши заняли аэродром, а военный городок был в руках немцев; все время я видел два жилых корпуса — тот, что повыше, солдаты называли «полковником», второй — «подполковником». Часть пригородного лесочка была полем боя; изуродованные снарядами и минами деревья казались

кольями, натканными в беспорядке. Земля была изрезана окопами; как волдыри, взбухали блиндажи. Одна воронка переходила в другую.

Узбеки в маскировочных халатах, высокие, красивые, казались актерами загадочной феерии, а роспись халатов напоминала абстрактную живопись.

В штабах лежали карты с квадратами города, но порой от улиц не было следа, бои шли за крохотный клочок земли, поросший колючей проволокой, нафаршированный осколками снарядов, битым стеклом, жестянками из-под консервов, калом. Несколько раз я слышал немецкие песни, отдельные слова — враги копошились рядом в таких же окопах. Глушили басы орудий, неистовствовали минометы, а потом вдруг в тишине двух-трех минут слышалась дробь пулеметов.

Люди жили в такой тесной близости не только с немцами, но и со смертью, что ничего больше не замечали; создался быт — толки о том, когда же начнут выдавать сто граммов, обсуждение, за что получила медаль Варя, перекочевавшая в землянку командира батальона. При робком свете коптилок солдаты ругались, писали письма домой, искали вшей (их называли «автоматчиками»), заводили длинные разговоры о том, что будет, когда кончится война. О смерти никто не хотел говорить — предпочитали вспоминать или загадывать. Когда звывались ракеты, кто-нибудь спокойно ругался: «Развесил, гад! Сейчас начнет...» Два часа спустя другой сплевывал: «Вот паразит! Это он пикирует...» В штабе раздавали ордена награжденным, составляли списки пропавших без вести. В санбатах переливали кровь, отрезали руки, ноги; санитар жаловался: «И часа поспать не дают...» Связистки, эти неизменные героини всех военных рассказов, Маруси, Кати, Наташи, повторяли: «Ока, дай мне Звезду». По наивной конспирации полки, батальоны именовались в телефонных разговорах «хозяйствами». Командир кричал Оле или Вере: «Да что вы, вашу мать, мешаете!..» Девушки вспоминали выпускной вечер, первую любовь — почти все, которых я встречал, на фронт пришли сразу со школьной скамьи; они часто пугливо ежились — слишком много кругом мужчин с жадными глазами. В редакции дивизионной газеты майор диктовал: «Подвиг старшины Кузьмичева. По заданию командования...» Потом он делился новостями с приятелем — инструктором по партучету: «Говорят, Мехлиса снимут, вот это будет номер!..»

За всем этим было, однако, не безразличие, не мелочность будней, а ожесточение. Войне шел второй год, и она давно перестала казаться внезапной катастрофой, она возмужала, и хотя все знали, что на юге происходят страшные события, что немцы дошли до Волги, жила уверенность, что война надолго, что одним суждено погибнуть, может быть, через год, может быть, через час, а те, что чудом уцелели, увидят победу. Каждому казалось, что он-то обязательно выживет, и каждый северно старался об этом не только не говорить, но и не думать.

Порой все как-то притихало; порой бои разгорались. Полковнику Гавалевскому удалось прогнать противника с северного берега Волги. В течение восьми месяцев немцы укрепляли свои позиции, хорошо оборудовали минные поля. Младший лейтенант Рашевский повел роту в атаку до срока, нарушил приказ. В этой роте были бойцы разных национальностей — русские, узбеки, татары, евреи, башкиры. Рашевский был ранен, но остался в строю. Татарин Ибрагим Багаутдинов говорил: «Маленько их пощекотали...» У колхозника Шумского в оккупированной немцами деревне остались родители, жена, сестры. «Стариков жалко, — повторял он, — вот где у меня скребет...» У него было мягкое русское лицо, с расплывчатыми чертами, а чувствовалось, что его изводит тоска, он тихо повторял: «Бить их!..»

Помню бледное лицо Даниила Алексеевича Прыткова, в прошлом уральского сталевара. Он воевал иступленно. Я узнал, что у него на Урале старая мать и что немцы убили его товарища. Прытков полз ночью к немецким позициям и возвращался с графьями — приносил автоматы, снайперовские винтовки. Он говорил подполковнику Само-сенко: «Товарищ начальник, дайте мне отечественный автомат! У меня немецких шестнадцать штук было — роздал, противно мне из них стрелять...» Подполковник говорил: «Да ты отдохни денек...» Прытков отказывался: «А кто наступать будет?..» Он жил одним. После контузии он стал плохо слышать, прикладывал к уху ручные часы: «Оглох!.. Ничего — там услышу!..» (Где «там» — я так и не понял.) Он повторял: «Гады!.. Гады!..» А глаза горели, шевелились губы, чувствовался душев-ный подъем.

Солдат Илья Горев мне сказал: «От них сердце сохнет...» И впрямь, когда я теперь думаю о наших чувствах того времени, я вижу: мы жили в такой ненависти к фашистам, в такой тоске и тревоге, что можно было сравнить сердце каждого с землей в засуху, растрескав-шейся, горячей, выжженной. Лето 1942 года...

Старшина Беляков был немолодым тихим колхозником. Он со мной разговорился, жаловался, что жене трудно — трое детей, она болезнен-ная, колхоз бедный, и до войны жили плохо, а теперь еще хуже. Пока другие шутили, спорили, делились военными новостями, он сидел молча, иногда закуривал и долго кашлял, только раз вышел из себя, когда ему рассказала женщина, что немцы, уходя, пристрелили корову: «Совести у них нет! Что солдат, что ребенок — для них все одно. Да таких убить мало. А что с ними делать?..» Он замолк, насыпал самосада в клочок газеты (читать не любил) и тихо добавил: «Вот, говорили, магазины у них хорошие, товаров много. А вы объясните, душа у такого есть?..»

Над Мишей Савченко все посмеивались, он писал стихи о любви и посвящал их различным особам — то Светлане, то Леночке. Я записал рассмешившие меня строки: «На фронте нет ни розы, ни Пегаса, но фриц наставил много всюду мин. А я до наступательного часа с тобой, любовь! С тобой влечу в Берлин!» Он обижался, что ни одно из его про-изведений не было напечатано в дивизионной газете: «Там признают одни шаблоны. Напиши я про гвардейскую честь, сейчас же тиснут...» И вот этот Миша, когда немцы атаковали, подбил танк. Генерал Чан-чибадзе вручил ему Красную Звезду, обнял. Миша подымал и без того высоко расположенные тоненькие брови: «А что я, дам танку дорогу?..» Он посвятил стихи об ордене Груше, но их не напечатали.

Еще я вспомнил маленького еврея-парикмахера, кажется его звали Фегелем, имя в записной книжке стерлось. В отличие от других парик-махеров он стриг и брил молча. Никто не понимал, как он пошел за «языком» и дотащил на себе рослого немца; да и он не умел объяснить: «Скучно стало. Ну, и вспомнил разное...» Я не стал допытываться, что он вспомнил; наверно, у него остались в оккупации близкие — он был минчанином. Я только спросил: «Страшно вам было?» Он пожал пле-чами: «Я когда полз, ничего не чувствовал. А может быть, чувствовал, но забыл. Вот теперь вспомню — и страшно...»

С американским журналистом Леландом Стоу мы были у генерала П. Г. Чанчибадзе, порывистого, веселого грузина. В ту ночь немцы вели сильный минометный огонь, а Порфирий Георгиевич, невозмутимый, произносил цветистые тосты, хотел уложить американца. Леланд Стоу — смелый человек, он был на различных войнах: в Испании, в Норвегии, в Ливии; пить он умел, но не выдержал: «Больше не могу». Тогда гене-рал налил себе полный стакан, а журналисту чуточку на доньшке и ска-зал мне: «Вы ему переведите — вот так наши воюют, а так воюют амери-

канцы...» Стоу рассмеялся: «В первый раз я радуюсь, что мы плохо воюем...» На следующую ночь по дороге в штаб армии мы увидели избу, долго стучались. Наконец раздался перепуганный женский голос: «Кто там?» — «Свой». Женщина нас впустила, недоверчиво осмотрела. «Я уж думала, не хрицы ли...» (Она говорила вместо «фрицы» — «хрицы».) Услышав, что мы говорим друг с другом не по-русски, она заплакала: «Хрицы!..» Я объяснил, что со мной американец. Женщина сказала: «Чего они сидят у себя? Что нам, подыхать всем?..» Я перевел ее слова Стоу, и он отвернулся: это был не тамада... Проснулся ребенок, заплакал, и женщина его баюкала.

Под Ржевом неожиданно я встретил «испанку» — Эмму Лазаревну Вольф. Она работала по контрпропаганде. Мы вспомнили Мадрид. Все это уже было, и нам казалось, что так всегда будет: полевой телефон, минометы, смерть. Только вот подрос ее сын; она рассказала, что он воюет у Ржева. Да еще не было на свете милого Горева, защитника Мадрида. Трудно было примириться с мыслью, что его убили свои...

«У меня был товарищ, замечательный командир, отличился в финскую войну, а его посадили за месяц до того, как немцы напали», — рассказывал мне генерал А. И. Зыгин, человек смелый и хороший. Было это в темную звездную ночь на тихом участке фронта. Мы сидели в палатке на берегу (Алексей Иванович шутил: «Домик на Волге»). Он размышлял вслух: «Дотянем до конца, тогда все будет по-другому... А то пакости много. Вот напечатали в «Правде» пьесу «Фронт». Все правильно. Только почему поздно спохватились? Сколько невинных загубили! А подхалимов на высокие места расставили. Страха навели. Я на переднем крае не боюсь, а тогда, как все — груса праздновали... Как по-вашему — Сталин знает хотя бы одну десятую? Я думаю, ничего он не знает, обманывали его, говорили: подготовка блестящая... Теперь-то он не может не видеть... Говорит он правильно. Но кто должен выполнять? Все те же...»

Мысли генерала Зыгина тогда разделяли многие. Мне хочется быть точным, я боюсь каждый раз, что теперешние оценки могут повлиять на изложение прошлого. Приведу отрывки из письма, написанного мне в сентябре 1942 года фронтовиком капитаном Шестопалом, оно у меня сохранилось: «У меня пропали жена, ребенок (говорю как о вещи «пропали» — люди в оккупированных краях пропадают хуже вещей). Мою милую голубоглазую Украину распяли паскудные немцы... Никогда я так не дрожал за судьбу своего отечества, как теперь... Только и слышишь, что отошли на новые рубежи, что враг теснит наши войска... Когда мы кончим войну, помоем руки и сядем судить, кто что сделал для того, чтобы спасти страну, вспомним тех, кого нужно вспомнить и кого следует жестоко высечь за нерадивость или жульничество... Возможно, печать старалась учить общество на хороших примерах, а получалось, что в нашей социальной жизни ни сучка, ни задоринки. Дорого нам обходится эта дидактика! Сталин бьет в набат. Газеты не преминут сейчас же поднять шумиху, сделать из этого очередную кампанию. Успокоить себя и других прежде даже, чем кончится «историческая» кампания. Они ведь кричали: «Не забывайте мудрых исторических слов сверхгениальнейшего (это обязательно, хотя в этом меньше всего надобности) Сталина. Но наша граница на замке, ее надежно защищают верные часовые и т. д.». Это же самоубийство!.. В общем, многое мы делали плохо и за это сейчас отдуваемся. Я думаю, что не только мы немцам мозги вставим, но и некоторым нашим. Война нас многому научит...»

Алексей Иванович Зыгин погиб в 1943 году. Не знаю, дожил ли капитан М. Шестопал до наших дней. Да и о многих других мне ничего

неизвестно. Я писал в те годы: «Слов мы боимся, и все же прощай! Если судьба нас сведет невзначай, может не сразу узнаю я, кто серый прохожий в дорожном пальто... Странно устроен любой человек: страстно клянется, что любит навек, и забывает когда и кому... Но не изменит и он одному: слову скупому, горячей руке, ржевскому лесу и ржевской тоске»...

Маленькая разодранная записная книжка; многое стерлось, трудно разобрать свои каракули. Но вот четкая запись чужой рукой: «Передать жене Кокорина, что он жив и воюет» — и номер московского телефона. Не знаю, что стало с Кокориным, даже не помню, где его встретил, кажется, в редакции армейской газеты, а, наверно, говорили мы по душам — у ржевского леса...

(Продолжение следует)



ЛЕОНИД ВОЛЫНСКИЙ

★

СКВОЗЬ НОЧЬ

К истории одной безымянной могилы

В тридцати пяти километрах к северо-востоку от Пирятина на Полтавщине есть село Ковали. Там в заросшем саду, за большим колхозным двором можно увидеть крашенную суриком пирамидку, обнесенную деревянной оградой. На пирамидке, чуть пониже фанерной пятиконечной звезды, висит венок из сохшихся сосновых ветвей, а под венком виднеется неумелая, хоть и старательно выведенная надпись: «Вечная память павшим за Родину».

Таких пирамидок осталось немало на земле, по которой прошла война; быть может, эта, похожая на другие, и не привлечет ваше внимание. Если полюбопытствуете, местные жители расскажут вам, что в большой могиле под пирамидкой собраны останки из нескольких других могил, вернее — из канав, находившихся тут же, под деревьями.

Что до количества захороненных, то здесь, возможно, мнения разойдутся. Одни скажут — четыреста человек, другие — семьсот. Ведь пошел третий десяток лет с тех пор, как это было, и в Ковалях все меньше остается людей, которые слышали это. А видевших воочию и вовсе нет.

1

В сентябре 1941 года, семнадцатого числа, я был откомандирован из батальона «делегатом связи» к начальнику инженерного отдела штаба Юго-Западного фронта. По принятой теперь терминологии следовало бы сказать «офицером связи», но тогда это называлось именно так — делегат связи.

Кроме меня, делегатов связи было еще несколько, из других инженерных частей фронта. Все мы сидели в ожидании приказаний во дворе у хаты, где находился генерал, начальник инженерного отдела штаба.

Штаб (скорее, какая-то часть его, а может быть, только инженерный отдел) остановился на день в селе Яблуновка. Я говорю «остановился» потому, что еще вчера инженерный отдел находился в Пирятине, а где окажется завтра, было неизвестно.

Слово «неизвестно» употреблялось в те дни очень часто и приобретало все более тревожный оттенок. Насчет окружения тоже говорили «неизвестно», хотя многие знали, что кольцо окружения замкнулось или вот-вот замкнется.

Яблуновка казалась вымершей. Движение по улицам было запрещено, ходить надо было вдоль хат или в тени деревьев; штабные машины стояли в садах, замаскированные свеженаломанными ветвями. Кажется, сделано все необходимое, чтобы штаб не обнаружили с воздуха.

И, однако, в середине дня над Яблуновкой показались на большой высоте пикировщики.

Двенадцать «юнкерсов» построились в круг, «каруселью». Мы прыгнули в противоосколочные щели, мир наполнился воем и грохотом.

Огромные машины низвергались с неба одна за другой. Они пикировали так низко, что отчетливо виден был рифленый дюралюминий, были видны черно-желтые кресты на крыльях и даже головы пилотов в прямоугольных очках. Отбомбившись, они спикировали вторично и обстреляли Яблуновку из крупнокалиберных пулеметов.

Как бывало нередко, большого ущерба налет не причинил, хоть мы и натерпелись страху. Когда все стихло, меня вызвали к генералу.

Его небольшой походный стол поставлен был посреди пустой, прохладной и очень чистой горницы с глинобитным полом, присыпанным свежей травой. Генерал не выходил отсюда во время налета, стол перед ним был пуст, он сидел, опустив гладко причесанную седую голову на руки.

— Слушайте, младший лейтенант, — сказал он устало и негромко, — отправляйтесь к шоссе, остановите первую машину, где увидите старшего командира, не ниже полковника. Скажите, что начальник инженерных фронтов просит задержаться и прибыть к нему.

Он так и сказал — «просит». Я откозырнул и отправился выполнять приказание.

Дорога (шоссе проходило примерно в километре от Яблуновки) была сплошь забита движущимися на восток машинами; картина, горько знакомая по трем военным месяцам. Я остановил первую же легковушку — в армии их было тогда немного, в каждой наверняка можно было рассчитывать найти старшего командира. Выслушав меня, хмурый полковник помолчал, взглянул в небо, хлопнул дверцей, и «эмка» покатила своей дорогой.

Я простоял довольно долго на обочине гудящего и гремящего шоссе, останавливая, когда удавалось, редкие легковые машины. Хотелось выполнить приказание, хоть и непонятно было, в чем тут смысл. Возможно, генерал надеялся уточнить обстановку, а может быть, ему нужна была помощь. Или просто требовалось отвести душу, поговорить, посоветоваться. Так или иначе, пришлось вернуться ни с чем.

Генерал все так же сидел за столом, сжимая виски. Хозяйка, осторожно переступая загорелыми босыми ногами, поставила перед ним кружку молока. Я выждал, пока она уйдет, и доложил.

— Можете быть свободны, — проговорил генерал, не подняв головы.

Как только стемнело, штаб снялся из Яблуновки. До нас, делегатов несуществующей связи, никому не было дела. Кто-то из штабного начальства сказал, что мы можем вернуться в свои части. Где именно находятся в настоящее время эти части, никто сказать не мог.

2

Спустя много лет я прочел книгу немецкого генерала фон Типпельскирха «История второй мировой войны». Там он пишет, что большое окружение наших войск восточнее Киева сковало крупные немецкие силы и тем самым спутало карты Гитлера, задержав наступление на Москву.

Вероятно, все было именно так, признания немецкого генерала тут особенно ценны. Но мы этого не знали, не сознавали. Для сотен тысяч людей, продиравшихся в те ночи и дни сквозь леса, сквозь оржицкие болота, на ощупь искавших выхода под градом бомб, под огнем гранатометов, минометов и танковых пушек, для этих людей случившееся было огромной и необъяснимой трагедией.

Помню темно-зеленый автобус полевой радиостанции, окруженный молчащей толпой бойцов и командиров, ожидавших ответа: что происходит, куда идти, чего ждать, на что надеяться. Три полковника и майор, вышедшие из автобуса, ничего не смогли (или не хотели) сказать. Они тоже молчали.

Я никогда не испытывал доверия к популярной формуле «начальство виднее». Возможно, если бы каждый из нас знал действительное положение, немцам пришлось бы куда труднее на том куске земли.

Но это — предположение. Возвращаюсь к тому, что видел и пережил сам; ведь большая история с ее окончательными выводами есть не что иное, как осмысленный итог отдельных, пусть небольших историй.

Своего батальона я не нашел. Нашел лишь суконную ненадеванную пилотку, на подкладке которой химическим карандашом была выведена фамилия одного нашего командира взвода. Его запасливость и дотошная аккуратность служили в батальоне предметом добродушных насмешек. Инициалы, стоявшие перед фамилией, не оставляли сомнений, что пилотка принадлежала именно ему. И то, что она вот так валялась где-то в лесу под сосной, и то, что поднял ее именно я, а не кто-нибудь другой из проходивших здесь тысяч людей было как-то очень уж странно и, как мне показалось, зловеще.

Много странного, похожего на дурной сон происходило тогда вокруг. Ночью на узком щебеночном шоссе горела, стреляя во все стороны шипящими цветными огнями, груженная ракетами машина. За ослепительным фейерверком никто не разглядел, что машина была немецкая — небольшая, вроде «пикапа» или открытого «виллиса».

Но немцы, сидевшие в двух лесочках по сторонам дороги, хорошо разглядели нас. Из одного лесочка ударил гранатомет, из другого — пулемет, мы упали на жестко утрамбованную щебенку.

На ремне у меня висел котелок — лежать на нем было неудобно; я осторожно отцепил его, вытащил из-под себя и поставил рядом. В ту же секунду звенящим ударом его отбросило в сторону. Над головой в черноте ночи рвались гранаты.

Это очень эффектное зрелище — работа скорострельного гранатомета. Пять коротких барабанных ударов — и пять летящих один за другим гранатово-красных светящихся шаров. Беда лишь, что шары начинены картечью.

Боец, лежавший рядом со мной, удивленно ахнул, глубоко вдохнул и не выдохнул более. Я не видел и так и не увидел его лица, мы ведь встретились ночью, и я не знал никого ни справа, ни слева, ни с тыла, откуда вскоре ударил счетверенный зенитный пулемет.

Зенитчики с подоспевшей полуторки стреляли трассирующими; четыре огненные нити, прострочив темноту, протянулись к лесочку, откуда бил гранатомет. Как выяснилось вскоре, там сидела небольшая группа — видимо, моторизованная разведка, проникшая ночью в глубину котла.

Чтобы убедиться в этом, оказалось мало четырехствольного «максима». Требовалось понимание обстановки и умение воевать. Ни того, ни другого не было, но был не известный никому старшина, он связал четыре противотанковые гранаты: «Ладно, попробуем»...

Старшина скрылся в темноте — пополз в обход, и вскоре в лесу, откуда бил крупнокалиберный пулемет, могуче грохнуло, пулемет смолк, живые поднялись с щебенки и побежали туда, крича «ура».

Самое скверное на войне — недостижимость противника, невозможность ответить, сознание собственного бессилия. Кто сидел под бомбежкой с винтовочкой-трехлинейкой, грозя кулаками небу, отлично это знает. Двадцать четвертого июня сорок первого года я видел атаку бомбардировщиков с истребителями на аэродроме под Тернополем и поражаюсь

мужеству авиационного командира, руководившего боем; он стоял с микрофоном в руке посреди кипящего разрывами летного поля на грузовике с откинутыми бортами в позе голубятника, следящего за полетом своих сизарей. Много позднее я понял, что дело тут было не только в личной отваге: ведь это его курносые «ишачки» так яростно и самозабвенно кидались на «хейнкелей» и «мессеров» сопровождения...

Для меня (как и для многих других) ночная атака на щебеночном шоссе оказалась первым соприкосновением с немцами вплотную, лицом к лицу, после трех месяцев слепой войны с недостижимыми самолетами, невидимыми ракетчиками, десантами и диверсантами.

Все, что накопилось за эти три месяца и особенно за последние дни, неслось в лес вместе с нами, и немцы, казалось, ощутили, поняли это. Когда мы ворвались туда, они полезли в придорожные кюветы, но их достали и там. В темноте гремели выстрелы, слышались глухие удары, вскрики, ругательства.

Что-то коротко вжикнуло у меня над ухом, когда я отламывал номерной знак валявшегося на земле мотоцикла. Шут его знает, зачем понадобился мне этот номерной знак, он никак не отламывался, но я все же отломил его и сунул в карман. Меня трясло, дрожали руки, будто ломаешь кости неиздохшему зверю. Остановиться было невозможно. Я пропорол штыком покрышки мотоцикла и пробил бензобак. Неподалеку кто-то всаживал пулю за пулей в радиатор легкового военного «опеля». Дверца была распахнута, на пассажирских местах сидели два офицера в высоких фуражках, один из них держал на коленях портфель. Оба были мертвы.

Я заглянул внутрь машины и отвернулся: не хотелось глядеть на сидячих мертвецов. Тут произошло нечто до того нелепое, несообразное, что и теперь еще диву даешься, вспоминая. Из-за деревьев на поляну, освещенную призрачным светом выглянувшей из облаков луны, вышел человек с небольшим чемоданом. Он был в штатском платье, в пиджаке, мятых брюках и шляпе; когда он приблизился, я увидел, что это не кто иной, как знакомый мне театральный электромонтер из Киева, пожилой, с кривым носом и худым угрюмым лицом застарелого язвенника.

Подойдя ко мне вплотную, он взгляделся и проговорил, не повышая голоса, будто мы только вчера расстались:

— Что вы здесь делаете?

— Собираю грибы. А вы?

Оказалось, он ушел пешком из Киева, прозевав последний эшелон, часть пути проделал на попутных машинах, а теперь пробирается как придется, идет днем и ночью, сколько хватает сил.

— Говорят, где-то возле Лохвицы можно еще пройти... Как вам нравится этот сумасшедший дом? (Это он увидел «опель» с мертвыми офицерами и валяющиеся вокруг мотоциклы.)

Так и не знаю, прошел ли он. Никогда больше я его не видел. Пожав плечами и не простившись, он исчез, растворился в ночи со своим чемоданом.

«Говорят, где-то возле Лохвицы можно еще пройти»... Бедняга электромонтер лишь повторил то, что было на устах у всех. Лохвица, Сенча — эти слова звучали как пароль и отзыв. Когда кто-нибудь говорил с уверенностью, что в районе Лохвица — Сенча есть еще выход, кольцо не замкнулось, — это, мол, известно точно, то за таким человеком, будь он капитан, майор, младший сержант или рядовой боец, готовы были идти

сотни, тысячи. Вероятно, так и формировались бесчисленные группы, день и ночь шагавшие к одной и той же заветной цели.

Дней и ночей оставалось немного, через двое суток все кончилось; казалось (и теперь еще кажется), что целая жизнь прошла с той минуты, как впервые услышал: «окружение». Да что жизнь — множество жизней...

Той же ночью, первую половину которой я описал, мы шли вдоль длинной колонны горящих на дороге машин. Сколько их там горело — тысяча, две или три — сказать не могу. Их жгли, чтоб не достались немцам. И вот там, на той догорающей дороге, нас обогнала группа старших командиров. Их было человек десять, они шли вслед за быстро шагающим генералом. Огненные отблески пробежали по глянцевой коже его распахнутого реглана. Он прошел очень близко, я видел его молодое лицо, его гладко выбритые щеки под тенью надвинутой низко фуражки; меня обдало упругим ветром движения, запахом скрипучих ремней и дорогого одеколona. Он говорил что-то на ходу сопровождающим, слов я не расслышал, но вдруг меня охватила неосознанная беспричинная уверенность, что все еще наладится, образуется, все будет хорошо.

Это был командующий войсками фронта генерал Кирпонос; лишь через несколько лет я узнал, что он застрелился той или следующей ночью, отказавшись вылететь на присланном, с трудом приземлившемся самолете.

Его прах перенесен теперь в Киев. Вместе с ним погиб член Военного Совета фронта М. А. Бурмистенко, до войны второй секретарь ЦК КП(б)У. Мне случалось видеть его. Это был молчаливый, вдумчивый человек с приятным, внимательным взглядом серых глаз из-под темных густых бровей.

4

В село Вороньки я въехал, лежа с винтовкой на крыле автомашины-трехтонки. Такими — в щетине штыков, с лежащими на крыльях вооруженными красногвардейцами — рисуют на плакатах автомобилл 1917 года.

Вороньки — село длинное, как летний день, — разделены неширокой рекой. Я был там недавно; река, показалось мне, обмелела, сузилась, а село разрослось, еще более удлинилось.

В заречной его части сидели немцы, говорили — десант (десанты мерещились тогда всюду). Так или иначе, двигаться на Лохвицу невозможно было, не выбив их оттуда.

Несколько командиров на подходах к селу собирали людей, останавливали машины, сколачивали ударную группу. Какой-то старшина раздавал патроны из стоящих на обочине цинковых ящиков. Невесть откуда взялись две пушки-сорокапятки. Как ни туманно было все впереди, появилась хоть какая-то понятная всем задача — от одного этого погасшие глаза оживали.

Трехтонка, на крыле которой я лежал, отправлена была вместе с другими машинами к реке, где следовало занять исходный рубеж. Там, на берегу, уже оказались люди. В наспех отрытом окопе, куда я спрыгнул, сидел боец в шинели и потемнелой от пота пилотке. Меж колен у него торчала винтовка, через одно плечо была повешена алюминиевая помятая фляга, а через другое — противогазная сумка, в которой, как у всех тогда, и в помине не было противогаса.

Оттуда, из туго набитой сумки, он достал банку тушеной говядины, а из кармана — складной нож.

— Жрать будешь? — спросил он, взглянув на меня.

Есть мне вроде бы не хотелось, хоть и не ел со вчерашнего утра. Хотелось пить. Все время хотелось пить.

Ночью среди горящих машин оказалась полуторка, странным образом невредимая, на ней — «московская» в ящиках; я взял поллитровку, раскупорил на ходу. Никогда б не поверил, что водку можно действительно пить как воду. Я отшвырнул опорожненную бутылку, а о том, что впору бы опьянеть, и не вспомнил. Пить хотелось мне и теперь.

Боец ловко взрезал банку ножом, достал из сумки кусок хлеба, сдул махорочные крошки, отвинтил флягу, спросил:

— Желаеть?

— Вода?

— Спирт.— Он усмехнулся.— Цистерна попалась на станции, не пропадать же добру.

Тут позади ударила сорокапятка, за ней другая. Снаряды просопели над нами и разорвались в заречной половине села, левее виднеющейся церкви. Артподготовка, какая ни есть, началась. Мимо окопа, крича: «Вперед!» — пробежал политрук с поднятым высоко пистолетом.

— Ладно, чего там,— сказал боец.— Назад не пойдем, а впереди ресторанов не видно.

Мы выпили с ним по крышечке спирту и поспешно сжевали тушенку с хлебом.

5

Прошлой осенью я бродил по ирпенскому лесу под Киевом, вдоль старой линии обороны. Землю прикрыло опавшими листьями, их было полно в заросших травой траншеях, ставших принадлежностью этого леса, плотью от его плоти, вместе с взорванными артиллерийскими дотами, древними, будто обломки каменных баб на степных курганах.

Шрамы на теле земли зарастают медленно (а может, и вовсе не зарастают, если не сгладит их рука человека); мне почему-то казалось, что я найду и тот окоп в селе Вороньки на Полтавщине, где давно хотел побывать,— и вот наконец собрался.

Все тут было на месте: и река, пусть обмелевшая, и пологий зеленый берег, и церковь, служившая ориентиром для артиллеристов (ее перестроили в клуб), и деревянный мост, по которому мы бежали, держа винтовки наперевес. Все было на месте, а окоп я так и не смог найти.

Впрочем, мост был теперь не совсем тот, его обновили — и настил на сваи; об этом рассказал парень с велосипедом. Велосипед был нагружен двумя кошелками, парень — по-деревенски приветлив и разговорчив. Ему шел семнадцатый год; когда он родился, окоп, возможно, был еще не засыпан.

Поговорив с ним, я прошел по мосту на другой берег, вспоминая, как посвистывало тогда над ухом.

Когда слышишь впервые этот птичий короткий посвист, хочешь прислушаться — ну-ка, еще разок! — пока рядом с тобой не упадет кто-нибудь, молча или удивленно ахнув.

Так упал боец в потемнелой пилотке. Пуля, свалившая его за мостом, где начиналась деревенская улица, вселила в меня страх, и я побежал вдвое быстрее, пригибаясь пониже и пытаясь обмануть посвистывающую судьбу неожиданными зигзагами, покуда меня не остановил немолодой майор в плащ-палатке, по-кадровому косо свисающей с одного плеча.

Есть люди, которых запоминаешь с первого взгляда — и надолго. У майора пол-лица занимало багрово-фиолетовое пятно, скорее всего знак давнего ожога. Пятно делило лицо наискосок — через лоб и щеку от этого один глаз майора казался светлее, зеленее другого.

— Зря суетишься, сынок,— сказал он,— петлять нечего, она тебя найдет, когда надо будет.

Не могу сказать, что его слова успокоили меня, но каким-то образом они меня выпрямили, и я пошел рядом с майором по самой середке немощеной улицы с горящими и пока еще не горящими хатами, вдоль которых перебежали, пригибаясь, бойцы.

Стрельба быстро стихла, немцы убрались без особого сопротивления. В конце улицы валялся на земле мотоцикл и несколько глянцевого мутно-зеленых плащей с пелеринами-наплечниками и суконными воротниками.

Здесь вдруг потянуло сквозь дым чем-то сладковатым, тошнющим, будто хлороформ. Не знаю, как лучше описать этот запах — смесь перегара чужого синтетического бензина с чужим мылом, чужим потом, чужим табаком. Это был запах нашествия; кто не вдыхал его, вряд ли поймет.

Я вдохнул, и, быть может, поэтому мне занудилось, как ночью в лесу, пропороть покрышки мотоцикла и пробить бензобак, и без того простреленный. Покончив с этим нелепым и необходимым делом, я не обнаружил вокруг себя никого. В тишине было слышно, как потрескивает занимающаяся солома на крыше ближней хаты.

Опустевшая улица обрывалась полем, я побежал туда, надеясь догнать майора,— но не догнал.

Трое бойцов стояли впереди, один указывал пальцем куда-то, другие вглядывались; вгляделся и я. Издалека ползло навстречу по щетинке стерни что-то темное, небольшое, со спичечный коробок. «Трактор, что ли?» — удивленно проговорил один; тут оно приостановилось, дернулось, плюнуло желто-серым, с огненной сердцевинкой облачком, и тотчас неподалеку взметнуло с грохотом землю.

Мы упали, поднялись, побежали в другую сторону — пока и оттуда не грохнуло.

— Танки,— почему-то шепотом сказал кто-то из нас.

Тут мы и увидели прямо перед собой небольшой овраг, щелью рассекавший чуть всхолмленное поле.

6

Овраг, разумеется, остался на месте, он лишь расширился за прошедшее двадцатилетие и удлинился. Таково свойство оврагов, если не укреплять их склоны деревьями или кустарником.

Теперь, как и тогда, желтые склоны оврага были голы, только на дне густо зеленели бузина и лещина.

Туда, в зеленую гущу, мы и скатились, не помня себя, и там припали к земле, будто она могла еще выручить нас, помочь, спасти.

Там мы лежали, слушая, как приближаются танки и до последней секунды надеясь, что они пройдут мимо. Но они не прошли. Гул стих, моторы смолкли, лязгнул открываемый люк, и сверху донеслось: «Русс, вихади!» Затем овраг обстреляли из автомата и забросали гранатами. Нас осыпало густо листвой и обломками ветвей, перемешанными с землей. Все затянулось пылью и дымом. Может быть, израсходованного здесь свинца и железа достало бы на пехотную роту. Но убило лишь одного из нас. Трое поднялись наверх.

7

Немец, стоявший наверху подле танка, прежде всего наотмашь хлестнул каждого из нас по щеке. Да, он ударил нас, и солнце не померкло в небе, оно продолжало светить, будто ничего не произошло. Затем немец жестами велел нам опорожнить карманы.

Это был первый живой немецкий солдат, какого мне пришлось увидеть,— молодой, аккуратный, в темно-зеленой каске, с лицом округлым, не злым, скорее даже приятным. Его очки в тонкой золотой оправе держались не на оглоблях, а на охватывающих ухо витых оранжевых резинках; так, видимо, было удобнее на войне. Его пухлые юношеские губы изогнулись брезгливо, когда он пошевелил носком добротного сапога кучку грязных носовых платков, винтовочных патронов, слежавшихся писем, фотографий с обломанными уголками. Обнаружив мотоциклетный номерной знак, он сказал что-то другому немцу, стоявшему в башне танка, картинно опираясь о поднятый люк.

Этот немец — офицер в черной пилотке — был худошав, узколиц, с выпирающим кадыком на длинной шее и пупырчатой розовой кожей. В левом его глазу торчал монокль, и весь он до неправдоподобия был похож на виденную где-то карикатуру. Он курил сигарету, глядя поверх нас куда-то вдаль, и ответил сквозь зубы — похоже — ругательством. Солдат, коротко замахнувшись, еще раз хлестнул меня по щеке и отправился в овраг, поливая перед собой дорогу из автомата.

Офицер махнул рукой в перчатке второму танку, стоявшему по другую сторону оврага,— тот взревел мотором, развернулся и пополз через поле.

Солдат принес из оврага наши винтовки. Уронив их как охапку дров, он снова сказал что-то офицеру, тот усмехнулся молча. Солдат взял винтовку, щелкнул затвором, сунул ее стволом глубоко под гусеничный трак и переломил. Так он сделал со всеми винтовками, а затем вспрыгнул на броню и встал рядом с офицером, держась за поручень башни.

— *Lo-os!* — протяжно приказал офицер, махнув рукой вперед.

С первых наших шагов танк стал набавлять скорость, спотыкаться нельзя было, он держался вплотную за нами.

Он гнался за нами издавна, издалека; пожалуй, еще в Абиссинии или Испании началась эта погоня. И вот где настигло нас...

Все заблуждения, слабости, все недомыслия прошлых лет дышали нам в затылки горячей сталью, порохом, гарью, неволей, несчастьем. Спотыкаться нельзя было; мы бежали бегом до развилки дорог на Лохвицу и Чернухи. Сюда немцы сгоняли захваченных, а отсюда перегоняли в большой колхозный двор села Ковали. К концу дня там оказалось около десяти тысяч пленных.

8

На второй или третьей неделе войны младший сержант Еськин из нашего батальона при выполнении боевого задания (минировал ночью участок дороги) угодил к немцам. Он пробыл в плену трое суток, чудом бежал и вернулся на себя не похожий, будто с того света. Вернулся, да ненадолго. Его куда-то отправили с пакетом и двумя сопровождающими, только мы его и видели. «А может, он задание от Гитлера получил,— сказал по этому поводу Харченко, начфин батальона.— Кто его зна...»

И хотя многие в батальоне хорошо знали простодушного младшего сержанта (он служил действительную, когда началась война) и не принимали всерьез то, что говорил начфин, честный и прямой, как старательно отесанное бревно, никто не возразил ему. В самом деле, «кто его зна», и не такое ведь бывало; от тридцать пятого до сорок первого года срок был достаточный, чтобы отучиться искать резоны или высказывать вслух сомнения.

Случившееся с Еськиным приходилось рассматривать как несчастье, как дурную болезнь вроде чумы; от нее не уберешься, ее надо бояться.

О том, что делают страх и неверие с человеком, с его душой, говорить

мимоходом нельзя; если я касаюсь старых ран, то лишь потому, что судьбу Еськина предстояло разделить некоторым из тех, кто сидел двадцатого сентября сорок первого года на плотно убитой земле колхозного двора села Ковали.

Здесь я снова увидел майора. На нем не было уже ни плащ-палатки, ни сапог. Он сидел, обхватив руками колени, и неотрывно глядел на свои босые, не успевшие еще запылиться ступни. «Кадрового майора разули, сволочи,— повторял он, кусая губы.— Кадрового майора, гды...» Медленные густые слезы текли по его разноцветным щекам.

Пожилая женщина в солдатской гимнастерке ходила, переступая через сидящих, придерживая рукой санитарную сумку с красным крестом. «Деточки, кому помочь надо?.. Сыночки, перевязать кого?..» Никто, кажется, не откликнулся на ее призывы, а она все ходила и ходила, пока в конце двора не появился какой-то «недочеловек», низкорослый, в длинном, с чужого плеча серо-зеленом френче, с повязкой переводчика на рукаве.

Тонким, далеко слышным голосом, с заметным галицийским акцентом он прокричал приказание справить кому что надо, малую или большую нужду (он выразился куда прямее), затем сидеть и лежать всем недвижимо, а если ночью кто пошевелится — стрелять будут без предупреждения.

Вокруг двора поставили пулеметы, багровое солнце опустилось за черные, будто обугленные деревья, и наступила ночь.

Не помню, спал ли я той ночью хоть сколько-нибудь. Помню лишь крупные звезды в небе и тихие голоса военврача и его жены, носившей два кубика на зеленых медицинских петлицах. Они лежали неподалеку и всю ночь прощались. Он знал, что его расстреляют утром, и она, я думаю, тоже знала, хоть и шептала всю ночь, что этого не будет, не будет, не будет, этого не может быть.

9

Но это было. Вскоре после восхода солнца в конце двора появилось десятка полтора солдат в черных мундирах (на пилотках — череп и скрещенные кости, на пряжках ремней — «Господь с нами», «Gott mit uns»). Там они постояли, поговорили о чем-то (слышны были их голоса и смех), затем криками и жестами потеснили нас, и без того вплотную сидящих, освободив еще кусок пахнувшей мочой земли.

Так образовалось нечто вроде сцены или площадки для представления, фоном которому служили чуть тронутые желтизной деревья и ясное утреннее небо.

Солдаты стали закатывать выше локтя рукава френчей (их руки ярко забелели под солнцем), и тут появился вчерашний «недочеловек» в мундире с чужого плеча. Своим тонким голосом он прокричал приказание всем комиссарам, коммунистам и жидам выйти туда, на свободное место.

Если бывает тишина, которую можно слышать, то именно такая и возникла, когда «недочеловек» докричал свое. И в этой звенящей тишине стали то тут, то там подниматься люди.

Море сгорбленных спин раздавалось, освобождая дорогу идущим, и вскоре на подготовленной для представления площадке выстроились две шеренги разутых и до пояса раздетых, а в стороне росла горка сапог, ботинок, обмоток и гимнастерок — сукожных и «хабе», хлопчатобумажных, новых и выбеленных соленым потом, с красными звездами на левом рукаве и без звезд, с кубиками, шпалами, треугольниками или чистыми солдатскими петлицами.

Дальнейшее я должен описать со всей возможной точностью, как единственный, кто стоял в тех шеренгах и остался жить.

Я ушел из дому ночью двадцать третьего июня с предписанием явиться в полк, стоявший до начала войны неподалеку от Львова; в толстостенных гулких казармах я застал старшину с несколькими бойцами из хозвзвода, они подбирали остатки имущества, полк был на передовой. Старшина выдал мне комплект обмундирования, два кубика и винтовку, а насчет пистолета развел руками: «Сами добудете»...

Не знаю, что случилось бы, если б я сумел за три месяца раздобыть себе пистолет. На такой вопрос не могу ответить исчерпывающе точно. Скажу лишь, что при желании можно застрелиться из винтовки: надо разуться и нажать большим пальцем ноги, как это делали и делают самоубийцы и самострелы. Почему я не сделал так — то ли времени не достало, то ли решимости или силы совершить в такую минуту столько физических действий, то ли попросту сработал инстинкт — сказать со всей определенностью не могу.

А вот должен ли был, обязан ли был я навсегда остаться на дне оврага? На этот вопрос ответа покуда не было. Было десять тысяч таких, как я, в большом колхозном дворе села Ковали. — вот и все.

Мне трудно пересказать, что передумал ночью, слушая, как прощаются военврач с женой. Но самый тяжкий час наступил, когда я увидел, как он поднялся и пошел, и как раздавалось море спин, освобождая дорогу, и как за ним пошла жена, и как ее не допустили умереть.

— Цурюк! — скомандовал ей немец, а «недочеловек» пояснил:

— Назад, назад! — И она вернулась, и сидела, глядя туда потерявшими цвет глазами, и скребла, скребла обломанными ногтями твердо убитую землю.

Все оставшиеся на месте глядели т у д а как бы сквозь невидимую, неодолимую стену, вдруг переделившую мир; лишь теперь мне предстал действительный выбор.

— Не хади! — услышал я за своей спиной. Обернувшись, я увидел Акперова, солдата из нашего батальона, более того — из моей роты, из моего взвода.

Странно было бы удивляться чему-нибудь в те минуты; я и не удивился нисколько, что Акперов здесь, что он почти рядом, а я не видел его раньше.

— Не ххади! — повторил он шепотом, нажимая на гортанное «хха».

Это был узкогрудый солдат с удивительно красивыми, прямо-таки персидскими глазами, придававшими его лицу что-то женственное даже теперь, когда оно заросло многодневной жесткой щетиной. На войне ему было все время худо — и от некрепкого здоровья, и от непривычной еды, и от страха, и от постоянных, пусть незлобивых подшучиваний над его неправильной речью и над его любовью к пресным лепешкам; он пек их при первой возможности из муки, которую постоянно носил в вещмешке.

И то, что Акперов вдруг обнаружился здесь, и его «не ххади!», и всплывшая вдруг мысль, что где-то живы, существуют и другие наши, может быть, какая-то часть батальона вырвалась, и на этом не кончилось, жизнь будет продолжаться после меня и без меня, — все это, вместе взятое, нахлынуло острой, саднящей болью. «Нет, не пойду, не стану подчиняться убийцам».

Это я так сказал себе, а т а м стояли две шеренги разутых, в нательных рубахах и майках, я видел и военврача и майора (его нетрудно было различить издали по пятну на щеке) — и не мог, не в силах был отвести взгляд.

Все меньше и меньше выходило туда людей (не знаю, сколько это

длилось: час, два или больше), а когда вовсе не стало идущих, «недочеловек» прокричал, что комиссары, коммунисты и жида притаились, надо помочь обнаружить их; каждый, кто обнаружит хоть одного, может взять себе его вещи.

Бог ты мой, до чего разнолика и однообразна, до чего стара и живуча подлость! Я посмотрел на Акперова; он ответил долгим печальным взглядом. Тут на меня надвинулась тень, я поднял голову и увидел вислоусое лицо с мясистым носом и светло-голубыми глазами. Надо мной стоял рослый человек в стираной гимнастерке и защитной «панаме» с опущенными полями (такие и теперь носят те, кто служит в гарнизонах жаркой климатической полосы или в горных войсках). Головной убор как-то не сочетался с пшеничными селянскими усами; впрочем, размышлять о внешности не пришлось.

— А ты чего тут сидишь? — ласково спросил вислоусый. Он улыбался.

Я поднялся с чувством внезапного облегчения. Что-то непосильно тяжкое само собой разрешилось, свалилось с плеч, и я не почувствовал, как вислоусый снял с меня гимнастерку. Разулся я сам, а о наручных часах он мне напомнил:

— Часики?..

Море спин раздалось, я прошел и встал, где мне надлежало стоять — в конце первой шеренги.

Люди, которым я впоследствии рассказывал все, никогда не спрашивали, о чем я думал в те минуты. Передо мной не проносились картины прошлого, как пишут в романах. Я глядел в огромное небо и думал, что вот как получилось глупо, никто и не узнает, где я зарыт. Остальное было далеко, за какой-то чертой, которую я переступил, перешел босыми ногами; там, видно, остался и страх, теперь он был недоступен мне, как вся прошедшая жизнь.

Вот и все, что я мог бы рассказать о том, что думал, если бы меня спросили. Но спрашивали меня о другом: как я уцелел, почему я жив. Спрашивали с разной степенью интереса или пристрастия, а объяснять было одинаково трудно.

Дюжина-другая вислоусых на десять тысяч — не такой уж большой процент, но все же они были и есть, они существовали и существуют; когда они окончили свое дело в колхозном дворе села Ковали, черные мундиры приняли за свое.

Ордунг есть ордунг, прежде всего они принялись считать. Вернее, не все они, а трое: унтер-офицер, солдат и переводчик. Они медленно шли вдоль строя, считая вслух и отмечая каждый десяток (солдат считал, унтер-офицер отмечал в записной книжечке карандашом), и тут я увидел вблизи «недочеловека» в мундире с чужого плеча. Он оказался молодой, едва ли не мальчик, длинноголовый, с расчесанными на косой пробор льняными светлыми волосами и неестественно бледным лицом. На этом лице горели безумные глаза. Я не страшусь банальности выражения и повторяю: горели безумные глаза. Иначе я не умею определить тот взгляд, с которым встретился.

В нем отражалась душа больная, измученная страхом и ненавистью, несчастная и погибшая.

Много раз я спрашивал себя впоследствии: кто был этот ублюдок в немецком френче, откуда он взялся, где рос, что сделало его таким? Но тогда я не думал об этом. Я просто встретился с ним взглядом, и здесь произошло то, что не объяснишь никакими другими словами, кроме слова «судьба». Взгляды скрестились, и он спросил:

— А ты чего здесь стоишь?

Я молча пожал плечами. Он спросил:

— Комиссар?

Я качнул головой: «Нет». Это была правда. Вряд ли я стал бы лгать в ответ на следующий вопрос, которого ждал. Но больше он ничего не спросил. Видно, моя наружность никак не сходилась с его представлениями о тех, кому следовало умереть. На какую-то долю секунды (ее, эту малую долю, ощутил только я) все повисло на острие иглы; он повернулся к унтер-офицеру, сказал ему что-то по-немецки — быстро, отрывисто, а затем крикнул мне:

— Weg! Лезешь куда не следует...

Странное подобие улыбки промелькнуло на его мучнисто-бледном лице. Обернувшись, он прокричал:

— Отдайте ему одежду!

Не помню, кто кинул мне гимнастерку, ремень и чужие стоптанные сапоги. Не помню, как шел обратно. Помню лишь услышанное: «Эх, чуть было зря человека не загубили...»

Какой-то темноглазый солдат подвинулся, освободил место:

— Садись, друг.

Я опустился на землю. Вернее, опустилось мое тело. Сам же я — прежний — перестал существовать.

Никто из тех, кто был там и видел все, не остался прежним. Быть может, это и есть самое важное, ради чего стоило тревожить воспоминаниями память мертвых и сознание живых.

10

Я приехал минувшей весной в Ковали с близким другом, человеком сдержанным, скупым на проявления чувств. Он знал все по моим рассказам и не задавал праздных вопросов.

Большой колхозный двор изменился, здесь много чего понастроили за последние годы. Но плотно убитая земля была та же, мне хотелось сесть, посидеть на ней; я бы, пожалуй, сделал это, если бы приехал один.

Мы постояли посреди двора в молчании; весна запоздала, в середине мая шли полевые работы, вокруг было тихо и пусто.

Понадобилось немного времени, чтобы в памяти всплыло все, как было; я показал своему другу, где стояли четыреста смертников. Их брали десятками и отводили в сторону, за деревья. Там первые десять человек вырыли себе общую могилу (лопаты были приготовлены в нужном количестве), затем раздался недлинный залп автоматов, и следующий десяток отправился засыпать могилу землей и рыть новую. Так длилось до конца, все умирали молча, только один вдруг упал с раздрающим душу криком. Он пополз по земле к ногам солдат, пришедших за очередным десятком. Он кричал:

— Не убивайте меня, моя мать украинка!

Его сильно ударили сапогом, выбили зубы и потащили, взяв под руки. Он замолк, его босые ноги волочились по земле.

Так это было, тут ничего не прибавишь и не убавишь. Из четырехсот я знал по имени лишь одного. Это был актер киевского кукольного театра Зализняк, неисчерпаемо остроумный, некрасивый, ярко талантливый. Как и другие, он пошел на смерть молча, высоко держа седеющую курчавую голову.

Теперь мы прошли по этому последнему пути, мимо нового коровника (его тогда не было) в разросшийся сад, и там под отцветающими деревьями увидели пирамидку.

Признаюсь, я не ожидал увидеть ее, что-то тяжкое отлегло от сердца. Мы стояли у покосившейся деревянной ограды, когда в саду появились женщины. Они шли гуськом по тропинке, неся грабли, лопаты и тяпки, — и приостановились, увидев нас. За разговором дело не стало.

Женщины рассказали, что пирамидку поставили местные люди, а надпись писали дети, школьники, они же и сменяют ежегодно венки. Рассказывая, бабы всё глядели, вглядывались: я ведь тоже был от туда, из этой могилы.

— Спасибо, что приехали, — сказала на прощанье самая старшая, самая темнолицая, с самыми глубокими морщинами и самыми светлыми, выгоревшими от солнца (а может быть, и от слез) глазами.

11

Когда все кончилось, живых подняли с земли и погнали в сторону Кременчуга через пересыльные лагеря — Лубны, Хорол, Семеновку, Градижск. Я прошел этот путь и должен теперь описать его.

Окончив свое дело, черные мундиры передали нас конвоирам, носившим обычную серо-зеленую форму. Четверо из них стали у выхода, крича и размахивая палками. Почти каждому выходящему доставался удар по спине, голове или рукам, если он пытался прикрыться. Это была как бы увертюра, вступление к тому, что нас ожидало.

Позднее я узнал, что такая тактика применялась повсюду, на всех перегонах, во всех тюрьмах и бесчисленных лагерях, где у человека прежде всего отнимали человеческое достоинство. Это была не просто жестокость, это была жестокость особенная, обдуманная, психологически направленная. Тут крылся окончательный смысл борьбы, тут обнаруживалась ее действительная цель.

На дороге нас ждали конные конвоиры. Они двигались обочинами, то и дело наезжая на идущих, взмахивая плетками и стреляя из пистолетов и карабинов в воздух.

Вскоре, однако, стрельба приняла другой характер.

Колонна в несколько тысяч пленных — организм неоднородный. Среди нас были люди разного возраста, неодинакового здоровья, различной выносливости, силы духа или упорства. К середине первого дня появились первые отстающие. Чем дальше, тем чаще раздавались выстрелы в хвосте колонны. Мы вскоре узнали, что означал каждый выстрел, доносившийся оттуда.

Темноглазого солдата, сказавшего мне: «Садись, друг», звали Захар Павлюк. Ему шел двадцать первый год, он был родом из Винницкой области, работал до войны ремонтником на железной дороге; он успел рассказать мне свою несложную биографию в полчаса, на ходу. Мы решили держаться вместе, не сговариваясь об этом. Я думаю, что именно Захару обязан тем, что выдержал перегоны и пересыльные лагеря.

— Знаешь, что надо делать, чтобы не отставать? — сказал он. — Надо идти впереди.

Это было просто и верно, как все, что он говорил и делал.

В самом деле, идущие впереди, в голове, задают темп. Они идут как могут, пусть на пределе сил, но лишь на пределе. Они идут ритмичнее, ровнее середины или хвоста, они не должны догонять, а догонять — это самое изнурительное, самое опасное.

Мы с Захаром старались держаться как можно ближе к голове колонны. С утра, пока еще не наваливалась усталость, мы продвигались что было духу вперед и старались, сколько хватало сил, не сдавать.

Перегоны были в среднем по сорок километров, с одним-двумя десятиминутными привалами. На привалах конвоиры спешивались, кормили лошадей и ели сами (за колонной двигались три фуры с их барахлом, жратвой и конским кормом), а мы лежали на земле, на дороге и обочинах.

Захар и тут знал, что делать:

— Ложись в кювет и задери ноги кверху.

Так мы и лежали, пока конвоиры не командовали подъем. Подниматься надо было быстро, чтобы не схлопотать удар плеткой, сапогом или прикладом карабина.

Но многие не в силах бывали подняться; после каждого привала оставались лежащие.

Это был самый доступный способ распрощаться с мучениями. Обесиленный человек садился на обочину, конвоир наезжал конем, хлестал плеткой, человек продолжал сидеть, опустив голову. Тогда конвоир брал с седла карабин или доставал из кобуры пистолет.

Дорога на Кременчуг была устлана трупами. Хоронили их люди из ближних сел; никто никогда не сосчитает, сколько безымянных могил проросло на Полтавщине придорожной травой и хлебами.

12

Кормили нас один раз в сутки, в пересыльных лагерях. Норма — черпак баланды.

Баланда варилась под открытым небом в больших закопченных котлах. Цепочка котлов делила территорию лагеря на две неравные части. Одолевшие перегон попадали в меньшую половину и получали свой черпак, проходя между котлами в большую. Вместе с порцией баланды каждый получал удар палкой по голове (на выдаче дежурили трое, один зачерпывал и наливал, другой кричал «шнеллер!», третий бил палкой).

Очень важно было иметь какую-нибудь посудину. У одних были котелки, у других — кружки или консервные жестянки. У Захара оказалась крышка от котелка, а у меня никакой посуды не было. Я приспособил для этой цели противогазовую маску.

Маска валялась в кювете у дороги, я подобрал ее на ходу, она здорово выручила меня. У Захара была спрятана за голенищем бритва, я срезал верхнюю часть маски, а нижнюю, с очками и хоботом, выбросил. Получилось нечто вроде купальной шапочки, туда мне и наливали баланду. Кто не имел и такого, подставлял пригоршни.

Удар палкой заботил меня лишь постольку, поскольку надо было ухитриться не расплескать при этом баланду. Она готовилась из воды с чечевицей или горохом, чаще с чечевицей. О чечевице я знал только из библейской легенды. Мне лишь предстояло познать реальность поэтических преувеличений.

На черпак приходилось два-три десятка зерен. Я проглатывал все в полминуты, на ходу, а затем должен был мучиться, глядя, как Захар пирует. Он неторопливо выпивал жижу, а затем ел зерна, каждое в отдельности. Он накалывал горошину или чечевичину щепочкой, клал в рот и подолгу жевал, молча и сосредоточенно.

Йоги утверждают, что можно насытиться одним яблоком или орехом, надо лишь научиться жевать. Я так и не научился; думаю, что никто, даже Захар, жевавший по системе йогов, не выдержал бы и двух недель, если б нам не перепадало хоть что-нибудь на перегонах.

По сторонам дорог простирались сиротливые осенние поля. Если там встречалось хоть что-нибудь съедобное, то не было силы, способной нас удержать. Конвоиры хлестали плетками направо и налево, били прикладами, открывали огонь — все было напрасно.

Оставляя убитых в изрытом, истоптанном поле, колонна шла дальше, хрустя кормовой свеклой, морковью или картофелем.

Однажды после такого налета меня нагнал исхудалый обросший человек в замызганной шинели, я с трудом узнал начфина Харченко.

— Послушай, у тебя нет морковки? — рассеянно спросил он. Кажется, он нисколько не удивился встрече.

Я дал ему морковку, он съел ее и проговорил:

— Я тебя не видел, ты меня не знаешь, понял? — И растворился, исчез среди других замызганных шинелей. Бедняга Харченко, мне очень хотелось спросить, получил ли он задание от Гитлера и какое.

Назавтра нам попались тыквы, они лежали в поле будто поросята, посреди почерневшей ботвы. Колонна ринулась туда, конвоиры бросили коней в галоп. Топот ног и копыт, крики, удары, выстрелы, и вот все загнаны обратно на дорогу, только один, забежавший чересчур далеко, не успел вернуться.

Это был паренек лет восемнадцати — девятнадцати, стриженный полсолдатски, в темно-серой стеганке и ботинках с обмотками. Он нес перед собой небольшую пятнистую тыкву, держа ее за черенок обеими руками. Он бежал изо всех сил к дороге, когда конвоир выстрелил в него из пистолета. Он сделал еще несколько шагов и медленно опустился, пал на колени, все еще держа тыкву обеими руками за черенок. Он стоял так среди разразившейся тишины и не отрываясь смотрел в глаза конвоиру, горячившему каблуками коня. Влажное бурое пятно медленно растекалось на его груди. Конвоир был солдат, рядовой вермахта, лет тридцати с виду. Быть может, он теперь нянчит внука и давно позабыл тот взгляд и фонтанчик темной крови, брызнувший после второго выстрела.

Иногда бесстрашные бабы выносили к дороге сухари или хлеб; их мгновенно сбивали с ног, образовывалась свалка, конвоиры бесновались, наезжая на копошащуюся кучу. Захар выбрался из одной такой передряги с раскрасневенным носом, но улыбающийся. Он показал ладонь — там лежал кусок хлебного мякиша с оттиском крепко сжатых пальцев.

— Хорошая штука, да мало, — сказал я, проглотив свою долю. Это был единственный глоток хлеба за двадцать четыре дня.

13

Не знаешь, с чем труднее бороться, с голодом или жаждой, пока не испытаешь на себе. При виде воды колонна попросту теряла рассудок. Мы готовы были пить из любой грязной лужи, а нам не дали напиться даже из реки.

Это был какой-то приток Сулы или Удая, мы еще издали почувствовали, как пахнет водой, но нас к ней не подпустили. Орудяя плетками и стреляя, конвоиры гнали нас по шаткому мосту. Перила хряснули, трое свалились на середине, конвой остановил колонну; должно быть, они не видели никогда, как тонут люди. Теперь по крайней мере тем троим не хотелось пить.

За мостом было село, кудрявое полтавское село с белостенными хатами, с колодцами, полными студеной воды. Иные колодцы, как это бывает, стояли не во дворах, а снаружи, на улице. При виде таких колодцев по всей колонне пронеслось: «Котелок у кого?», «Ремни давайте!»

На этот раз мы с Захаром дали ремни плечистому русолодскому солдату с непокрытой головой; он скрепил их пряжками, присоединил к своему ремню и метнулся к колодцу. Налетевший конвоир дважды взмахнул плеткой. Солдат вернулся без котелка и ремней. Плетка рассекла ему кожу на кистях рук и на лице. Имя солдата было Андрей. Он усмехнулся и махнул рукой, когда Захар сорвал лист подорожника и велел ему приложить к щеке. Он держался теперь рядом, будто утопившие ремни скрепили и нас.

В селе расположилась немецкая часть, во дворах под деревьями полно было машин, полураздетые немцы окатывали друг друга водой из колодцев. Какой-то офицер в отглаженных бриджах со спущенными

подтяжками стоял в тени у плетня, заложив руки за спину. Солдат, стоявший рядом с ним, брал из вскрытого ящика пачки гречневого концентрата и подбрасывал вверх по одной штуке, как бросают мячик. Это был наш армейский концентрат, очень вкусный, разваристый, с жиром и поджаренным луком. Когда кто-нибудь из колонны подпрыгивал, чтобы поймать пачку, офицер вынимал из-за спины руку и огревал прыгнувшего хлыстом.

Захар хотел было тоже прыгнуть, но Андрей удержал его.

— Брось... Сила ихняя, вот и все... — задумчиво сказал он, когда село осталось позади.

К вечеру нас пригнали в Семеновку, на разоренный сахарный завод. Там оказалась вода, из окостенелой грязи торчала труба артезианского колодца с краном. Когда дошла очередь, мы напились впрок, Андрей промыл лицо.

— Ну погоди! — пробормотал он, ошупав кровавый рубец, тянувшийся от ноздри к мочке уха через щеку.

14

О том, рано ли заходило осенью сорок первого года на Украине, вернее всех скажут те, кто ночевал в пересыльных лагерях. Не стану описывать все ночи, проведенные там, боюсь утомить читателя. Но об одной не могу не сказать.

В Хороле лагерь был на территории кирпичного завода; весь день сеял холодный дождь, а к вечеру прояснилось, повеяло морозом. Одежда вмиг залубенела, как стираное белье на зимнем ветру; ноги уходили по колено в густеющую тягучую глину. Негде было ни прилечь, ни даже присесть. У навесов, где прежде сушили или просто складывали кирпич, стоял немец в круто заломленной фуражке и глянцево-мокрой шапке. Он стрелял из парабеллума в каждого, кто пытался войти под навес.

Он стоял за деревянным столбом, чтобы остаться незамеченным. Я отчетливо помню его лицо с крепким подбородком и густыми белесыми бровями — лицо умелого, терпеливого охотника.

В ту ночь я хотел удавиться, да не на чем было. Пусть это смешно, но действительно было не на чем.

— Сдохнуть успеешь, — сказал по этому поводу Захар. — Надо их пережить сперва.

Пережить, но кого же? Кто они, откуда они, сколько их? Как упрощены были наши представления о фашизме и фашистах! Я рисовал их похожими на того, с моноклем, что торчал из танковой башни. Я мог довольно ясно представить себе его биографию: пруссак, из потомственных офицеров, из тщательно выведенной многовековой породы, отученной рассуждать; отец — помещик, гинденбургский полковник или генерал, допустим — кавалерист, сын пересел с коня на танк, тут все понятно. Ну, а солдат в золотых очках?

Здесь я терялся. Не мог придумать ему подходящее прошлое. Могу лишь сказать почти наверняка, что он не был ни потомственным пруссаком, ни лавочником, ни сыном лавочника, ни заслуженным штурмовиком.

Когда он хлестнул меня по щёке, я прежде всего хотел спросить, сколько ему лет и какой университет он окончил. Знаю, это покажется странным, но было именно так.

Я вглядывался в лица конвоиров. Это были обыкновенные лица. Иногда конвоиры говорили о чем-то своим, улыбались, шутили. Возможно, среди них были немецкие рабочие. Как же так? Я должен был разобраться — и не мог.

Однажды я слышал, как один из конвоиров, молодой, жаловался другому, постарше, что его тошнит при виде крови; старший покровительственно усмехнулся, пожал плечами:

— А я могу есть бутерброды во время экзекуции. Дело привычки.

— Schrecklich! Это невозможно! — говорила спустя четыре года седая ученая фрау, хранитель известного всему миру музея скульптуры. — Ужасно, ужасно! — повторяла она, прижимая узкие бледные ладони к лицу. — Поверьте, мы не знали...

Стоило ли напоминать ей, что незнание не добродетель и не оправдание ни для кого?

Мне и теперь кажется, что я недостаточно знаю о социально-психическом комплексе, о тяжелом заболевании, которое принято называть фашизмом. Каждому хорошо известна картина кризиса, итог, результат: жгут, сажают в концлагеря, убивают, громят... Но до сих пор до конца не додумано, какими путями проникает зараза в кровь и мозг человека — независимо от того, кто он, где родился, на каком языке баюкала его в детстве мать.

15

Мы бежали втроем, за пять километров от Кременчугского шталага. Вот как это произошло.

Ездовыми на фурах, двигавшихся позади колонны, были полупленные, полунемцы, теперь они назывались фольксдойчами. В Градижском пересыльном лагере их отпустили.

Колонну пригнали в Градижск поздним вечером. Было холодно, начинался дождь. Мы с Андреем и Захаром забрались в темноте под распряженные фуры и слышали, как фольксдойчи, вернувшиеся из лагерной комендатуры, радовались, что их наконец отпускают. Их отпускали именно здесь потому, что впереди был Кременчугский шталаг, то есть не пересыльный, а стационарный лагерь, там всех брали на строгий учет, для освобождения потребовались бы всякие формальности, а это долго.

Так говорили между собой в темноте фольксдойчи, пересыпая русские слова немецкими. Наевшись хлеба с салом и луком, они взяли свои мешки и ушли. А мы уснули под фурами, скрючившись на сырой земле.

Перед рассветом появились заспанные конвоиры. Посвечивая фонариками, они стали звать нараспев:

— Ка-арл!.. Гайнрих!.. Петер! — Видно, они не знали, что фольксдойчи отпущены.

— Запрягать умеете? — спросил шепотом Андрей.

Захар ответил, что ездил в основном на дрезине. Я тоже никогда не запрягал, но теперь надо было.

Мы вылезли из-под фур и молча принялись запрягать. Немцы посветили нам в лица фонариками, посоветовались, рывкнули: «Шнеллер!» — и ушли. Надо же было кому-нибудь везти их барахло.

Во дворе поднялся крик, колонну выгоняли. Андрей запряг быстро и помог нам с Захаром управиться с кучей ремней и железок. Мы взобрались на фуры и выехали вслед за колонной.

Теперь впервые можно было увидеть, что осталось от десяти тысяч сидевших на земле в Ковалях. Измученные, обросшие, грязные, в пилотках с опущенными на уши клапанами шли те, кто выдержал, вынес невыносимое. «Естественный отбор» свершился, слабые остались лежать на дорогах, отстающих теперь было меньше, но к полудню все же они появились, и мы видели, как их подгоняют плетками и прикладами.

Замыкающие конвоиры не обращали на нас внимания; они, видно, привыкли к тому, что на фурах сидят фольксдойчи. И все же бежать было бы куда труднее, а может, и невозможно, если бы не самолеты.

Это были истребители И-16 («ишачки», «курносые»). Они появились внезапно и прошли высоко над дорогой. Никогда я не глядел в небо с большей радостью и надеждой. «Курносые» (их было два) сделали круг, снизились и снова прошли над колонной. Они покачали крыльями — **значит, поняли, кто мы.**

Конвоиры всполошились. Замыкающие поскакали вперед, к голове колонны. «Курносые» заложили еще один круг и с ревом пронеслись над **нашими головами.**

Пришло время действовать. Я увидел, как Андрей (он ехал первым) помог одному отстающему влезть в фуру и дал ему вожжи. То же самое сделал Захар. Третий влез на мою фуру. Это был обросший клочковатой бородой человек с гаснущим взглядом, серой кожей и дыханием коротким, как у рыбы, выброшенной из воды.

— Ты куда? — еле слышно спросил он, когда я стал слезать.

Объясняться было некогда. «Курносые» разворачивались на новый заход. Я очень медленно пошел к заросшей кустами обочине, расстегивая штаны, как это делали фольксдойчи, когда им надо было справиться по дороге нужду. Захар и Андрей были уже там. «Курносые» пронеслись на бредущем, впереди поднялась пальба. Как видно, конвоиры пришли в себя и поняли наконец, что ни бомбить, ни обстреливать самолеты не будут.

Мы сидели на корточках, покуда дорога не опустела. Ни с чем не могу сравнить чувство, которое испытал, когда стало тихо. Все переменилось — воздух, небо, земля, — все стало другим.

16

Поднявшись, мы увидели баб, они прятались неподалеку за кустами, наблюдая происходящее.

Бабы нюхом чуяли, когда будут гнать пленных, и непременно оказывались где-нибудь у дороги если не с сухарями, хлебом или водой, то просто так, в безотчетной надежде увидеть своего мужика или облегчить душу слезами.

Бабы отвели нас в надднепровское сельцо, там нам согрели воды, дали умыться, обрить бороды, переодели во все чистое и накормили. Захар и тут проявил мудрость:

— Не нажимайте, с непривычки загнуться можно.

Но я не в силах был внять совету, съел миску густого борща с хлебом; ночью меня корчило, было так, будто пищевод взяли горячими клещами и тянут, выворачивают наружу, и все же было хорошо лежать на соломе в чистом белье, укрывшись рядниной. Белье было суровое, крестьянское; хозяйка хмурилась, доставая его из скрыни — деревянного сундука с фотографиями на внутренней стороне крышки. Утром нам дали на дорогу хлеба с салом, и мы пошли на восток.

Мы решили держаться в стороне от сквозных дорог; ночевали в глухих селах, выбирая самые бедные с виду хаты. В самой бедной не откажут ни в ночлеге, ни в куске хлеба — это мы узнали скоро. В одной зажиточной нас заставили накопать три мешка картошки, прежде чем налить по тарелке борща, из иных попросту выставляли:

— Идите с богом, а то еще с вами лиха не оберешься.

Никогда не забуду чисто побеленной хаты, где на печи лежала румяная молодка; она шелкала семечки, улыбнулась:

— Нет ничего...

Поближе к линии фронта мы уговорились двигаться только ночами, а днем спать где-нибудь в лесу или в поле. Где именно проходит линия фронта, мы не знали и узнать пока не могли, у нас был один ориентир — **восток.**

Но планы планами — двадцать четыре дня перегонов и лагерей давали себя знать, идти становилось все труднее. К тому же у меня началось что-то вроде дизентерии, я слабел с каждым днем.

Я чувствовал, как меня медленно покидают силы, ходок я стал никудышный, ложился на землю через каждые три-четыре километра и в конце концов сказал то, что обязан был сказать. Я сказал ребятам, чтобы они оставили меня и шли дальше сами. Такие ситуации мне очень нравились в детстве, когда читал Джека Лондона.

— Ты что, чокнутый? — ответил на это Захар.

Андрей молчал. Он был, видно, вообще неразговорчив, а теперь с каждым днем становился все молчаливее. Шрам, оставшийся от удара плеткой, стянул ему щеку, от этого угол рта приподнялся; в профиль казалось, что он усмехается, эта постоянная усмешка никак не вязалась с выражением его глаз.

Покусывая соломинку, он смотрел на меня страшноватым застывшим взглядом. Возможно, он считал, что я прав, предлагая им уйти, но ничем не выказал этого.

Не знаю, всегда ли он был таким скрытным. На привалах он лежал, закинув руки под голову, и глядел в небо. Ни разу не пожаловался на холод, голод или усталость, да и вообще никак не выражал свои чувства. Однажды в лесу он стал вырезать себе палку, вынудив из-за голенища складной нож, и вдруг с размаху ударил, загнал лезвие в ствол дерева и смотрел не мигая, как нож дрожит, будто вонзившаяся с лету стрела.

— Ты что это? — удивленно спросил Захар.

Андрей молча выдернул нож, защелкнул его и спрятал за голенище. Мы и не знали раньше, что у него был этот нож.

17

Среди разных вариантов перехода прифронтовой полосы у Захара был такой: занять корову (а лучше две-три) и гнать перед собой хвостинкой или вести за веревку. Если напорешься на немцев, почти наверняка не станут спрашивать документы. Главное — спокойно похлестывать корову и идти медленно, будто гонишь с пастьбы.

Насчет того, где взять корову, Захар определенного мнения не имел, он говорил, что в конце концов можно и без коровы обойтись, идти с удочкой и кошелкой, вроде бы с рыбалки или на рыбалку, важно поскорее добраться до прифронтовой зоны. Он твердо верил, что наши дальше не отступили, этого не может быть, и что идти надо примерно на Изюм, Красноград или Лозовую.

На немцев, однако, мы напоролись гораздо раньше. Мы подходили к селу Броварки, Градижского района, когда за поворотом увидели прямо перед собой большой крытый грузовик. Он стоял на дороге, а немцы — их было трое — гонялись по полю за отчаянно блеющей овцой.

— Идите спокойно, — пробормотал Захар.

Ничего другого и не оставалось. Из машины доносилось бляенье и визг: овца, видно, выпрыгнула на ходу, ловить ее помогали двое девчат и мальчонка лет десяти—двенадцати. Тут Захара осенило, он ринулся в поле, растопырив руки. Мы с Андреем тоже включились в ловлю. Поймав овцу, немцы вдвоем потащили ее за ноги к машине, третий стал закуривать. Закурив, он задумчиво посмотрел на нас и спросил:

— Аусвайс?

— Это наши, наши! — громко, как глухому, стали говорить девчата, показывая то на нас, то на виднеющееся село. — Наши хлопцы, понял?

Немец снова задумчиво посмотрел на нас, погрозил пальцем и пошел к машине. Там и без нас полно было всякой живности.

Захар и Андрей стояли пепельно-бледные. Вероятно, и я был не румяней. Когда машина скрылась из виду, я сел на землю, затем лег, все поплыло перед глазами.

Я болел больше трех недель, в бреду мне чудилось, что немцы ловят меня, как овцу, а девчата кричат: «Это наш, наш!» Когда я поднялся, земля была уже скована морозом, летали белые мухи, все дышало надвигающейся зимой. В полях свистел колючий ветер, стоял ноябрь сорок первого года, было ясно, что мы застряли. Зимой далеко не уйдешь, под скирдой или в лесу не заночуешь.

Я говорю «мы», потому что Захар и Андрей не ушли из Броварок, пока я болел; их взяли к себе девчата, кричавшие «это наши», а меня отходила, отпоила молоком с горячей водой тетка Ивга, мать паренька, помогавшего ловить овцу. Его имя было Василь.

Старший сын тетки Ивги ушел на войну, кроме десятилетнего Василя, дома оставалась еще пятнадцатилетняя Наталка. Жили они в прадедовской вросшей в землю хате на краю села за бургистым погостом с покосившимися крестами.

Это были очень хорошие люди. Тетка Ивга овдовела в тридцать третьем году, до войны работала свинаркой в колхозе. Она прятала за печью диплом московской Сельскохозяйственной выставки, показала мне его при подходящем случае и снова спрятала, обмотав тряпицей. Теперь колхозный свинарник был пуст, хоть колхоз и продолжал существовать.

Не знаю, понятно ли было немцам, что делать с колхозами. Возможно, они не распускали их, рассчитывая, что так будет легче выкачивать хлеб, по крайней мере первое время. А может быть, чувствовали, что распустить колхозы не так просто. Очень уж мало оставалось на деревне таких, кто с охотой взял бы землю в личную собственность.

Правда, откуда-то всплыли обиженные. В Броварках появилось несколько бывших куркулей. Хмурые, молчаливые, они ходили, присматривались. Один потребовал вернуть свою хату и глядел молча, как оттуда выметалась солдатка с тремя детьми. В хате другого до войны были ясли, теперь она стояла заколоченная. Владелец, десять лет отсутствовавший, обошел вокруг, потрогал суковатой палкой стены, заглянул в окна и уехал.

Но и те, что остались, вряд ли захотели бы взять землю. Это были тертые калачи, они знали, почем фунт лиха,— прошедшие годы кое-чему научили их.

По утрам в колхозном дворе собирались «на наряд» бабы и девчата. Мужской пол был представлен двумя-тремя стариками и сельским дурачком по имени Грицько, глухонемым, добрым и выносливым, как лошадь.

За председателя колхозом теперь правил Карпо, бывший кладовщик, краснолицый, с одышкой и многоэтажным затылком. С утра от него разило самогоном, он помыкал бабами как мог, а со временем стал помыкать и нами.

Кроме Захара, Андрея и меня, в Броварках появилось еще несколько беглых. Карпо гонял нас, как соленых зайцев. В полях стояли необмолоченные скирды, шелестела сухими стеблями кукуруза, чернел подсолнук; надо было до больших морозов управиться с невыкопанной картошкой и свеклой, с коноплей, скосить камыш в болотистой пойме речушки — словом, работы хватало. Почти все беглые были городские, мы не умели держать косу, скирдовать обмолоченную солому, орудовать вилами, погонять волов, покрикивая «цоб-цабе». Бабы и девчата посмеивались над нами, один Андрей был на высоте. Он делал все быстро,

умело и молча. В хате, где он жил, к нему относились как к хозяину. Баба Христя дала ему пиджак, мужнину стеганку и шапку-ушанку, а черноглазая Катря, кричавшая «это наши», стала поглядывать недовольно на других девчат, когда они тормошили Андрея, чтобы погреться студеным утром до начала работы.

Так прошел ноябрь. В начале декабря тетка Ивга выпросила у Карпа волов, надо было привезти соломы на топливо.

18

Чем только не топят в безлесных районах! Чтобы согреть на день еду и обогреть остывшую хату, тетка Ивга вставала затемно и час-другой стояла согнувшись у печи, совала туда пучок за пучком солому, камыш, сухие стебли подсолнуха или картофельную ботву.

Смолоду тетка Ивга была, видно, красива, но только и осталось от красоты, что карие улыбчивые глаза и белые, как молоко, некрупные ровные зубы. Коричневое лицо было исчерчено светлыми в глубине морщинами, пальцы рук скрючены ревматизмом, с припухшими суставами, короткими ногтями и навечно вьезшейся в трещины землей. Лет ей было по городским понятиям немного — сорок с небольшим; глядя на руки пятнадцатилетней Наталки, я думал, что вот и у нее они вскоре станут такими, как у тетки Ивги.

Я старался помогать тетке Ивге, чем мог. Взяв пару волов у Карпа, я отправился под вечер за соломой. Волы шли по-чумацки неторопливо; я шагал слева, постегивая батошкой и покрикивая, когда надо, «цоб» или «цабе». Земля жила своей жизнью, отдельной от всего, что происходило теперь с людьми. В чистом воздухе ранней зимы пахло яблоками, серебрились прихваченные морозом поля. Обмолоченные и необмолоченные скирды смутно темнели вдали у «бригады» — большой хаты, где во время посевной и уборочной ночевали трактористы, комбайнеры и колхозники. Взошла луна, волы переступали медленно, разболтанная телега погромыхивала по мерзлым комьям. Тут я и увидел листовку.

Должно быть, где-нибудь поблизости пролетали ночью наши; листовка лежала на стерне целехонькая — прямоугольник зеленоватой бумаги, текст начинался словами: «Дорогие братья и сестры!» Там сообщалось о битве под Москвой, приводились потери немцев, а в конце были призывы развивать партизанское движение в тылу противника, взрывать мосты и линии железных дорог, жечь хлеб и уничтожать запасы продовольствия. «Смерть немецким оккупантам!»

У меня колотилось сердце, когда я читал это при свете луны, шагая рядом с волами. Все окружающее вокруг сделалось призрачным и постыдно нелепым. Где-то там наши дерутся, гибнут, а я вот покрикиваю «цоб-цабе», сейчас возьму вилы и высоко нагрую воз соломой, вместо того чтобы поджечь к чертовой матери и солому и необмолоченные скирды.

Конечно, тетке Ивге будет худо без топлива и без хлеба, но может ли это идти в счет: людям перепадут крохи, остальное Карпо отвезет немцам, для них мы молотим, они будут жрать этот хлеб.

С такими мыслями я навалил на воз гору соломы, придавил сверху жердь, перевязал веревкой и отправился домой.

Наутро, перед нарядом, я отозвал Андрея и Захара, мы зашли за пустой свинарник, я показал им листовку. Прочитав ее, Захар сел на сваленные за свинарником довоенные бревна и заплакал. Он плакал как-то по-детски, стуча кулаком по колену и часто всхлипывая; Андрей смотрел на него своим застывшим взглядом.

— Это так пишется: «Дорогие братья и сестры», — сказал он, когда Захар притих. — А вот вернись ты сейчас, перейди фронт, тогда узнаешь...

— Брось ерунду пороть,— сказал Захар.— Кто не виноват, тому бояться нечего.

— Не боишься, значит?

— И думать об этом не хочу.

— А я вот думаю.

Пошел двадцать первый год со времени этого разговора, слова позабылись, но запомнился смысл, запомнились глаза Андрея, вдруг побелевшие. Его прорвало. Он говорил о том, как расстреливали в Ковалях, и о парнишке с тыквой, и о Карпе, гонящем нас в хвост и гриву задаром. Смысл во всем был один: нет правды, есть сила, вот и все. Кто силен, тот и сверху. И если говорить по-серьезному, а не пускать слюни, то нам будет худо и так и этак. Немцы не угробят, так от своих достанется.

С тем он и ушел.

— Припечатало парня,— проговорил Захар, поглядев ему вслед.

19

У тетки Ивги был старший брат Никифор, болезненного вида человек с впалыми щеками, куривший толстые самокрутки и постоянно кашлявший. Он жил на том же конце («кутке»), что и тетка Ивга, здесь у всех была одна фамилия — Малько. Куток так и назывался — Малькивка.

Я как-то пришел к нему — разжиться махорочными корешками. С куревом было плохо, курили всякую труху — грушевый лист, даже сено — лишь бы дым шел.

Однажды десятилетний Василь, заговорщицки подмигнув, выгреб из кармана две горсти нарубленного крупно табаку. Он сходил к Никифору еще раз-другой по моей просьбе, а на третий вернулся с пустым карманом.

— Дядько Никифор сказали, чтоб сами пришли.

Я пошел. Никифор дал мне корешков, научил, как рубить, затем налил граненый стакан самогону. В редкой хате не гнали тогда самогон, пили все, даже девчата приучились с войны пить.

Я выпил, самогон отдавал сивухой и свеклой.

— Закусывай,— сказал Никифор, подвинув миску с огурцами и солеными помидорами. Сам он утер губы ладонью, закурил и смотрел на меня сквозь дым внимательным взглядом.

Я съел огурец и собрался было уйти, но Никифор, видно, хотел сказать о чем-то, да не мог или не решился.

— Гуляй, гуляй,— сказал он,— куда торопишься...

«Гулять» — значит сидеть, гостевать, это я знал. Никифор налил еще самогону, поглядел на печь — оттуда свешивались головы пацана и русоволосой девчурки, — затем взял из-под скамьи патефон.

— Музыку уважаешь? — Не дожидаясь ответа, он завел патефон и поставил пластинку.

Кажется, это была единственная его пластинка, с одной стороны «Три танкиста», с другой — «Если завтра война».

Пока я слушал, он смотрел на меня испытующим взглядом сквозь махорочный дым. Затем закрыл патефон, водворил его под скамью, помолчал и тихо спросил:

— Коммунист?

Я знал, что огорчил бы его, сказав «нет». Дело ведь вовсе не в партбилете.

— Ну, так я и думал,— облегченно проговорил Никифор. — По глазам видно было, как слушал... А ну, давайте на двор! — обернулся он к печи. Ему надо было отвести душу, и кончилось это не раньше, чем опустела вторая бутылка.

Теперь я пришел к нему, чтобы показать листовку. Он перечитал ее дважды, шевеля губами. Свернул самокрутку, закашлялся.

— Насчет хлеба дело такое,— сказал он, помолчав.— Спать можно, да уйти некуда. Хорошо тем, кто к лесу поближе. А тут и старых и малых перебьют, вот тебе и весь разговор...

Наш разговор на этом не кончился. Никифор поставил на стол бутылку. Так уж, видно, устроено, без смазки не откроешь клапан до отказа, не выскажешь до конца, что лежит на сердце.

Что ж еще оставалось? Возвратясь, я восемь раз переписал печатными буквами листовку на чистых страничках Василевой школьной тетради и увидел на следующий день, как толсторожий Карпо, воровато оглянувшись, содрал тетрадный листок со стены коровника и спрятал в карман ватных штанов.

20

У Никифора были закопаны где-то за кладбищем винтовка, шесть штук гранат и немного патронов. Что делать со всем этим, он не знал. До войны он был председателем сельсовета, в армию не взяли по здоровью, эвакуироваться не успел. Ему следовало бы уйти куда-нибудь из Броварок, а уйти было некуда.

Его расстреляли весной сорок второго года, когда «зондеркоманды» эсэсовской «группы А» проводили на Украине большую чистку. Об этом я узнал в декабре сорок третьего, случайно встретив на фронте человека по фамилии Малько. Я спросил, не из Броварок ли он родом, оказалось — да, и более того, это был родной брат Никифора и тетки Ивги, ветеринарный фельдшер, служивший в армейском ветлазарете.

Может быть, Никифор предчувствовал и даже знал твердо, что его ждет, но ничего не мог поделать, как и все мы, ожидавшие тепла, чтобы двинуться на восток.

Но дожидаться весны в Броварках нам не пришлось. Двадцать восьмого декабря нас, как выразился Захар, «загребли» и отправили под конвоем в Градижск.

Рано или поздно это должно было случиться. То ли прежде руки у немцев не доходили до глухих сел, то ли они смотрели сквозь пальцы, как мы домолачиваем ячмень и пшеницу,— сказать трудно. Так или иначе, с неотложными работами было почти закончено, когда Карпо велел всем нам явиться с утра в контору, вроде бы за расчетом по трудоводням.

В конторе у Карпа висел прибитый гвоздочками к стене портрет Гитлера. Никогда я не испытывал такой внезапной тяжелой ненависти к куску бумаги, покрытому красками. Это было цветное фото, вернее — фотолитография; впервые я видел Гитлера «в натуре», во всех подробностях его облика. Портрет был поколенный, он стоял в мундире горчичного цвета, упершись в бок бледной рукой с набрякшими венами. На рукаве у него была красная повязка с белым кругом и черной свастикой. Если бы отрезать голову, то одно туловище говорило бы достаточно. Но лицо, лицо...

Можно подолгу смотреть на то, что любишь, что милот тебе; никогда не думал, что трудно бывает оторваться и от того, что тебе ненавистно. Не знаю, долго ли я смотрел в это лицо испуганного убийцы, больше всего меня поразили глаза, безжалостные и в то же время, как мне показалось, полные страха; я невольно обернулся, чтобы посмотреть на Андрея. Но его почему-то не было. Все были здесь — и Захар, и двое неразлучных грузин, Канделадзе и Гулиашвили, и Олег Золотарев, и Ваня Спицын, шофер-москвич, и Сережа-сибирячок (его иначе не называли) — словом, все. Не было одного лишь Андрея.

Явился Карпо; от него, как всегда, разило сивухой, рожа с мороза красная, глаза юлят.

— Причина такая, хлопцы,— сказал он, позванивая ключами,— вызывают на регистрацию в Градижск. Так что придется ехать.

Побледневший Захар протолкался ко мне. Я спросил об Андрее, он пожал плечами. В окно мы увидели, как у конюшни запрягают, мостят сани соломой. Напустив холоду, в контору вошли трое нездешних с винтовками и желто-голубыми повязками на рукавах. Все было ясно.

21

Сорок первый год мы с женой встретили у друзей. Шли встречать по бесснежным улицам, возвращались — все вокруг было белым-бело, а на душе как-то смутно, нерадостно.

На встрече, как и на всех встречах, кричали: «С наступающим!» Пили за мир и счастье, за присутствующих и отсутствующих; в это время «план Барбаросса» был уже подписан, судьба присутствующих и отсутствующих во многом определена.

Все предвоенное как-то слилось в памяти с настроениями той новогодней ночи, с ее ненастоящим весельем и невысказанными предчувствиями. Что-то такое лежало тогда на сердце у каждого, во что не хотелось верить и от чего невозможно было уже избавиться, уйти, убежать.

Обо всем этом было время подумать, лежа на полу тюремной камеры в Градижске. Собственно, это была не камера, а школьный класс, но дело от этого не менялось. Можно любое место назвать тюрьмой, достаточно лишь отнять у человека свободу. Можно наконец превратить весь мир в тюрьму, где одни будут стеречь других, лупить плетками или расстреливать.

С такими примерно мыслями я встречал сорок второй год и свой день рождения. Судьба догадала меня родиться в ночь с тридцать первого декабря на первое января; обычно после второго или третьего новогоднего тоста кто-нибудь из близких друзей стучал вилкой по тарелке, тщетно добываясь тишины: «Товарищи, внимание, среди нас есть именинник!»

Теперь было достаточно тихо; каждый думал о своем, вспоминал свое, лежа на холодном полу в темноте. Окна были заколочены изнутри обшнурованными досками, в щели сочился слабый белесый свет. Как и в ту ночь, шел снег, снаружи все было белым-бело.

— Вот и стукнуло двадцать девять,— сказал я Захару.

Он пошевелился в темноте, нашел мою руку, положил на нее ладонь.

— Ничего, не тушуйся,— прошептал он.— Мы еще их переживем.

Он не мог знать, что ему оставалось жить ровно неделю.

Я много думал в ту ночь и вспоминал о многом, всего не перескажешь, да и не нужно. Скажу о главном.

В одном из пересыльных лагерей, не помню точно где, в Лубнах или в Семеновке, нам впервые позволили ночевать не под открытым небом, а в каких-то сараях, пустующих складах.

Но пустили нас туда не просто так, а выдержав дотемна под морозящим холодным дождем.

Когда конвоиры сняли загородку, открыв путь к сараям, люди ринулись из последних сил; каждый хотел лишь одного — захватить сухой клочок для ночлега. В узком проходе образовалась давка, упавших затаптывали насмерть, немцы кричали «Lo-os!», размахивая палками. А обезумевшая толпа напирала и напирала...

Вот что нужно было им — отнять человеческое. Вот почему они начали с открытого представления в Ковалях. Там стреляли в одних, чтобы убить душу в других.

Но я помнил еще одну ночь, когда не было ни сараев, ни навесов — ничего, только холод, мороз и ветер, а мы все ходили, ходили, стоять было не под силу, и вдруг молчащая под звездным небом многотысячная толпа стала сбиваться один к одному — плотнее, плотнее, — и наконец большой человеческий рой стал раскачиваться с неясным стоном: «А-а, о-а...» Время от времени наружный круг пропускали внутрь, там было тепло. Там было очень тепло. Спустя много лет я узнал, что так спасаются от замерзания пчелы.

Обе эти ночи я вспоминал, лежа на полу школьного класса, превращенного в тюремную камеру. Я думал о себе, о Захаре, обо всех, кто лежал вместе с нами на холодном полу в темноте, о чувстве вины, отверженности и страха, куда более жестоком и опасном, чем все другое, что постигло нас.

И об Андрее...

Его с нами не было. Он так и не явился в контору. Сережка-сибирячок утверждал, что Андрей накануне ушел куда-то из Броварок вместе с Катрей. Он видел, как они шли по дороге на хутор Вишенки, на Андрее были хозяйские валенки, а на Катре праздничный кашемировый платок. Возможно, они пошли в гости к какой-нибудь Катриной подружке, так надо было думать.

Андрей с Катрей жили как муж с женой — это было известно. Никто тогда не судил строго баб-солдаток и даже девчат — «все равно война»... Так оно было, и не о том речь. Но вот закавыка: Катря была племянницей Карпа, а тот наверняка знал, что нас загребут. Неужели же и Андрей знал?

22

Немцы превратили в тюрьму двухэтажное здание школы-десятилетки, заколовив досками выбитые окна и обнеся двор колючей проволокой.

Среди изобретений и усовершенствований двадцатого века надлежащее место займет столб с короткой перекладиной наверху, поднятой, как у открытого семафора. Именно такими столбами был обнесен школьный двор, чтобы через колючую проволоку никак невозможно было перебраться, перелезть — ни в ту, ни в другую сторону.

За проволокой, снаружи, ходили по снегу часовые. Вот и все, что-можно было разглядеть в щели между обиндевелыми досками.

В камерах-классах полно было людей, сюда сгребли беглых со всего района. Что будет дальше, никто не знал, покуда конопатый повар не сообщил, что всех нас отправят в лагерь, в Германию.

Довольно занятная скотина был этот повар. Ежедневно он приносил нам баланду. Поставив на пол ведро с черпаком и горку грязных алюминиевых мисок, он закуривал немецкую сигарету. Возможно, ему было приятно сознавать, что вот он стоит сытый и курит немецкую сигарету, а кое-кому в настоящее время приходится ох как худо. Вместе с тем, наверное, что-то скребло его нечистую душу. — иначе зачем бы он стал нам рассказывать о Германии? Он хотел нас утешить. «Там, говорят, ничего, прожить можно, на работы из лагерей берут, кушать дают прилично...»

Он даже сказал («Только вы, хлопцы, молчок, меня не подведите!»), что ждать осталось недолго, сразу же после рождества и отправят. Сказал он это пятого января, до рождества оставалось два дня.

23

Шестого числа с утра мы с Захаром попросились вынести парашу. Прodef палку под дужку вонючего бачка, мы прошли по школьному коридору, спустились вниз и пошли к дощатой уборной, стоявшей в дальнем конце двора.

Там обмотанный шарфом конвоир остановился; притоптывая ногами по снегу, мы вошли внутрь, опорожнили бачок и вернулись тем же путем, стараясь идти помедленнее, чтобы успеть заметить все, что необходимо было заметить.

Вскоре после нашего возвращения в камеру явился офицер с переводчиком. Офицер (он был в фуражке и черных наушниках, непривычка к холоду написана на бескровном лице с фиолетовым носом) проговорил по-немецки, а переводчик перевел, что немецкие войска впредь не намерены терпеть побег пленных и что отныне за бежавших будут отвечать оставшиеся. Ясно?

Как видно, повар не соврал, нас действительно собрались отправлять. Мы с Захаром посмотрели друг на друга.

В сущности, человеческая жизнь с ее начала и до конца есть непрерывная цепь решений, больших и малых, важных и несущественных, верных или неверных.

Я сказал:

— Ребята, мы с Захаром решили бежать.

Прошло несколько долгих, очень долгих минут, пока из дальнего угла не послышалось:

— А мы как же?

Это сказал заросший рыжеватой щетиной незнакомый парень в стеганке и драной ушанке. Поднявшись, он обвел всех недоумевающим взглядом.

— А мы как же? — повторил он.

Вопрос был обращен ко всем, все молчали. Прошло еще несколько долгих минут, прозвучал еще вопрос, теперь уже обращенный ко мне и к Захару:

— За вас, значит, отвечать. Считаете, это правильно?

Было ли это правильно? Было ли справедливо? Человек волен рисковать своей жизнью; оставляя себе самую малую надежду, он может сделать выбор между рабством и смертью, но вправе ли он поставить под угрозу судьбу своего товарища — даже так, ради такого выбора, ради свободы, ради борьбы?

Я рассказываю, как было, каждый может теперь ответить на этот вопрос по-своему. А тогда за всех ответил Роман Канделадзе.

Высокий, статный, изъеденный вшами, с обросшим смоляной бородой бескровным и все еще красивым лицом, он поднялся и сказал:

— Сандро, ляжешь у двери.

Сандро Гулиашвили, густобровый, с низким лбом и перебитым носом, молча встал и пошел, переступая через сидящих.

— Будет тихо, — пообещал Канделадзе. — А если кто-нибудь, понимаешь, пикнет, вот этими руками... — Он выбросил вперед ладони. — Дальше говорить не буду.

И сел.

План был такой: вечером расшатать две доски в окне, ночью спуститься вниз, пробежать через двор к уборной, пролезть там под проволокой наружу.

Успех — если не брать в расчет случайности — зависел прежде всего от соблюдения ритма, и вот почему.

Как мы установили, наружные часовые (их было двое) ходили вокруг двора за проволокой, встречаясь то около уборной, то где-то за школой, у ее фасада. (Если условно представить охраняемую территорию в виде круга, то каждый из них описывал пол-окружности — взад и вперед.)

Когда они уходили за здание школы, чтобы встретиться у фасада, двор на короткое время оставался вне поля их зрения; время это составляло тридцать—тридцать пять секунд. Расчет строился на том, чтобы прежде всего использовать эти секунды для спуска вниз. Спустившись, следовало лежать в снегу, пока часовые не завершат полный цикл, то есть появятся, встретятся за уборной, разойдутся и снова исчезнут за домом. Следующие тридцать секунд — перебежать двор, войти в уборную. И еще один цикл, еще тридцать секунд — выйти из уборной, пролезть под проволокой наружу.

Остаток дня мы с Захаром поочередно провели у окна, наблюдая в щель между досками, как ходят часовые. Их наверняка сменяли время от времени, но трудно было отличить одних от других; все они были одеты обмотаны шарфами, клапаны пилоток спущены, на сапогах соломенные калоши, руки упрятаны в рукава; если бы не автоматы, висящие на груди, они точь-в-точь смахивали бы на пленных.

Весь день, слава богу, сыпал снег, щедрый снег той зимы, а к вечеру запуржило, начиналась метель; ночь обещала быть настоящей ночью под рождество. Мы продолжали смотреть поочередно в щель, пока хоть что-нибудь было видно, и все считали, отсчитывали про себя. Надо было запомнить ритм, как запоминает свою партию барабанщик в оркестре; другие ведут мелодию, а ты ждешь, пока придет время ударить — точно, ни долей секунды раньше или позднее.

И теперь еще сегодня, прикрыв глаза, я могу безошибочно отсчитать: вот они идут... встретились за уборной, постояли там, что-то сказали один другому, может быть, обругали войну, Россию, чертов холод или вахмистра, погнавшего ночью в наряд... разошлись, возвращаются... исчезли с глаз. Давай!..

Десятки раз я повторил про себя это самое «давай!», глядя в щель; но решающие секунды были пока далеки. Как только стемнело, мы принялись осторожно расшатывать доски. Надо было еще сообразить, как — на чем — спуститься.

Школу строили по хорошим нормам, высота классов была метра три с четвертью, а то и с половиной; если прибавить цоколь и перекрытия, получалось от подоконника второго этажа до земли около пяти метров. Мы хотели изорвать свои нательные рубахи и связать полосы, так делалось во всех любимых книжках, очень далеких теперь. Но Сережка-сибирячок внес поправку.

Это был паренек небольшого роста, круглоголовый, коротконосый, с голубыми глазами в светлых ресницах, на вид не дашь больше семнадцати—восемнадцати; он имел привычку ковырять ногтем мозоли на ладонях. (В 1947 году я читал «В окопах Сталинграда», там есть молодой солдат, ковыряющий ногтем ладонь; екнуло сердце — Сережка...)

Кажется, он занимался излюбленным делом, когда мы с Захаром порешили насчет рубах, — и вдруг сказал, по-сибирски нажимая на «о»: — Обмотки понадежнее будут.

И стал разматывать свои солдатские обмотки.

Ночью никто не спал. Сандро лежал у двери. За окнами свистела метель. Все было готово. Мы даже побрились.

Сколько раз, поругивая затупившуюся бритву, я вспоминал то бритье — на ощупь, осколком бутылки. Если нет мыла, хорошо до бесчувствия натереть лицо куском льда; очень важно выбрать осколок подходящей кривизны, с достаточно острым и не зазубренным изломом.

Лед отломил с оледеневшего подоконника, осколки выбрал Роман

Канделадзе (у него была бутылка). Он и надоумил нас сбрить арестантские бороды, а Захарова бритва осталась в Броварках.

Теперь Канделадзе молча стоял у окна, слабый свет из щелей полосами делил его лицо. Девчата в Броварках (и, наверное, всюду) любили его, и он не обделял их любовью. Он был веселый, неунывающий, белозубый.

Каждому, видно, свой решающий час. Теперь пришло время Романа, настала его минута...

Когда и как стал человеком наш предок, пращур, прачеловек? В тот ли день, когда поднялся с четверенек на ноги? Когда произнес первое слово? Когда смастерил первый топор? А может быть, лишь тогда, когда впервые забыл о себе, чтобы помочь другому?

Я осторожно оттянул на себя расшатанные доски — одну и другую, развел их в стороны. Канделадзе взял связанные Сережкины обмотки, обернул концом вокруг кисти правой руки, другой конец опустил наружу, выглянул.

— Кто первый? — тихо спросил он через плечо.

Этого я не уступил бы никому, даже Захару. Так нужно было, это было необходимо, иначе я не мог. Я молча влез на подоконник, повернулся на корточках — спиной наружу. В темноте камеры смутно белели лица; думать о том, что было за спиной, я не хотел. С необъяснимым спокойствием я ждал сигнала. Захар глядел в щель.

— Давай! — тихо выдохнул он.

Держась за скользкий край подоконника, я спустил ноги; ладони резко обожгло Сережкиными обмотками, я упал в снег. Он показался мне теплым.

Я мог бы и не следить, когда появятся из-за дома часовые; они появились вовремя и вовремя исчезли. Я поднялся, пробежал к уборной, вошел внутрь. Все шло как надо, страха не было. Но это было совсем нето отсутствие страха, что тогда, в Ковалях, там страх остался за перейденной чертой вместе с жизнью. Теперь за чертой остался только страх — кажется, навсегда.

Я слышал, как часовые встретились за уборной, один кашлянул, пробубнил что-то сквозь шарф, другой ответил, вот они разошлись... уходят... скрылись...

Пролезть под проволокой надо было в том месте, которое мы наметили утром. Там, под снегом, была в земле впадина, но недостаточно глубокая: я почувствовал, как цепляюсь спиной, рванулся сильно (клок стеганки остался на проволоке) и пробежал туда, где улица за пустырем круто спускалась к реке. Так мы условились с Захаром.

Я просчитал ударами сердца весь его путь, все три этапа. Он вынырнул из темноты, облепленный снегом, отдышался, сказал:

— Видел, как ты зацепился. Ну-ну!

Мы быстро пошли вниз по улице.

— Только не бежать! — сказал Захар. Навстречу несло снежные вихри, была самая что ни на есть ночь под рождество.

Конопатый повар гулял, видно, с вечера, пил где-то ради праздника. Мы столкнулись с ним нос к носу в самом низу улицы. Он не вязал лыка и, может быть, даже не узнал нас, а просто так, спяна, промычал:

— А в-вы куда?

Я двинул его в ответ, он повалился. Он мог ведь и заорать спяна, рассуждать было некогда. Мы сняли с него ремень, связали руки и запихнули полрукавицы в рот. Все было сделано очень быстро; Захар добавил ему раз-другой по башке и сильно пнул ногой.

— Ладно, оставь,— сказал я.

— Ненавижу! — сказал Захар.— На всю жизнь ненавижу!..— Его трясло от возбуждения, впервые он был такой.

За улицей слева начинались плавни с черными промоинами и торчащей из-под снега щеткой камыша, справа была дорога на Броварки.

Мы решили вернуться туда, иначе не получалось; надо было отогреться, отлежаться хоть немного, обобрат с себя вшей, взять хлеба — словом, собраться в путь.

Уже рассветало, когда мы благополучно добрались до Броварок. Метель утихла; кое-где в синеве желто светились окна, над снежными шапками крыш поднимались столбики дыма.

Теперь надо было условиться поточнее. Я решил постучаться не к тетке Ивге, а к Никифору и звал Захара с собой; он задумался.

— Нет,— сказал он,— пойду туда..

«Туда» — значило к Гале, к той дивчине, что кричала вместе с Катрей: «Это наши!» Я понимал, что обсуждения тут ни к чему. Я только сказал:

— Смотри, поосторожнее.

— Ладно, не беспокойся,— улыбнулся Захар.

Мы условились встретиться через сутки в это же время, перед рассветом, на «бригаде» — в той большой пустующей хате, что стояла в поле вблизи дороги, ведущей на восток.

27

Я постучался в заснеженное окно, Никифор впустил меня. Тетка Настя, его жена, стояла у печи, дети еще спали. Никифор полез босыми ногами в сапоги, свернул дрожащими пальцами самокрутку. В хате, мне показалось, было очень тепло, но он накинул поверх рубахи замусоленный полушубок. Тетка Настя молча налила воды в большой чугунок, задвинула ухватом в печь, достала оттуда чугунок с борщом.

— Ешь.— Она поставила передо мной полную миску.— Сейчас балабушки будут.

Балабушками тут назывались пшеничные булочки, их пекли по воскресеньям и в праздники; тесто клали пластом на противень, нарезали ножом на квадраты, смазывали яйцом и задвигали в печь. Когда тетка Ивга впервые отломил рядок пухлых дымящихся балабушек и налила кружку не разбавленного горячей водой холодного молока, мне показалось, что никогда ничего более вкусного я не ел. И еще мне казалось, что никогда не наемся.

После болезни я часто просыпался ночью, лежал подолгу, слушая, как посапывают на печи тетка Ивга, Василь и Наталка, и в конце концов не выдерживал. Спустив ноги, осторожно пробирался к шкафчику, отламывал на ощупь кусок хлеба, возвращался на цыпочках по холодному полу и жевал, с головой накрывшись домотканой рядинной.

Теперь из печи вкусно пахло балабушками, тетка Настя поставила на стол тарелку куриного студня — как-никак, рождество,— но я наваливаться с голодухи не стал, с меня довольно было дизентерии. Я выпил кипятку с молоком, съел кусок хлеба, закурил. Все шло как надо, все было хорошо.

Выслушав мой рассказ, Никифор подумал и решил, что он, тетка Настя и дети уйдут на весь день, так будет надежнее. Снаружи повесят замок, вроде ушли гостевать — праздник ведь. А я вымоюсь, переоденусь и на печь — отогревать кости.

Так и было сделано. Никифор насыпал на угол стола горку махорки, тетка Настя сказала:

— Ты все-таки ешь, а то когда еще придется.

Дети молча оделись.

Только забравшись на горячую печь и растянувшись там в Никифоровом чистом белье, я вспомнил, что так и не спросил об Андрее.

28

Поздно вечером негромко лязгнул открываемый замок, скрипнула дверь, вошли тетка Ивга с Василем и Наталкой. Я взял из печи уголек, зажег коптилку, поставил на пол, чтоб не светило в окна.

Тетка Ивга пришла проститься. Она принесла латаные-перелатанные сапоги (мои совсем развалились), самодельные рукавицы, буханку пшеничного хлеба и кусок сала, надрезанный накрест. Она принесла еще «сидор» — холщовый мешок, стянутый у горловины завязкой, с двумя веревочными ляжками. Василь молча вынул из кармана и положил на стол «катушу». Так назывался прибор для добывания огня, он состоял из трех частей: кремня, стального «кресала» и протетого в трубочку нитяного фитиля с гимнастерочной красноармейской пуговицей на конце.

Не помню, о чем мы тогда говорили, да это и несущественно; слова не выражали того, о чем думалось при колеблющемся свете стоявшей на полу коптилки. Кажется, мы больше молчали, пока не пришли Никифор с детьми и теткой Настей.

Никифор был как-то очень, чересчур как-то оживлен. Он поставил на стол бутылку самогону, налил понемногу в граненые стаканы; мы выпили — «чтоб не последнюю»... На прощанье я прижался к мягкой щеке тетки Ивги, обнял Василя и молчаливую, застенчивую Наталку.

Когда они ушли, Никифор помрачнел. Он разлил остаток самогона, мы молча чокнулись. Дети разулись, полезли на печь. Тетка Настя вышла в сени за чем-то. Никифор закурил, подул на огонек самокрутки, бумага вспыхнула синим спиртовым пламенем. Помолчав, он сказал:

— Захара твоего убили.

29

Из того, что смог рассказать Никифор, вырисовалась такая картина. Захар узнал от Галины, что Андрей вернулся в Броварки после того, как нас загребли, жил здесь, даже пил накануне с Карпом. Узнав это, Захар сказал, что пойдет к Андрею, надо поговорить. Галя удерживала его, но безуспешно. Он ушел, а потом прибежала Катря, простоволосая, вся в слезах. Она кричала, что во всем виноват Захар, он назвал Андрея фашистом, а тот был выпивши, сам себя не помнил.

Видно, он убил его тем ножом.

— Три раза ударил, — сказал Никифор. Вот и все.

— Откопать винтовку можете? — спросил я. Никифор молча покачал головой. Он отказался сделать это, сколько я ни просил.

— Свою найди, — сказал он под конец.

30

Мы вышли затемно. Где-то на краю кутка надрывно выла собака. Задувал предрассветный ветер, срывая с сугробов колючую пыль. Никифор вывел меня задами и прошел со мной до «бригады». Окна в большой неприютной хате были выбиты, ветер шевелил солому на полу. На пыльной стене висел обрывок довоенного плаката. Никифор свернул самокрутку. Я поднял пук соломы, поджег, сунул в печь, оттуда жарко дохнуло в лицо.

Солома горела, гудя и потрескивая, по стенам метались тени, а я все совал пучок за пучком, будто мог впитать, сохранить, унести с собой жарко потрескивающее тепло.

Пора была уходить. Мы простились, и я пошел, не оглядываясь, по глубокому снегу — туда, где едва заметно светлело небо.

* * *

С течением времени все неувереннее произносишь «успеется». Я слишком долго откладывал этот рассказ — по разным причинам.

Я знал, что и теперь не смогу начать, не побывав в Ковалях, где все началось. Началось, но не кончилось.

Возвращаясь оттуда, мы заночевали на полянке у дороги. Голубой «москвич» моего друга стоял под деревом. Мы наломали сучьев, развели костер, достали из багажника еду, поллитровку. Все шло как надо, по всем правилам и законам вымечтанных поездок. Все было хорошо: и вечернее майское небо, и воздух мирных полей, и потрескивание костра, и запах дыма, и разговор допоздна, до глубокой ночи.

А потом я лежал в игрушечной одноместной палатке, и курил, и слушал, как мой друг кашляет и ворочается (он спал в машине). По дороге изредка проносились рейсовые автобусы на Сумы и Харьков, земля чуть дрожала, крыша палатки над головой насквозь просвечивалась и угасала. И все это сегодняшнее — огромные автобусы, пронзающие фарами темноту, и отличная новая дорога, и распаханное поле вокруг, и голубой «москвич», и друг, с которым подружились после войны, — все казалось далеким, как бы несуществующим, нереальным. Близким было в ту ночь другое.

Не спалось. Я выбрался из палатки. Стало холодно; в сумраке слабо тлели остатки костра. Я подложил сучьев, они разгорелись, шипя и потрескивая.

Почему предвоенное кажется далеко отошедшим, навсегда минувшим, а все, что было в войну, — вот оно, протяни только руку? Может быть, потому, что живы не только воспоминания?

Что случилось с Романом? Со всеми, кто лежал на мерзлом полу школьного класса в Градижске? Кто сидел на плотно убитой земле в Ковалях, глядя туда сквозь невидимую стену, вдруг и надолго переделившую мир?

Где теперь офицер с лицом терпеливого охотника? Солдат в золотых очках? Андрей?

Я глядел в жарко потрескивающее пламя костра, вспоминая другое тепло и холод других ночей, и единственное желание, с которым шагал тогда на восток по глубокому снегу: мне нужна была винтовка.



ВИКТОР КИН

★

ЛИЛЛЬ

Из неоконченного романа о первой мировой войне

Четырнадцатого января 1963 года исполняется шестьдесят лет со дня рождения писателя Виктора Кина, автора романа «По ту сторону». Четыре года тому назад «Новый мир» опубликовал отрывки из незаконченного романа Кина о журналистах. Сейчас мы печатаем фрагменты из романа «Лилль», над которым Кин работал в последние годы своей жизни. Лилль — название небольшой французской крепости на франко-бельгийской границе. Книга о первой мировой войне была задумана Кином как широкое историческое полотно, как исторический и политический роман, достоверный, острый, насыщенный фактами; среди персонажей его были подлинные лица, представители немецкого, французского и русского империализма. В 1937 году роман был на три четверти закончен, но рукопись погибла при аресте автора. Фрагменты, публикуемые сейчас — несколько случайно уцелевших страниц, — позволяют составить некоторое представление о творческом замысле Кина.

1

Для миллионов людей война была внезапной. Она пришла, разразилась — откуда? Неужели ее грохот родился из речей дипломатов, марши и передвижения армий — из этих неопределенных и округлых жестов министров? Обыденное, комнатное мышление привыкло к постепенным изменениям, к той истине, что большое прежде было маленьким. Взрослый мужчина, усач и пузан, вырастает из маленького плаксы; дубы прежде были желудями. Неужели взрыв сорокадвухсантиметрового снаряда был когда-то, задолго до войны, в недрах мирного времени, маленьким, слабым звуком, почти вздохом — и вот с годами вырос и озверел? Может быть, он был хилой, застенчивой нотой — может быть, он боялся турецкого барабана и сердитой басовой духовой трубы?

Какой вздор! Разумеется, война пришла, случилась, возникла 28 июня 1914 года, когда сербы подстрелили эрцгерцога Франца-Фердинанда и его старуху в Сараево.

Так думали. Но в тишине штабов, в полумраке министерств, в лабораториях академий делали войну, выращивали ее, утолщали и усложняли. Представьте себе фельдмаршалов с лейкой в руках, любовно поливающих неокрепшие колючки войны. Правительства озабоченно окидывали взглядом своих подданных, подсчитывая количество голов. Во Франции, где рождаемость падала, государственные чиновники подмигивали Жану, указывая на груди и бедра Марианны. Рожать мальчишек — это национальный долг, и президент ездил лично крестить детей к многосемейным. И пока хозяйки, мусоля карандаши, записывали дневные расходы, военный министр откладывал в чулок новые миллионы военного бюджета.

Планы войны обдумывались и готовились десятилетиями. Войны еще не было, но ее очертания были готовы. Вы были на металлургических заводах? Сначала изготавливается форма, в которую позже вольют расплавленную, взбешенную, клокочущую стихию металла.

2

Здание германского генерального штаба помещается в Берлине на Королевской площади. Белые колонны подпирают фронтон с пушками, орлами и знаменами. Прямые, торжествующие линии избегают вверх и у карниза закругляются, дробятся, переходят в завитки листьев. Отчетливость и торжественность очертаний напоминают звуки музыки: марш и гимн. Эти колонны и полукружия окон, несомненно, были придуманы под звуки военного барабана. Колонна, окно, колонна, окно (левой, левой!), колонна, окно. Вы чувствуете: здание отбивает такт. Оно марширует.

У подъездов стоят на часах солдаты гвардии. Врагов еще нет. Пока они охраняют штаб от нянек с детскими колясками, гуляющих по плацу.

За этими стенами скрываются отделы штаба — информационный, оперативный, разведывательный, шифровальный, секретный, мобилизационный. Здесь, среди столов и шкафов, прозябает мордастое племя писарей. Сотни людей в серых военных куртках с красными петлицами. Здесь иерархия чинов — ротмистры, майоры, полковники генштаба. Сложный ритуал делопроизводства и прохождения бумаг. Лишь в одном наисекретнейшем отделе появляются штатские в котелках и шляпах — выслушивают приказания, отдаваемые вполголоса, уезжают и появляются вновь.

Все эти отделы пучком расходятся из одного центра. Поперечный разрез штаба дает такую картину: за твердой оболочкой стен идут губчатые наросты отделов и управлений — и в их недрах, в сокровенных глубинах таится кабинет начальника штаба.

Портрет императора во весь рост, от пола до потолка. Громадный красный письменный стол. Массивность колонн, просторы окон подавляют своими массами и пространствами.

И внизу, у подножия этих величин мы обнаруживаем графа Шлиффена, фельдмаршала и военного министра. Старческое жилистое тело, натянутое в мундир и брюки с красным кантом. Он сед. Сухие, уже неживые волосы зачесаны к вискам — так он причесывался еще в кадетском корпусе.

Мы видим старика, чертову перечницу, песочницу. Но он весь насквозь пропитан войной, она гнездится в складках его старческой кожи. Из взрывов, выстрелов, ран, из смертей полков и эскадронов, из всего этого материального, вещественного состава войны он извлекал отвлеченные идеи, тончайшую теоретическую эссенцию. Задолго до войны в этом кабинете теоретическая немецкая конница врубалась в теоретическую французскую пехоту. Эта бесшумная война свирепствовала на письменном столе графа Шлиффена среди двухверстных карт и оперативных докладов.

Он был только теоретиком, этот фельдмаршал и военный министр. Судьба подшутила над ним — за всю свою жизнь он ни разу не воевал. Он не руководил полками, не командовал, не отдавал боевых приказов — Германия при его жизни не вела ни одной сколько-нибудь крупной войны. Может быть, он даже не знал, какого цвета кровь у французских солдат, хотя всю жизнь мечтал поглядеть на нее. Он так и умер, не отправив никого в бой.

Но этот седой фельдмаршал, худой, с запавшими глазами, был гением военного дела.

Друг против друга стояли два империализма — немецкий и французский. Каждый из них имел историю, существовал физически, был воплощен в материальных формах. Не думайте, что империализм — это абстракция, забава историков и философов. Каждый был индивидуален, не похож на другого.

Немецкий империализм был решителен, нагл, прост. Он двигался по прямым и кратчайшим направлениям. Если бы у него было лицо, то мы увидели бы тупой нос и выдвинутую тяжелую челюсть. Знаменитый план Шлиффена заключался в следующем. Вдоль всей границы Германии французы выстроили пояс крепостей. Верден, Туль, Нанси, Эпиналь, Бельфор и ряд других крепостей опоясывали границу непрерывным железным поясом. Около тридцати крепостей размещены на небольшом участке франко-германской границы. Железобетонные форты, уходящие глубоко под землю, неуязвимые для артиллерийского обстрела, минированные поля, огромные запасы амуниции и снаряжения, дальнобойные орудия — все это было приготовлено французским генеральным штабом для немецкой армии. Граф Шлиффен понимал трудность, почти невозможность победы на этом участке. Он был прав — крепость Верден, вокруг которой завязались бои с первых дней войны, так и не была взята немецкой армией за все четыре года войны.

И тогда старый граф придумал свой замечательный план. Оставался еще север! На севере между Францией и Германией лежит Бельгия. Она входит клином между ними. Здесь, на франко-бельгийской границе, у французов крепостей почти нет: крепость Мобеж и еще дальше к северу — одинокая крепость Лилль. Сюда удар! Бросить армию через Бельгию. На левом южном фланге, против французских крепостей, армия должна наступать и отступать, беспокоить противника, оттягивать на себя его силы. В это время весь остальной фронт и главным образом его северный правый фланг делает огромный взмах, стремительное движение вперед. Левый фланг почти неподвижен — правый в это время...

За два дня до смерти Шлиффена в почтительной и горестной тишине его спальни собрались друзья фельдмаршала — генералы и сановники. Собирище апоплексических затылков, лысин и ревматизмов. Сопящие и пришептывающие старцы, астматики и подагрики смотрели выцветшими глазами на Шлиффена. Все они были пригодны для смерти. По течению крови в узловатых венах, по одышке, по боли, блуждающей от сустава к суставу, каждый мог измерить сроки, отделяющие его от торжественной генеральской смерти — с салютами, с знаменами, с высочайшим прискорбием императора. В их взглядах, устремленных на Шлиффена, было нечто, напоминавшее личную заинтересованность.

Генерал-адъютанты, генерал-квартирмейстеры, генералы штаба и генералы свиты стояли полукругом, ожидая разрешения разговаривать с фельдмаршалом. В генеральской толпе выделялись двое — доктор, считавший пульс Шлиффена, и дежурный офицер, стоявший у двери, недоушевленный, незначительный. Он был забыт, как зонтик в прихожей.

Доктор осторожно опустил желтую руку фельдмаршала. Пульс шестьдесят. Он помедлил, сопоставляя температуру, выделение пота, цвет кожи.

Можно? Движением век доктор разрешил.

По генеральской шеренге прошло волнообразное движение, всколыхнувшее аксельбанты и эполеты. Затем, наклонясь корпусом, дрожа бабьими грудями, первым шагнул Мольтке, преемник Шлиффена и племянник великого Мольтке. За ним двинулись все. Дряхлый, позеленев-

ший, похожий на огорченное столетие, генерал всхлипнул. Генерал с бугристым затылком сердитыми движениями вытаскивал из кармана и прилаживал к уху слуховую трубу.

Шлиффен открыл глаза.

— Господа,— сказал он тихо, но слышно,— благодарю за внимание.

Невнятный ропот, из которого выделилось несколько хрипящих «р-р-р».

Адмирал Тирпиц, самый бородатый и лысый, сказал:

— Мы надеемся снова увидеть ваше превосходительство во главе...

Шлиффен перебил его:

— Господа, я умираю... (снова ропот с преобладанием «р»).

Генерал Фалькенау выдвинул другую версию происходящего:

— Временное недомогание, ваше превосходительство, которое в недалеком бу...

Но Шлиффен констатировал факт:

— Это смерть, господа. Бесполезно надеяться. Я умираю.

Генералы молчали. Но они как бы подчинялись мнению старшего, не соглашаясь с ним, но соблюдая субординацию.

Шлиффен продолжал:

— Передайте последний привет императору и армии. Я верю в полный успех, господа. Передайте, что я счастлив... Передайте...

Он задумался.

— Не забудьте мою мысль, господа, о правом фланге... Идея правого фланга. Укрепляйте его, усиливайте, как можно...

Он перевел взгляд на Мольтке. Мольтке был обыкновенным, средним генералом, но на нем покоилась слава двух фамилий. Он знаменовал победы под Кенигретцем и Седаном, где имя его дяди блеснуло сквозь пушечный дым и пыль. Теперь он готовился наследовать славу Шлиффена. Он был величествен, как монумент, отмечающий могилы героев.

— Ваше превосходительство, я передаю дело всей моей жизни в ваши руки... Я надеюсь... (От слов «передайте, что я счастлив» до слов «я надеюсь» раздавались шорохи и сопение. Дежурный офицер выводил плачущего дряхлого генерала. Напрягаясь, как бы поднимая громадную тяжесть, офицер двумя пальцами поддерживал генерала под локоть.) ...Я надеюсь, что передаю это дело в надежные руки. (Мольтке поклонился.) Смелый маневр на правом фланге решит судьбу войны. Все внимание правому флангу...

Старческая толпа слушала, пришептывая, шамкая, тряся головами, подбирая отвисающие челюсти... Бородатая старость — склерозная, в наростах, носящая бандаж и ковыряющая в ухе старость, — но водящая полки, но хранящая военные тайны, склонилась над умирающим Шлиффеном.

3

Начальник австро-венгерского генерального штаба Конрад фон Гаузенштейн закончил свой доклад и ждал высочайших замечаний. Доклад касался необходимости введения в армии автомобилей. Император задумчиво постукивал пальцами по столу. Солнечный зайчик играл на его отполированной лысине.

— Я полагаю,— сказал он, — что лошадь будет надежнее.

И вопросительно взглянул на Конрада.

— Вы совершенно правы, ваше величество, лошадь надежнее,— ответил Конрад, хотя весь его доклад сводился к тому, что надежнее будет автомобиль. Но у него уже было два конфликта с наследником — он был

заподозрен в непочтительности и недостатке благочестия. Поэтому с императором надо было держаться особенно осторожно. — Вы совершенно правы. Однако извольте взглянуть на этот расчет. При современном плане развертывания нам понадобится свыше восьмисот тысяч лошадей, из которых три четверти надо получить путем мобилизации. Не говоря уже о фураже, мы получаем такое стадо в тылу армии, которое запрудит все дороги и потребует колоссальный обслуживающий контингент. Примите во внимание сап, экзему...

— Автомобили ломаются и опрокидываются, — внушительно прервал его император. — А лошадь — друг солдата. Солдат любит лошадь.

Он вступил на престол в 1848 году и царствовал бесконечно долго. Его взгляды успели сложиться и затвердеть уже ко времени австро-итальянских кампаний.

— Совершенно верно, — терпеливо ответил Конрад. — Примите, однако, во внимание опасность эпидемических заболеваний среди такой массы лошадей, которая...

— Я не доверяю этим новым керосиновым штукам, — сказал Франц-Иосиф.

Конрад помолчал. Его твердое сухое лицо смягчилось. Усилием воли он изобразил подобие почтительной и вместе с тем ласковой улыбки. Он решил употребить другой способ обращения с императором, а всего у него было три способа. Этот заключался в почтительной ласковости, слегка окрашенной юмором, как содовая вода сиропом. Чтобы улыбнуться, он сузил глаза, растянул губы и опустил усы. Улыбка получалась неумелая, как «окаменевшие попытки ребенка вылепить ящерицу».

— Ваше величество, разрешите предложить вам лично испробовать эти машины.

— Как?

— Я предлагаю вам совершить небольшую прогулку на автомобиле. Император недоверчиво смотрел на искаженное улыбкой лицо Конрада.

— То есть это значит ехать на автомобиле? — пробормотал он. — Это чтобы я — поехал на нем?

Он пришел в негодование. Император и король сидит на этой трясушей, дымящей, стучащей нелепости! Древнее габсбургское величие подвергается толчкам вульгарного патентованного механизма! Власть никогда не должна быть слишком современной, если она хочет импонировать.

— Я не поеду, — сухо сказал император.

Тогда Конрад применил третий способ обращения. Он одеревенел в служебной, усердной тупости.

— Как вам угодно, ваше величество.

* * *

Через полтора месяца утром из бокового подъезда Шенбрунского дворца вышел Франц-Иосиф в сопровождении Конрада и начальника разведки Урбанского-фон-Остромеча. У подъезда стоял блестящий, красного цвета автомобиль с белыми колесами марки «фиат».

У него был круглый радиатор и высокий кузов с откидным, как у фаэтона, верхом. Автомобиль еще не имел тех стремительных, как бы созданных трением о воздух очертаний, какими отличаются автомобили нашего времени. Как эмбрион, повторяющий в своем развитии формы всех первоначальных предков — с жабрами и хвостами, — так этот ранний автомобиль сохранял сходство с запряженным экипажем. Много лака, много блестящих медных частей...

...Новость проникла в трамвай, когда там шел скандал. Толстый человек в серой паре сердился на своего соседа. Ему казалось, что сосед занимает на скамье слишком много места. Тот огрызнулся:

— Это вам кажется. Вы слишком толстый и не помещаетесь на скамейке.

— Не ваше дело — толстый я или нет. Надо сидеть как следует, а не разваливаться. Это свинство.

— Я и сижу как следует. Что вы ко мне пристали? Вон свободное место. Пересаживайтесь, если вам здесь не нравится.

— Сами пересаживайтесь...

Публика с вялым любопытством ждала, чем это кончится. Подавали реплики:

— С таких толстых надо брать за билет дороже.

По Берлину новость уже распространилась. Тысячи людей шли, держа в руках экстренные выпуски газет. Война объявлена! Захваченные чтением, сталкивались друг с другом, наступали на ноги и извинялись. «Россия начала войну против нас». Город был уже в войне, переживал первые минуты удивления, испуга, недоумения. Трамвай пребывал еще в мирном времени.

— Вас надо поучить вежливости. Вы не умеете прилично себя вести.

— А вы умеете? Я вижу, мало вас в детстве секли.

Толстяк помолчал, выдумывая новую фразу. Он чувствовал себя обязанным сказать что-нибудь — весь вагон ожидал его ответа.

В это время в окно донесся пронзительный вопль газетчика:

— Россия начала войну против нас!

Крик вонзился в население трамвая, не встречая сопротивления. Сначала на него никто не отозвался — а ведь он призывал к четырем годам войны, к окопам и карточной системе. Так раненые в первые минуты не ощущают боли, даже не замечают раны. Толстяк успел даже ответить:

— Ваша шутка стоит сто марок — если за нее штрафовать.

Но тут ему грузно наступили на ногу. Все кинулись к окнам. Высунувшись до пояса, махая шляпами, люди кричали: «Мальчик! Мальчик!» У толстяка от напряжения вылез кусок рубашки между брюками и жилетом. Трамвай уже тронулся, увозя кричащих и махающих пассажиров. Можно было подумать, что они, уезжая надолго, делают газетчику прощальные знаки, обещают вернуться, писать.

Они получили газеты на следующей остановке. Чтение: газеты разворачиваются, складываются, ими взмахивают, чтобы развернуть весь лист. Газеты вздрагивают и бьются в руках читателей.

Чтение произвело разительные перемены. Только что в скучающем воображении людей протекали обычные обрывки воспоминаний, свойственные скучающим людям; шли молочницы, мальчики зубрили уроки. Вспоминались часы, отданные в починку, монета, упавшая за диван, зуб, который надо запломбировать. Все это мгновенно исчезло. Появились новые сложные картины:

На востоке у границы два эскадрона казаков бесшумно подползают к германскому часовому. Казаки бородаты. Часовой насвистывает и нюхает маргаритку.

Выстрел...

Те же казаки на желтой песчаной насыпи делают что-то с рельсами (пилят? бьют молотками?), потом несут бомбу. Бомба круглая, и из нее идет дым...

Кондуктор, перегибаясь через чье-то плечо, прочитал:

— «Согласно донесению генерального штаба сегодня в 4 часа утра произошла попытка взрыва полотна железной дороги и продвижения двух эскадронов казаков к Иоганесбургу. Ввиду этого наступило фактическое военное положение».

— Так значит — война?

— Разумеется. Попытка взрыва! Это самая настоящая война. Они всегда прежде всего принимаются за железные дороги.

— Но, может быть...

— Что — может быть? А два эскадрона казаков?

— Где это — Иоганесбург?

Высокий с седыми висящими усами человек встал и предложил:

— Господа! Я предлагаю хором спеть наш великий национальный гимн. Великий момент, господа! — И, убедительно моргая, он запел:

Стража на Рейне сильна и верна...

— Пение в трамваях не допускается! — закричал кондуктор. — Сударь, прекратите пение!

Высокий человек продолжал петь.

— Я остановлю вагон! Немедленно перестаньте!

— Не мешайте мне петь! Господа, почему вы не поете?

Но в толстякой бродил еще дух противоречия. Это было вызвано предыдущей ссорой, но сейчас он уже забыл о ней. Осталось только желание спорить, опровергать, жестикулировать.

— Ерунда, — заявил он. — Это сплошная ерунда!

— Что именно?

— Все — и казаки, и взрыв полотна.

— Почему?

— Газетная утка. «Берлинер Локаль-Анцейгер» позавчера опубликовала императорский приказ о мобилизации армии и флота. А через три часа та же «Локаль-Анцейгер» выпустила опровержение, объясняя все это чьим-то грубым озорством. Подождите еще три часа.

— А сообщение генерального штаба?

— Вздор, все вздор. Никакой войны не будет!

(Он был убит через три месяца на западном фронте при форсировании реки Соммы взрывом фугасного снаряда.)

Из окна пятого этажа улица казалась побелевшей от газетных листов в руках прохожих. Новость распространялась в толпе, как масляное пятно на воде. Переулок, еще ничего не знавший, наивный ротозей, вдруг вступал в войну, постигал ее существование.

Она захватывала кофейни, просачивалась в квартиры, в заводские цеха. И если пристальнее взглядеться, то можно было заметить перемены.

Уже один тот факт, что в огромной, наполняющей улицу толпе каждый был занят одной и той же мыслью, изменял вид города. В обычное время люди думали о различных делах, и это расчленило толпу, разбивало ее на отдельные элементы. Толпы, в сущности, не было. Теперь все одинаково и одновременно, всеми силами души думали только о войне, об Иоганесбурге и о казаках. Даже выражения лиц сделались одинаковыми.

Ноги людей, в беспорядке шаркавшие по тротуарам, вдруг приобрели ритм. Шаги становились размеренными, как бы подчиняясь маршу. Улица начинала маршировать. Груды выпячивались и округлялись. Человек, резавший в ресторане шницель, вдруг ощутил, что он держит в руке заостренную сталь, лезвие, клинок!

Надо было бы думать о морковном кофе и котлетах из репы, о хвостах за углем и ботинках на веревочных подошвах, о «Сдавайте медную посуду — мы надеваем из нее патронов для наших героев!» — и о тине,

налипшей на сапоги пехоты. Но первоначальные представления о войне были иными. Это были «надменность французов», «скифская лавина славы», «И я, старый Бебель, если понадобится, возьму ружье», это были четыре бронзовых льва на памятнике Вильгельму Первому, рычавшие напротив дворца на север, юг, восток и запад, это были статуи на мосту через Шпрее, где голые воины разили врага, устремляясь вперед, метали копье и выпускали дух на руках Славы, венчавшей их лаврами, это был «извечный спор между галлами и германцами, романским стилем и готикой, Фоблазом и Вергером», это было, наконец, «Мы набьем им морду, будьте уверены».

Толпа носила плоские твердые соломенные шляпы, и, если глядеть сверху, улица была покрыта светлыми, как блестящий жир на бульоне, медленно движущимися дисками. Одинаковость и единообразие этих скоплений шляп были поразительны. Никому не пришло в голову сделать свою шляпу квадратной, или украсить ее пером, или вообще сделать с ней что-нибудь. Правильностью очертаний, единообразием и сплоченностью шляпы походили на колонию бактерий.

Но, между прочим, единая мысль о войне начала дробиться. В частности, она приобрела следующее направление.

Государство величественно и гордо. Воображению оно рисуется в виде женщины в ниспадающих одеждах, в виде орла на монетах и фронтонах казенных зданий, в виде многоколонного храма. Теперь фактом войны государство выведено из своего аллегорического состояния. Оно обращается ко всем гражданам вплоть до сапожников, кучеров и черно-рабочих, призывая их принять прямое и личное участие в важнейшем государственном деле — в войне...

5

...Император вошел в спальню тихо, стараясь не шуметь. Императрица уже легла. Но она ждала его. Резким движением она приподнялась на постели.

В ночной рубашке и в чепце она казалась старше своих сорока двух лет. Красная кожа лица переходила в желтую на шее, собиралась в складки и морщины. Веснушки и темные пятна около глаз и губ, днем скрытые слоем пудры, теперь были видны.

Николай подошел и поцеловал ее в лоб, придерживая аксельбанты.

— Ты спала? — спросил он машинально, думая о том, как ей сообщить новости.

— Нет. Почему ты так поздно?

— Я?.. Ну — разные дела.

«Сказать ей завтра? Да, да. Не заснет. Завтра скажу», — думал он, искоса поглядывая на ее острые ключицы.

Но она не спускала с него широко открытых тревожных глаз. Это его смущало. В нерешительности он потрогал бороду и повел шейю.

— Да, разные дела. Много дел.

Он замолчал и задумался. Надо было перестать говорить о делах. Что-нибудь веселое, беззаботное, чтобы развлечь бедняжку. И действительно, что-то вспоминалось очень смешное, что-то было сегодня, когда он говорил с Сазоновым, забавное, ужасно забавное. Чтобы помочь себе вспомнить, он улыбнулся несколько раз и хихикнул, но ничего не получалось.

Он оглядел комнату, обтянутую желтым штофом и почти сплошь увешенную фотографиями. Они оба любили рассматривать фотографии и вспоминать по ним мелкие семейные факты. Вот он сам в солдатской походной форме, в гимнастерке, со скатанной шинелью через плечо и с

винтовкой — в таком виде он прошел три километра в Алуште, в Крыму. Императрица с детьми ехала в ландо сзади и звала отдохнуть или чтобы по крайней мере адъютант нес над ним зонтик, ибо она боялась солнечного удара, но он не соглашался. Вот он же в купальном костюме, тоже в Крыму. Алеша боится ягненка. Императрица вяжет носки для «Собств. Ея Велич.» передвижного пакгауза для раненых воинов. Опять он сам, с ружьем и собаками на охоте в Беловежской Пуще... Вспомнил!

— Видел сегодня из окна смешных собачек,— с оживлением начал он, присаживаясь на кровать,— одна маленькая, другая большая. Они хотели любить друг друга, но у них ничего не выходило.

Императрица застенчиво заулыбалась.

— Так и не сумели?

Это было действительно забавно и начало смешить ее. Разговор обещал перейти на подробности, когда вдруг она начала беспокоиться:

— А они не бешеные?

— Не думаю. Нет... Хотя...

Он запнулся и взволнованно взглянул на нее.

— Алеша гуляет днем по парку,— сказала она, выражая мысль, одновременно возникшую у обоих.

— У бешеных хвосты бывают опущенные,— возразил он.

— А у этих?

— У этих... не помню, какие были хвосты, но кажется... а впрочем, может быть, и опущенные.

— Даже если не бешеные, все равно могут укусить или испугать.

Кирпичная краска медленно разлилась по лицу императора. Он резко встал, вышел из комнаты, сердито махая руками пробежал коридор и распахнул дверь в небольшую приемную.

Оттолкнув вскочившего при его появлении офицера, он сделал несколько шагов, потом повернулся и сдавленным голосом приказал:

— Дежурного офицера!

Дежурный офицер появился, придерживая шашку. Он подошел, наклоняясь вперед, напрягая ноги и воинственно отбивая шаг. По дворцу уже шли, множились и усложнялись слухи. Офицер ждал приказа скакать, вызывать, командовать. Щелкнув шпорами, он одеревенел в двух шагах от императора.

— Появились? — сказал император тем неестественным голосом, которым телефонная барышня говорит: «Позвонила». — Почему у вас безобразия? Почему у вас по парку бегают собаки? Скоро медведи начнут бегать? Почему никто не смотрит за порядком? Может быть, я должен за всем смотреть?

И с удовольствием глядя на искривленное ужасом лицо офицера, император бросил:

— Благоволите немедленно переловить и уничтожить бегающих по парку собак.

Он вернулся в спальню в решительном и воинственном настроении, которое не было исчерпано отданным распоряжением. Оставалась еще порция раздражения, которая искала выхода. Подойдя к кровати, он, не глядя на императрицу, сказал:

— А ты знаешь, Вилли объявил мне сегодня войну...

И тут же испугался — императрица, крестясь и всхлипывая, утирая слезы тыльной стороной ладони и дрожа подбородком, выпростала из-под одеяла ноги и встала.



ОГДЕН НЭШ

★

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

С английского

От переводчика. *Огден Нэш родился в 1902 году в штате Нью-Йорк. Самые известные книги Нэша — «Без педалей», «Стихи для непослушных родителей», «Я сам здесь посторонний», «Добрые намерения», «Наперекор», «Туда отсюда не добраться».*

В современной американской поэзии Огден Нэш стоит особняком. Кто-то удачно назвал его творчество «космысленной бессмыслицей».

Стихи Нэша «проблемны» и часто назидательны, но это всегда смешные и остроумные стихи. Нэш смотрит на мир с хорошо разыгранным простодушием «среднего человека»; он доверительно сообщает читателю первые сведения о самых простых вещах, преподносит ему давно известные истины — и эти истины вдруг становятся смешотворными. Несообразность общепринятого — вот о чем пишет Огден Нэш; в этом сущность его сатиры. При внешне легкомысленном, бесцеремонном зубоскальстве Нэш — пронизательный и невеселый наблюдатель; недаром он говорит, что чувство юмора — печальный дар природы.

Насмешливый голос Нэша легко узнать, Поэт изобрел «свою форму» — он пишет в подчеркнута бытовой, разговорной манере, и строчки его стихов могут быть как угодно длинными и как угодно короткими. Это почти проза, только рифмованная, и так как рифмы в таких стихах получается в общем меньше, чем в традиционных (которыми Нэш, впрочем, тоже пользуется), то поэт относится к ним с особенным вниманием.

Стихи, предлагаемые в русском переводе, взяты из двух сборников: «Избранные стихи» (Нью-Йорк, 1960) и «Стихи после 1929 года» (Бостон, 1952).

Банкиры — такие же люди, только побогаче

В этой песне банки будут воспеты,
потому что в них много денег, и, когда бы вы туда ни
пришли, вы услышите звон очень звонкой монеты
Или шум, похожий на ветер в деревьях горных высот:
Это шелест тысячедолларовых банкнот.
Дома у банкиров, как правило, — мраморные громады,
А строят они такие дома потому, что не любят выдавать ссуды
и любят принимать вклады;
Но главным образом потому, что один закон соблюдают
дружно, —
А именно: денег не ссужать никому, кроме тех, кому денег
не нужно.
Банки, мне ясна ваша консервативная программа:
Если людям нечем заплатить за квартиру, вы из чувства долга
не дадите им в долг даже медного профиля покойного
мученика Авраама¹.
И если они просят пятьдесят долларов на молоко для ребенка,
вы смотрите на них, как Тарзан на зарвавшегося
павиана. — этакая наглая бестия! —

¹ На центовой монете вычеканен профиль Авраама Линкольна. (Прим. перев.).

- И спрашиваете, за что они, собственно, принимают банк и не проще ли взять эти деньги у собственной тещи или у тестя.
- Но, предположим, приходят клиенты, у которых есть миллион, и они просят еще миллион — для ровного счета, дело несложное;
- Тогда вас заливают волна доброты, и вы готовы расшибиться в пирожное.
- И вы ссужаете им миллион, так что теперь у них целых два, и они решают, что четыре — это еще лучше, потому что иметь более — лучше, чем менее:
- И так как два миллиона — достаточно надежная гарантия, вы ссужаете им еще два — без сомнений и без промедления.
- И все вице-президенты банка кивают головой, сидя в полном согласии рядом,
- И их интересует только одно: желают ли клиенты взять деньги с собой или предпочитают, чтоб их прислали на дом.
- Но, пожалуйста, не подумайте, что я плохо отношусь к банкам и банкирам:
- Напротив, я считаю, что мы должны им поклониться всем миром.
- Банки оказывают услугу обществу, избавляя его от ослов, которые кричат на всех углах, что здоровье и счастье — это все, а деньги не имеют никакого значения,
- Потому что, когда эти люди ищут денег, потребных им для здоровья и счастья, то банк им этих денег не дает, в результате чего они умирают с голоду и больше не могут кричать на всех углах и порочить наши милые денежки, — а в этом я усматриваю руку провидения.

Артезианская находчивость

- Жил-был когда-то мистер Артезиан, человек поистине неиссякаемой активности.
- Он служил в одном очень важном учреждении, и его работа требовала оперативности.
- И у него одна идея царил над всеми:
- Он стремился экономить драгоценное время.
- Он подсчитал, что восемь часов сна в сутки означают, что, если он доживет до семидесяти пяти лет, он проведет двадцать пять лет не за конторкой, а в постели, —
- И он урезал свой сон до шести часов, чтобы потерять таким образом всего восемнадцать лет, девять месяцев и две недели.
- И он высчитал, что, тратя десять минут на завтрак, полчаса на обед и двадцать минут на ужин, он проведет три года и два месяца за столом, —
- Тогда он стал питаться исключительно бульонными кубиками, глотая их за конторкой, и в результате выиграл массу времени, хотя все считали его ослом.
- И он рассчитал, что, бреясь каждый день по десять минут, он потратит шесть месяцев и семь дней на намыливание собственных щек, —

Тогда он отпустил бороду и тем самым все это время сберег.
Вы подумаете, что после этого он успокоился,— но нет, он ходил, терзаясь и маясь,
Потому что он вычислил, что из расчета по две минуты в день он проведет тридцать восемь дней с минутами в одном только лифте, опускаясь и поднимаясь.
И тогда он сделал заключительный шаг, шагнув из окна своего учреждения, которое, между прочим, находилось на тридцатом этаже;
И один из его сослуживцев спросил, не страдает ли он головокружением, а другой взглянул вниз и ответил, что нет уже.

Ужасные люди

Люди, у которых есть все, что им нужно, любят убеждать людей, у которых нет того, что им нужно, в том, что им вовсе не нужно этого и что они попросту сгущают краски. Этих людей я собрал бы в какой-нибудь ветхий замок на Дунае и направил бы туда полдюжины толковых привидений — для остратки.
Я не против того, что у них куча денег, и пусть себе покупают одежду и продовольствие,
Но пусть признают, черт побери, что это доставляет им удовольствие.
Но нет! Владельцы недвижимого имущества Предпочитают замалчивать свои преимущества.
А те, кто обладает дворцами и ларцами, Считают своим долгом вздыхать о том, как трудно в наши дни сводить концы с концами.
И этот принцип так им близок и дорог, Что на любой случай жизни они находят массу подходящих отговорок.
Они всегда готовы к ответу:
Во-первых, деньги — это не все, а во-вторых — все равно у них денег нету.
Одни люди всю жизнь трудились денег ради,
А другие получили их в наследство от дяди,
Но все они подсчитывают единицы и нолики
С таким несчастным видом, будто у них спазмы и колики.
Я допускаю это вполне,
Но почему в таком случае они не переложат свое бремя на плечи благородным беднякам или мне?
Может быть, и вправду богатый человек от своего богатства страдает, бедняга;
Но я охотно приму на себя все моральные проклятия, если мне отпустят все материальные блага.
Есть и у богатых свои напасти — болезни, перед которыми деньги пасуют;
Но ведь эти болезни еще болезненнее, если ваши карманы пустуют.
Конечно, на свете встречаются вещи, которых за деньги не купишь,— но ответь мне по совести, мой современник: Ты когда-нибудь пробовал купить их без денег?

Портрет художника в преждевременной старости

Давно известно каждому школьнику — и даже каждой
ученой женщине, если она к науке не глуха,—
Что на свете существует два вида греха.
Первый вид именуется — грех совершения, и грех
этот важный и сложный,
И состоит он в совершении того, чего совершать не положено.
Второй вид греха — полная противоположность первому,
и зовется он грех упущения, и грех этот столь же
тяжкий, что передовыми мыслителями всех времен — от
Билли Санди до Будды — авторитетно доказано,
И он заключается в несовершении того, что вы сделать должны
и обязаны.
Я тоже хотел бы высказать мнение по поводу этих двух видов
греха — сначала по поводу первого, чтоб со вторым
не мешать его,
А именно: из-за него не стоит терзаться, потому что грех
совершения, как бы он ни был греховен, по крайней мере
доставляет удовольствие — иначе кто бы стал совершать
его?
Второй вид греха — грех упущения — менее гласный,
Но зато он самый опасный.
Что причиняет истинные страдания?
Невнесенные взносы, неоплаченные счета, неподсчитанные
расходы, ненаписанные письма и пропущенные свидания.
Кроме того, грех упущения имеет одно неприятное свойство:
Перед вами не вспыхивают огненные буквы всякий раз, когда
вы пренебрегаете долгом, и ни днем, ни ночью в момент
упущения вы не испытываете беспокойства.
Вас не охватывает блаженный экстаз
Всякий раз, когда вы не платите за свет и газ;
Вы не хлопаете по спине знакомых в таверне и не кричите:
«Друзья!
Давайте веселиться — не напишем еще по одному письму, и за
все ненаписанные письма плачу я!»
И даже если вы не делаете гадостей,
Вы от этого не получаете никаких радостей.
Не хватает еще, чтобы за упущение карали,—
Ведь от тех благородных поступков, которых вы, грешным
делом, не совершили, у вас и так гораздо больше мороки,
чем от того, что вы сделали наперекор морали.
Итак, если вы меня спросите, я скажу, что, наверное, лучше
совсем не грешить, но уж если согрешить доведется без
спроса вам,—
Грешите предпочтительно первым способом.

Правды в мешке не утаишь!

Как люди обучаются лгать правдиво?
Пусть кто-нибудь мне объяснит это диво.
По-моему, человек будет всю жизнь страдать и мучиться,
Если он правдиво лгать не научится.

Слова даны нам для того, чтобы скрывать наши мысли,—
 так учат мудрецы, бородатые и бритые;
 Но если все ваши слова правдивы, ваши мысли ходят
 совершенно неприкрытые.
 Рядом с наглым обманом, разодетым в пух и мех, они рискуют
 появляться без штанишек —
 И никаких шансов на продвижение нету у этих бедных
 мыслишек.
 Я считаю, что оди́н из величайших талантов жителей Земли
 и других планет —
 Это умение сказать «нет», думая «да», и сказать «да»,
 думая «нет».
 О, если бы мы все были хитры, как Макьявелли,
 И с такой же готовностью лгать умели!
 Для лжецов любой уговор, договор и так далее из бремени
 легко превратится в забаву —
 Они могут по праву оболгать и попать его, если только он
 им не по нраву.
 И они не испытывают к себе презрения,
 Потому что их совесть не имеет зазрения.
 Праву, эта проблема так меня мучит, что я совершенно высох.
 Между прочим, жил-был когда-то маленький мальчик, и его
 послали в аптеку за горькой мазью — намазать ему ногти,
 чтобы он не грыз их.
 И он попытался солгать аптекарю, потому что его пугала
 огласка,—
 Но эта попытка потерпела фиаско.
 Он сказал так: «Мама послала меня за горькой мазью для
 одного знакомого, который грызет ногти»,— а аптекарь
 понимающе усмехнулся и спросил: «Интересно, кто же
 этот знакомый, а?»
 И мальчик растерялся и сказал: «Я».
 И это был я, то есть я был он,
 И каждый мой последующий шаг на ложном пути был заранее
 обречен,
 И я так и не смог усвоить лжеприемов — ни стратегических,
 ни тактических,—
 И вот почему мне никогда не достигнуть высот социальных
 и политических.

Как мистер Баркалоу не выдержал

Жил-был один человек — назовем его мистер Баркалоу,
 чтобы точно следовать фактам,—
 И он очень гордился собственным тактом.
 Он говорил: «Кто поручится, что в яблоке нет червяка или что
 в трубе нет сажи тем более?»
 Но что касается моего языка, я никогда не наступаю им
 на мозоли».
 Попадая в незнакомое общество, он чувствовал себя стесненно
 и связанно,
 Пока не выяснял у хозяйки дома, на какие темы можно
 говорить безнаказанно.
 И тогда, с кем бы рядом он ни сел за обедом,

Он умел обогнуть все скользкие углы и отлично ладил с любым соседом.
 Но в один несчастный день он поехал к своим друзьям, людям в общем весьма симпатичным,
 И начал тактично разузнавать, что в беседе может оказаться нетактичным.
 И хозяин дома сказал, что на этот раз он должен забыть о такте и тактике,
 Потому что ни у кого из гостей нет пятен на совести и другого грязного фамильного белья, так что его дом — единственный в своем роде во всей Галактике.
 И хозяйка сказала: «Совершенно верно, но, пожалуйста, не приносите при Эмили слова «ванна»,
 Потому что на днях ее бабушка обварилась насмерть под душем, едва успев посетовать на неисправность крана». А хозяин сказал: «Да, между прочим, если вы захотите коснуться проблемы школьного образования, сидя напротив сенатора, то делайте это тихо,
 Потому что кто-то имел глупость сказать, что его семнадцатилетний племянник сможет вылезть из третьего класса разве только если он сожжет школу, а племянник это услышал и, недолго думая, сжег школу, в том числе учительницу пения и сторожиху».
 А хозяйка сказала: «Да-да-да, а если вы заговорите с миссис Маскер о любви и браке, не удивляйтесь нервному подергиванию ее губ и век,
 Потому что на бракоразводном процессе ее дочери фигурировали соответчики в количестве тридцати семи человек».
 На это мистер Баркалоу сказал: «Ну, уж о спорте, я думаю, можно говорить и при детях»,
 Но хозяйка сказала: «Можно, конечно, но вряд ли стоит, потому что сестра Луиза — знает, та, со странностями — была недавно отчислена из спортивного клуба, потому что она ночью отправилась на теннисный корт в шортах», — а мистер Баркалоу сказал: «Что же тут ужасного, в наше время все ходят в шортах», — а хозяйка сказала: «Да, но она забыла надеть их».
 И тогда мистер Баркалоу уложил чемодан и сказал: «А ну вас всех к черту, так-то»;
 И это наши последние сведения относительно мистера Баркалоу и его такта.

Меморандум для внутреннего пользования

Я разрешил бы грешить только лицам,
 Которые безмятежностью подобны птицам,
 Потому что если вы не можете грешить без дрожи,
 То это выходит себе дороже.
 Не стоит соблазняться даже мелким грешком,
 Если вы у совести под башмаком.
 Одни люди раскаиваются на миллион, согрешив на две ломаные полушки,
 А другие похваляются, отравив мужа мышьяком или придушив бабушку при помощи подушки.

Одни не теряют самообладания, проводя дни на грани
delirium tremens,
А другие готовы повеситься на вешалке, если выпили на
именинах лишний коктейль и рассказывали анекдоты
о покойной миссис Клеменс.
Одни не испытывают склонности к моногамии и ведут себя,
как известные домашние пернатые,
А другие впадают в жестокую депрессию, если в течение вечера
протанцуют два танго с дамой, на которой они не женаты.
Один, не успев взять билет в автобусе, считает, что ад для
него — слишком мягкая мера,
А другой разоряет сырых и вдовых и настолько входит во вкус,
что разоряет все новых и новых и в конце концов
превращается в миллионера.
Я не собираюсь лезть напролом
И определять, в чем разница между добром и злом.
Но если вы относитесь к злополучному меньшинству,
признающему, что такая разница есть,— я вам советую
прямо и грубо:
Противьтесь наимельчайшим искушениям, сжав кулаки и по
возможности зубы.
Если вы стремитесь к душевному покою, совершать зло можно
только в том случае, если вам не приходит в голову, что
вы совершаете зло;
И если вы при этом спите спокойно и смотрите миру прямо
в глаза — считайте, что вам в основном повезло.
Но если вы начинаете думать, что так поступать, пожалуй,
не стоило и что вообще вы такой и сякой —
Проститесь с надеждой на душевный покой.
Итак, я позволю себе сказать в заключение этой печальной
повести:
Для счастья нужна либо чистая совесть, либо чистое
отсутствие совести.

Перевела И. Комарова.



В МИРЕ НАУКИ

И. ЗАБЕЛИН

★

ЧЕЛОВЕК КОММУНИЗМА, ПРИРОДА И НАУКА

Моя специальность — физическая география, и «личные» симпатии заставили меня взглянуть на будущее сквозь призму своей науки. По этой субъективной причине физической географии в статье уделено больше места, чем другим областям знания.

Проблема «человек и природа» относится к числу сравнительно немногих «вечных» проблем; на заре человеческой истории она разрешалась в чисто практическом плане. С приближением эпохи коммунизма человечество оказалось на рубеже коренного перелома во взаимоотношениях общества с природой, — перелома, который исподволь был подготовлен всем предшествующим ходом исторического развития.

Весь опыт Советского Союза подтвердил правильность марксистско-ленинского учения о первой фазе коммунизма — о социализме. Менее известны теоретические разработки Маркса, касающиеся высшей фазы коммунизма. Между тем Маркс применил свою теорию и для создания основ коммунистического обществоведения, разработкой которых занимаются ныне молодые советские социологи. Краткий разговор об этих несколько отвлеченных общетеоретических проблемах должен, стало быть, предшествовать разговору о взаимоотношении человека и природы.

Прежде всего — об изменении социальной сущности труда при коммунизме.

Известно, что первичные формы труда были примитивны. Но самая трудовая деятельность имела принципиально важную особенность, сохранявшуюся на протяжении нескольких сотен тысячелетий: трудовой процесс, служивший непосредственному удовлетворению потребностей, не отделял человека от продуктов труда. То, что человек добывал в природе, принадлежало ему или всем членам его общины. При таких условиях внешнее чувственное окружение, природа, наполненная предметами труда, тоже как бы «принадлежала» человеку, ничем и никак не отделяясь и не отчуждаясь от него. Существовало, таким образом, единство между природой, человеком и продуктами его труда.

«Триединство» это было разрушено с появлением общественно-экономических формаций, основанных на частной собственности, на эксплуатации человека человеком. Труд человека, вложенные в него физические и духовные силы, жизнь человека наконец как бы ускользали от него самого. Происходило, по выражению К. Маркса, «отчуждение» от рабочих продуктов их собственного труда, а самый процесс труда превратился в «самоотчуждение», поскольку, выматывая себя физически и духовно, рабочий становится беднее, а его внутренний мир скудеет... Поскольку же материал для труда поставляет природа, подневольный труд и ее отчуждал от рабочего.

Принудительный труд, господствовавший в человеческом обществе на протяжении последних тысячелетий, привел к парадоксальному, противоестественному: человек социально, экономически и психологически оказался отчужденным от природы, часть которой он составляет, и от продуктов своего труда, добытых в природе.

Эти противоречия, возникшие в ходе исторического развития человечества и практически заведшие его в тупик, может преодолеть только коммунистическое общество.

При коммунизме — на совершенно иной основе и на неизмеримо более высоком уровне — вновь возникает нарушенное ранее единство между человеком, продуктами его труда и природой; иначе говоря, коммунизм возвращает человеку естественное положение во внешнем мире, возвращает человека природе и природе человеку.

Но что именно позволит человеку «вернуться» к природе?

Здесь мы сталкиваемся с проблемой «свободного времени», под которым подразумевается не досуг, а основополагающая социально-экономическая категория, введенная в научный обиход К. Марксом.

Пока человек непосредственно участвовал в процессе производства, пока его труд играл решающую роль в накоплении богатств, мерилом богатства выступало рабочее время.

При коммунизме же это положение принципиально изменится. Но что же будет тогда служить мерилом богатства общества?

Прежде всего принципиально изменится самое это понятие. По Марксу, действительное богатство общества исчисляется не количеством материальных ценностей, ему принадлежащих, а уровнем общей и трудовой культуры людей, уровнем их знаний, их творческой активностью. На первый план, стало быть, выдвигаются интеллектуальные и моральные качества людей, а не принадлежащие им в какой бы там ни было форме вещи, осязаемые блага.

Мерилом такого богатства общества выступает при коммунизме свободное время, то есть время, освобожденное от обязательного труда (он осуществляется в рабочее время) для труда по потребности, по желанию, для общественной деятельности, для теоретической подготовки к обязательному труду, для дальнейшего образования, для научного, культурного, эстетического развития. Свободное время, по Марксу, — это «простор для полного развития производительных сил каждого в отдельности, а, значит, и общества»¹.

Максимальное раскрытие всех способностей каждого человека при социально неограниченных возможностях их использовать — таков, по Марксу, основной закон коммунизма, такова его сущность.

Свободное время, таким образом, создает всем членам общества равные условия для «развития всеобщих сил человеческой головы»². А это наряду с освобождением от непосредственного участия в добывании средств существования уже открывает новые огромные возможности для развития всех наук, в том числе и наук о природе...

Показательно, что, называя развитие общественного индивида «устоем производства и богатства»³, Маркс включает сюда и «понимание природы» человеком. Естественность, вообще наука, в будущем непременно станут пронизывать все формы человеческой деятельности, определять их направленность.

Вот это и необходимо иметь в виду при оценке тех изменений, которые могут произойти во взаимоотношениях человека с природой при автоматизации производства, без которой немислимо коммунистическое общество.

При том уровне культуры производства, который имеет в виду Маркс для коммунизма, автоматизация производства, бесспорно, сыграет положительную

¹ «Из неопубликованных рукописей К. Маркса», «Большевик», № 11—12, 1939, стр. 63.

² Там же, стр. 62.

³ Там же.

роль в психологической перестройке человека будущего. Известно выражение: не может быть свободным человек, угнетающий другого человека, и здесь возможна аналогия с отношением человека к природе. Ведь при развитом автоматизированном производстве человек перестает быть непосредственным участником эксплуатации природы, и это раскрепощает его самого, создает дополнительные объективные предпосылки для психологического перелома в его отношении к природе: на смену чисто потребительскому придет бережно-уважительное отношение к миру, который даровал и дарует нам жизнь. Иначе говоря, в моральном кодексе человека коммунистического общества восторжествует отношение к природе как к общественному достоянию, благу, как к предмету науки и эстетической ценности. Нанесение ущерба природе будет равносильно преступлению перед обществом. На смену нынешнему, преимущественно утилитарному, пониманию природы при коммунизме придет и утвердится всеобщее понимание как один из важнейших компонентов богатства общества будущего.

Освобожденное от внутренних распрей, единое человечество останется, так сказать, один на один с природой. Поэтому проблема «человек и природа», как и весь комплекс природоведческих наук, выдвигается в ряд основополагающих мировоззренческих проблем, практически важных для строительства коммунизма.

ЭНЕРГЕТИКА БУДУЩЕГО И ПРИРОДА

Мы говорим, что человек живет на Земле. Это бесспорная истина, но она может быть конкретизирована: человек живет в пределах тонкой оболочки Земли, которую лишь недавно удалось покинуть первым космонавтам. Эта оболочка — ее в физической географии называют биогеносфера — сочетает в себе вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии, в пределах этой оболочки материя эволюционировала до появления жизни... Естественно, что биогеносфера развивалась независимо от желаний человека, и мы получили в «наследство» очень сложное явление, с которым связаны «кровными узами» и с особенностями которого нельзя не считаться.

Стало быть, вполне закономерно локальное, так сказать пространственно ограниченное, рассмотрение проблемы «человек и природа» как проблемы «человек и биогеносфера».

В этом плане прежде всего необходимо выяснить, действительно ли «понимание природы» биогеносферы человеком станет важной составной частью общественного богатства в будущем, действительно ли наука, изучающая биогеносферу, станет непосредственной производительной силой.

Своеобразие исторического развития географии — от описания к анализу и синтезу, — недавнее оформление ее в науку теоретическую в частности осложнили в последнее время положение в этой науке. Если ясны самые общие законы развития биогеносферы, то объяснение почти всех крупных, планетарного масштаба событий в жизни биогеносферы до сих пор остается спорным, причем существуют гипотезы, подчас взаимоисключающие.

До самого последнего времени, например, физико-географы были крайне осторожны в определении темпов климатических изменений, и наши ученые обычно возражали против попыток объяснить, скажем, крупные миграции населения в историческую эпоху ухудшением климатических условий. Ныне определенно доказано, что буквально на глазах у человека Сахара дважды превращалась в цветущий край, изобилующий водой (в реках обитали бегемоты), и дважды вновь становилась пустыней, вызывая огромные по тем временам миграции... Можно ли с абсолютной уверенностью утверждать, что резкое ухудшение климата не охватит какой-нибудь иной район земного шара? Ныне мы довольно успешно объясняем существование, скажем, Сахары особенностями атмосферной циркуляции, преобладанием нисходящих токов воздуха в этих районах... Но что позволило Сахаре

дважды за короткий исторический срок обводниться и зазеленеть? Разве не важно понимание этого для прогнозирования хода природных процессов в наше время?

Кстати, на берегах Аральского моря, ныне окруженного пустынями, несколько миллионов лет назад росли леса из бука, дуба, граба, секвойи... Сказать, что в то время был более влажный климат, — значит ничего не сказать. Во-первых, какие причины обусловили иное, чем теперь, распределение влаги на земном шаре? Во-вторых, и сейчас воздушные потоки, идущие над пустынями, достаточно богаты влагой — только выпадает она не на равнинах, а на склонах среднеазиатских гор.

Еще в прошлом веке было установлено, что в третичный период в Арктике — в Гренландии, на Шпицбергене, на Новосибирских островах — росли широколиственные леса и даже вечнозеленые растения, и вот уже около столетия продолжается спор о причинах столь странного явления. Одни ученые «перемещают» полюса, другие «передвигают» острова в более южные широты, третьи «усиливают» Гольфстрим. Но за каждым из этих объяснений таится еще множество «почему». Почему переместились полюса или острова, почему усилился Гольфстрим и т. п.

Даже такие грандиозные явления в жизни земного шара, как ледниковые эпохи, до сих пор не нашли удовлетворительного истолкования. В сущности, с одинаковой степенью логичности ныне доказывается, что причиной ледниковой эпохи может быть и повышение интенсивности солнечной радиации, и ее понижение, и что солнце тут вообще ни при чем, а все дело в изменении земных условий...

Стало быть, законы развития биогеносферы, которые «ответственны» за все эти изменения, еще не вскрыты. Если же неизвестны основные законы развития, то очень и очень непросто разобраться в перепутанном клубке причин и следствий, очень непросто обнаружить, что же все-таки вызывает резкое изменение природных условий, и еще труднее дать доказательный прогноз возможных изменений... В этом смысле всемерное развитие теории физической географии становится насущно необходимым делом уже сегодня, особенно в связи с бурным развитием ядерной физики, принципиально доказавшей возможность получения термоядерной энергии.

Несмотря на высокий уровень энерговооруженности наиболее развитых стран мира, в среднем на одного жителя земного шара в наши дни приходится всего около одной десятой киловатта. А это очень мало. Термоядерная же энергия способна в корне изменить положение. «...Еще в конце этого или в начале будущего века, — считает академик Н. Н. Семенов, — можно будет увеличить электровооруженность, например, в 100 раз, то есть довести ее до 10 киловатт установленной мощности на человека. Это позволит электрифицировать и механизировать все производства, сельское хозяйство и быт, а при дальнейшем увеличении использования термоядерной энергии, скажем, еще в десять раз, откроются уже возможности рационального управления климатом (подчеркнуто мною. — И. З.)»¹.

«Управление климатом» — это широко распространенное, но очень неточное и слишком узкое понятие. Собственно, речь идет об управлении всем комплексом физико-географических процессов, потому что климат есть результат этих процессов и вообще нельзя изменить один компонент так, чтобы не изменились другие.

Какие произойдут изменения в природе, если, допустим, вместо холодного морского течения берега континента начнет омывать теплое течение? Авторы многочисленных проектов такого рода обычно отвечают, что климат приморских частей материка станет теплее, появятся новые возможности для развития сельского хозяйства и т. п.

Трижды за последние сто лет — в 1891, 1925 и 1941 годах — у тихоокеанского побережья Южной Америки разыгрывались следующие события. Как известно, берега Перу омываются течением Гумбольдта (или Перуанским). Это холодное течение, которое, во-первых, снижает температуру на побережье, а во-вторых, приводит к крайней сухости приморских районов, обуславливает существование

¹ «Правда», 1 января 1961 года, статья «Человек и природа».

пустыни Атакама. Течение очень богато планктоном и, следовательно, рыбой, которая служит объектом промысла. Обычно каждое лето в южном полушарии навстречу течению Гумбольдта устремляется теплое течение Эль Ниньо, доходящее до мыса Бианко у четвертого градуса южной широты. Но в некоторые годы, когда ослабевает северо-восточный пассат и на смену ему приходят северо-западные ветры, течение Эль Ниньо проникает почти на тысячу километров дальше к югу. На глазах у людей разыгрывается как бы классический случай изменения климата: холодное Перуанское течение отступает от берегов и на смену ему приходит теплое течение Эль Ниньо, температура которого на семь-восемь градусов выше обычной для этих мест.

В результате в океанской воде резко уменьшается количество кислорода (в холодной воде его всегда больше), что приводит к гибели донных животных. Промысловая рыба либо уходит от берегов, либо гибнет, и побережье покрывается гниющими морскими выбросами. Сероводород отравляет воздух, а на воде появляется дурно пахнущая черная пленка (у моряков это явление известно под названием «краски Каллао», потому что особенно страдает порт Каллао, морские ворота столицы Перу). Вслед за рыбой покидают берега многомиллионные стаи бакланов, альбатросов и других птиц. На обнаженные склоны гор, на пустынное побережье, где обычно господствует тихая, ясная погода, обрушиваются штормы, грозные ливни. Пустыня расцветает, появляется тропическая растительность. Реки наполняются водой. Приспособленные к сухому климату дома и постройки разваливаются. Дороги смываются. Обнажаются и выходят из строя проложенные в земле провода и водопроводные трубы — ближайшие города остаются без света и питьевой воды. Начинают гнить, разлагаться залежи гуано — ценного удобрения. Появляется множество насекомых, и возникает реальная угроза эпидемий...

Эти эксперименты, поставленные самой природой, продолжались каждый раз около месяца, но и этого малого срока достаточно, чтобы убедиться в справедливости вывода, сформулированного физической географией: биосфера настолько чуткий, тонкий и слаженный механизм, что малейшее нарушение хода естественных процессов (в данном случае смена северо-восточных ветров на северо-западные) вызывает сложную цепь последствий. Особенно настораживает, что далеко не все эти последствия благоприятны для человека, и все обстоит гораздо сложнее, чем это обычно представляют себе авторы различных проектов изменения климата.

А что произойдет, если растопить ледники Антарктиды? «Климат Земли станет теплее», — сам собою напрашивается ответ. Но и в этом случае дело обстоит не так просто. Да, уничтожение ледникового щита приведет к значительному повышению температуры в южных полярных широтах — таким будет по крайней мере первоначальный эффект. Далее, уровень океана повысится на несколько десятков метров. океан затопит низменности с наиболее плодородными почвами, оттеснив людей в возвышенные районы. Глубокое проникновение морских заливов в массивы суши сделает климат их более ровным, теплым и влажным... Широкое распространение получат болота, потому что повысится уровень грунтовых вод, что в свою очередь поведет к изменению процессов почвообразования, характера растительности и т. п. Ледники Антарктиды особенно быстро росли в то время, когда таяли ледники северного полушария. Не устремится ли освободившаяся влага в обратном направлении, не обрушатся ли на Северную Америку, Азию, Европу небывало сильные ливни?.. Несомненно, на земном шаре увеличится облачность, и это еще более усложняет анализ. В настоящее время средняя температура земного шара составляет около пятнадцати градусов тепла, а средняя облачность — пятьдесят процентов. Но если процент облачности возрастет до шестидесяти, то средняя температура земного шара снизится на десять градусов... Наконец, освобожденная от груза ледников, всплывет Антарктида. А большой массив суши, находящийся в высоких полярных широтах, уже сам по себе служит источником охлаждения климата. Имеются расчеты, доказывающие, что если массив суши постепенно увеличится до пятисот—шестисот километров в поперечнике,

то над ним возникнет антициклон и средняя годовая температура суши без всяких дополнительных причин понизится до десяти градусов по сравнению с первоначальной; этого уже вполне достаточно для возникновения нового оледенения...

Так вновь одна причина вызывает множество сложных последствий.

А в высшей степени популярная проблема уничтожения льдов Арктики? Насколько она реальна? Исследования, проведенные на дрейфующих станциях в Северном Ледовитом океане, как будто показывают, что постоянные морские льды Арктики — явление остаточное и если их искусственно убрать, то постоянные льды больше не возникнут... Но к каким последствиям приведет это? Все их перечислять, пожалуй, уже нет смысла, достаточно предыдущих примеров, но любопытно отметить, что есть такая точка зрения: уничтожение постоянных льдов Арктики приведет к... новому оледенению! Согласно этой гипотезе среднегодовая температура Арктики, лишенной льдов, будет близка к нулю, а испарение с открытой поверхности океана приведет к столь обильным снегопадам, что снег за короткое лето все равно не будет успевать стаять и начнет накапливаться на островах и побережье, превращаясь в ледники... Кстати, как показали новейшие исследования, в период наибольшего распространения ледников в Америке, Европе и Азии Северный океан вовсе не был «ледовитым»: поверхность его оставалась открытой и поставляла влагу для материковых льдов...

Строго говоря, если бы сегодня перед человечеством действительно встала проблема уничтожения ледников Антарктиды или льдов Арктики, наука не смогла бы с полной ответственностью перед будущим определить, какие изменения произойдут на земном шаре, целесообразно ли уничтожать ледники полностью или только частично.

Но завтра эта проблема встанет. Уже сейчас совершенно очевиден разрыв между техническими возможностями воздействия на природу и нашими знаниями о том, как поведет себя измененная природа. Но этот разрыв недопустим, и он, несомненно, будет ликвидирован в недалеком будущем. И будущее, которое возьмет на вооружение термоядерную энергию, предъявляет к физической географии еще более ответственные требования.

«При использовании термоядерной реакции для получения электроэнергии, — пишет академик Н. Н. Семенов, — придется строить станции очень большой сосредоточенной мощности. Есть ли для нее пределы? Как это ни странно, такой предел существует, и определяется он перегревом поверхности Земли и атмосферы в результате выделения тепла термоядерными реакциями. Можно считать, что средняя температура на Земле повысится на 7 градусов, если тепло, выделяющееся от термоядерных котлов, составит 10 процентов от солнечной энергии, падающей на Землю. Такое повышение средней температуры, вероятно, вызовет бурное таяние снегов Арктики и Антарктиды. Поэтому вряд ли разумно увеличивать добычу термоядерной энергии больше, чем в количестве около 5 процентов от солнечной»¹.

Как видим, Н. Н. Семенов допускает увеличение средней температуры Земли на три-четыре градуса, полагая, что оно не приведет ни к каким катастрофическим последствиям. Но мнение это пока не обосновано. Изменение средней температуры на три-четыре градуса в ту или иную сторону — это очень много. По некоторым расчетам (они дают представление о масштабе изменений) понижение летней температуры на один-два градуса послужило причиной четвертичного оледенения.

Поскольку очевидно, что близится эпоха термоядерной энергии и дополнительное тепло во все возрастающих количествах начнет поступать в биогеносферу, постольку бесспорно, что существует определенный физико-географический предел использования термоядерной энергии в пределах Земли. Физико-географам и предстоит установить этот предел, предстоит выяснить, насколько может быть

¹ «Известия», 1 и 13 июля 1961 года, статья «Наука и общественный прогресс».

повышена средняя температура в пределах биогеносферы и к каким это поведет последствиям.

Естественный источник энергии для всех процессов, протекающих у поверхности Земли, — солнечная радиация. Теоретически (да и практически, с помощью полупроводников) возможно прямое преобразование солнечной энергии в электрическую. Не разумнее ли в таком случае делать ставку на все более полное использование солнечной, а не термоядерной энергии, тем более что превращение первой из них в электроэнергию не вызовет перегрева земного шара (так считает Н. Н. Семенов)?

О значении гелиоэнергетики для будущего существуют разные точки зрения. Давно уже раздаются призывы строить гелиостанции в пустынных и вообще богатых ясными днями районах. Полупроводники позволят широко использовать солнечную энергию в быту.

Совсем иначе рассматривает эту проблему Н. Н. Семенов. Он пишет: «Столь же грандиозные перспективы откроются перед человеком, если мы научимся превращать солнечную энергию в электрическую с КПД, несколько превышающим тот, который имеет место в растениях... Если бы все то, что получает Земля от Солнца, превратить в электричество с КПД, скажем, 20 процентов, то мы оказались бы богаче, чем при предельном использовании термоядерной энергии. Правда, для этого пришлось бы покрыть кассетами с фоточувствительной жидкостью всю поверхность суши и воды, не говоря уже о грандиозных технических трудностях создания таких покрытий на океанах».

Представим себе, что преодолены «грандиозные технические трудности», что, скажем, примерно на половине земного шара между солнечным лучом и поверхностью суши и Мирового океана оказался «слой фоточувствительной жидкости или водной эмульсии, покрытый тонкой пластической пленкой», о чем дальше пишет Н. Н. Семенов. К чему это приведет?

Увы, к последствиям весьма и весьма нежелательным. В самом деле, это означает прекращение круговорота воды в биогеносфере, приведет к нарушению биогенного круговорота веществ, фактически прекратит процесс почвообразования, изменит характер газообмена на Земле, причем количество кислорода начнет быстро уменьшаться, нацело перестроит циркуляцию воздушных и водных масс, причем оные вообще станут «бессмысленными», и т. п. и т. д.

Последующие рассуждения Н. Н. Семенова основательнее и перспективнее. Допуская, что принципиально возможно создание катализаторов с высоким КПД, он полагает, что при использовании для облучения только одной десятой площади материков (без Антарктиды) можно создать шестьдесят тысяч электростанций, каждая из которых равна по мощности Красноярской ГЭС, а это уже само по себе — существенный вклад в энергетику будущего.

Надо, однако, иметь в виду, что десятая часть площади материков — это очень много, ибо не всякая «часть» пригодна для облучения: выпадают районы с высоким процентом облачности, с полярной ночью... Но при такой постановке вопроса уже не возникает категорических возражений со стороны физической географии, хотя обязательно потребуются предварительный физико-географический анализ возможных последствий.

Вообще о трудности всяких предсказаний можно судить по тому, как обстоит дело с прогнозированием погоды. Даже сложнейшие вычислительные машины не избавили синоптиков от ошибок, но традиционные остроты в их адрес неуместны: синоптикам приходится иметь дело с очень сложными процессами. Однако физико-географам придется анализировать еще более сложный комплекс процессов, как только дело дойдет до крупных преобразований. На этом уровне развития физическая география, несомненно, прибегнет к помощи кибернетики, сближение с которой уже началось.

Наконец необходимо подчеркнуть, что любое крупное преобразование природы потребует глубокого и полного знания взаимосвязей процессов, проте-

кающих в биогеносфере, и потому, что значительные изменения в одной части биогеносферы непременно сказываются на других ее частях. Когда уменьшается ледовитость северных морей, заметно повышается уровень озер в Экваториальной Африке, а уровень Каспия, наоборот, понижается; с интервалом в два-три года падает и уровень озера Мичиган в Северной Америке. Таяние ледников Арктики ускоряет рост коралловых островов в тропической полосе Тихого и Индийского океанов.

Эти обстоятельства ставят перед наукой еще одну, пожалуй, самую трудную проблему, которую непременно придется решать будущим преобразователям природы.

В сравнительно недавнем прошлом в Америке был выдвинут проект, предлагающий отклонить теплое течение Гольфстрим от берегов Европы и направить его к берегам Северной Америки. Как известно, климат северной половины Европы находится под самым непосредственным влиянием Гольфстрима, благодаря ему не замерзают моря, омывающие Скандинавию, растут леса в Норвегии и т. п. Атлантическое же побережье Северной Америки омывается холодным Лабрадорским течением, резко смещающим на юг границу тундры.

Если представить себе, что Гольфстрим действительно отклонен к берегам Америки, то, вероятно, климат американского побережья станет теплее, но климат Европы заметно ухудшится: леса, очевидно, сменятся тундрой, надолго начнут замерзать северные моря, пропадут важнейшие промысловые рыбы и т. д.

Стало быть, этот проект нечестный по своему существу, ибо предполагает улучшение климата Америки за счет Европы, и для подлинных ученых, придерживающихся высоких гуманистических принципов, подобный подход к изменению природных условий просто немыслим.

Значит, приступая к преобразованию природы крупных районов, физико-географы будут обязаны предсказать не только те изменения, которые произойдут в данном районе, но и те, которые могут произойти в природе других, подчас очень удаленных, районов земного шара. Если, скажем, улучшение климата Азии (это условный пример) поведет к ухудшению климата Австралии, то от такого проекта придется отказаться. А вот пример уже не условный. Если вопрос об искусственном уничтожении льдов Арктики встанет как вопрос практический, то придется прогнозировать изменения природной обстановки не только на территориях, прилегающих к Северному Ледовитому океану, но и изменения природных условий в Экваториальной Африке...

Необходимо иметь в виду, что слабое знание физико-географических процессов может привести к серьезным просчетам, совершенным, так сказать, без злого умысла. Так, недавно американцы предложили сбрасывать радиоактивные отходы в глубины океана, полагая, что там они окажутся навеки законсервированными. Но своевременно проведенные советскими океанологами работы показали, что активное вертикальное перемешивание воды охватывает всю толщу океана и, значит, радиоактивные отходы непременно распространятся по всему Мировому океану и, следовательно, заразят атмосферу. К каким неисчислимым вредным последствиям это привело бы, ясно и без всяких дополнительных примеров.

Итак, чем масштабнее становится вмешательство человека в ход природных процессов, тем очевиднее предъявляют к науке свои требования всеобщезначительные для всех подлинных ученых принципы гуманизма.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

Человечество не только целенаправленно изменяет природу, оно непрерывно воздействует на биогеносферу уже потому, что существует в ее пределах и добывает средства существования, причем интенсивность и масштабность этого воздействия непрерывно и стремительно возрастают. Никто и ничто не может отме-

нить этого естественного процесса. «Как дикарь, чтобы удовлетворять свои потребности, чтобы сохранять и воспроизводить свою жизнь, должен бороться с природой, — писал К. Маркс, — так должен бороться цивилизованный, должен во всех общественных формах и при всех возможных способах производства. С его развитием... расширяются его потребности; но в то же время расширяются и производительные силы, которые служат для их удовлетворения. Свобода в этой области может заключаться лишь в том, что социализированный человек, ассоциированные производители рационально регулируют этот свой обмен веществ с природой, ставят его под свой общий контроль, вместо того чтобы он как слепая сила господствовал над ними; совершают его с наименьшей затратой силы и при условиях, наиболее достойных их человеческой природы и адекватных ей. Но тем не менее это все же остается царством необходимости. По ту сторону его начинается развитие человеческой силы, которое является самоцелью, истинное царство свободы, которое, однако, может расцвести лишь на этом царстве необходимости, как на своем базисе»¹.

Так и будет при коммунизме. Но как было до сих пор?

Известно, например, что в древности в Центральной Америке существовало государство, созданное индейскими племенами майя. Все первое тысячелетие нашей эры в истории этого государства называют Древним царством, а последующие пять-шесть веков — Новым царством. Вероятно, это один из немногих случаев, когда хронологическое разделение на «царства» производится по территориальному признаку: в конце десятого века майя оставили все свои города, все обжитые места. Целый народ переселился на другое место, создал новые города, дворцы среди девственного тропического леса; территория же Древнего царства в условиях тропического климата была быстро поглощена растительностью...

Этому долго не могли найти объяснения, но в конце концов большинство ученых сошлось на том, что майя, которые вели примитивное подсечно-огневое сельское хозяйство, постепенно погубили землю, на которой жили и которая их кормила, и вынуждены были все бросить и уйти с нее... Целый народ поступил так же, как поступали каждые несколько лет отдельные славянские племена в средние века, как до сих пор поступают аборигены тропической Африки: истощается земля вокруг деревни — деревня переносится на новое место.

А вот пример из современной жизни. О нем рассказал советский океанолог В. Г. Богоров, посетивший в 1960 году на «Витязе» остров Рождества в Индийском океане. Остров Рождества так же, как и некоторые другие островки, богат ценным удобрением — фосфатом, который добывается компанией «Бритиш фосфат комизэн». Но предоставим слово очевидцу. Тысячелетиями природа трудилась над тем, чтобы создать эти уникамы, рассказывает В. Г. Богоров об островках. Извечная система пассатных ветров образует могучие течения — и поднимает из холодных глубин воды, насыщенные солями фосфора и азота. В верхних слоях океана, пронизанных солнечным светом, бурно развивается жизнь. На протяжении многих веков, поедая рыб, птицы оставляли на острове свой помет, заполнивший все расщелины и углубления среди известковых скал. Жаркий климат быстро высушивал помет, превращая его в прочную горную породу. Позднее все это скрыл буйный тропический лес.

Ныне же под ножами машин один за другим падают огромные стволы. А дальше, на верхнем плато, десятки экскаваторов выбирают ценнейшее удобрение из «карманов» известковых скал. Там, где прошли машины, все живое уничтожено. Точно бесчисленные «зубы», торчат голые известковые скалы, лишенные почвы, травы, кустарников, деревьев. «Что же будет с островом?» — почти вслух произносим мы. И, угадывая наши мысли, управляющий рудником говорит: «Когда весь остров станет таким, человеку здесь будет нечего делать».

Как видно по этим двум примерам, обмен веществ с природой отнюдь не сводится к тому, что взятое у природы так или иначе возвращается к ней, благо

¹ К. Маркс, Капитал, т. III, 1955, стр. 833.

существует утешительный закон сохранения материи и движения. Обмен веществ между человеком и природой предполагает самые различные последствия, многие из которых оказывали и оказывают серьезнейшее влияние на общественное бытие человека. Это происходит потому, что существует диалектическое единство между биогеносферой и человечеством и всякое сколько-нибудь значительное воздействие человека на природу возвращается в виде ответного воздействия природы на человека, и тут вполне уместно вспомнить пословицу: «Что посеял, то и пожнешь».

Но какой масштаб приняла ныне хозяйственная деятельность человека, какова интенсивность воздействия человека на природу?

Во всем мире в результате различных горнодобывающих, земляных работ, выливания шлаков из металлургических печей на земную поверхность за год выносятся не менее пяти кубических километров породы, то есть всего лишь в три раза меньше, чем уносят твердых осадков в океан все реки нашей планеты. Распахивая землю, люди ежегодно перемещают массу почвы, в три раза превосходящую количество всех вулканических продуктов, поднимающихся из недр Земли за этот же срок. Любопытно, что при полной механизации машины и орудия проходят по полям до двадцати пяти раз в течение одного года, распыляя почву и нарушая ее структуру. За последние пятьсот лет человечество извлекло из недр не менее пятидесяти миллиардов тонн углерода, два миллиарда тонн железа. Только за последние тридцать лет добыто цветных и редких металлов значительно больше, чем за всю предыдущую историю человечества. За последнее столетие промышленные предприятия «добавили» в атмосферу около 360 миллиардов тонн углекислого газа, что увеличило его среднюю концентрацию почти на 13 процентов. Ежемесячно на каждую квадратную милю в Нью-Йорке выпадает из воздуха 112 тонн сажи. В Советском Союзе общий водозабор из рек для нужд промышленности, сельского и коммунального хозяйства достигает 500 кубических километров в год, что составляет 30—40 процентов устойчивого годового стока (без паводков) всех рек нашей страны. Искусственно орошенные земли составляют на нашей планете не менее 100 миллионов гектаров, а осушенные — около 50. Площадь Рыбинского водохранилища на Волге всего в два раза меньше площади Онежского озера и в восемь раз больше площади Женевского. Каскад электростанций на Волге разительно изменил гидрологический режим этой крупнейшей в Европе реки.

Стало быть, есть все основания говорить о сравнимости воздействий человека на природу с планетарными процессами.

А вот некоторые последствия этих воздействий.

Распахивание огромных массивов земли сопровождается эрозией, развеиванием почвы. На всем земном шаре стали совершенно непригодными для дальнейшего использования в хозяйстве более 50 миллионов га, причем каждый год продолжают выпадать из сельскохозяйственного оборота миллионы гектаров некогда плодородных земель. В Соединенных Штатах общая площадь эродированных земель составляет уже более 400 миллионов га, а в Советском Союзе — порядка 100 миллионов. Ежегодно с полей и пастбищ США смывается три миллиарда тонн почвы, а в СССР ежегодный смыв почвы достигает примерно 535 миллионов тонн. В Африке в результате систематического выжигания растительности пустыня наступает на саванну, а значительные участки саванн возникли на месте сведенных тропических лесов. В США хозяйственная деятельность привела к тому, что площадь пустынь увеличилась вдвое. Рост оврагов ежегодно выводит в нашей стране из строя около 50 тысяч га пашни и кормовых угодий. В 1960 году в результате пыльных бурь на юге СССР были уничтожены или сильно повреждены посевы на нескольких миллионах гектаров. Только при очистке каналов в нашей стране ежегодно удаляется около 128 миллионов кубических метров наносов — продуктов эрозии. За последние сорок лет сток рек бассейна Дона уменьшился под влиянием хозяйственной деятельности в среднем на 10—15 процентов, а в некоторых степных реках — Малом и Большом Узеньях, например — ныне протекает

за год чуть ли не в два раза меньше воды, чем прежде. Некогда площадь лесов на земном шаре достигала примерно семи миллиардов гектаров; ныне она сократилась почти вдвое. В США от общей площади взрослого леса осталось около одной трети, а девственных лесов сохранилось не более 10 процентов... Некогда растительность резко уменьшила количество углекислого газа в земной атмосфере. Сейчас, как сказано выше, идет обратный процесс. Углекислый газ — пища растений; его количество оценивается специалистами как минимально необходимое для развития земной растительности; вероятно, добавляя газ, люди увеличивают интенсивность роста земных растений. Но углекислый газ, задерживая трансформированную Землей солнечную радиацию, «утепляет» Землю... Есть подсчеты, согласно которым при сохранении нынешних темпов развития промышленности (а они будут возрастать) углекислый газ перегреет земную атмосферу до недопустимых размеров уже через двести лет; считается, что количество углекислого газа, уже дополнительно поступившего в атмосферу, достаточно для повышения ее средней температуры на один-полтора градуса.

Как видно, и «ответы» природы на хозяйственную деятельность человека тоже приняли планетарный характер.

Вот некоторые примеры их стоимостного выражения. Ущерб, наносимый смывом почвы нашей стране, оценивается суммой, превышающей три миллиарда рублей в год. На очистку каналов ежегодно затрачиваются сотни миллионов рублей. Свыше одного миллиона рублей теряет наше государство из-за ущерба, который наносится рыбному хозяйству загрязнением водоемов только в РСФСР.

...Некогда целый народ мог оставить загубленные земли своего царства и переселиться на новое место. Не приведет человечество к катастрофе и гибель острова Рождества. Но коль скоро хозяйственная деятельность человечества приняла планетарный масштаб — думать и заботиться сегодня приходится уже о всей Земле: ее не покинешь! Строго же говоря, если бы не близкая эра коммунизма, были бы все основания видеть в судьбе обреченного острова грядущую судьбу земного шара. Опыт, уже накопленный нашей страной, где в ходе социалистического строительства происходит и перестройка взаимоотношений человека с природой, не оставляет сомнений, что возможно разумное, на научной основе управление природными процессами.

Коммунистическому обществу посылно будет «рационально регулировать свой обмен веществ с природой», именно ему будет дано поставить его «под свой общий контроль». Замечательно сказано Марксом, что взаимоотношения с внешней средой будут при коммунизме протекать «при условиях, наиболее достойных человеческой природы и адекватных ей». Можно ли хоть на секунду предположить, что взаимоотношения между человеком и природой, которые сложились на острове Рождества, достойны человека коммунистического будущего, адекватны ему?

Маркс прямо подчеркивал, что наряду с принципиальным изменением производственного процесса люди в их взаимных связях претерпевают собственный постоянный процесс движения, в котором они обновляют самих себя в такой же мере.

Поскольку мир коммунистического богатства коренным образом отличается от мира капиталистического богатства, постольку и человек будущего будет коренным образом отличаться от человека прошлых эпох. Иначе говоря, с наступлением социальной формации, живущей по законам свободного времени, завершается, на уровне предыстории, психологическая эволюция человека, человек человеку становится другом, братом; этой его сущности и будут адекватны взаимоотношения с природой.

Человечество и биогеносферу можно представить себе в виде двух «вечных партнеров», находящихся в постоянном взаимодействии. Взаимосвязи человека с природой, разумеется, выходят и будут выходить за ее пределы. Но обмен веществ с природой не сводится к примитивной формуле «взял — отдал», а предпо-

лагает невольное вмешательство в ход природных процессов со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Существует довольно большая литература, констатирующая то или иное влияние человека на природу. Никто, разумеется, не отрицает и влияние природы на человека. Отнюдь не преуменьшая значения накопленных материалов, необходимо все-таки подчеркнуть, что до последнего времени наука отмечала следствия и проходила мимо причины. Разные науки изучали разные формы взаимовлияний человека и природы, но ни одна наука не изучала взаимодействие человеческого общества с биогеносферой, с природой как единый естественноисторический процесс, как особую форму движения, действующую на нашей планете. Очевидно, что, как и всякий объективно существующий процесс, он имеет свои закономерности. Последние нельзя свести к законам, управляющим развитием общества или биогеносферы в отдельности, а тем более — к сумме социологических и физико-географических законов: несомненно, что существуют особые связи, охватывающие весь комплекс специфических явлений и зависимостей, относящиеся именно к взаимоотношениям человека и природы. Взаимодействие человеческого общества с природой и его эволюция подчиняются своим особым, не до конца еще понятным законам, по-разному проявляющимся в различных исторических и природных условиях.

Поскольку эти законы заведомо не совпадают ни с социологическими, ни с физико-географическими законами, заняться изучением взаимодействия человека с природой должна специальная наука, которую можно бы назвать натурсоциологией.

Около ста лет назад Ф. Энгельс, имея в виду влияние человека на природу, писал, что «...потребовались тысячелетия для того, чтобы мы научились в известной мере учитывать заранее более отдаленные естественные последствия наших, направленных на производство, действий... еще гораздо труднее давалась эта наука в отношении более отдаленных общественных последствий...»¹.

Со времен Энгельса, собственно, ничего не изменилось: до сих пор мы лишь в «известной мере» учитываем естественные последствия воздействия на природу и далеко не овладели наукой предсказания общественных последствий. Но именно потому, что общественные последствия уже приобрели гигантские масштабы, подобное положение более нетерпимо. Оно, несомненно, будет исправлено. В социальном плане залог тому — коммунизм, в научном — натурсоциология.

Наверное, натурсоциологии придется изучить весь опыт, накопленный человечеством в борьбе с природой за всю предшествующую историю. Особенно ценен — как негативный по преимуществу — будет опыт эпохи капитализма. Но объективно натурсоциология — по существу своему это наука об управлении взаимодействием человеческого общества и природы — может развиваться, окрепнуть и дать практические результаты лишь в условиях коммунизма, лишь в обществе, живущем по законам науки и на плановой основе.

Если до сих пор речь шла о природе как базисе, на котором должно расцвести царство свободы, то теперь речь пойдет о его технической основе.

Автоматизированное производство — вот единственная реальная техническая основа, на которой может возникнуть общество, живущее по законам свободного времени. Оно, это автоматизированное производство, будет иметь характер естественного процесса, в котором, как во всяком процессе, будет происходить изменения и обновления, который будет непрерывно совершенствоваться, — процесса, который в конечном счете всегда будет направляться человеком, всегда будет подчиняться общественному рассудку.

По Марксу, при коммунизме человек как бы становится «рядом» с производством и «рядом» с природой (поскольку он выключается из непосредственного участия в добычании материальных благ) и выступает по отношению к производству и к природе как наблюдатель, регулятор и стимулятор. Человек как бы

¹ Ф. Энгельс. Диалектика природы, 1955, стр. 141.

сталкивает два объективно существующих явления — природу и автоматизированное производство — и наблюдает за их взаимодействием, регулирует, направляет, совершенствует, стимулирует его.

Управление автоматическим процессом, очевидно, ляжет на плечи кибернетики, причем самый процесс будет — с той или иной степенью специфичности — охватывать и промышленное, и сельскохозяйственное производство, хотя постепенно грани между ними почти сотрутся.

Программирование допустимого, целесообразного «вмешательства» автоматизированного производства в природные процессы, в жизнь биогеносферы, учет его естественных последствий — все это будет составлять важнейшую задачу физической географии, которая к тому времени возьмет на вооружение и математику и кибернетику.

Прогноз же общественных последствий взаимодействия биогеносферы с автоматическим процессом станет одной из главнейших задач натурсоциологии, которую она сможет успешно решать лишь при непосредственной помощи физической географии.

Прогноз общественных последствий воздействия человека на природу предполагает, конечно, не только предупреждение отрицательных последствий, но и учет, планирование последствий положительных. При планировании на высоконаучной основе всего процесса взаимодействия природы и человека в будущем, несомненно, удастся так наладить взаимосвязи «природа — автоматический процесс», что природа будет получать от человека и соответственно возвращать ему почти исключительно положительные импульсы, способствующие общественному прогрессу.

Два дополнительных обстоятельства делают насущно необходимой разработку натурсоциологических проблем уже сегодня.

Первое заключается в том, что мы живем в период резкого перелома в формах взаимодействия человеческого общества с природой, в период скачка. В сущности, на наших глазах заканчивается век железа (в данном случае имеется в виду не уровень цивилизации, а преимущественное использование материала). Лишь в прошлом веке был достигнут предел в использовании чистого железа; ныне же наряду с различными сплавами железа все большее значение приобретают другие материалы — легкие сплавы на основе алюминия и магния, пластические массы и т. п. Чрезвычайно любопытна в натурсоциологическом плане загадка нефти. Есть подсчеты, согласно которым запасы нефти на земном шаре будут практически исчерпаны в ближайшие десятилетия. Если это так, то произойдут и определенные изменения в формах взаимодействия человека с природой (напомним, что пользоваться нефтью люди научились еще в античные времена). Но все эти расчеты исходят из органической теории происхождения нефти — запасы остатков растений, микроорганизмов на Земле количественно ограничены и, значит, имеет пределы производный от них продукт — нефть. В последнее время, однако, накапливается все больше доказательств в пользу неорганической теории происхождения нефти. Если верна эта вторая теория, то запасы нефти на земном шаре практически неисчерпаемы, поскольку нефть непрерывно образуется в недрах Земли. Надо ли доказывать, что решение этого спора имеет немаловажное значение для судеб человечества?!

Судьба каменного угля до сих пор не очень волновала умы, поскольку запасы его достаточно велики. Но в принципе использование угля и нефти в качестве топлива нерационально, ибо и то и другое — ценнейшее сырье для химической промышленности; и в будущем, после того, как в энергетике ведущее место займет производство термоядерной энергии, уголь и нефть целиком перейдут в ведение химии.

Недалеко то время, когда практически будут исчерпаны месторождения полезных ископаемых, лежащие, так сказать, на поверхности, в верхнем километровом слое земной коры. Это потребует совершенно новых методов разработки и добычи полезных ископаемых. Их созданием и внедрением уже занимается геотехнология — новая область науки и техники, возникшая на стыке геологии, горного

дела, геохимии, химической технологии. Очень перспективна биоготехнология, разрабатывающая методы использования микроорганизмов для получения самого различного промышленного сырья (железа, марганца, редких металлов, нода и т. п.).

Близко время, когда в среднем по земному шару будет достигнут предел в использовании древесины как энергетического источника. В управлении фотосинтезом, в использовании, в частности, планктонных водорослей многие ученые усматривают панацею, способную восполнить ущерб, уже нанесенный лесному хозяйству и пахотным землям. Во всяком случае бесспорно, что овладение фотосинтезом позволит получать необходимые дополнительные массы органического вещества, а водным пространствам морей и океанов суждено стать сельскохозяйственными угодьями. В будущем, очевидно, произойдет перестройка территориальных связей во взаимоотношениях человека с природой: суша, вероятно, будет отдана преимущественно промышленности и различного рода поселениям, а сельское хозяйство как бы «сползет» в моря и океаны, хотя это разделение и не будет иметь абсолютного характера.

В пользу же этого предположения говорят следующие факты. Интенсивность жизни, способность ее к самовоспроизводству значительно выше в океане, чем на суше. Для того, чтобы вырасти, стать взрослым, слону требуется сорок лет, а киту — два года. Сведенный лес восстанавливается десятки лет. Планктонные водоросли в океане дают десятки поколений за сезон. Это главное. С морских плантаций можно получить гораздо больше и растительных и животных продуктов, чем с плантаций, расположенных на суше, что немаловажно для будущего.

Наше традиционное растениеводство чрезвычайно нерентабельно и по другой причине. Условия жизни на суше усложнили строение растений, привели к обособлению их органов. Скажем, человек вырастил рожь. У растения есть корни, есть стебель, есть колос, зерна, ради которых и высевается эта культура. Стало быть, из всей массы растения практически используется лишь небольшая часть ее (не будем сейчас принимать в расчет использование в хозяйстве соломы — речь идет о пище человека). Остальное пропадает. А что, если иметь в виду массу, представляет собой остальное, видно из следующего: подсчитано, что корнями и корневыми волосками четырех экземпляров ржи можно опоясать весь земной шар по экватору! Иное дело морские растения: они могут быть использованы целиком, на все сто процентов.

Немаловажны и чисто «территориальные» соображения: «земли» не так уж много на земном шаре, и по мере роста городов, деревень, промышленных предприятий и тому подобного «цена» гектара будет непрерывно возрастать.

Так или иначе, но в будущем человечество окажется гораздо глубже и разностороннее связанным с океаном, и это уже сегодня накладывает на науку определенную ответственность.

Наконец необходимость разработки натурсоциологических проблем диктуется и ростом народонаселения земного шара. Сейчас на нашей планете обитает три миллиарда человек. Треть из них постоянно недоедает. По весьма реалистичным подсчетам, за ближайшее столетие население земного шара возрастет до восьми или даже десяти миллиардов человек. Это не дает никаких оснований для рассуждений в неомальтузианском духе: голод — наследие определенных социальных условий, он уйдет в прошлое вместе с эксплуататорскими формациями. Но ликвидация постоянного голодания или недоедания наряду с быстрым ростом населения вызовет резкое увеличение интенсивности взаимодействия человечества с природой (а также изменение форм этого взаимодействия), и наука должна быть готова к этому.

Чтобы полнее обрисовать проблематику натурсоциологии, необходимо напомнить одну важную мысль Ф. Энгельса. «Как естествознание, так и философия, — писал он, — до сих пор совершенно пренебрегали исследованием влияния деятельности человека на его мышление. Они знают, с одной стороны, только природу, а с другой — только мысль. Но существеннейшей и ближайшей основой

человеческого мышления является как раз изменение природы человека, а не одна природа как таковая, и разум человека развивался соответственно тому, как человек научался изменять природу»¹.

Стало быть, процесс взаимодействия общества с природой оказывает, а иначе и быть не может, огромное непосредственное влияние на общественный рассудок, на прогресс нашего мышления, на психологию. И здесь необходимо сказать хотя бы несколько слов о значении химии полимеров — с некоторой ориентацией ее в будущее — для человека грядущих поколений.

За свою историю человечество создало колоссальные культурные ценности, добилося огромных успехов в науке и технике и, казалось бы, окончательно выделилось из породившего нас мира животных. Дело, однако, сложнее, и разобраться в нем небезынтересно, если иметь в виду натурсоциологический аспект (кстати, проблема эта увязывается и с космическими судьбами человечества). Отметим сначала следующее. С наступлением коммунизма, по Ф. Энгельсу, «прекращается борьба за отдельное существование. Тем самым человек теперь — в известном смысле окончательно — выделяется из царства животных и из звериных условий существования переходит в условия действительно человеческие»². Это в плане разрешения внутренних противоречий, но ведь есть еще взаимоотношения с внешним миром, и тут, увы, приходится констатировать, что человек лишь за собою узурпировал безусловное право на существование. Поведение, психология современного человека — «гомоцентричны», если так позволительно выразиться. Явления внешнего мира делятся нами на «полезные» и «вредные», причем в основе этого деления лежит узко утилитарный критерий. Почему объявлена война на уничтожение прекрасному умному зверю — волку? Только потому, что он поедает тех овец, которых мы намерены съесть сами. Это простейший пример, а самая затронутая проблема имеет как бы два ракурса.

Первый возвращает нас к естествознанию и вновь заставляет напомнить, что мы еще очень плохо знаем окружающий нас мир.

...Каждую весну на побережьях северных морей несметные стаи птиц образуют «птичьи базары». Среди этих птиц есть «полезные» — те, у которых человек отбирает яйца, которых человек ест, которые дают человеку пух; есть, разумеется, и «вредные» — хищники, которые тоже не прочь полакомиться этими птицами. С узко утилитарных позиций тут как будто бы все просто: «вредных» птиц-хищников надо уничтожить, чтобы они не вырывали кусок мяса изо рта у человека. Так и было сделано на северном побережье Скандинавского полуострова.

...Обильно рыбой устье Дуная — издавна добывают ее там в значительном количестве. Но рыбу добывают не только люди — ее промысляют и бакланы. Уже поэтому бакланы, конечно, птицы «вредные», и было принято решение уничтожить их в устье Дуная, чтобы люди могли увеличить уловы. Уничтожили... А потом пришлось искусственно восстанавливать поголовье «вредных» птиц-хищников в Скандинавии и «вредных» бакланов в устье Дуная, потому что в этих районах начались массовые эпизоотии, погубившие огромное количество и птиц и рыбы. Лишь после этого, с немалым опозданием, было установлено, что «вредители» питаются преимущественно больными животными и тем самым предупреждают эпизоотии...

Эти примеры лишний раз свидетельствуют, насколько все сложно переплетено в окружающем нас мире и как осторожно нужно подходить даже к проблеме «вредных» животных или растений.

Второй аспект сложнее, противоречивей, глубже. Дело в том, что человек до сих пор поддерживает свое существование так же, как и все прочие животные: он живет за счет чужой жизни, уничтожая ее и оправдывая это уничтожение. Внешне тут все легко и просто объясняется логикой истории — как биологической, так и социальной, — иного пока не дано. Но именно — пока.

¹ Ф. Энгельс. Диалектика природы, 1955, стр. 183.

² Ф. Энгельс. Анти-Дюринг, 1951, стр. 267.

Одна из ярких особенностей истории нашего столетия — это стремительнейшее развитие химии полимеров, создающей различные заменители природным продуктам — коже, меху, шелку, льну, хлопку, каучуку, дереву, металлу, естественным краскам и т. п. Иначе говоря, в жизни человека, в его обиходе в наши дни происходит быстрое замещение естественных продуктов искусственными. Уже сегодня для того, чтобы приобрести шубу, необязательно убивать овцу. Завтра люди научатся получать — из той же нефти, например — искусственные белки, жиры, сахар и т. п.

Этот процесс замещения естественных продуктов искусственными — кстати, более практичными и удобными — начался как-то очень незаметно, а ныне приобрел такой колоссальный размах, что просто невозможно сомневаться в его объективности, в том, что предметный мир человека будущего, его пища в основном будут определяться химией — наукой, призванной широко раздвинуть горизонты человека.

Но если отнюдь не моральные побуждения заставили человека заменить шкуру овцы искусственным мехом, то теперь можно все-таки оценить и моральное, психологическое значение этого факта, можно попытаться понять, как эта победа человека над природой скажется на нем самом, на его отношении к внешнему миру.

Первое и главное заключается в том, что замещение естественных продуктов искусственными освобождает человека от необходимости посягать на жизнь других существ и тем самым предопределяет еще один психологический перелом во взаимоотношениях человека с природой. Только осуществив этот скачок, человек действительно порвет со своим биологическим прошлым — произойдет, таким образом, определенное завершение психологической эволюции человека, его окончательное становление во внешнем мире как особой категории.

Можно представить и моральный, психологический результат: он выразится в ином, более уважительном, чем сейчас, отношении ко всему сущему, в признании права на существование за всеми живыми организмами. Такое понимание и такое восприятие природы чрезвычайно обогатят человека внутренне, они сделают внешний мир прекрасней, ближе, позволят обрести новых друзей среди животных и растений, до конца откроют ему сложность всякой жизни, в том числе сложность психических проявлений как у животных, так и у растений.

Совсем немаловажно наконец, что, избавившись от повседневной необходимости уничтожать живое, человек обнаружит гораздо больше внутренних родственных связей с природой, чем обнаруживаем мы сегодня.

Как ни далеко то грядущее, одну из граней которого приоткрывают нам перспективы развития современной химии, можно все-таки указать по крайней мере на две задачи, которые придется решать в том далеке науке.

Первая из них связана с реакцией биогеносферы на деятельность человеческого общества, с тем очевидным фактом, что уже сегодня биогеносфера «учитывает» человека в своем приходе-расходном балансе. Так, во время мировых войн, когда резко сокращался вылов рыбы в Северной Атлантике, среди промысловых рыб начинали распространяться болезни из-за скученности, «тесноты» в море, а средний размер рыбин заметно уменьшился. Это свидетельствует о регулирующей роли человека в ходе биологических процессов в море, о том, что природа подладилась особым образом к нашей хозяйственной деятельности.

Полный переход к миру синтетических предметов и синтетической пищи приведет, естественно, к ликвидации некоторых издавна сложившихся связей, и это может вызвать нежелательные последствия, тем более что этому переходу будет предшествовать усиление взаимодействия человека с природой. Вероятно, поэтому физической географии придется конструировать новые или восстанавливать разрушенные звенья в цепочках природных процессов, чтобы предупредить нежелательные последствия.

Вторая задача — конструирование ландшафтов поверхности суши. Те тенденции в жизни человечества, которые позволяют сегодня заглянуть в будущее, как

будто бы свидетельствуют, что традиционное представление о материках, как распаханых и засеянных, едва ли правильно. И «смещение» сельского хозяйства с суши на море, и развитие химии позволяют предположить и другое: скорее всего, материки будут заняты массивами лесов, лугов и парков, среди которых разместятся города, населенные пункты, промышленные предприятия, пролягут дороги. Мир будет зеленым, могучим, шумящим... Но подбор лесных ландшафтов — в зависимости от широты, климата — непрост, и им должна будет заняться физическая география, а также такие ее разделы, как ландшафтоведение, учение о культурных ландшафтах.

Вернемся теперь к нашим дням, поразмыслим о тех явлениях, которые мешают единению человека с природой.

Уже говорилось об экономических последствиях загрязнения рек и водоемов. Но все вредные общественные последствия этим далеко не исчерпываются. Изменяя таким образом природу, безответственные хозяйственники не только демонстрируют изъяны собственного общественного сознания и морали, но и оказывают колоссальное вредное влияние на сознание, психологию, мораль десятков тысяч других людей, загрязняя не только реки, но и души.

Элементарные нормы коммунистической морали, сознательности требуют отношения к природе как к народной собственности, как к государственной сырьевой базе. К сожалению, психологическая перестройка значительной части населения нашей страны, еще не избавившейся от частнособственных интересов, в этом направлении далеко не закончилась. Природа для этих людей «ничья», с ней можно творить все, что угодно: и стрелять скворцов, и пиратствовать у волжских плотин.

С этой точки зрения натурсоциология уже сегодня предъявляет особые требования к юридической науке. Во всех странах, где существует частная собственность на землю, грабеж земли, принадлежащей частному лицу, и грабеж его дома юридически расцениваются как равнозначные преступления. У нас же случилось невероятное: советская юриспруденция фактически санкционирует разное отношение к государственной собственности, находящейся, скажем, на заводском складе, и к государственной собственности в озере, море или лесу, по-разному расценивая грабеж сырья на складе и грабеж сырья в природе. Кража пары валенок ведет к уголовной ответственности. Уничтожение же всей принадлежащей государству рыбы в реке, то есть нанесение ущерба, не сравнимого с мелкой кражей, не ведет ни к какой юридической ответственности!

В период строительства коммунистического общества совершенно необходим юридический кодекс, защищающий природу так же, как вообще защищается у нас государственная собственность, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Недопустимо, что у нас в стране имеет место грабеж природы, а юридические нормы таковы, что грабителей нельзя призвать к ответу. Помимо всего прочего, это замедляет психологическую перековку людей, затрудняет воспитание коммунистической сознательности, морали.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРИРОДЫ... ЧЕЛОВЕКА

Итак, небывало могущественный и свободный, разносторонне образованный и много умеющий, человек коммунистического будущего вступит в принципиально новые взаимоотношения и с окружающим миром, и с обществом. Там, в этом будущем, возникнут неизмеримо более сложные и многообразные взаимосвязи с природой, там резко увеличится сумма знаний, возникнут новые науки, сольются, быть может, старые, «взорвавшись» каскадом новых открытий...

Можно ли утверждать, что все это поведет лишь к социальным и моральным изменениям и никак не скажется на самой природе человека? Если не забывать, что, изменяя окружающий мир, человек изменяет самого себя, то такое предположение, пожалуй, следует признать необоснованным.

Конечно, у человека не появятся дополнительные руки или глаза — в этом плане природа перепробовала столько вариантов, что много пока не дано. Но человеческая психика — «организация» неизмеримо более гибкая, и тут возможны существенные изменения. К сожалению, эта «гибкая организация» изучена значительно слабее, чем все относящиеся к физиологии. Ученые, однако, сходятся на том, что возможности нервной системы человека колоссальны, и мы подчас просто ничего не знаем о них, а иной раз не умеем использовать. Один из примеров тому — телепатия, к которой долго относились как к досужей выдумке лжеученых.

Вопреки только что сказанному наука уже располагает определенными сведениями, которые позволяют — пусть приблизительно — представить себе природно-психологическое переустройство человека «царства свободы» и наметить пути активного, целенаправленного формирования человеческих способностей.

Нелегкая проблема эта требует далекого исторического экскурса: придется вкратце проследить всю психологическую эволюцию жизни на Земле.

Палеонтология, наука об ископаемых животных, не дает и не может дать непосредственного материала для суждения о психологической эволюции жизни на ранних ее этапах. В этом случае приходится пользоваться методом так называемого «актуализма», то есть проследивать развитие психики на примере ныне существующих животных. Так, простейшие организмы, например амебы (по аналогии с ними и первые простейшие существа на Земле), обладают способностью реагировать лишь на внешние физико-химические воздействия, но не способны закреплять свои «ощущения».

Принципиально в таком же положении находятся и другие примитивно организованные животные: у них не было и нет никаких навыков, в процессе жизнедеятельности они не приобретают опыта и не передают его по наследству. Но уже поведение кишечнорастных в основном определяется природными связями. В жизни же членистоногих, высшего типа беспозвоночных животных, инстинкты играют огромную роль. В таком же положении находятся и низшие позвоночные — рыбы: у них тоже поведение определяется навыками, выработанными видом за время его существования и передающимися по наследству.

Инстинкты, как известно, очень консервативны, они строго определяют поведение животного и не позволяют изменить его даже в том случае, если оно перестает быть целесообразным.

Постараемся теперь представить себе, как должна была пойти психологическая эволюция при смене морской пространственной фазы материковой, природные условия которой были гораздо суровее и разнообразнее. Очевидно, возможны были два пути: предельное усложнение наследственных навыков, инстинктов и приобретение способности вырабатывать важнейшие навыки в процессе жизнедеятельности, чтобы быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям.

По первому пути пошли насекомые, наземный класс членистоногих. Как известно, им свойственны сложнейшие инстинкты.

По иному пути пошли позвоночные: от земноводных до млекопитающих прослеживается постепенное снижение роли инстинктов и возрастание роли «интеллекта», «разумной» деятельности, иначе говоря — «личного опыта».

Психологическая эволюция, заключающаяся в переходе от закрепленных, передающихся по наследству навыков, к навыкам, приобретаемым в процессе жизнедеятельности особи и по наследству не передающимся, соответствует материковой пространственной фазе.

Наиболее полным выразителем этой эволюции стал человек, в жизнедеятельности которого роль инстинктов сведена до минимума и решающее значение имеет интеллект, способный быстро приобретать множество навыков и знаний, обеспечивающий человеку (существу физически слабому) возможность не только приспособливаться к разнообразнейшим условиям, но и изменять их в нужном направлении.

Итак, легко убедиться, что развитие способности мыслить, переход от «не-

мыслящих» животных к «мыслящим», то есть к самым сложным существам на эволюционной лестнице Вселенной, в общем плане действительно увязывается с усложнением среды обитания.

Человек появился в начале четвертичного периода. Общее развитие ландшафтов земного шара именно к этому времени привело к максимальной (за всю историю Земли) дифференцированности природных условий на поверхности суши, что, в частности, было вызвано начавшимся резким похолоданием. Здесь связь прямая: выделение человека из мира животных — это реакция жизни на усложнение и ухудшение внешних условий обитания. Выделив, обособив человека, жизнь тем самым создала основу для подчинения себе остальной природы, для сознательного управления ею в конечном счете. Природа не только познает себя в лице человека или человек не только природа, познающая самое себя, но еще и природа, сама собою управляющая, подчиняющая себе стихийные силы.

Что человек продолжает совершенствоваться интеллектуально и психологически, показывает хотя бы тот факт, что у человека в процессе его становления резко увеличилось сорок одно поле коры головного мозга. Нет никаких оснований считать, что эволюция уже завершилась, и можно высказать кое-какие догадки в этом плане.

Но сначала необходимо напомнить об одной удивительнейшей особенности, отличающей психологическую организацию человека от психологической организации других млекопитающих.

Из поколения в поколение собаки, например, живут среди людей и остаются при этом собаками; то же самое можно сказать про кошек, коров и прочих домашних животных. Науке известно немало случаев, когда ребенок, похищенный волками, медведями или обезьянами, воспитывался в течение нескольких лет вдали от людей, а затем его ловили и возвращали в человеческое общество. Во всех этих случаях человек, выросший среди животных, становился зверем, утрачивал почти все человеческие признаки. Дети почти нацело утрачивали способность усваивать человеческую речь, и лишь с колоссальным трудом удавалось обучить некоторых из них нескольким словам. Ходили дети на четвереньках, и это понятно, но странно, что у них исчезала способность к прямохождению и они едва выучивались держаться на двух ногах. Жили дети примерно столько же лет, сколько в среднем живут воспитавшие их звери...

Как видно, по логике психологической эволюции, нам, людям, досталась чрезвычайно гибкая и восприимчивая нервная организация, способность которой, однако, к передаче всяких наследственных признаков крайне ослаблена. Чтобы ребенок вырос человеком, совершенно необходимо, чтобы его ежедневно, ежечасно воспитывали, пестовали люди, общество. Вне общества человеческий индивидуум превращается в животное.

Можно предположить, что дальнейшая эволюция психики человека пойдет по линии все более полного закрепления человеческих признаков с последующей передачей их по наследству. Значит, через энный период времени ребенок человека, в каких бы условиях он ни воспитывался, сохранит человеческие способности, не превратится в зверя, сам, без посторонней помощи, освоит человеческие азы (только азы, конечно, и, главное, не утратит способности к речи, прямохождению и т. п.). В этом смысле человеку предстоит «подтянуться» до уровня своих биологических предков, но само по себе закрепление простейших способностей человека послужит лишь началом значительно более глубокого и сложного процесса.

Суть в том, что в широком естественноисторическом и социальном плане человеку еще «рано» закреплять те свойства, которыми он сейчас располагает. Труд — главное в человеке — не стал его первой жизненной потребностью, братское отношение ко всем ближним еще только пробивает себе дорогу ко многим и многим человеческим сердцам, еще существуют в психике национальные барьеры.

Иное дело человек будущего, человек царства свободы! Вот тогда логика исто-

рического развития потребует закрепления наряду с простейшими признаками человека и подлинно человеческого в человеке: врожденного трудолюбия, гуманизма, интернационализма (пока существуют нации), и начало этого процесса, видимо, уже не за горами.

Процесс закрепления человеческого в человеке, очевидно, будет сопровождаться и увеличением способности к передаче знаний, закрепляемых в словах, по наследству. Общее социальное значение знаний, добытых наукой и вовлеченных в производственный процесс, неизмеримо возрастет в будущем, и знания об окружающем мире во многом будут определять сущность человека. Эту способность можно определить как реакцию нервной системы человека на стремительное увеличение объема знаний, на усложнение взаимодействий с природой. Некоторые же наши знания, навыки, корни своими уходящие в далекое прошлое человека, а то и в мир животных или физиологию, уже сейчас передаются детям по наследству (что и свидетельствует о вероятности предположения). Примером тому может служить, скажем, свойственный многим людям инстинктивный страх перед темнотой, боязнь незнакомого пустого помещения, характерная для немалого числа женщин или детей (последнее, вероятно, восходит к навыкам, приобретенным в «пещерный период» жизни человека); дети до сих пор боятся оставаться одни в доме — это тоже от прошлого. Передаются по наследству и проявляются у детей в очень раннем возрасте навыки материнства и «воинственности». Передаются по наследству и некоторые «артистические» навыки, восходящие к подражанию, копированию, на что способны и животные.

Интересно, что чем «моложе» в историческом плане навыки, тем хуже они передаются по наследству. Так, способность рисовать, свойственная только человеку, наследуется слабее, чем артистическая способность. Пока нет никаких доказательств передачи по наследству самого «молодого» из людских навыков — навыков владения письменным словом, которые, видимо, еще не кодируются в нервной ткани.

Вероятно, существует еще немало навыков и знаний, закодированных в нервной системе и передающихся по наследству, но мы не умеем проявлять их. Они «сами» проявляются у гениальных или очень талантливых людей, а порою — как это ни парадоксально — и у людей со специфически больной психикой (при галлюцинациях люди нередко видят картины, которых сами никогда не видели, но которые могли видеть их предки, — проблема так называемой «глубинной памяти»). В дальнейшем же наши потомки подыщут ключи к различным кодам, научатся расшифровывать, проявлять нужные унаследованные знания и глушить, устранять ненужные, устаревшие. Трудно представить себе, что люди будущего обойдутся при этом без достижений микроэлектроники, кибернетики. Вероятно, с их помощью будут «нащупаны» связи, «концы» которых пока теряются где-то в тайниках нервной системы. Разумеется, это не означает, что мозг человека перестанет схватывать все новое: эта способность значительно усилится хотя бы потому, что не нужно будет затрачивать время, энергию на заучивание азов.

А теперь немножко пофантазируем, постараемся представить себе, что будет означать подобная психологическая эволюция для общества будущего.

Самое главное, наверное, заключается в том, что именно благодаря этой эволюции человек получит реальную возможность управлять собственной природой. Проявляя и усиливая уже заложенную в ребенке психическую наследственность, люди высокоразвитого коммунистического общества будут буквально формировать гениальных ученых, инженеров, музыкантов, художников, писателей. Призвание воспитателя, педагога выдвинется в ряд важнейших в обществе будущего: они станут в полном смысле слова производительной силой, они будут ответственны за создание необходимого количества талантливейших специалистов для самых различных областей хозяйства, науки, жизни вообще.

Ну, а если по каким-то причинам характер молодого человека придет в противоречие с развитыми в нем знаниями, способностями? Приведет ли это к новой форме социального конфликта? Нет, коль скоро речь идет о высокоразвитом

обществе, живущем по законам свободного времени. Во-первых, как уже говорилось, многогранность человека — прямое социально-экономическое требование коммунизма. Во-вторых, молодой ученый или инженер получит полную возможность переквалифицироваться, а выход на «стык» с новой областью знания в любой момент может привести к неожиданным открытиям. Совсем не исключено, что в будущем и это обстоятельство будет учитываться.

Психологические циклы эволюции, как было показано, четко соотносятся с пространственными фазами эволюции. Очевидно, что предполагаемый мною следующий цикл будет соответствовать космической пространственной фазе, у истоков которой мы сейчас находимся. Во всяком случае бесспорно, что революционизирующее значение выхода в космос коснется не только научных, моральных и социальных сторон бытия, но затронет и нашу человеческую сущность, поведет к дальнейшему совершенствованию мозга, увеличению его возможностей.

Совсем не лишней представляется поэтому попытка понять возможные тенденции этих изменений.

КОСМОС И ГЕОКОСМОЛОГИЯ

В последние годы разные авторы и по-разному высказывали в общем одну и ту же главную мысль — мысль о глубокой закономерности выхода человека в космос, о неизбежности совпадения космической фазы существования человечества с коммунистической общественной формацией.

Развитие человечества привело к тому, что оно включило в орбиту своей деятельности уже всю планету. Планетарный размах человеческой деятельности — это уже космический размах, космический масштаб. Выход в космос, постепенное включение в «царство естественной необходимости» околосолнечного пространства и других небесных тел — следующий закономерный шаг человечества.

Событие это, несомненно, скажется во всех областях знаний и в практической деятельности людей. Как-то очень незаметно — а это и служит лишним доказательством закономерности происходящего — наука и практика подвели человека к космосу. Людям вдруг стало недостаточно земного, и люди стали воспроизводить космические процессы на Земле. Им вдруг потребовались космические — сверхнизкие и сверхвысокие — температуры. Вошел в промышленность вакуум, а это разреженное состояние газа, свойственное межзвездной среде. Возникла промышленность, не встречающихся на Земле в обычных условиях, трансурановых и других искусственных химических элементов (технеций, плутоний) — некоторые из них позднее были обнаружены в звездах. Еще в сороковых годах посланный с Земли радиолуч коснулся другого небесного тела — была произведена радиолокация Луны. А потом — искусственные спутники Земли, межпланетные станции и создание искусственных комет диаметром до шестисот километров, фотографирование обратной стороны Луны, космические корабли.

Уже сегодня ракетная техника вывела автоматический процесс за пределы земного шара. Мысль о том, что в сравнительно недалеком будущем человек впервые ощутит под ногами звездную твердь, стала вполне реалистической мыслью. И вполне очевидно, что там, на других планетах, человек незамедлительно вклинит между собой и природой автоматический процесс: автоматам суждено прокладывать первые тропы на иных мирах.

Итак, в понятие «природа» теперь необходимо включить и космос.

Естественно предположить, что человек ступит на другую планету, располагая термоядерной энергией, производство которой принципиально возможно в любом месте, располагая совершенной автоматикой. И все-таки наивно было бы думать, что он будет чувствовать себя столь же легко и непринужденно, скажем, на Венере, как и на Земле.

Коллектив людей коммунистической формации, оказавшись в автономном положении на другой планете, по объективным причинам вынужден будет отказаться от целого ряда земных завоеваний.

Первое и главное заключается в том, что богатство общества, оказавшегося вне Земли, вновь будет определяться не свободным временем, а рабочим временем. Целью этого общества станет накопление материальных благ, обязательных для физического существования и воспроизводства. Стало быть, на первый план вновь выдвинется труд, диктуемый в прямом смысле слова необходимостью и внешней целесообразностью. С точки зрения коммунистического обществоведения эта эволюция чрезвычайно любопытна: ведь члены внеземного коллектива будут людьми коммунистического склада, самое общество останется коммунистическим, и потому заведомо не может быть прямого возвращения к далекому прошлому... Очевидно, в этих условиях совместится накопление духовного богатства и накопление материальных благ, произойдет практическое слияние необходимого труда и труда по желанию, по потребности...

Однако, несмотря на некоторое внешнее возвращение к прошлому, не возникает никаких новых социальных предпосылок для отчуждения природы от человека. В силу коренных особенностей коммунистического общества человек и на других планетах обязан будет взаимодействовать с природой на условиях, адекватных его сущности.

Важнейшее отличие трудового процесса на любом небесном теле от трудового процесса на Земле будет заключаться в том, что человеку придется не только заботиться о добычании материальных благ, но и собственными руками создавать искусственную среду обитания, аналогичную земной (еще одна причина «возвращения» к рабочему времени). Речь, как видно, идет здесь о создании космических моделей земной биогеносферы, о преобразовании природы других планет.

Это, конечно, проблема далекого будущего, но она отнюдь не так фантастична, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что человек уже сегодня приступил к практическому созданию первых небольших космических моделей биогеносферы. Такими моделями станут первые же межпланетные корабли, каждый из которых будет замкнутой системой с полным круговоротом веществ (газовым, органическим, влагооборотом и т. п.). И не только, между прочим, межпланетные корабли — большие искусственные спутники тоже. Уже в сравнительно близком будущем маленькие космические модели биогеносферы начнут подолгу кружить вокруг родной планеты, а потом они отправятся к другим планетам, чтобы доставить информацию о природе иных миров, о возможностях ее преобразования. А возможности эти будут определяться наличием или отсутствием биогеносфер на других планетах.

Так вновь мы вернулись к проблемам физической географии — науки о земной биогеносфере. Впрочем, теперь уже пора выяснять ее значение для космических исследований. В самой общей форме она сформулирована выше: всюду в космосе, где человек пожелает обосноваться, ему потребуется внешняя среда, аналогичная земной, а ее невозможно создать, не изучив досконально родную биогеносферу. Но имеют ли вообще земные науки «право» на выход в космос?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо на некоторое время вернуться в прошлое.

В 1543 году вышло в свет бессмертное сочинение Николая Коперника «Об обращениях небесных сфер», положившее конец геоцентрической системе, поставившее Землю — одну из планет — на свое место. Книга Коперника утверждала новую, чрезвычайно важную идею — мысль о единстве мира, о том, что «небо» и «земля» подчиняются одним и тем же законам. Истины эти давно утвердились в науке. Но было бы неправильно думать, что переворот в мировоззрении, совершенный Коперником и продолженный великими мыслителями Джордано Бруно и Галилео Галилеем, стал к нашему времени достоянием исключительно истории.

Два основных следствия для земного естествознания вытекают из коперниканского миропонимания.

Первое. Если Земля — это небесное тело, вращающееся вокруг своей оси, движущееся вокруг Солнца, испытывающее многообразное влияние космоса, то необ-

ходимо научиться использовать эти обстоятельства в конкретных науках о Земле, при исследовании Земли. Так, собственно, и развивалась наука.

И все-таки до самого последнего времени не все в этом направлении обстояло благополучно. Как ни курьезно это звучит, но геологи-тектонисты, например, по существу рассматривали Землю как неподвижное тело, поскольку искали причины горообразования только в недрах планеты, совершенно не учитывая ее особенностей как небесного тела. В двадцатых годах нашего века мысль о зависимости частоты сердечных приступов от солнечной активности и, следовательно, состояния силовых полей Земли казалась абсурдной, а ныне существует целый раздел в медицине, изучающий эту проблему. Более того, сейчас выдвигаются соображения о связи между космическими излучениями и эволюцией жизни на Земле, о связи между солнечной активностью и землетрясениями. В сущности, только в наши дни космос начал властно вторгаться во все области земного естествознания.

Но если земное естествознание медленно «космизировалось» путем привлечения в теорию науки внешних астрономических факторов, то еще хуже обстояло дело со вторым следствием коперниканского миропонимания, а именно: коль скоро Земля — небесное тело в ряду других небесных тел, то наши знания о ней имеют не только местное, но и широкое космическое значение. Иначе говоря, если мы признаем Землю небесным телом, то, во-первых, мы вправе распространять наши знания о ней на иные, сходные по природе небесные тела, а, во-вторых, сравнивая планеты, можем проверять и уточнять наши познания о Земле. В последовательном осуществлении этого принципа и заключается завершение коперниканского переворота в естествознании, выразившееся в создании «звездноземных» наук.

Выше приводились «производственные» примеры, показывающие, как постепенно и незаметно космическое стало мирно уживаться, соседствовать с земным. Аналогичный, но еще более отчетливый процесс протекал, между прочим, и в науке. Еще до запуска первого искусственного спутника Земли началась космизация земного естествознания, возникли такие науки, как астроботаника, астрогеология, астрогеография...

Полеты спутников и космических кораблей усилили и ускорили этот процесс, и в наши дни естествознание практически перестало быть геоцентричным. Есть все основания говорить как о знамении времени о возникновении геокосмологии и — широкой области науки, изучающей Землю во взаимодействии с космосом и использующей знания о Земле для изучения космоса. Геокосмология — это ответ науки на объективное требование истории выйти в космос. Естествознание вступает в новый, высший этап развития, соответствующий космической фазе существования человечества, соответствующий его коммунистическому будущему.

Продолжить физическую географию в космос, использовать ее достижения при исследовании других планет удастся, разумеется, лишь в том случае, если биогеносфера Земли — явление не уникальное, если аналогичные образования имеются и на иных небесных телах (от этого будет зависеть и космическое будущее человечества). По понятным причинам, мы можем пока практически судить лишь о планетах солнечной системы, и вопрос этот уже достаточно изучен наукой.

Ближайшее к нам небесное тело — Луна биогеносферы лишена, но они имеются на Венере и Марсе. Сравнительное изучение биогеносфер планет земной группы составляет самую общую задачу астрогеографии. Относительно скромные результаты, до сих пор полученные при изучении земной биогеносферы, во многом объясняются тем, что столь сложное явление природы изучалось... в одном экземпляре. Несомненно, что именно сравнительное изучение Луны, остановившейся у «порога» возникновения биогеносферы, «отставшей» Венеры, «ушедшего вперед» Марса с Землей и даст в конечном итоге в руки человека коммунистического будущего ключ к управлению планетарными процессами в земной биогеносфере.

Да и многие проблемы найдут либо подтверждение, либо опровержение при астрогеографическом изучении биогеносфер. Так, если будет доказана син-

хронность похолоданий на Венере, Марсе и Земле, то тем самым будет доказано, что оледенения на Земле вызывались космическими причинами.

Процесс космизации охватывает, конечно, не только физическую географию и науки, так или иначе с ней связанные.

Напомним, что, когда с помощью советских космических ракет было установлено, что Луна лишена сколько-нибудь значительного магнитного поля, открытие это сразу же было увязано с теориями земного магнетизма, речь пошла о соединении геофизики с астрономией, а ежели говорить точнее — о новом астрогеофизическом направлении в науке. Можно смело утверждать, что геофизика, именно через астрогеофизику, придет к раскрытию величайшей загадки природы — причин земного и вообще планетного магнетизма... Бесспорно, что геохимия, исследующая миграции химических элементов в различной земной обстановке, широко будет использовать свои достижения при изучении «влажной» Венеры, «сухого» Марса, безводной Луны, — геохимия перерастет в астрогеохимию. Очевидная необходимость создания крупномасштабных космических моделей биогеносферы с полным круговоротом веществ придает космическое значение биогеохимическим исследованиям; но уже сейчас нужды практической астронавтики (создание малых моделей) привели к возникновению космической биохимии. Те же самые практические нужды астронавтики вызвали к жизни космическую биологию, генетику, физиологию и даже психологию.

Теперь о космических моделях земной биогеносферы. Практически, наверное, случится так, что широкое преобразование географической среды совпадет с первыми шагами по преобразованию природной среды на других планетах, и земной опыт будет широко использован в космосе.

Создавать в прямом смысле слова космическую модель биогеносферы придется только на Луне, где естественным путем биогеносфера не возникла. Поскольку на Луне необходима защита от вакуума, космических излучений, метеоритов, низких и высоких температур, единственный мыслимый путь — это создание модели биогеносферы под планетной корою или в планетной коре. Модель эта будет подобна космическим кораблям, то есть она будет представлять собою замкнутую систему с полным круговоротом веществ, хотя масштаб будет, конечно, совсем иным. Что касается Венеры и Марса, то тут нужно вести речь не о создании модели биогеносферы, а о «подтягивании» природной обстановки на этих планетах до земного уровня.

Можно ли уже теперь предложить сколько-нибудь обоснованный проект изменения природных условий на другой планете, на Венере, допустим? Вообще рановато. Слишком скудны наши сведения о других небесных телах, хотя кое-какие допущения возможны. Несколько лет назад в научно-фантастическом романе («Пояс жизни») мною уже был высказан такой проект. Позднее и, очевидно, независимо к аналогичным идеям пришел американский астрофизик Карл Саган, проект которого неожиданно был широко разрекламирован советской печатью. Поэтому надо хотя бы коротко сказать о сути проектов.

Если мы, хотя бы теоретически, стремимся моделировать земные условия на каком-либо небесном теле, то логичнее всего использовать для этого «опыт» самой Земли. На земном шаре атмосферу изменила, преобразовала в современную растительность, вышедшая на поверхность материков. Этот земной «опыт» и подсказывает (на уровне сегодняшних знаний!) путь преобразования природных условий на Венере: надо занести туда земную растительность, и она изменит состав атмосферы.

Внешняя логика тут есть, и в форме научно-фантастического допущения такой проект может существовать. Но не более того. До тех пор, пока Венера не будет основательно изучена, ни о каких строго научных проектах изменения условий на ней и речи быть не может. Саган же предложил при первой же возможности рассеять с помощью ракет в атмосфере Венеры земные водоросли. Подобная постановка вопроса не только преждевременна, но и вредна, авантюристична по своей сути. Даже на безжизненную Луну мы отправляем ракеты, предварительно

специально обработанные, чтобы случайно не занести туда земные формы жизни и не причинить непоправимого ущерба науке. Как же можно всерьез рассуждать о забрасывании земной жизни на планету, где возможна своя жизнь, до ее предварительного изучения?! Это соображение как будто в дополнительных комментариях не нуждается.

Как и на Земле, человек, «вклинившийся» между собою и природой на других небесных телах автоматический процесс, будет там выполнять роль наблюдателя и регулятора по преимуществу. И там ему придется учитывать не только естественные, но и общественные последствия своих вмешательств в ход природных процессов. Иначе говоря, земной союз между физической географией и натурсоциологией получит космическое продолжение, перерастет в союз между астрогеографией и натурсоциологией. Но любопытно, что космическая проблематика уже сегодня стоит в повестке дня натурсоциологии: выход в космос оказывает многообразное влияние на политику, юриспруденцию, мораль; в частности, он формирует у разных народов чувство единства человечества перед лицом природы.

Возникают и новые широкие проблемы на стыке с философией. Так, философская проблема соотношения субъекта и объекта обретает натурсоциологическую вариацию — о месте человека в космосе. Все актуальнее становятся проблемы сущности природы и человека, взаимодействие ступеней различного эволюционного ранга, смертность или бессмертие разумной жизни и т. п.

Заглядывая в очень далекое будущее, мы можем представить себе и «завершение» первой космической фазы существования человечества: освоившись на иных мирах, человек и там начнет жить по законам свободного времени, и там рабочее время перестанет определять богатство общества, и коммунистическое общество, обосновавшееся на нескольких планетах, будет тогда равнозначно и небывало богатым.

Существуют ли какие-нибудь пространственные пределы для геокосмологических исследований? Едва ли. Изучая планеты солнечной системы, наука будет опираться на знания о Земле. Изучая планеты других солнц, наука будет использовать знания о планетной системе нашего Солнца и вновь выверять их в космическомдалене. Это означает, что геокосмология со временем начнет подготавливать научную базу для дальнейшего космического расселения человечества.

«Коммунизм для нас. — писали в середине прошлого века К. Маркс и Ф. Энгельс, — не состояние, которое должно быть установлено, не идеал, с которым должна сообразоваться действительность. Мы называем коммунизмом действительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние»¹.

«Действительным движением» этим охвачено ныне все человеческое общество, и оно уже давно приобрело планетарные масштабы, а в будущем приобретет и космические. Как во всяком движении, в нем сталкиваются противоборствующие начала, и старое уступает место новому, и отпадают боковые ветви... И неизменно совершается главное — уничтожается прежнее состояние во всем: и в отношениях между людьми, и в отношениях между человеком и обществом, и в душе человека, и в его взаимосвязях с внешним миром. Долгое время люди лишь мечтали о том, чтобы сделать окружающий мир, свою планету прекрасной. Теперь мечта эта становится прямым социальным и экономическим требованием, и наука должна позаботиться об этом. Идет великое обновление, и едва ли есть что-нибудь более увлекательное, чем следить за его путями и участвовать в нем.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. III, изд. II, стр. 34.

ПУБЛИЦИСТИКА

И. ПЕШКИН

★

ОПЕРАЦИЯ «ХЛ»

Вряд с гигантами черной металлургии — Магнитогорским, Кузнецким и Нижне-Тагильским комбинатами, «Запорожсталью», «Азовсталью» и «Криворожсталью» — встал завод имени Ильича. Даже для людей, хорошо знакомых с развитием черной металлургии нашей страны, превращение этого старого завода в гигант — неожиданность. На вопрос, где и когда был решен вопрос о развитии завода имени Ильича, в Государственном комитете по черной и цветной металлургии мне ответили одним словом: «Совнархоз».

Именно совнархоз был зачинателем этого дела, и благодаря его энергии реконструкция, а точнее, постройка рядом со старым новым завода осуществляется очень быстро.

Мне не раз приводилось бывать на заводе имени Ильича, и вот я снова отправился туда.

Моя поездка в Жданов совпала со временем, когда в центральной печати развернулась дискуссия о стимулах улучшения хозяйственной деятельности предприятий. Само собой разумеется, что живая практика могла подсказать новые мысли и соображения по этим вопросам. Известно было также, что вопросам руководства промышленностью будет посвящен Пленум Центрального Комитета партии, но время созыва его еще не было объявлено. Когда в сентябрьское утро электровагончик доставил меня к воздушному лайнеру АН-10, я вспомнил печатавшуюся в «Известиях» статью автора этого самолета Антонова о том самом, с чем мне предстояло познакомиться в городе Жданове.

«БЕСПЕРСПЕКТИВНЫЙ ЗАВОД»

Завод имени Ильича расположен в семи километрах от города Жданова (бывший Мариуполь). Когда-то он был одним из крупных металлургических заводов Юга. История его возникновения в свое время привлекла внимание В. И. Ленина. В знаменитой работе «Развитие капитализма в России» Ленин писал, что в Южную Россию целыми массами переселялись иностранные капиталы, а из Америки перевозили даже целые заводы.

Имелся в виду целиком доставленный из Америки Никополь-Мариупольским акционерным обществом трубопрокатный завод. Произошло это в самом конце прошлого века. Вслед за Никополь-Мариупольским, бок о бок с ним, в девятисотые годы встал другой завод — «Русский провиданс». В свое время оба они сыграли немалую роль в развитии металлургии на Юге страны. В годы первой мировой и гражданской войн эти заводы были разрушены. При восстановлении их объединили. В первую пятилетку там построили цех для прокатки бесшовных труб. Однако первые звенья металлургического процесса не получали развития, и металлургическое лицо завода постепенно стало стираться. Он превратился в некую вспомогательную силу для судостроения, и его передали в ведение Наркомата судостроительной промышленности.

В период гитлеровской оккупации завод имени Ильича вновь был разрушен, затем

его снова восстановили, но большого будущего этому предприятию не предвещали, хотя и построили взамен разрушенных новые большие домны. Остальные же цехи оставались такими, какими они были. Проект, разработанный Ленгипромезом, предусматривавший некоторое расширение мартеновских цехов и реконструкцию листопрокатных и трубных цехов, не был утвержден.

О заводе вспомнили в начале 1958 года. В стране не хватало чугуна, и было дано задание срочно построить семь новых доменных печей. На заводе имени Ильича оказалась готовая площадка для домны, и печь построили в рекордный срок — за девять месяцев. «Ждановская комсомольская» — крупная современная печь. Итак, на старом заводе была создана мощная база для производства чугуна. Следующие звенья не получили развития.

В город Жданов все чаще стали приезжать работники проектных институтов. Судили-рядили, как быть со «стариком», но никакого решения принято не было. Ни одного собрания рабочих не проходило, чтобы кто-нибудь не задал вопрос:

— А что же с нами-то будет? Кругом жизнь бурлит, заводы развиваются, вокруг новые дома строят. Улицы, проспекты, как грибы после дождя, вырастают. Вон какой район на правом берегу реки Кальмиус вырос (имелся в виду район «Азовстали»)! Только вот здесь, в поселке Ильича, никаких перемен.

Коренные ильичевцы стали подумывать, не перебраться ли на «Азовсталь» или на другие заводы Донбасса, где настоящая техника, где жизнь бьет ключом.

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ

Поворот в судьбе завода произошел неожиданно. Из уст в уста стали передавать новость: здесь установят новый листопрокатный стан. Что это за стан — никто поначалу не знал, но дело постепенно стало проясняться. Стан тонкого листа — непрерывный, почти невероятной производительности (называли разные цифры: кто два, а кто и три миллиона тонн в год). По диаметру валков его называли «станом-1700». Рассказывали, что подобный стан имеется на заводе «Запорожсталь», только тот поменьше. А этот растянется на целый километр! Новость быстро облетела жителей поселка.

— Миллионы тонн листа?! Откуда же металл? — спрашивали сведущие люди.

— Металл? Говорят, привозной будет.

— Не может того быть, чтобы столько металла по железной дороге гонять... Не хозяйски это.

Пока шли разговоры да толки, в степи за заводской оградой появились геодезисты. Вскоре стали прибывать экскаваторы и другая строительная техника...

Каким же будет новое предприятие, что определило поворот в судьбе старого завода? Познакомимся с проектом.

...На столе две пухлые синие папки — экономическая записка проектного задания Ждановского металлургического завода имени Ильича. Задание разработано Украинским Гипромезом (главный инженер проекта Шевченко). В начале записки — краткая предвоенная история завода. Далее излагаются обстоятельства, послужившие толчком к столь крутому повороту его судьбы.

Все началось вскоре после перестройки управления промышленностью, после того, как в 1957 году были созданы совнархозы. Из ведомственного подчинения завод попал в лоно совнархоза. Им всерьез заинтересовались. Прежде всего вернули заводу имени Ильича право называться металлургическим. Выделили как отдельную производственную единицу машиностроительные цехи. В единое хозяйство объединили металлургические цехи и трубные (эти последние одно время составляли отдельный трубопрокатный завод имени Куйбышева). Итак, все как будто стало на свое место.

Какие же, однако, объективные условия открылись для создания на базе завода имени Ильича гиганта металлургии?

Нет, здесь не были обнаружены новые природные ресурсы и не сделано было таких технических открытий, которые могли бы влить силы в изношенный организм старого завода. Произошло нечто другое.

На Алчевском (ныне Коммунарском) металлургическом заводе Луганского совнархоза намечалась установка стана для непрерывной горячей прокатки широкого листа. Когда же стан был готов, места для него на этом заводе не оказалось. Чтобы установить такой стан, пришлось бы снести много городских строений.

О «беспризорном» стане узнали в соседнем Донецком совнархозе и решили установить стан на металлургическом заводе имени Ильича в городе Жданове. Верно, территория этого завода также с трех сторон закрыта жилыми и другими строениями. Но в северо-западном направлении — широкая и относительно ровная степь. Там можно расположить не только стан: площадки хватит для размещения нового большого завода. И еще два довода выдвигались: 1. Производство листа — исконное дело ильичевцев. Правда, между технологией прокатки листа на старых станах («карточками») и производством на непрерывном листопрокатном стане столько же общего, сколько между старой телегой и электровозом. 2. Расположение стана в обжитом месте, располагающем квалифицированными кадрами, позволит его быстро освоить.

Тут уместно заметить, что сорт проката, выпускаемого металлургическими заводами страны, пришел в некоторое противоречие с техническим прогрессом. Ведущим отраслям машиностроения все больше требуется стальной лист. Особенно велика потребность в листе холодного проката. Установка листопрокатных станов стала задачей первостепенного значения. И вот 27 мая 1958 года Донецкий совнархоз дал Украинскому Гипромету плановое задание: проработать вопрос о целесообразности организации на заводе имени Ильича производства тонкого листа, увеличении производства газопроводных одношовных труб больших диаметров, а также возможности строительства еще одной доменной печи... с увеличением объема прежних домен.

...Какое-то особое, волнующее чувство охватывает тебя, когда перечитываешь подобные документы. Плановое задание (обычно полторы-две машинописные странички) — это путевка в жизнь новому предприятию, создание которого скажется на судьбе тысяч (а порой и десятков тысяч) людей. На месте, где была степь или тайга, возникает крупное предприятие, а рядом вырастает поселок, город... Строительство современного металлургического завода влечет за собой рождение города на сто тысяч жителей.

В плане задании подчеркивалось, что мешкать нельзя — речь идет о продукции исключительной важности.

Конечно, весьма похвально, что в Донецком совнархозе оказались люди, которые не ограничили сферу интересов «своими» заводами и, узнав, что у соседей один из намеченных к строительству цехов холодного проката оказался под угрозой, занялись поисками места для него у себя. Хорошо также и то, что Укргипромет быстро развернул проектные работы: разработка проекта, экспертиза и защита его во всех инстанциях заняли всего лишь один год. Скажем прямо: для глубокого, продуманного решения задачи такого масштаба срок рекордно короткий. Но именно краткость срока и настораживает: а достаточно ли глубоко проработана была проблема, не сказалась ли спешка на точности расчетов?

В своих решениях партия неоднократно подчеркивала необходимость обеспечить эффективное использование производительных сил. Это записано в постановлениях XX, XXI съездов и в Программе КПСС. Ленинское указание о рациональном размещении промышленности с точки зрения близости сырья всегда было и остается основным законом при решении вопросов о новом строительстве и в особенности о строительстве предприятий большого масштаба.

А был ли соблюден этот закон в данном случае или, может быть, в данном случае действовали, как говорил на ноябрьском Пленуме ЦК партии Н. С. Хрущев, по принципу «будет сделано»?

Но какие, собственно, основания для таких подозрений? Настораживает хотя бы то, что, решая вопрос о постройке на заводе имени Ильича цеха холодного проката (а чтобы обеспечить его металлом, надо создать мощности на много миллионов чугуна и стали), проектировщики не дали ответа на вопрос: какой будет сырьевая база?

Известно, что на Юге имеются два мощных железорудных месторождения — Криворожское и Керченское. Криворожской рудой питаются все металлургические заводы Украины. На керченской руде работает, и то не полностью, один лишь завод «Азовсталь». Десятки лет решается вопрос о более широком использовании керченских руд. Встретившиеся на этом пути трудности (в керченской руде содержатся фосфор и мышьяк — злейшие враги металла) наукой разрешены, и при выплавке чугуна и стали из керченской руды получают не только доброкачественный металл, но и как побочный продукт — фосфористые удобрения. Эта технология хорошо освоена, в частности, на заводе «Азовсталь».

Так Кривой Рог или Керчь станет сырьевой базой завода имени Ильича?

Проектное задание ответило на этот вопрос так: «Завод имени Ильича работает на рудах Криворожского бассейна. Однако расположение завода вблизи Керченского полуострова и резкое увеличение выплавки чугуна... требует рассмотрения вопроса о выборе его железорудной базы».

Но ведь именно проектанты, а не кто иной, и должны были рассмотреть вопрос о выборе железорудной базы. Какова же цена проекту, если сырьевая база его не определена?!

«Либо — либо» — написали проектировщики. Как же можно было, не решив вопроса о руде, сказать: «Да, это целесообразно; на заводе имени Ильича надо организовать производство тонкого листа»?

«Будет сделано. Деньги найдем» — таким мог бы представиться этот ответ. А ведь деньги-то большие, очень большие! А вышестоящие хозяйственные организации, а партийные организации области, республики? Разве им не ясно было, что проектное задание недоработано?.. Однако стан уже был готов и надо было спешить с его установкой. Впрочем, стан-то был для горячей прокатки, а холодного стана еще не было.

ИЗМЕНЯЕТСЯ ЛИ СУММА ОТ ПЕРЕСТАНОВКИ МЕСТ СЛАГАЕМЫХ?

Строительство нового завода развернулось совсем не так, как это обычно делается (виною тому «беспризорный» стан).

Проектное задание устанавливало такую очередность:

стан-1700 — 1960 год,
 слябинг — 1962 год,
 новый мартеновский цех — 1962—1964 годы,
 кислородный цех — 1962—1965 годы,
 конверторный цех — 1965 год,
 цех холодной прокатки — 1965 год.

В течение 1963—1965 годов в действие должны были вступить также две новые большие доменные печи, а две старые следовало реконструировать.

Как дом начинают строить с фундамента, так и металлургический завод — с доменных печей (а еще вернее, с цехов для подготовки сырых материалов). На заводе имени Ильича сложилась особая ситуация, и порядок слагаемых металлургического завода решительно изменили. Сначала в действие вступил прокатный стан-1700, спустя год — слябинг, назначение которого — снабжать прокатный стан заготовками. Сталеплавильные цехи, которые в свою очередь должны питать слябинг, вступили в действие после него.

— В этом смысл задуманной операции, — объяснили мне работники проектного отдела завода. — Задача состояла в том, чтобы скорее получить холодный лист. Надо было срочно пустить стан-1700. Грешно было бы, если бы он лежал и ржавел...

— Речь идет о холодном листе, но стан-1700 дает ведь не холодный, а горячий лист? — недоумеваю я.

— Верно. Поэтому и форсируется строительство стана холодной прокатки, — отвечают они.

— Проектным заданием он отнесен на тысяча девятьсот шестьдесят пятый год?

— Он перешел в первоочередные и строится быстрыми темпами. Цех холодного проката войдет в действие не в тысяча девятьсот шестьдесят пятом, а в тысяча девятьсот шестьдесят третьем году. Мы намного опередили сроки, установленные проектным заданием. На месте, где теперь стоят гигантский листопрокатный стан, слябинг, мартеновский цех, каких вы не найдете ни на одном заводе мира, и многие другие объекты, меньше трех лет назад была степь. Сроки, в которые возведены были эти цехи, небывалые...

И в выборе средств выплавки стали пошли не по лучшему пути. Проектанты, конечно, не могли не знать, что мартеновский метод отходит ныне на задний план, что конверторный способ (со вдуванием кислорода сверху) более экономичен, требует меньших капитальных затрат. В Днепропетровске на заводе имени Петровского, в городе, в котором живут и работают авторы проекта, еще в 1957 году применили этот прогрессивный метод выплавки стали. И можно сказать, что это было сделано не слишком рано.

В докладе на ноябрьском Пленуме Н. С. Хрущев говорил: «Наука и практика давно доказали, что кислородно-конверторный способ производства стали более экономичен, чем мартеновский». Об этом же товарищ Хрущев говорил и на XXII съезде партии. При переходе на конверторный способ «на каждом миллионе тонн стали экономия составляет примерно шесть миллионов рублей только на капитальных вложениях да свыше одного миллиона — на эксплуатации».

Могут сказать: новые мощносни на Ждановском заводе проектировались до XXII съезда. Таких ясных установок еще не было. Но кто, как не проектировщики, обязан следить за техническим прогрессом?! Верно, в силу консерватизма некоторых руководителей научных институтов «признание» кислородно-конверторного способа запоздало. Но ведь на заводе имени Петровского уже перестроили старый, бессемеровский цех и сделали это в то время, когда конверторно-кислородный способ был еще в опале. На «Криворожстали» построили кислородно-конверторный цех. А в проекте Ждановского завода хоть и предусмотрен экономичный способ получения стали, но в первую очередь построили мартеновский цех. И все это оправдывалось тем, что нельзя было медлить.

ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГРАНДИОЗНО

Отправляюсь на площадку новой части завода. Громяют железнодорожные составы, непрерывным потоком идут самосвалы. Всюду, куда ни взглянешь — бульдозеры и краны.

— Самым трудным было взять разбег, так организовать, чтобы быстро двинуть дело, — рассказывают строители.

На стройку пришли люди, выдавшие виды. За их плечами был большой опыт, но и они сначала сомневались в намеченных сроках. В строительной практике еще не было примера, чтобы на голом месте в такой короткий срок построили крупнейшее промышленное здание и смонтировали десятки тысяч тонн оборудования.

Стройку объявили комсомольской. Сюда бросили тысячи людей, самую первоклассную строительную технику. Поставили большой бетонный завод-автомат. Чуть ли не на всех донецких заводах готовили железобетонные конструкции. Техника во много крат умножалась трудовым героизмом. И стан построили на восемь месяцев раньше установленного срока. Строителей горячо поздравил Центральный Комитет партии. И было с чем!

— Одно из крупнейших промышленных зданий, построенных в последние годы, — сказал мне инженер. — Постройка его в восемнадцать месяцев — показатель высокого уровня развития строительной культуры.

И в самом деле, не часто встретишь промышленное сооружение длиной в тысячу двести метров — больше километра! Но зайдем внутрь.

Советский стан-1700 — детище современной техники. Весь процесс автоматизирован. Человеческая рука не прикасается к металлу до выхода рулона на склад. Скорость

прохождения полосы — восемнадцать метров в секунду, или около шестидесяти пяти километров в час. Стан выдает продукцию в два направления. Лишь незначительная часть уходит как коварная продукция. Главное — холодный прокат. По подземному туннелю рулоны пойдут в соседний цех, подвергнутся там химической и термической обработке, и уже в холодном виде лист пропустят через валки станов. Однако туннель, ведущий в цех холодного листа, пока загорожен. Цех «ХЛ» — цех холодного листа — еще строится. Операция «ХЛ» не завершена.

Стан-1700 и слябинг расположены под одной крышей. Прохожу все здание из конца в конец и обратно, затем направляюсь дальше по строительной площадке к старой части завода, навстречу металлургическому конвейеру. Ориентиром служат гигантские трубы нового мартеновского цеха. В цехе установлены печи разной емкости — «малые» и «большие». «Малые» превышают емкость так называемых большегрузных печей Магнитки почти вдвое, «большие» — втрое. Не все трубы дымят, стало быть, еще не все мартены действуют.

По рытвинам, по горам земляных отвалов продвигаюсь дальше. Открывается панорама строительства новой гигантской доменной печи, такой же, как Криворожская. В проектном задании такой не было. Масштабы возрастают. Монтажники добрались уже до самой верхушки.

Все это сделано менее чем за три года. Темп небывалый. Что же в основе этой трудовой победы? Сосредоточение сил на ударных участках, передовая строительная техника, глубоко продуманные и порой необычные решения в организации строительных и монтажных работ.

Огромные работы проделаны под землей. Ильичевцы гордятся своим «метро» — на три с половиной километра протянулся подземный туннель высотой в четыре с половиной метра, по которому проложены коммуникации, ведущие к новым цехам.

Сказалась большая сила совнархоза, его близость к «полю сражения», оперативность... Непосредственно на стройке — сначала раз в две недели, а затем раз в месяц — проводились заседания совета народного хозяйства, на которые вызывались все, от кого зависел ход строительства. Все шло по графику и с опережением графика. Партийные организации развернули большую политическую работу. Ударные комсомольские посты помогали «расширять» узкие места, сигнализировали о малейших заминках. Да, был горячий бой, и одержана серьезная победа.

.. На краю донецкой степи, куда ветер заносит запах соленого моря, встал новый гигант металлургии. Он возник неожиданно и почти мгновенно. Стройка еще не завершена, но уже сомкнулись звенья металлургического конвейера.

Еще и еще прихожу к стану-1700 — генеральному объекту всей операции.

Смотришь, как сквозь клетки бежит раскаленная добела широченная стальная полоса, и кажется, что из-под колес мчащегося с большой скоростью автомобиля вылетает огненная дорога.

И вдруг — стоп! Последние метры полосы намотаны на барабан, движение замерло.

Авария? Плановая остановка? Нет, кончился металл. Не из чего катать лист.

Люди мрачнеют, становятся раздражительными. А с каким воодушевлением, азартом работали они!

Начальник стана Александр Максимович Поповиченко рассказывает, как шла подготовка кадров.

— Брали вальцовщиков, сварщиков со старых цехов. Было много охотников перейти на операторские посты нового стана. Больше, чем требовалось. Среди них — многие специалисты со средним и даже высшим образованием. Отобрали лучших, наиболее достойных. Их послали на практику на другие заводы, где имеются подобные станы, прежде всего на «Запорожсталь». На пуск цеха пригласили бригаду с «Запорожстали», но долго задерживаться ей тут не пришлось: наши люди быстро освоили управление станом, и дело пошло неплохо. Совсем неплохо...

...Когда я наблюдал за работой молодых парней, осваивающих стан-1700, мне вспомнились события, происшедшие на этом же заводе более тридцати лет назад. Тогда здесь построили и ввели в действие первый в стране стан для проката бесшовных труб. Стан был импортный, монтировали его наладчики немецкой фирмы «Маннесман». Хотя

по договору фирма обязана была не только смонтировать стан, но и обучить наших людей управлению им, наладчики всячески уклонялись от этого (очевидно, была такая «установка»), а сборочные чертежи они хранили под замком.

Стан пустили первого мая 1930 года. Ныне пуск таких агрегатов проходит незамеченным, а тогда — в первую пятилетку — это был большой праздник. На стройку приехала делегация ВСНХ во главе с заместителем председателя В. И. Межлауком. Первомайская демонстрация трудящихся города Мариуполя пришла в цех, и на глазах у народа было «прошито» несколько слитков.

Наладчики уехали, а наши люди, обучавшиеся больше вприглядку, два года возялись со станом, пока его освоили.

А сейчас... как послушны механизмы рукам операторов. Да и стан-1700 не ровня тому, который был установлен немцами.

И начальник и главный прокатчик в один голос говорят:

— Проектная мощность стана может быть освоена очень быстро.

— Что же мешает?

— Перебои в снабжении слябами и... недоделки.

Пока мы успели пройти вдоль стана, движение вновь остановилось.

До ввода в действие слябинга и новых сталеплавильных цехов стан-1700 получал слябы с Коммунарского, Запорожского и других заводов.

— В порядке кооперации, — говорит Появиченко, делая ударение на последнем слове.

Главная причина простоев — отсутствие металла. Все средства пушены были в действие, чтобы получить металл с кооперированных заводов. Но как будто железные стены выросли между совнархозами.

— Верно, заводы-поставщики недодали нам в тысяча девятьсот шестьдесят первом году много слябов, и в тысяча девятьсот шестьдесят втором году мы недополучили слитки, — подтверждает начальник планового отдела завода Михаил Федорович Брюханда. Он вынимает свою памятную книжку, называет конкретных виновников. — Однако нам трудно судить, — продолжает он, — почему они не выполняли поставок: произошло ли это вследствие недисциплинированности или, может быть, по каким-то другим, от них не зависящим причинам.

— В планировании, — продолжает он, — должно быть больше гибкости. По идее, планирование надо начинать снизу, а оно идет сверху и только сверху, а потом, как бы по уступам, качится вниз. Союзный Госплан спускает план республиканскому. Республиканский Госплан не корректирует его. Он только лишь препровождает полученные задания республиканскому же совнархозу. Республиканский совнархоз опять же препровождает плановое задание совнархозам административных экономических районов. Те — своим управлениям. Управления же — нам. Много препровождающих, но мало вникающих в суть...

— Ныне слябинг и стан-1700 переведены, — продолжает М. Ф. Брюханда, — преимущественно на свое, заводское питание, но положение ничуть не улучшилось. Наши сталеплавильщики дают слитков намного меньше, чем запланировано. Но не спешите винить сталеплавильщиков... Печи пустили. А могут они работать? Нет, не могут! Почему? Об этом вам лучше меня расскажут в цехе. Или поговорите с главным сталеплавильщиком Евгением Алексеевичем Калужским.

«ПЛАН ЕСТЬ ПЛАН»

Итак, мой путь лежит в новый мартеновский цех. Добраться до него не так просто. Кругом стройка, горы земли, траншеи... Но вот и цех. Он не только гигант, но и красавец. Поднимаюсь в печной пролет и останавливаюсь в изумлении. Печи в семь «окошек». Какой простор, какая ширь!

Ни начальника цеха, ни главного сталеплавильщика не застаю. Оба они в заводоуправлении. Там решается вопрос: пускать или не пускать новую гигантскую печь,

предпоследнюю? Вот уже две недели она стоит на газу. Давно можно бы наварить под и, как говорится,— в добрый час!

Однако обстановка сложная. Тыловые службы не в состоянии ни «накормить» печи, ни принять готовые плавки. Печи уже были готовы к пуску, когда вспомнили об изложницах (сосудах для разливки стали). Забили тревогу. Стали собирать их по всем заводам Украины. К выпуску плавки нередко подают составы с изложницами различного развеса — восемнадцати-, пятнадцати- и двенадцатитонные. Металл кое-как разольют, но слябинг не может взять на обжим одновременно слитки разного веса. Слитки идут на склад, а слябинг простаивает, стан-1700 голодает.

Так вот, пускать ли новую печь-гигант или попрiderждать ее? Большое начальство приехало из совнархоза и из Киева.

Много, очень много стали недодал завод стране.

Позднее я смог познакомиться с документами. «Отставание по стали произошло вследствие недооценки со стороны плановых органов подготовительных тылов марте-нов» — такова официальная мотивировка.

...Выпускают из малой печи плавку, которая «пересидела» там час, все по той же причине.

Выпуск стали из печи — всегда величественная картина. Такую массу стали, выпущенную за один раз, редко где увидишь. Я не замечаю, как ко мне подходит Василий Васильевич Гордиенко — заместитель начальника цеха.

— Это ведь из «малой» печи плавка пошла,— кричит он мне в ухо.— На площади пода такой печи,— поясняет Василий Васильевич,— можно, пожалуй, устроить кино-театр человек на двести. Кто бы ни побывал в этом цехе, а его посещали люди, выдавшие самые передовые заводы в нашей стране и за рубежом, удивляются его размерам. Слух о цехе разнесся по всей стране. Сюда потянулись люди с разных заводов — из Череповца, Ново-Кузнецка... Со всей бригадой перешел сюда на завод сталевар с соседней «Азовстали» Леонид Казмириди. А из наших, ильичевцев, на новые печи взяли лучших из лучших. Вот хотя бы Иван Клементьевич Катрич, старший мастер...

— Иван Катрич? Не тот ли, который был сменщиком Макара Мазая в старом цехе?

Утром я проходил мимо памятника, установленного зачинателю скоростных методов выплавки стали сталевару Макару Мазая, замученному в застенках гестапо. У подножья лежали свежие цветы...

Иван Клементьевич Катрич крепко пожимает мне руку, вспоминает осенние месяцы тридцать шестого года, когда здесь, на заводе Ильича, в старом, ветхом цехе зародилось скоростное сталеварение.

— Мазая бы поработать на этих печах,— говорит старый сталевар.— Я и сам бы поработал сталеваром, хоть до пенсии. Да вот маюсь... Старший мастер! Нет более неблагодарного места, чем должность старшего мастера, особенно в наших условиях.

И снова разговор об «условиях».

— Мазай, как вы знаете, достиг съема двенадцати тонн с квадратного метра. Да и мы ненамного от него отстали. Не подумайте, что мы были эдакими молодыми орлами, что так легко достигли «небес». Не только в нас дело. Тылы подпирали. Было и чем загружать печи, и куда металл выпускать. Минуты лишней не теряли. А здесь маешься, маешься... Мы в свое время работали с полуторной садкой, а вот печь-гигант, стыдно сказать, ведем на полсадки. И следующую печь готовим тоже на полсадки. Да еще удастся ли это? Может быть, одну из «малых» придется остановить. У людей, которые сюда тянулись, руки опускаются. На радость шли, к новой технике тянулись, а здесь...

...Красный уголок. Бросается в глаза плакат, призывающий сталеваров бороться за выполнение сентябрьского плана. Перечислены задания по печам. Оказывается, что печь, на которой еще только собираются наваривать под, имеет уже задание, выраженное пятизначным числом.

— Как же так? — спрашиваю я Василия Васильевича.— Ведь двадцать восьмое число... И неизвестно, пустят ли печь?

— План есть план,— отвечает он.

...Лишь спустя несколько дней мне удалось поговорить с главным сталеплавильщи-

ком Евгением Алексеевичем Калужским. Разговор происходил после пуска большой печи (все-таки решили пустить).

— Новый мартеновский цех строился быстро. Строители показали высокий класс — другого такого цеха нет в стране. Сталь нужна была. Стан-1700, слябинг требовали стали. Надо было скорее, возможно скорее получить свою сталь. Скорее! А нам по каждому поводу приходилось спорить и доказывать, что нельзя строить печи, не обеспечив тылы. Однако нас принимали за педантов. «Шихтовый двор? На первое время обойдетесь». «Цех изложниц? Огневая зачистка слитков? Баловство!»

— Разве этих объектов в проекте не было? — спрашиваю я.

— Были, конечно. Но их отнести на поздний срок или делали в урезанном виде. Долго спорили, как разливать металл: сверху или сифонным способом. Мы доказывали, что если разливать сверху, то хороших слитков не получим. Не поверили. Потом пришлось быстро переходить на сифонный способ. За это и расплачиваемся. В баланс металла зияющий прорыв, и лишь теперь начинают сознавать, что так нельзя. За эту, я бы сказал... — он тщательно подбирает и не может подобрать слово, — дорого расплачиваемся средствами, энергией, ну, и здоровьем. — (В период пуска у Евгения Алексеевича был инфаркт, об этом я узнал не от него.) — Теперь с нас долг сняли, но трудностей еще много. В будущем году должны пустить конверторный... И чтобы мартены заработали как следует, надо еще много, очень много сделать.

— А пойдут большие мартены? Не увлеклись размерами, не гигантомания ли?

— Пойдут! И разливать успеем. Было бы во что разливать. Теперь решили форсировать цех изложниц. А сколько доказывал... В общем, сделали много, но и ошибок наделали немало. Совнархоз ориентировал нас на то, чтобы идти вширь, а надо бы вглубь.

— А в совнархозе этого разве не понимали?

— Одни понимали, но мало что могли изменить; другие понимали, но полагали, что «кривая вывезет». Командуют ведь те, кто располагает деньгами на капитальное строительство, а они стараются, чтобы титул был эффектным. Мне же кажется, что он должен быть прежде всего эффективным. Ведь на первом плане должна быть эффективность капиталовложений. Двадцать второй съезд сделал ударение на то, чтобы выбирать наиболее прогрессивное, экономически выгодное направление в развитии отраслей промышленности. Так можно ли считать прогрессивным такое направление средств, когда объект готов, а продукции он не дает и дать не может? Но я, кажется, вторгся в чужую область. Наше дело — выполнять план.

ЗАПОЗДАЛЫЕ РЕФЛЕКСЫ

«...В будущем году должны пустить конверторный». Об этом цехе шла речь на Пленуме ЦК партии.

«В феврале нынешнего года было принято постановление правительства, — говорил Н. С. Хрущев, — в котором намечена широкая программа строительства кислородно-конверторных цехов на металлургических предприятиях. Однако к выполнению этого постановления многие совнархозы и предприятия приступают с большой раскачкой. Медленно развертывается строительство конверторных цехов на Нижнетагильском металлургическом комбинате и заводе имени Ильича в Донбассе, плохо организовано проектирование и изготовление оборудования для этих цехов».

Отношение к конверторному цеху ярко иллюстрирует состояние партийного руководства города и области хозяйственной деятельностью. Уже говорилось о том, как технический консерватизм сказался на решении вопроса о путях наращивания сталеплавильных мощностей на заводе имени Ильича. По проектному заданию строительство конверторного цеха было отнесено на 1965 год. Решениями руководящих органов в этот график был внесен существенный корректив. Пуск конверторного цеха надо было ускорить минимум на три года. Естественно, можно было ожидать, что городские и областные партийные организации возьмут это важнейшее дело под свой контроль. Но

этого не случилось. Больше того, из совнархоза следовали одно за другим распоряжения... «не задалживать рабочих» на строительство непусковых объектов этого года. Об этом писала «Экономическая газета»; на площадке конверторного цеха ничего не изменилось.

Подготовка к пуску конверторного цеха велась, как говорится, ни шатко, ни валко. На Ждановском заводе тяжелого машиностроения (раньше он был частью завода имени Ильича) еще только приступают к строительству цеха, который должен делать конверторы. Так стоит ли спешить со строительством комплекса зданий под конверторный цех? Так рассуждали в совнархозе, и оттуда шли распоряжения стройку эту пепридержать. На сигнал «Экономической газеты» Донецкий обком партии реагировал далеко не оперативно, лишь перед самым Пленумом ЦК обком направил в город Жданов бригаду помощи.

Этот запоздалый рефлекс, очевидно, прямой результат того, что Донецкий обком, как говорил на Пленуме первый секретарь ЦК КП Украины Н. В. Подгорный, сделал резкий крен в сторону сельского хозяйства, упустив из виду, что их область — это область угля, металла, химии, машиностроения. Вот в чем коренятся причины того, что строительство комплекса предприятий, связанных с развитием конверторно-кислородного способа производства стали, затянулось.

Главное в замысле создания на базе старого Ждановского завода — гиганта металлургии состояло в том, чтобы безотлагательно установить готовый непрерывный листопрокатный стан и получить затем холодный лист, спрос на который все возрастает. Что же вышло на деле? Посмотрим, на чем сосредоточены усилия строителей.

...Стройка продолжается, стройка кипит. Центры строительной баталии перенесены на два полюса металлургического конвейера: на цех холодного проката и на гигантскую домну. Завтра они переместятся на конверторы.

Заместитель директора по капитальному строительству Евгений Николаевич Олейник показывает мне главный пусковой объект — цех холодного листа.

— Отсюда, — говорит он, — из туннеля, который соединяет цехи горячего и холодного проката, пойдут рулоны горячекатанного листа. Здесь их разматывают и начнут химически и термически обрабатывать. Их будут «купать» в химикатах, «обжигать», «парить». Здесь установим стан, через его клетки — уже в холодном виде — пропустят рулоны листа. Цех огромной производительности.

Мы обходим сначала южное крыло, потом северное, поднимаемся по шатким мостикам.

— Монтаж технологического оборудования, — объясняет мой гид, — ведется параллельно со строительством. Для этого используются специальные передвижные краны. Срок пуска цеха холодного проката был назначен на конец тысяча девятьсот шестьдесят второго года (на четвертый квартал цеху уже план «был спущен»). Не справились. Задача оказалась сложнее, чем могли предположить. Пуск цеха первой очереди перенесли на будущий год, и программа на него записана со второго квартала. Времени осталось мзло, а сделать надо очень много.

— Справятся строители?

— Должны. Все для этого делается. Все силы сосредоточены на этом объекте да еще на доменной... Вон, видите ее?

С места, где мы стоим, хорошо видна печь.

— И на домне еще немало работы. Но задуем ее в срок. Не всегда удается выдерживать пусковые графики. Ночью в строй вошел новый гигантский мартен. По графику он должен был войти в третьем квартале... И вошел.

— И пускают его на полсадки?

— На полсадки. Однако кран сдали. Теперь есть чем поднять ковш с металлом. Все делаем по титулу.

«Титул» — слово, которое чаще всего слышишь, когда разговариваешь со строителями. Титулу подчиняется все. Титул — это перечень объектов, подлежащих пуску в строго определенные сроки. За титулом следует производственный план. Титул и производственный план тесно связаны.

— А где этот титул рождается?

— В эти дни,— рассказывает Евгений Николаевич,— «утрашается» титул тысяча девятьсот шестьдесят третьего года. Большой титул, напряженный. Пусковые объекты: цех холодной прокатки, домна. Затем конверторный цех с кислородной установкой, два стана для спиральной сварки труб большого диаметра (для газопроводов), четыре цеха для главного механика. Заложим следующую домну, еще ббольшую. Начнем строить аглофабрику. Большой титул!

— А реальный? Не придется опять переносить пусковые объекты?

— О том и речь, чтобы он был реальным. А то наберем-наберем, а сделать сил не хватает. Средства завязают. Мы сейчас об этом с совнархозом спорим. Там две тенденции: управление металлургической промышленности озабочено тем, чтобы освоить введенные мощности, и в руководстве тоже за это, но...

Евгений Николаевич не договаривает. Как раз в те часы, когда мы путешествуем по стройке, сочиняется письмо о приведении титула в соответствие с реальной действительностью. Но поймут ли там? «Там» — это в совнархозе.

Совнархоз был зачинщиком всего этого дела, он помогал, крепко помогал. Но он же и... И Евгений Николаевич переводит разговор в другую плоскость:

— Все оборудование наше, отечественное, добротное. С комплектацией сложно. Очень все осложнилось. Мы ведь больше времени занимаемся защитой и проталкиванием нарядов, чем следим за работой подрядчиков и субподрядчиков, а их у нас не счесть.

МЕТЧЫ О «ЗЕЛеноЙ УЛИЦЕ»

То, что затем рассказал мне Е. Н. Олейник и о чем он просил меня обязательно написать («Так больше оставаться не может. Вы это поймите!»), вероятно, совсем не откровение для работников народного хозяйства. И на Пленуме об этом говорили.

— Наша стройка,— заверил он,— отнесена к числу особо важных, пусковых. Можно было предположить, что нашим заказам будет открыта «зеленая улица». А на деле...— Он роется в ящике своего письменного стола, отыскивает нужную бумагу и продолжает: — Нас должны обеспечивать всем необходимым: Союзглавметаллургкомплект, Укрглавкомплектоборудование, Главэнергокомплект, Управление материально-технического снабжения Донецкого совнархоза и еще многие другие организации. Точного разграничения, кто чем должен нас укомплектовывать, нет. Чтобы Союзглавметаллургкомплект принял от нас заявки на комплектацию оборудования для пусковых объектов тысяча девятьсот шестьдесят третьего года, мы должны защитить наши потребности сначала в Донецком совнархозе, затем послать в Укрглавкомплектоборудование Украинского совнархоза, потом в Госплан УССР. И только после этого Союзглавметаллургкомплект примет заявки. Голова может распухнуть от этих «комплектов».

Олейник продолжает:

— Всем им подавай спецификации, технологические схемы, заполняй опросные листы. Большею частью это приходится делать тогда, когда схемы еще не готовы, а между тем объект в титуле. Подрядчик стоит над душой... Дальше. Завод-поставщик выдает опросный лист лишь тогда, когда у него имеется наряд, а наряд выдают по опросному листу. Вот и случается, что мы объект уже сдали, а что требуется для него — еще не получили. Так было на мартенах. Вы спросите: как же все-таки мы пустили мартен? Изворачиваемся... Ударным, особо важным стройкам должна быть открыта «зеленая улица». Пора комплектовать... комплекты,— настаивает он.

Решения Пленума ЦК приведут к упорядочению системы комплектации и снабжения. Вернемся, однако, к титулам.

ТИТУЛЫ, ПЛАНЫ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Генеральный титул был намечен в проектном задании. Битва за холодный лист развернулась быстрее, чем намечалось. Но удалось ли найти кратчайший путь к цели?

Вот стоят в ряд домны — действующие и строящаяся. Готовится площадка для следующей... Могучий цех.

У доменщиков, как и у сталеплавильщиков, отнюдь не праздничное настроение, они тоже ведут печи не на самом высоком уровне. У мартеновцев тылы не готовы. А у доменщиков? Та же болезнь.

Домны завода имени Ильича работают на сырой криворожской руде с незначительным добавлением привозного агломерата. Во время транспортировки он разрушается, превращается в пыль. Из-за этого нарушается ход домен, непомерно большой вынос пыли (первое, что бросилось в глаза, когда наш самолет приближался к заводу имени Ильича, — буро-красные облака пыли над домнами). Общеизвестно, что секрет отличных коэффициентов использования домен Магнитки, Череповца и других — в тщательной подготовке сырья. На заводе имени Ильича решение этой задачи отнесли на... «потом», на последнюю очередь. Между тем элементарный расчет показывает, что большая доменная печь завода имени Ильича выплавляет почти на тысячу тонн чугуна в сутки меньше, чем точно такая же печь в Череповце. Недобор на всех будет равен полной суточной производительности большой доменной печи. Так почему же готовятся к закладке еще одной гигантской печи, а строительство агломерационной фабрики вновь отодвигается то ли на 1964, то ли на 1965 год, то ли на еще более поздний срок.

Кто-кто, а уж технический отдел завода должен был протестовать против такой «политики», бороться за аглофабрику, за создание комплекса подготовки сырых материалов, за тыл?!

И верно, начальник технического отдела Андрей Петрович Попов за то, чтобы сперва строить агломерационную фабрику, а затем еще одну домну. Однако в совнархозе придерживаются иной линии. И он пытается... эту линию, елико возможно, защитить.

— Проектирование аглофабрики — дело более сложное, чем доменной печи, — объясняет Попов.

Как будто у нас нет опыта строительства агломерационных фабрик! Как будто ему неизвестно, какие успехи достигнуты в нашей стране в обогащении разных руд. Ведь советский опыт изучают во всех странах, в том числе и в США.

Прямее и откровеннее сказал об этом директор завода Иван Иванович Шаламов:

— За нас решает совнархоз! А доменная печь, вы сами понимаете, более эффективный объект, чем аглофабрика. Вот титулы и заполняются более выигрышными объектами. И очень мало заботы о том, чтобы эти объекты могли бесперебойно и высокопроизводительно работать. Пустили огромный стан, а ни одной единицы для главного механика не построили. Разве это по-хозяйски? Готовимся к пуску доменной печи, но у нас нет резерва воздушных средств. Опасная, чреватая серьезными последствиями техническая политика, если это можно назвать политикой.

Хочется продолжить эти вполне здравые мысли директора. Чего, например, стоит деление объектов на очереди. Тонколистовой стан-1700 вступил в действие два года назад. Пушена первая очередь. Но ведь стан нельзя разорвать на части! Стан — нечто целое, неделимое, это машина с началом и концом технологического процесса. Что же означает первая очередь? А то, что не построили полного комплекта нагревательных печей, что тыловые службы урезали и они не способны обеспечить работу стана на полную мощность. Можно понять беспокойство начальника стана А. М. Поповиченко, который говорит, что «недоделки по стану не чувствуются, пока не хватает металла. А пойдет металл, и стан не в состоянии будет его пропустить».

Беседу с директором завода И. И. Шаламовым мы вели ранним утром, до начала рабочего дня. За обширным письменным столом сидел усталый человек. Он пытался осмыслить все свершившееся:

— Ошибка была не в том, что комплекс нового завода начали со стана-1700, а в том, что мы набирали слишком большие титулы на один год. И не осваивали средства, которые отвлекали с других строек. А раз объект запланирован, на него сразу пишут план. Там (имеется в виду Госплан СССР.— И. П.) рассуждают так: построят агрегат — тут им и план. А агрегат не вошел в срок или вошел, но тылы не готовы. Мы плана не выполняем. Банк начинает нас прижимать. Приезжают комиссии. Страдает в конечном счете народ. Вот и получилось: в такой короткий срок сделали большую

работу, старый завод превратился в гиганта металлургии, произошло это почти неожиданно-негаданно. Нам бы за это почет, уважение, а нас бьют. Мы в отсталых...

Иван Иванович на минуту замолчал, а затем продолжил:

— На днях с нас сняли задолженность и по стали, и по горячему листу. Можно бы свободнее вздохнуть. Однако успокаиваться рано. В совнархозе все та же тенденция — набрать титул. Мы пытаемся оспаривать эту линию. Но в руководстве совнархоза придерживаются другой линии. Правда, в новый титул уже вошли и тыловые цехи.

— Кто же это в совнархозе?

— Если вы поговорите с начальником управления металлургической промышленности Минаевым, то увидите, что у него одна линия... А у руководства совнархоза, у заместителя председателя Гавриленко (можно сказать, это его инициатива влить в старый завод новую жизнь) иная. И порой выбирались пути, которые на самом-то деле оказались не самыми короткими и не самыми выгодными.

— Стало быть, техническую политику на вашем заводе диктует совнархоз?

— Выходит, так, — вынужден признать директор.

— Ну, а высшие организации?

— Бывали здесь и из Госплана и из Госэкономсовета. Но эти визиты существенно влияния на ход событий не оказали. У нас ведь много проблем, от которых подчас пытаются отмахнуться — лишь бы построить объекты, а там все образуется. Завод растет, для работы на новых агрегатах приходится привлекать людей из Донбасса и других мест. Взять вопрос о жилье. Строим. Объем жилищного строительства увеличился в семь раз, но этого крайне недостаточно. Нам негде размещать прибывающих квалифицированных рабочих и инженерно-технический персонал. Или другой вопрос — о судьбе старых цехов. По проектному заданию, вслед за пуском новых цехов должны быть остановлены старые. Оборудование в некоторых из них до того изношено, что работать на нем нецелесообразно, а порой и небезопасно. Пять печей старого мартеновского цеха подлежат сносу, а Госплан продолжает давать на них план. И мы продолжаем варить сталь на этих агрегатах. Впрочем, одна печь остановилась, эксплуатировать ее больше невозможно. Печь не работает, а план на нее идет.

За этими разговорами бежит время. Все чаще зажигаются лампочки на селекторе. В кабинет директора входят люди, коим разрешено входить без доклада. Главный диспетчер приносит огромную ведомость показателей за истекшие сутки. Директор просматривает ее... Там недобор, здесь авария. Причины: поломались валки, залило шлаком, другой цех подвел...

...Начинался новый день.

— Год-другой придется еще помучиться, — заключает беседу Иван Иванович Шамамов. — В муках рождается завод-гигант.

* * *

Богата страна, у которой столько природных ресурсов, что есть из чего выбирать — криворожская или керченская руда? И та и другая под рукой. И уголь, и огнеупорные материалы, и известняк — все рядом. И проблема воды — не последняя для металлургического гиганта — решается.

Могуча страна, которая может в столь короткий срок превратить старый, отсталый завод в гигантское предприятие, оснащенное передовой техникой.

Просматривая заполненные в городе Жданове записные книжки, останавливаюсь на выписках из проектного задания: «Размер капитальных затрат в промышленное строительство на одну тонну прироста приведенной металлургической продукции... на 6—10 процентов ниже проектного показателя Карагандинского, Новолипецкого и других заводов... Проектная себестоимость металлургической продукции ниже, чем на других заводах Юга... Убыточный завод превращается в высокорентабельный, что обеспечивает окупаемость затрат в 1,8 года».

И невольно подумалось: с какого же времени должна начаться окупаемость затрат? Не пора ли задуматься над этим работникам и завода и совнархоза?.. Тогда, может

быть, не случилось бы всего того, с чем сталкиваешься на каждом шагу на заводе имени Ильича, где уникальные агрегаты, на которые затрачены огромные средства, работают с очень низкой отдачей.

Дела, о которых мы рассказали,—свидетельство того, что благодаря созданию совнархозов были, фигурально выражаясь, подняты и вспаханы площади «промышленной целины». Не всюду, однако, прошли по ней на необходимую глубину. Стремясь охватить побольше площадей, забыли о главной цели — высокой отдаче. Несомненно, что это результат «недоработки» совнархоза, увлечения, как кем-то удачно было отмечено, «рапортоемкими объектами». Но этого не случилось бы, если бы партийные организации глубоко и повседневно занимались экономикой, если бы, как говорил на Пленуме ЦК Н. С. Хрущев, титульные списки изучались со всех сторон — технической, экономической... Словом, если бы здесь действовали не «на ура!», а постоянно заботились об общегосударственных интересах.

Урок операции «ХЛ» нам кажется поучительным.



В МИРЕ ИСКУССТВА

ТАТЬЯНА БАЧЕЛИС

★

РЕЖИССЕР СТАНИСЛАВСКИЙ

(К 100-летию со дня рождения)

I

К своему столетнему юбилею Станиславский приблизился в ослепительном свете славы. Давно уже никакой серьезный разговор о театре невозможен без упоминания его имени. Цитатами из Станиславского пронзают друг друга в полемических статьях и речах люди разных сценических верований и пристрастий. Режиссеры, между спектаклями которых нет ничего общего, с одинаковым убеждением ссылаются на Станиславского. Станиславский — начало всех начал.

Преклонение перед Станиславским естественно. Он был гением. Очень многое в мировом сценическом искусстве он сделал и понял впервые. Его слава доподлинная, истинная. Плохо только, когда ее сияние ослепляет. Когда в блеске неподдельного величия трудно бывает различить живые, подвижные, изменчивые черты художника, который прожил «в искусстве», как он сам говорил, всю свою жизнь — вдохновенную и трудную жизнь практика, экспериментатора, мыслителя.

Быть может, именно оттого, что многие литературные портреты Станиславского покрыты хрестоматийным гляncем, особенно остро чувствуется сейчас потребность определить едва ли не самую резкую черту его личности, его художнической природы.

«Основатель», «основоположник» и всеобщий учитель, Станиславский был прежде всего новатором.

Его новаторство было вызвано, обусловлено временем поразительного по интенсивности изменения русской действительности. Жизнь Станиславского в искусстве пересечена тремя революциями и тремя войнами. Она никак не может выглядеть ровной дорогой. Трагедийное напряжение века определило и то, что можно назвать постоянными величинами его творчества, и то, что было в нем изменчиво.

Сквозь Станиславского прошли и Станиславским были начаты, опробованы, двинуты в практику едва ли не все театральные идеи нашего столетия.

Критерии, впервые предложенные Станиславским и некогда содержавшие в себе смелый вызов, гордое отрицание театральной лжи во всех даже самых привычных, казалось неизбежных, неискоренимо «природных» свойствах ее,—стали теперь обиходной нормой, привычной опорой всех суждений об искусстве актера — суждений сугубо профессиональных и ответственных или суждений зрительских, беззаботных.

Гений Станиславского привычно воспринимается ныне как выражение главных закономерностей движения искусства. Надо тем не менее различать, что в творчестве Станиславского было непосредственным выражением общего процесса развития театра и что — особенным, только ему присущим, индивидуальным. В чем было его, Станиславского, своеволие, без которого нет художника?

Ведь закономерное в искусстве выражается конкретно, предъясняется индивидуальностью, формируется личностью. Общее выступает только как особенное, не иначе. Правда может быть высказана художником только по-своему. Эти аксиомы в рас-

суждениях о Станиславском как-то иногда стираются. За ним оставляется все общее в «общем виде». Он как будто бы велик «вообще». Но так не бывает, и, к слову сказать, яростнее всего ненавидел Станиславский именно это самое безразличное «вообще», которое сразу превращает искусство в ремесло.

Задача как раз в том и состоит, чтобы понять, когда, при каких условиях, как конкретно вступало творчество Станиславского в контакт со временем и его правдой. Поиски такого контакта были содержанием всей жизни и деятельности Станиславского. Но это не означает, что контакт всегда возникал сразу и легко — напротив, были периоды чрезвычайно сложных исканий. А случалось и так, что контакт не устанавливался вовсе.

Потребность в творчестве, всегда новом и волнующе неизведанном, была сутью отношения Станиславского к самой жизни. Творчество было для него трудом до самоизнурения и до изнурения других; оно стало для него и самой жизнью. Другой жизни у Станиславского не было.

Им полностью владела одна страсть — страсть к театру и к истине в театре. Менялось время, неизменной оставалась только одержимая готовность Станиславского идти каждый раз до самого конца, до дна познать время и его правду. Он не боялся отказов, разочарований, разрывов в искусстве. Если то, что он считал вчера последним словом истины, сегодня казалось ему чепухой, — он не боялся все начать сначала так, словно до этого ничего и не было сделано.

Он увлекался то трудами психолога Альфреда Бине, то рассуждениями Луиджи Риккони о комедии масок, то теорией «лучеиспускания», обнаруженной им у индийских йогов, вчитывался в Дидро и Коклена, восхищался Крэггом и Рейнгардтом, разочаровывался в Крэге и Рейнгардте — и сквозь все эти увлечения и разочарования его вел все тот же безоговорочный, тяжкий подчас для окружающих духовный максимализм. Он неутомимо экспериментировал, выдвигая новые театральные идеи, и каждую из них стремился проверить на практике. Так возникали одна за другой студии Станиславского, студии Художественного театра. Рано или поздно он покидал эти студии, оставляя там часть себя, своего таланта и души, и унося с собой крупницы добытого опыта, прочные кристаллы новой художественности, выплавленные в тиглях напряженного лабораторного труда.

И — снова искал. Искал новое, нужное обществу и искусству. В его напряженных исканиях всегда чувствовалась некая доминанта времени, звучала — так или иначе — главная тема данной поры. Полнее всего, сильнее и точнее всего искусство Станиславского выражало сдвиги в сознании русской интеллигенции, порывы, убежденность, а подчас и смятение ее гуманизма.

Было время великих дарований. С некоторым даже изумлением сознаешь, что жизнь Станиславского в искусстве началась и развивалась, когда рядом и — в каком-то смысле — вместе с ним работали Толстой, Чехов, Блок, Горький, Бунин, Скрябин, Рахманинов, Репин, Левитан, Врубель, Серов, Ермолова, Стрпетова, Комиссаржевская, Ленский, Мейерхольд, Брюсов, Маяковский, Шаляпин, Анна Павлова, Бенуа, Добужинский. Следом за ними пришла новая, послереволюционная фаланга художников.

Всю почти жизнь свою Станиславский прожил в атмосфере интенсивнейшего развития искусства. Жизнь его — и его свершения, и его личная, особенная художническая тема — может быть понята только в этом широком «контексте времени».

О. Л. Книппер играла с ним вместе в «Дяде Ване» и после вспоминала, как легко, просто было ей говорить о Станиславском-Астрове: «Пойми, это талант. А ты знаешь, что такое талант? Смелость, свободная голова, широкий размах».

С широким и смелым размахом преобразовывал Станиславский облик и формы русской сцены.

2

Первой выдвинутой Станиславским программной формой новой связи сценического искусства с эпохой была форма эпического театра. Речь идет о спектакле, которым открылся МХТ, — о трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Оглядываясь назад, в то далекое прошлое, сегодня, когда выражение «эпический театр»

уже прикреплено — и, кажется, прочно — к новым формам искусства Бертольта Брехта, мы по справедливости должны все же признать, что именно в «Царе Федоре» было сказано первое слово, был открыт самый принцип театрального эпоса. В парадоксальности сочетания этих двух всегда считавшихся противоположными понятий «драма» и «эпос» и был скрыт самый гайный и важный смысл реформы реализма, предпринятой Станиславским.

Сам Станиславский эту линию в театре, начатую «Федором», назвал «историко-бытовой»; но в одном из писем у него проскользнуло и более точное определение: «эпический тон» (об актере Артеме в роли Курюкова). Но не в терминах дело. Дело в том, что Художественный театр озаменовал свое появление совершенно новой для сцен всего мира темой: история и личность, история и народ. В центре всей исторической и историко-социальной концепции произведения стояла закономерность движения истории. А потому в эпической интонации спектакля не было ни приговоров, ни оправданий. Театр безбоязненно стоял перед лицом истории, одновременно видел в ней и трагедию народа, и трагедию отдельной личности. На трагизм истории театр и Станиславский в 1898 году взирали прямо, с эпическим спокойствием, видя свою задачу в том лишь, чтобы объективно этот трагизм раскрыть, показать, доказать. Во имя эпической объективности были предприняты все многосложные труды по отысканию для новой сцены «подлинной старины», а не бутафорской, не «кокошечной», к какой раньше, до Станиславского, прибегала традиция «исторических» пьес. Ради эпической истины была воссоздана вся та сложная партитура предметной, бытовой и психологической достоверности, на которую, при всей необычности и новизне брехтовских композиций, впоследствии в каждом спектакле будет опираться Брехт.

С Чеховым пришло второе и главное открытие — открытие психологического театра. Если в «Федоре» человек предстал впервые как объект приложения вне его стоящих и от него не зависящих сил истории, то в чеховских спектаклях Станиславский пересмотрел старое, устаревшее понятие «характера» как некой устойчивой меры, «единицы измерения» личности. Тема взаимоотношений и связей людей как проблема и как программа времени — вот что по существу стало главным философским и психологическим содержанием чеховских спектаклей Художественного театра.

В них Станиславский и Немирович-Данченко дали сценическому искусству небывалую дотоле силу жизненной конкретности.

Показ самой жизни в потоке ее движения и времени, показ объективный, нетенденциозный, избегающий всех прежних условностей театра, — такова была цель и природа реалистической образности раннего Художественного театра. Если Малый театр в XIX веке был «театром-кафедрой», то Художественный на пороге XX века стал «театром-исповедью» целого поколения современных ему людей.

В процессе создания новой театральной эстетики, добивающейся впечатления сложного многоголосия жизни на сцене, возникало само искусство режиссуры в современном его понимании.

Шедевры, созданные тогда Станиславским, обнаружили глубочайшую своевременность вторжения жизни на сцену. На какой-то исторический момент наблюдения становятся для театра важнее и дороже обобщений. Непосредственность и достоверность наблюденного, любовь к жанровым деталям, доподлинность обстановки, характерность образов, искренность лирического переживания на сцене, воссоздание в спектакле атмосферы самой жизни — все это было направлено против исключительности, против ходульной, искусственной «героизации» человека и вместе с тем все это означало сугубое внимание к внутреннему миру, переживаниям и психологии не возвышенного Героя (с большой буквы), несущего историческую ответственность за все свои решения, а — обыкновенного человека.

Станиславский был из тех реалистов, которые в самой низкой, низменной, самой прозаической реальности замечают элементы и созвучия идеальные, не просто красивые, живописные (хотя именно живописную, красочную, ликующую всеми земными красками сторону реальности Станиславский любил, как никто), но именно — нравственно-возвышенные. Это относится и к режиссуре, и к актерскому творчеству. Таким был его Сатин

в горьковском «На дне» — величественный и оборванный, гордый и бессильный, прекрасный и смешной в одно и то же время. Станиславский не был романтиком. Он идеально отводил ровно столько места, сколько мог наблюдать в реальности, ни на грань больше, поэтому его «героями» часто были «не герои», смешные мечтатели-бродяги или «чудаки». Смешными или бездейственными, одиночными или неудачливыми их делала жизнь — обстоятельства, среда. Такова одна из наиболее интимных, скрытых, но очень важных тем актерского творчества Станиславского.

То же и в режиссуре. В огромном мире персонажей, населяющих созданные им спектакли, не найти людей, которые полностью соответствовали бы его идеалу, так сказать олицетворяли бы собой идеал. Чеховские три сестры и чеховская Нина Заречная, ибсеновские герои и героини — все они так или иначе были освобождены от пафоса, обыкновенны. Тем не менее трепетавшее в них — то болезненно, то робко — чистое и непреклонное звучание человеческого достоинства было правдой, и этим Станиславский дорожил безмерно. Без этого трепетания человеческого достоинства не мыслил он себе никакого спектакля, никакого искусства.

Сутью открытых Станиславским новых форм театрального реализма была предельная индивидуализация человеческого образа на сцене. Жизнь отдельной, данной, «этой» человеческой личности во всех ее особенностях, частностях, внутренних и внешних, бытовых и психологических, скрытых, неясных и во всех взаимосвязях этой человеческой «данности» с миром, с другими — такова была главная тенденция нового реализма XX века, понята и впервые осуществленная Станиславским в его художественных реформах.

Возник новый для сцены образ среды, образ внешнего мира, окружающего людей и влияющего на них, на их взаимоотношения, психологию и чувства, — он то как раз и вызвал к жизни режиссуру как новый вид искусства.

Историки театра знают, что изображению внешней среды на сцене уделяли серьезное внимание и театр Антуана, и труппа мейнингенцев, и движение «свободных театров». Внимание к среде, окружающей человека, было связано с развитием позитивизма в философии и натурализма в литературе.

Однако именно Станиславский сделал резкий шаг вперед и — внутрь. В сферу режиссуры он сразу же ввел не только изображение и осмысление внешнего мира, окружающего человека, то есть реальности, лежащей окрест него, но — и это было главным! — раскрытие связи человека с миром, с природой, с обществом, с другими людьми. Потому-то реализм Станиславского вполне основательно стали называть реализмом психологическим.

Сценические композиции Станиславского раскрывали сложнейшие духовные проблемы взаимоотношений людей. Взаимопонимание и непонимание; разобщенность и потребность в другом; чувство непроницаемости чужого «я» и страдание от изолирующей собственной «скорлупы», ее хрупкости, ломкости и тягостной непрозрачности одновременно; стремления людей друг к другу, то мучительно не совпадающие во времени, то «настигающие» их внезапно, врасплох; общение, трагически опаздывающее, или вовсе ускользающее, или, напротив, вспыхивающее радостью неожиданной близости двух «я»; контакт, возникающий внезапно, и «нелогично», и бессознательно, незаконно — с точки зрения представлений устоявшихся и общепринятых, когда лишь тайная логика этих вспышек душевной близости угадывается людьми; общение, часто противоречащее произносимым словам и «признаниям», но от этого ничего не теряющее ни в своей значительности, ни в своей реальности; перерывы, разрывы в этом таинственном и нереализованном общении. провалы и пропасти, в которые вдруг, теряя другого, падает человек, внезапно чувствуя свою покинутость и одиночество; мгновения подъема, когда тот же самый человек, обретя близость другого, ощутив себя понятым, вдруг начинает чувствовать себя всемогущим и вдохновенным, способным на героизм или творчество, на подвиг и на труд, на любовь, на мужество, на самоотверженность, — вот круг профессионально-театральных и общечеловеческих тем, которые разрабатывал в своих чеховских спектаклях Станиславский.

«Что же в то время, при царивших тогда в большинстве театров условностях, казалось нам наиболее новым, неожиданным, революционным? — вспоминал Станислав-

ский.— Таким, к недоумению современников, казался нам душевный реализм, правда художественного переживания, артистического чувства.

Сутью «душевного реализма» были поиски правды «в самых интимных настроениях, в самых сокровенных закоулках души», а вовсе не воспроизведение банальных, каждодневных переживаний, «слишком знакомых нам, заносенных ощущений». Форма, реализующая столь утонченную партитуру человеческих настроений и отношений, была сложна.

Станиславский изобрел тогда не только музыкальную систему пауз, но и дал театру небывалые прежде средства воспроизведения всех оттенков звука, света, невиданное раньше на сцене знание быта, вещей. Столь ходовые ныне понятия, как атмосфера спектакля, «настроение», были впервые утверждены Станиславским. Много раз впоследствии писал он о том, что именно в чеховских спектаклях ему открылся путь к творчеству «художественного сверхсознания», которое «начинается там, где кончается и внешний и внутренний реализм». И до конца жизни своей считал Художественный театр прежде всего театром Чехова.

Психологический, «душевный реализм» Станиславского дал театру возможность ответить современным общественным требованиям. Страна тогда, в период перед революцией 1905 года, по словам Станиславского, «жадно искала героя, бесстрашно говорящего правду, воспрещенную властями и цензурой». Первым таким героем стал доктор Штокман-Станиславский в известной пьесе Ибсена. Возбужденный зрительный зал «ловил малейший намек на свободу, откликнулся на всякое слово протеста Штокмана. То и дело, и притом в самых неожиданных местах, среди действия, раздавались взрывы тенденциозных рукоплесканий. Это был политический спектакль», вспоминал Станиславский, хотя «мы, исполнители пьесы и ролей, стоя на сцене, не думали о политике». Политическая окраска возникла здесь как бы сама собой — как результат и следствие психологической правды. Через двадцать лет, уже после Октября, размышляя об этом, Станиславский писал: «Не в том ли секрет воздействия общественно-политических пьес, что при их воплощении актеру надо меньше всего думать об общественных и политических задачах, а просто быть в таких пьесах идеально искренним и честным?» В тот ранний период истории Художественного театра Станиславский к реализации общественно-политических тем и задач шел как актер только через «личное» (от частного к общему, от «интуиции и чувства»), как режиссер — от непосредственно наблюдаемой и досконально, до мелочей изученной «натуры», от познанного до конца материала живой действительности. Огромный политический и эстетический успех этот метод дал в постановках первых пьес Горького «Мещане» и «На дне» (1902), в которых «общественно-политическая линия» искусства Художественного театра выразилась в канун 1905 года с самой большой силой. Эпоха нарастающей революции побуждала театр русской демократической интеллигенции к вторжению в новые, самые глубинные пласты социальной действительности России — в жизнь самых низов общества, в жизнь народа. Художественный театр искал революционного драматурга, искал Горького. Настоящую битву с царской цензурой выдержал театр за пьесу «Мещане». Шедевром режиссерского искусства в воспроизведении доподлинности картины жизни стал спектакль «На дне». Типы горьковских босяков-философов увлекли Станиславского. Их сценические образы он лепил с натуры. Новый, невиданный в искусстве театра материал жизни тех, кого и за людей не считали, хлынул на сцену, организованный режиссером во имя идеи: «Свобода — во что бы то ни стало!» — которую Станиславский считал «внутренним смыслом», «духовной сущностью» горьковской пьесы.

3

Еще в 1905 году Станиславский стал искать иные, новые формы выявления «жизни человеческого духа»: после опыта эпического театра и театра психологического стали нащупываться формы театра философско-символического. Такая последовательность в известной мере соответствовала развитию русской общественной мысли, хотя, подчеркиваю, далеко не всегда была связана с нею прямо, по законам зеркального отражения. Даже иногда наоборот: форма художественной связи с эпохой становилась

внешне условной, принимала — и в этом тоже была своя закономерность — характер отвлеченный.

Символизм в русском театре — тема мало изученная. Первоначально, в ранних постановках некоторых пьес Ибсена в Художественном театре (которые шли параллельно чеховскому и горьковскому репертуару), символизм выражал протест одинокой личности против пошлой обыденности, попытку оторваться от нее к «высшим запросам духа». Критически осмыслив в 1924 году в книге «Моя жизнь в искусстве» эту «линию» Художественного театра, Станиславский писал: «Мы не умели отточить до оимвола духовный реализм исполняемых произведений», скристаллизовать «духовное содержание», «отшлифовать полученный кристалл, найти для него ясную, яркую, художественную форму, синтезирующую всю многообразную и сложную сущность произведения». Когда в 1905 году Станиславский увлекся поисками в этой области, изменилась тематика его исканий: он хотел создать обобщенные философские образы, прямо и наглядно «олицетворяющие собой стремящуюся ввысь мечту, идею».

Осознание проблем бытия стало не менее насущной потребностью искусства, чем до этого осознание связи человека с историей и связей между людьми.

Станиславский ощутил потребность времени в театре широких символических обобщений. За мысли нового направления на первых порах объединил Станиславского и Мейерхольда в их общем начинании — в опыте создания Театра-студии на Поварской в 1905 году.

Открывая студию, где решено было ставить символистские пьесы «Шлюк и Яу» Гауптмана и «Смерть Тентажиля» Метерлинка, Станиславский провозгласил: «В настоящее время пробуждения общественных сил в стране театр не может и не имеет права служить только чистому искусству, — он должен отзываться на общественные настроения, выяснять их публике, быть учителем общества. И, не забывая о своем высоком общественном призвании, «молодой» театр должен в то же время стремиться к осуществлению главной своей задачи — обновлению драматического искусства новыми формами и приемами сценического исполнения».

Что же получается? Символистские искания Станиславский в мае 1905 года прямо соединяет с задачей театра стать «учителем общества»? Да, именно так. Иначе и быть не могло, ибо Станиславский всегда свои новаторские искания в области формы внутренне, субъективно связывал с общественным назначением искусства. Впоследствии он выдвинет формулу: «От интуиции через быт и символ — к политике». В своих годичных поисках он шел от общего — к частному. К индивидуальному, к личности — от некоей философской идеи, от понимания общих законов бытия. Тяготение Станиславского к символизму было вызвано отчасти опасением художественного застоя в театре. «Новых путей не было, а старые разрушались». Станиславский чувствует отвращение к самому себе «как к режиссеру, потерявшему перспективу, и как к актеру, деревенеющему от застоя».

Как легко забывают у нас об этих переживаниях Станиславского! Художественный театр на вершине славы, а Станиславский чувствует, что театр «зашел в тупик», что сам он потерял перспективу. Надо снова искать — искать новые темы и формы, новое содержание, иначе актер будет выходить на сцену с пустой душой, отыгрывать «без душевного горения» уже пережитые темы и идеи. «Снова наступил тот период в исканиях, во время которого новое становится самоцелью. Новое ради нового. Его корней ищешь не только в своем, но и в других искусствах: в литературе, в музыке, в живописи».

Размышления Станиславского о драмах Ибсена и Метерлинка, о живописи Врубеля, об искусстве Анны Павловой и Федора Шаляпина, в сущности, приводят его к проблеме образной природы сценического обобщения.

Как воплотить на сцене, в «материальном теле» актера содержание формы врубелевского искусства? Станиславский тренируется перед зеркалом, в иные моменты ему мнится, что удалось пропустить «Врубеля через себя, через свое тело, мышцы, жесты, позы», но потом наступают сомнения, кажется, что задача «невыполнима, так как врубелевские формы слишком отвлечены, нематериальны». «В другие, бодрые, моменты

решаешь иначе: «Неправда,— говоришь себе,— причина не в том, что наше тело материально, а в том, что оно не разработано, не гибко, не выразительно. Оно приспособлено к требованиям мешанской повседневной жизни, к выраженному будничных чувств. Для сценической же передачи обобщенных или возвышенных переживаний поэта существует у актеров целый специальный ассортимент заносенных штампов... Можно ли этими вульгарными формами передать сверхсознательное, возвышенное, благородное из жизни человеческого духа — то, чем хорош и глубок Врубель, Метерлинк, Ибсен?»

Итак, вот перед какой проблемой стоял Станиславский — найти новые средства сценической выразительности, которые способны были бы передать без пафоса «возвышенные чувства, мировую скорбь, ощущение тайн бытия, вечное».

Вот почему Станиславский прибегает к символизму как к первичной наглядной форме философских обобщений. Он искал общего, словно бы возвышающегося над конкретной реальностью и именно потому обращался к «ирреальной драматургии».

На протяжении многих лет символизм в творчестве Станиславского изображали как результат госторонних влияний. Сам Станиславский придерживался на этот счет других взглядов. «Создалось мнение,— писал он,— опрокинуть которое невозможно, будто наш театр — реалистический театр, будто мы интересуемся лишь бытом, а все отвлеченное, ирреальное нам якобы не нужно и недоступно. В действительности же дело обстояло совсем иначе. В то время, о котором идет речь, я почти исключительно интересовался в театре ирреальным и искал средств, форм и приемов для его сценического воплощения. Поэтому пьеса Леонида Андреева (речь идет о «Жизни Человека». — Т. Б.) пришлось как раз ко времени, т. е. отвечала нашим тогдашним требованиям и исканиям».

После поражения революции 1905 года театральный символизм приобретает преимущественно пессимистический характер. Возникают отчетливые темы «рока», «чуда» и т. д. Эстетика символизма в этот период выражает у Мейерхольда, Станиславского, Немировича-Данченко различные аспекты одной, в сущности, темы — «трагедии человеческого духа», трагедии интеллекта, бессильного постичь и изменить действительность.

В этот короткий исторический момент (1907—1909), когда символизм в русском театре стал наиболее заметным направлением, он олицетворял собой по преимуществу разлад идей с реальной жизнью, крушение надежд, являл собой образное выражение этого разлада и — обобщение действительности, сознательно отвлеченное, отлученное от социальной конкретности.

В символизме и Станиславский, и Немирович-Данченко, и Мейерхольд, и Вера Комиссаржевская искали решения «проклятых вопросов», искали «идеалов», смысла жизни. Художники прошли сложный путь от разочарования в возможности общественного прогресса, от безверия, постигшего их в годы реакции, — к мнимым «идеалам» пессимистической символистской драмы, к вере в «рок», в фатум, в силы, стоящие вне человека и над ним и управляющие его судьбой, и наконец к разочарованию в этих химерах. Оказалось, что это мир сплошных иллюзий, что русская символистская драматургия эпохи реакции — дурной, напыщенный самообман, бегство в ничто. Уже в 1910 году Станиславский говорил: «Лучше совсем закрыть театр, чем ставить Сологуба и Андреева. Вы попробуйте теперь посмотрите или перечтите «Жизнь Человека», и вы в ужас придете от фальши, придуманности, смешной гримасы». В. Ф. Комиссаржевская так и сделала — закрыла театр, вернее, сама ушла из театра, ощутив удушье от всего современного репертуара.

Отказ Станиславского от символизма был, конечно, результатом кризиса всего этого течения в русском искусстве.

Но нельзя символистские искания Станиславского считать капризом, прихотью или же изображать дело так, словно режиссер просто поддался стороннему влиянию.

Долгое время непониманию или неполному пониманию коренной связи Станиславского с общим литературным процессом в России способствовало то обстоятельство, что и сам Станиславский, и все внутри МХТ и вне его считали Вл. И. Немировича-Дан-

ченко ответственным за репертуар и за всю так называемую «литературную сторону дела». Таких высказываний у Станиславского много. Бесспорно также, что Вл. И. Немирович-Данченко в ряде решающих репертуарных моментов истории МХТ был смелым инициатором Чехова как автора для МХТ открыл Немирович-Данченко и даже почти навязал «Чайку» Станиславскому. Но Чехова на сцене открыл Станиславский.

Дело, однако, не в «разделении труда», а в том, что Художественный театр своей классической поры и Станиславский больше, чем кто-либо из великих русских режиссеров, без литературы и вне ее процессов жить не мог, такова была его природа, его судьба.

Поэтому в высшей степени наивно утверждать, как это делает В. Я. Виленкин в предисловии к тому писем Станиславского, что «наряду со спектаклями, возвращавшими театр на его исконный путь жизненной правды, социальной содержательности и глубокой человечности, в творческой лаборатории Станиславского еще продолжали возникать призрачные химеры отвлеченно символических образов», что «между «Борисом Годуновым» и «Ревизором» в клин в а л а с ь «Жизнь Человека» Леонида Андреева». Наивно потому, что словечко «вклинивалась» никому не объясняет «странное» состояние «жизни человеческого духа» Станиславского в 1907 году, которое побуждало его тревожно вчитываться и вслушиваться в современную для того времени драматическую литературу. Ведь Чехов сделал Художественный театр театром современной литературы и реальность на сцене научил понимать прежде всего как реальность настоящего времени, реальность современной жизни. «Жизнь Человека», как и «Драма жизни», как и «Синяя пицца» и т. д.— все это были произведения современной драматургии. А биографы склонны принимать во внимание у Станиславского (после смерти Чехова) только постановки русской классики, возвращавшей его якобы на «исконный путь».

Что касается конкретно дореволюционных постановок классики в МХТ, то все они были резким преодолением старых традиций русского театра XIX века, никуда они Станиславского не «возвращали», а, наоборот, каждый раз становились для театра художественной проблемой.

«Ревизор» 1908 года возмутил адептов старого искусства своим натурализмом; А. Р. Кугель негодовал по поводу «попрания священных классических традиций», писал о «вандализме» и «нигилизме» Станиславского, о его режиссерском самодурстве. Даже верная почитательница Станиславского Л. Я. Гуревич возражала против «утрированных деталей» (Хлестаков у Станиславского таскал за волосы трактирного слугу и швырял в Осипа ботинки).

Очень интересен ответ Станиславского Л. Я. Гуревич: «Детали с башмаками, с хохлом полового можно и убрать. Это не важно, но если принять во внимание, что действие происходит в 30-х годах, и вспомнить отношение барчонка к слугам того времени, то иного отношения и быть не могло. Недавно, на днях, я видел своими собственными глазами, как один известный в Москве барчонок в минуту раздражения выплеснул стакан с вином в лицо половому, который не вовремя доложил что-то... Все это происходит в XX веке, что же было во времена Гоголя? Все эти мелочи и создают ту атмосферу наивности, в которой могла разыгаться история с ревизором.

Но, конечно, если публика не доросла до смелой правды на сцене, если ее понятия об эстетичности не идут далее академичности — не стоит засорять ее трусливой фантазии мелочами, так как за ними она не разглядит главного».

Когда Станиславский утверждает, что «мелочи и создают ту атмосферу наивности, в которой могла разыгаться история с ревизором», то становится ясно: отнюдь не одна лишь описательная, живописно-этнографическая и познавательная сторона быта (хотя все это, бесспорно, занимало Станиславского и само по себе) важна была режиссеру. Но волновала его та причудливость житейских деталей, та фантастика мелочей, которая, по Гоголю, диктует возможность самых «невероятных происшествий».

Если бы сам Гоголь не ощутил эту фантазмагорию быта, то майор Ковалев не потерял бы своего носа, а нос не осмелился бы разъезжать в бричке по Невскому и чинно стоять во время службы в Казанском соборе...

Конечно, Станиславский прав — это же действительно непреложный гоголевский

закон: только в мире, где мальчишка бьет слугу штиблетами по голове, могла «разыграться история с ревизором!» Мы не знаем, доходила ли эта сторона быта в «Ревизоре» Станиславского до его зрителей. Судя по описаниям и полемике того времени, не доходила. Вероятно, сказывалась перегруженность бытом или слишком уж спрятанная Станиславским за объективностью его сценического повествования концепция. Иные восприняли даже первую мхатовскую постановку «Ревизора» как натуралистическую. В самом же деле Станиславский дал в спектакле реализм в воспроизведении гоголевской эпохи. Не гоголевской комедии, а самой эпохи. Это открытие и озадачило Кугеля, видимо, больше всего: жизнь, стоявшая за гоголевским сюжетом, стилем и текстом, предстала на сцене, явилась предметом изображения.

Такой подход к классике с преобладанием на сцене разработанного «образа эпохи» стал впоследствии одним из характерных принципов, получивших своеобразное развитие в советском театре: именно этот принцип в резко авторизованном и символически преображенном, заостренном виде был отправным пунктом мейерхольдовского «Ревизора» 1927 года, а в тридцатые годы, снова освобожденный от символики, стал одним из интереснейших завоеваний режиссуры Алексея Попова в театре Шекспира.

Точно так же, как и «Ревизор», новизной, свежестью подхода к классике, а отнюдь не «возвратом» к старому и «исконному» характеризовались тургеневские («Месяц в деревне», «Где тонко, там и рвется», «Провинциалка»), мольеровские («Мнимый больной»), пушкинские («Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери») работы Станиславского.

Многие из этих работ содержали шедевры актерского искусства Станиславского. Но не всеми из них он был доволен сам. Особого рода сложности возникли в пушкинском спектакле. Станиславский в роли Сальери «алгеброй» психологизма проверил и обосновал каждую фразу пушкинского текста, однако это не помогло: напротив, музыка пушкинских строк (то есть форма пушкинской мысли) распалась, исчезла. Это мучило Станиславского многие годы.

В течение нескольких лет Станиславский с особой интенсивностью работал вместе с Л. Сулержицким в Первой студии. Они оба хотели «создать нечто вроде духовного ордена артистов», объединить людей «возвышенных взглядов, широких идей, больших горизонтов».

Возникла идея этического театра.

Собственно, в самых общих ее очертаниях новой она для Станиславского не была.

От первого тургеневского спектакля с его тончайшим психологическим кружевом до создания Первой студии с ее попыткой слить театр с жизнью, с ее толстовством, проповедью добра — неуклонно шла эволюция Станиславского. Все упорнее, особенно в период совместной работы с Л. Сулержицким, двигался он к идее воспитательного искусства, помогающего людям становиться лучше, добрее, чище.

Русская действительность предстала перед Станиславским со всеми ее кричащими социальными противоречиями.

Противоречия еще яснее выступили из-за обострения общественных конфликтов, нового подъема революционного движения, начавшейся первой мировой войны.

Утратив веру в некие высшие, надмирные силы, стоящие над человеком, Станиславский обратился к этике, к силам, находящимся внутри самого человека, надеясь отныне только на него самого и веря в его доброту и чистоту. Искусство Станиславского на время как бы вошло в русло толстовской этики, отдалось идее человеческого самоусовершенствования.

В Первой студии, созданной Станиславским и Сулержицким, театр растворился в комнате, слился с жизнью, убрал свои подмостки и — не пригласил тысячную толпу. Большие вопросы человеческого духа были отодвинуты тревожными душами: судьбы эпохи, страны, человечества — судьбами несчастного «маленького человека». Гуманизм трагических конфликтов сменился проповедью жалости. Объектом искусства стала сама по себе субъективная искренность актера-человека, правда его личных переживаний, его самовыражение.

Конечно, во внимании Первой студии к маленькому «потерянному» человеку, к его бедам и горестям после характерной для символизма громкой «мировой скорби» — в этой перемене объекта была и своя немалая заслуга. Но была и своя непоправимая, примиряющая человека со злом слабость. Отсюда — глуховатый, приглушенный, бо-ящийся яркого света, громкого голоса, большого зала, широкого зрителя и высоких подмостков — легкий шелест «полутонов» и «полушепотов», который пугливо затолкнул театр в комнату для тихого, домашнего, семейного употребления...

Быт, характер, эпоха, среда, социальная принадлежность — все отступало перед замкнутой в себе «психологической сущностью», к которой было сведено понятие человеческой личности.

Нравственность слилась и отождествилась с эстетикой, творческая методология — с искренностью; нравственность и искренность переживаний призваны были определять собою полностью, без остатка, природу эстетического наслаждения.

«Человека жалко!» — шептал, жаловался, плакал, стонал этот театр. Но назревающая общественная тенденция, как морской вал, перекатывалась уже через вопросы личной искренности и частной этики.

К. С. Станиславский первым почувствовал необходимость взрыва этой эстетики. Его «Двенадцатая ночь», поставленная в Первой студии, страстно перечеркнула эту эстетику еще дореволюционных потрясений страны, — перечеркнула дерзко, мажорно, как бы страхивая с себя и иллюзии проповедничества, и духоту узкого мирка домашнего психологизма, и самообман оранжерейной теплоты, тепличной этики.

Так резко умел поворачивать руль Станиславский, когда чувствовал, что ветер времени не наполняет больше паруса искусства, что паруса поникли, повисли, корабль вяло шатается «по воле волн», пора переменить курс. Его ученики — даже талантливый Вахтангов — были озадачены, недоумевали.

«К. С. накрутил такого, — писал Вахтангов, — что страшно. Будет красиво и импозантно, но никчемно и дорого... Я верю, что спектакль будет внешне очень интересный, успех будет, но шага во внутреннем смысле эта постановка не делает. И система не выиграет. И лицо Студии затемнится. Не изменится, а затемнится».

Учитель, однако, оказался дальновиднее, пронизательнее, а выиграл прежде всего сам Вахтангов — «Двенадцатая ночь», бесспорно, подсказала ему лозунг «вернуть театр в театр», многое определила в его дальнейших путях.

4

Реализм Станиславского, оставаясь или всегда стремясь оставаться объективным и повествовательным, менялся и не мог не меняться, ибо реализм — это не только традиция, это всегда новая связь искусства с новой реальностью.

Вероятно, не ошибусь, если скажу, что одной из главных, постоянно действовавших сил гения Станиславского была жажда конкретности, влюбленность в красоту и пестроту живого мира, в его материальность. Он высочайше ценил подробность, характерную мелочь, нюанс, всегда стремясь, однако, к тому, чтобы деталь так или иначе аккомпанировала целому, чтобы несущественное вело к сути, частное — к главному.

И если в творческой жизни Станиславского были периоды, когда режиссер стремился к максимальной широте философских обобщений, то все же гораздо чаще и естественнее для него было извлечение мысли из конкретности бытия. «Принесите на сцену, если это нужно, красоту, опутанную грязью, и на глазах у всех очистите ее» — вот его излюбленный метод, вот процесс, который доставлял ему художническое наслаждение. Он действительно страстно любил быт в самом полном и простом смысле этого слова.

Всегда заботясь о строгой последовательности, логике развития внутренней и внешней жизни актера в роли, добиваясь объективности и повествовательности изображения людей на сцене, Станиславский творил, в сущности, в принципах прозы, в принципах реалистического романа XIX века. Поэтому его театр рассчитывал, что зрители перевоплотятся в жизнь сценических героев, сольются с ними в общем пережива-

нии, почувствуют себя «в гостях у сестер Прозоровых»... Так мы, читая Толстого, забываем о себе и живем жизнью Наташи Ростовской или Андрея Болконского...

Этот принцип «сопереживания» объясняет, почему Станиславский, например, не смог воплотить поэтические драмы Блока, в которых властно доминировало авторское, лирическое начало.

«Я всегда с увлечением читаю отдельные акты Вашей пьесы,— писал он Блоку,— волнуясь и ловлю себя на том, что меня интересуют не действующие лица и их чувства, а автор пьесы... В сущности же, дальше Чехова мне нет пути».

Впрочем, всякое слишком активно выраженное в драме лирическое сознание поэта мешало Станиславскому, произведения такого рода, тем более стихотворные, становились сложнейшей проблемой для Станиславского. Прежде всего тут объяснение мук и страданий, которые он испытал после «Гамлета», после Сальери.

Повторяю, он был, если можно так выразиться, «реалистом-прозаиком» на театре: он признавал на сцене только объективированное бытие образа «другого», признавал выражение духа человеческого не в «лирике» общего образа спектакля, не в интеллектуальном самовыражении режиссера — то есть не в обнаженной тенденции, оценке, не в «отношении» к образу, а — как бы в самовольном, естественно текущем выявлении динамики жизни.

На репетициях часто — после случайной, вроде бы проходной реплики — раздавался его нетерпеливый голос: «Это — целая сцена. Ее надо развернуть». И Станиславский «разворачивал сцену». В. Топорков в книге «К. С. Станиславский на репетиции» привел множество превосходных тому примеров.

В режиссерских экземплярах «Чайки» или «Отелло» мы видим, что в общих и главных чертах свойственный Станиславскому метод повествовательной детализации — раскрытия во всех подробностях объективированной психологической и бытовой фактуры каждого эпизода — сохраняется. В таком подходе к сценической литературе, в таком способе выявления жизни на сцене как раз и обнаруживалась художественная индивидуальность Станиславского.

Станиславский не допускал «заданности идеи», тезисности, обнаженной тенденциозности, рационализма. Ему лично чужды были любые формы творческого, интеллектуального «волютаризма» и субъективности.

Вот почему не выдерживают, на мой взгляд, серьезной критики довольно распространенные в последнее время попытки сблизить и даже как бы отождествить Станиславского и Мейерхольда.

Существование в театре одновременно со Станиславским, по соседству с ним Всеволода Мейерхольда с его крайностями, его ярчайшей тенденциозностью — было не просто выразительным контрастом эпохи. Это было как бы воплощенное в живой ткани искусства противоречие Станиславскому; Мейерхольд — его живая антитеза.

Взаимодействие искусства Станиславского и искусства Мейерхольда было непрерывным творческим спором, отразившим объективную диалектику общего процесса развития русского и советского театра.

Наде помнит, что для Мейерхольда Станиславский был всегда единственным гением театра, за которым он следовал или с которым он спорил, которого он по-своему понимал и после революции думал, что остальные его понимают неверно. Станиславский всегда в глазах Мейерхольда возвышался над всей художественной жизнью века. Всю жизнь Мейерхольд считал себя учеником Станиславского, и, куда бы ни заносили его эксперименты и блуждания, Мейерхольд проверял себя Станиславским.

С другой стороны, в жизни и деятельности Станиславского, в его собственных исканиях, в пережитой им эволюции Мейерхольд играл важную роль постоянного оппонента, который своими непрерывными экспериментами не только «заражал» Станиславского и возбуждал его фантазию, но часто утверждал Станиславского в его убеждениях или заставлял их более глубоко обосновывать или же заново проверять, уточнять свои собственные взгляды, а от некоторых порой и отказываться.

Говоря об их противостоянии, интересно будет напомнить, что если Мейерхольд часто и увлеченно ставил поэтов — Блока, Лермонтова, Берхарна, Маяков-

ского, Безыменского, Сельвинского, то Станиславский только однажды всерьез намеревался ставить современного русского поэта — я уже упоминала эпизод с Блоком. Зато отечественная проза — Толстой, Чехов, Горький, Андреев, Достоевский — была родной стихией Станиславского и Художественного театра. После революции МХАТ привлек к себе опять-таки группу молодых прозаиков: ставили М. Булгакова, Вс. Иванова, Л. Леонова, В. Катаева.

Во взаимоотношениях с искусством Мейерхольда у Станиславского были моменты прямого сближения, такие, например, как совместная работа в студии на Поварской. Были моменты, когда Станиславский восхищался Мейерхольдом. Его привела в восторг, в частности, мейерхольдовская постановка «Мандата» Н. Эрдмана. П. Марков свидетельствует: «В особенности произвело впечатление на Станиславского блестящее режиссерское и декоративное решение последнего акта с вращающимся кругом сцены и движущимися стенами; более того, он довольно категорически заявил: «Мейерхольд добился в этом акте того, о чем я мечтаю».

Видимо, есть также свои резоны и у О. Литовского, который в своих недавно изданных мемуарах смело заявил: «Отдельные эпизоды мейерхольдовского «Леса» безусловно были уже заложены в режиссуре «Горячего сердца».

«Безусловно»... Но — что пардон, то пардон, как говаривали зошкенковские герои. «Горячее сердце» было поставлено Станиславским через два года после мейерхольдовского «Леса».

Нет, нельзя с такой простотой решать проблему взаимоотношений искусства Станиславского с искусством Мейерхольда. Можно только — пока в самой общей форме — сказать, что это были разные миры и что их взаимное отталкивание или (гораздо реже) тяготение друг к другу на протяжении четырех десятилетий истории нашего театра было в высшей степени плодотворно для его развития.

5

После Октября Станиславский очень скоро понял, что играть старое и по-старому нельзя. В 1922 году он писал Вл. И. Немировичу-Данченко из Берлина: «Смешно радоваться и гордиться успехом «Федора» и Чехова. Когда играем прощание с Машей в «Трех сестрах», мне становится конфузно. После всего пережитого невозможно плакать над тем, что офицер уезжает, а его дама остается. Чехов не радуется. Напротив. Не хочется его играть...»

Самые мрачные предчувствия томили его. «Надо, — утверждал он через год, — привыкнуть к мысли, что Художественного театра больше нет». Одна лишь надежда брезжила в этой тьме: «Мы и только мы одни можем научиться играть большие, так называемые романтические пьесы».

Как раз эта-то надежда не осуществилась. Хотя именно с «большой романтической пьесы» — с байроновского «Каина», поставленного еще в 1920 году, начинается перечень послереволюционных работ Станиславского. Трагедийный размах эпохи и потребность в поэтическом, романтическом театре Станиславский почувствовал сразу, еще до заграничной поездки МХАТ. Но «Каин» был его неудачей.

Не потому ли отчасти (хотя, бесспорно, были и другие, идейные и эстетические, причины) не далась Станиславскому эта философская и романтическая трагедия братоубийства, вселенского конфликта между добром и злом, что ее обобщенные формы никак не соответствовали особой, повествовательной природе реализма Станиславского?

Его совсем не заинтересовали тогда произведения агитационной драматургии — он ее не понимал и понять не мог. Прежде всего потому, что в агитационном театре тенденция была открытой, четко и словесно выраженной. Он с некоторым даже сомнением заметил однажды в беседе с Луначарским: «...Чего мы боимся? Мы боимся, что эта музыка нового мира еще долго не найдет себе выражения в художественном слове, в художественной драматургии. По крайней мере до сих пор мы этого не видим, а если нам, театру, дадут несовершенный, косноязычный, сухой, искусственный мате-

риал, то как бы ни был он публицистически согласован с высокими идеями революции, этими идеями мы театру не сможем дать должного звучания... (Подчеркнуто мной.— Т. Б.)».

Революция в искусстве Станиславского заявила о себе прежде всего темой гротескной, гневной, «очистительной», негативной по отношению к старому миру. До сих пор, думаю, не оценена по достоинству осуществленная Станиславским в 1921 году постановка «Ревизора».

Хотя быт дома Городничего был подан еще с обстоятельностью и детализацией, как быт устоявшийся, давным-давно устроенный, тем не менее этот самый быт, сгустившись тревожно в фигурах Городничего — И. Москвина и особенно Хлестакова — Михаила Чехова с его лихим, дьявольским легкомыслием зла, с его, по выражению Н. Эфроса, «трагическим шутовством», — уже тогда предостерегающе повернулся к зрителям своей отнюдь не столько познавательной, сколько страшной стороной. В атмосфере спектакля нависло ощущение резкого, наотмашь бьющего гротеска.

Споры о гротеске в те годы велось много. Время в театральном отношении было буйное и щедрое. Каждый из крупных мастеров советского театра пользовался гротеском по-своему. Мейерхольд применял гротеск философской трагедийно-сатирической формы еще до революции; теперь он использовал гротескные приемы во имя театра революционной агитации как резкое, откровенное оружие искусства в классовой борьбе. Затем возникли гротески Вахтангова, направленные против мещанства («Свадьба») и против «буржуа» («Чудо святого Антония»), против косности древних национальных догм и против оцепенения сознания («Гадибук»), наконец против изуродованности человека безмерностью и безответственностью власти («Эрик XIV» с Михаилом Чеховым в центре). Советский театр, смеясь и ничего не прощая, даже, можно сказать, мстительно расставался с российским прошлым.

И вот наступила очередь учителя. Шире и грознее всех размахнулся в те годы в гротеске Станиславский — сначала в «Ревизоре», затем в «Горячем сердце». Его удары были сокрушительны. Он бил по исконному, наглому, фиглярствующему хамству. Бил с силой давно накопившейся ненависти, расставаясь с прошлым, разрушая его «до основания». Недаром «Горячее сердце» дожило до наших дней.

Вот где формы национально-русского, почти балаганно-петрушечного, даже скomorошьего театра вобрали в себя разнузданную стихию неправдоподобной дикости. По воле Станиславского стихия эта вдруг разверзлась в социально-бытовой, антикупецкой комедии Островского, прорвав все шлюзы театральных традиций, все литературоведческие табу.

Это было вдохновение, опаленное гневом. Можно поэтому лишь удивляться той виртуозной литературной вязи, похожей на бисерное рукоделие гоголевского губернатора, в которой писавшие об этом спектакле умудрились утопить, замолчать, заболтать разговорчиками об актерской технике и «внутреннем», реалистическом пути к гротеску само его содержание! Ведь это же сама старая Россия предстала в страстном изображении и изобличении Станиславского!

Разделена надвое партитура произведения: по одну сторону — «свиные рылы» всего «темного царства», взятого крупно, в целом, в чрезвычайно расширительном аспекте, по другую (в замысле постановщика, вычерченным в мизансценах уверенной, не дрогнувшей ни разу рукой) — душа народа, его долготерпение, достоинство и благородство, выраженное в образах девушки Параша и подневольного парня Гаврилы.

Спектакль фактически заканчивается страшной сценой дрессировки холопской души: самодур Хлынов, пьянеющий от безделья и богатства, дирижирует холопским «оркестром» и, сунув «арестанту» Василию бубен, заставляет его плясать.

Возлюбленная зовет своего «героя», с надрывом кричит, чтобы вспомнил, что он человек, а он не слушает ее, все-таки пляшет, подлец!

Вот вам и Станиславский — «патриарх из Леонтьевского переуллка», — озабоченный абстрактными вопросами актерской техники...

У него в спектакле человек на человеке верхом сидит и ездит! И колонны в спектакле Станиславского витые, розово-голубые, помпезные, как в Елисейском магазине.

Это не просто «купеческая безвкусица» Хлынова — это хлещущий гнев Станиславского. И когда Хлынов (роль Москвина, теперь Грибова), изнывая, томясь мыслью, что бы еще почуднее выдумать, как бы еще поизмываться и, главное, над кем, катается по сцене, хлещет шампанским в лицо человеку — это не шутки, это всерьез. И, право же, более обширно по смыслу, чем обычный «социальный гротеск».

Комедия из жизни купцов старой, захолустной России, пьеса с элементами мелодрамы, которая всегда шла на русских сценах в старой «добротнo-бытовой» манере, была внезапно и неожиданно превращена Станиславским в яростный фарс с почти клоунскими преувеличениями во всем — в декорациях, в гримах, одеждах, мизансценах. Из-за каждой маски этого площадного игрища хамство словно вопиет о своей сверхъестественной, сверхнатуральной сущности, о своем невероятнейшем неправдоподобии.

И здесь тоже чрезвычайно заметен столь характерный для «сценической прозы» Станиславского интерес к «чужой жизни», к логике «другого», к самоценности каждой человеческой индивидуальности, как бы она ни была по своей сущности нелепа, даже карикатурна. Задача перед актерами ставилась интереснейшая: пребывая на сцене в состоянии активнейшего внутреннего творчества, дать предельную застылость, одеревенелость «внутренней жизни» персонажей. Вернее, полное отсутствие внутренней жизни. Потому-то все, что условно, можно назвать происходящим «внутри» Курослепова, Градобоева, Матрены, Хлынова, Василия, Наркиса — ни секунды не «задерживается», тут же выплескивается наружу в формах импровизационных. «Недержание» собственной сущности как черта характеристическая и социальная стало «оправданием» всей эксцентрики актерской игры в спектакле.

После «Горячего сердца» Станиславский забыл и думать о «гибели» Художественного театра, о том, что «МХТ далее существовать не может», как казалось ему еще два года назад. Напротив, он полон энергии, работает с необычайной — даже для него — быстротой.

Совсем новую тональность придал он звучанию быта в спектакле «Унтиловск» Леонида Леонова. Здесь грязно бескрасный, зловеще мрачный быт теснился под низко нависшими потолками мещанских комнатшек. Он был мутным, попахивал дурной, сбивчивой какой-то тревогой. Забытый, словно завалившийся в побуревших снегах дощатый невымытый городок. Тусклая, прокисшая жизнь, которую новое угрожало стереть с лица земли, но которая не хотела тем не менее сдаваться, зверовато огрызалась, в свою очередь грозила новому, была глухо враждебна новизне.

Характерно, что эта работа Станиславского почти вовсе забыта, хотя она — из интереснейших его работ. В ней режиссер с максимальной энергией выразил свое отвращение к мещанству, к его угрозе и его страсти цепляться за это вот перекошенное, грязненькое — но зато свое, собственное! — агрессивное существование «в стороне» от движения жизни.

Новая тема, заявленная прозаиком Леоновым в первой его пьесе, сразу — и с силой — была подхвачена Станиславским.

Встреча с писательским талантом Михаила Булгакова двумя годами раньше «Унтиловска» дала важнейший для Художественного театра спектакль «Дни Турбиных». Чеховское вернулось на сцену театра, но не как копия или идеализированное воспоминание, а как обнаженная и точная драма. Революция прошла сквозь души людей, рассекла, пронзила их, поставив каждого перед вопросом: куда идешь, во что веруешь, за что жизнь отдашь?

Станиславский шел по пути максималистскому, по пути наибольшего «сопротивления материала», когда в первом же своем спектакле, непосредственно посвященном революции, прямо поставил проблему личности, вопрос об ответственности человека за судьбы России, народа и культуры. Мужественно, без обиняков утверждал этот спектакль идею личной ответственности каждого, мысль о великой важности индивидуального поведения человека на крутых изломах революционной истории. Вместе с писателем режиссер-гуманист понял и ощутил цену общественного прогресса, с неизбежностью «забирающего» отдельные человеческие жизни. Но это дорогая цена, говорил театр, и платить ее следует сознательно.

После очистительного гротеска «Горячего сердца» и сурового драматизма «Дней Турбиных» Станиславский в «Женитьбе Фигаро» дал полное жизни, победоносной радости шутовское, брызжащее солнцем скерцо.

«Женитьба Фигаро» — мажорное утверждение стихии народного здравого смысла, смекалки, энергии, юмора и оптимизма. Идея радостно — к свободе! — сдвинутого времени, движущейся истории была поддержана и выражена уже в самом движении сценического пространства. Весь круг сцены, на котором художником А. Я. Головиным был выстроен графский сад с беседками, задвигался, словно бы заплясал в бодром ритме энергичного Фигаро.

В каком-то смысле спектакль Бомарше был шутовой, юмористической репликой учителя на веселую иронию ученика, иронию «Принцессы Турандот» Вахтангова. Радость победы «человеческого духа» над путами среды, догмами прошлого, глупостью старой морали, капризами психологии тематически объединяла работы учителя и ученика. Хотя каждый к радости — как и к гневу — шел своим путем.

Ирония Станиславскому в принципе не была свойственна. А фантастику, щедрость красок, звонкость юмора, и игру он любил. Слово это — «игра» — постепенно и печально забылось скучными догматиками учения Станиславского... Пора нам вспомнить его «живого, а не мумию»: живой он любил смех, любил игру, наивность, детскость, наслаждение, шутки, свойственные театру.

Юрий Олеша, который понимал толк в таких вещах, говорил, что самое драгоценное в Художественном театре, «это — огромная прозорливость и чуткость, воплощенные в Станиславском, настоящим гении, прозрачном и чистом, как дитя».

Все эти черты были, можно сказать, программно выражены в «Женитьбе Фигаро».

Кроме того, в спектакле была заключена идея неприменимости эстетического наслаждения в раскрепощенном искусстве. Гармоничный Станиславский словно полемически напоминал об этом другим деятелям русского театра. И тем, которые придавали художественным формам героического театра намеренно аскетический характер, как бы полагая красоту — преждевременной, а наслаждение — «греховным». И тем, которые пуритански заменили эстетическое наслаждение стремлением к нравственности искусства, к добру.

Тут уместно привести одно высказывание Рабиндраната Тагора: «Я считаю непреложной истиной, что когда человек старается подавить свое стремление к наслаждению, превратив его в стремление к добру, то причину этого следует искать в том, что его способность наслаждаться утратила свой естественный и здоровый характер». Если понимать под словом «добро» всякую общественно-прогрессивную и нравственно-воспитательную идею, то следует сказать, что добро и наслаждение были гармонически соединены в лучших творениях Станиславского. Он любил все, что «служит глазу и слуху» на сцене, хотя и писал много раз, что «разуверился» в этой внешней красоте театра.

А она, эта внешняя красота, была могучей силой и в героических сценах спектакля «Бронепоезд 14—69» Вс. Иванова, прежде всего в знаменитой «Колокольне», поставленной Станиславским.

Уже одно то, что «полом», площадкой сцены стала косая, покатая крыша церкви, было и красиво и выразительно. Почти экспрессионистически запрокинулись в разные стороны на этой крутой крыше колокольня и купол. Словно их растолкал хлынувший на крышу народ, и они, особенно куполок слева, беспомощно сдвинулись, стали косо. Возбужденные сибиряки топчут церковную крышу, толкают куполок, а тот в тоске поднимает к бурному темному небу жалостный росчерк креста.

У Всеволода Иванова вся эта сцена первоначально происходила на площади, среди крестьянских телег. Когда она была перенесена на церковную крышу, когда из колокольни высунулось, словно бы осеняя кряжистую фигуру старика Вершинина (которого играл В. И. Качалов), потрепанное партизанское знамя, когда появился на крыше Васька Окорок — Н. Баталов, «самый пылкий из всех» и потому в алой, хотя и выцветшей от солнца рубахе, то вся эта организованная, тщательно собранная режиссерской рукой Станиславского внешняя красота обрела если не метафорический (в театральном

языке Станиславского мы метафор не найдем), то бесспорно очень ясный образный смысл.

Наконец интонация, с которой Станиславский учил Баталова произносить слово «Ленин», была полна экспрессии и красоты. «Вы,— наставлял он Баталова,— говорите, мне думается, не так это слово. Оно выражает сильного, именитого человека. Тогда как для вас это — зов, клич... На земле — бесчеловечная, безжалостная война, душно, душища,— и вы восклицаете: Л е н и н! Вы восклицаете свободно, с восторгом и восхищением. Вы видите не только этот зал, но и весь мир за этим словом».

Да, Станиславский стремился достичь обобщения в театре прежде всего через актера, выразительностью его внутренней духовной жизни. Но не только. Это видно уже по сцене «Колокольня»: все особенности ее формы, мизансценического рисунка, оформления, цвет неба — все было тщательно продумано, придумано, сочинено Станиславским вместе с художником.

В своих постановочных планах он всегда заранее предвидел и обозначал пространственную и временную конкретизацию идеи. Когда в его отсутствие по его плану ставили «Отелло» (1930) и перенесли сцену с платком из комнаты Дездемоны в «Кабинет» Отелло, Станиславский был разгневан до такой степени, что хотел снять свое имя с афиши и упрекал театр в халтуре. Он писал Л. М. Леонидову из Ниццы, что перенесением картины «Платок» в «Кабинет» на следующий день после «Башни» нарушается «последовательная линия дня», имеющая, по его плану, «первенствующее значение» в «Отелло». «Теряете весь смысл «Подвала»,— писал Станиславский,— подвал «нужен только тогда, когда Отелло под впечатлением того, что платок пропал и Дездемона виновна, пошел с отчаяния сам не зная куда. Шел, шел по лестнице и попал в подвал,—сел на ступень, просидел всю ночь, не замечая даже того, что крысы бегают по нем. Вот в таком настроении узнать или, вернее, увидеть, что платок очутился у Кассио,— вот от этого, под свежим впечатлением, закричит, что «Я бы хотел убивать его девять раз!»»

Тут словно весь Станиславский с его житейской доскональностью во всех реальных мигах настоящего времени и достоверности места действия,— достоверности, служащей для обнажения души человека. Станиславский — с его «натурализмом» и физиологизмом, приобравшим для него смысл образный и обобщающий (состояние Отелло в подвале — это и физиология, и психология, и образ, да и сам «подвал» ведь — не что иное, как образ и весьма многозначительный, если вдуматься). Станиславский — с его приверженностью к строгой и логической последовательности всех подробностей линии поведения человека на сцене, «линии дня», его фактов — внешних и «внутренних»; наконец Станиславский со всей его дерзкой, бесстрашной фантазией: он видел, как крысы бегают вокруг Отелло...

Если воображением выделить и сопоставить две эти человеческие фигуры — баталовского Ваську Огорока в алой рубахе, восхищенно приплясывающего на самой вышке мира, на колокольне, и леонидовского Отелло, всеми покинутого, одиноко сидящего в подвале в состоянии последнего человеческого отчаяния,— то мы получим эстетическую квинтэссенцию Станиславского, явственно услышим его главную тему в искусстве, его гуманизм. Высший взлет этой темы (Васька на колокольне) и крайнее ее падение (Отелло в подвале). Состояния людей здесь достоверно разные — психологически, физиологически, душевно, всячески разные. В этой натуральной достоверности человека на сцене — Станиславский. Но хотя состояния разные, чувство одно — и это тоже Станиславский. Одно чувство движет этими, как и всеми решительно образами его искусства — чувство любви, человечности, общности с миром.

В сущности, мы забываем главное, что составляло душу, кредо нашего режиссера: ему нужна была не просто «правда чувств». Ему нужна была не просто «логика поведения». Не изящество найденной характерности само по себе, как таковое. И не «перевоплощение» — все равно в кого. Нет, не в этом дело. Ему нужна была красота чувств, любовь, поэзия духовной жизни человека, определенное отношение к миру: ему нужен был гуманизм.

Утверждением человечности мира были проникнуты картины жизни в его чеховских спектаклях; мысль о бесчеловечности, дикости условий существования в старом

социальном устройстве пронизывала его горьковские постановки, его сатиру «Горячего сердца».

Гуманизм искал он и в зыбкой, колеблющейся полутьме драматических миниатюр Метерлинка, и в грубой, громогласной крикливости пьес Леонида Андреева, и в приглушенной, тихой душевности спектаклей Первой студии — «Гибель «Надежды», «Сверчок на печи», и в напряженной трагедийности образов Леонидова, и в щедрой веселости игры Баталова, Андровской, Завадского, одухотворившей «Женитьбу Фигаро». Гуманизм Станиславского с глубокой верой глядел в будущее глазами Пеклевана-ва-Хмелева.

Русский театралный мечтатель, практик и теоретик, гуманист Станиславский был убежден, что человеческое немислимо вне социального, но и не исчерпывается социальным. Поэтому общая гуманистическая концепция спектакля никогда не выпирала у него на первый план, за редкими исключениями не являлась в виде голой тенденции, а обычно была как бы скрыта и растворена в объективном и подробном изображении жизни.

6

Знаменитая «система Станиславского» устанавливает те атомы внутренней и внешней конкретности поведения человека на сцене, без которой не обходится ныне ни одно подлинно творческое направление в мировом театре. Станиславский, размышляя над «системой», впервые в широком и принципиальном аспекте учел в своей теории человеческую физиологию и поставил ее в прямую связь с логикой внутренней, духовной жизни. Причем понятие «логики поведения» в его системе лишено сухого рационализма, рассудочности и уже потому не вполне соответствует житейскому эквиваленту этого выражения. Он имеет в виду — для актера — далеко не только рассудочную логику.

Во многих трудах, к сожалению, Станиславский изображается монументально неподвижным, его искусство насильственно отрывается от динамики времени, а «система» обретает тяжеловесную фундаментальность правил, возведенных в высокий ранг эстетических законов и переплетенных (как подобает законам), в единый «свод».

В таких трудах спектакли Станиславского чаще всего служат примерами либо «удачного», либо «неудачного» применения «системы». Можно подумать, что Станиславский творил во имя «системы», а не создавал «систему» во имя творчества.

В действительности «система Станиславского» возникла как прямое следствие, как детище созданного им искусства режиссуры и вне режиссерского театра XX века существовать не может. Играть «по системе», то есть действуя «здесь, сейчас» и с максимальной искренностью переживая каждое мгновение роли, актер может только в спектакле, где все точно между собой согласовано, приведено в определенную гармонию художественного целого (и внешнее и внутреннее, и физическое и духовное), а сама эта гармония активно выражает правду современности (пусть даже во взгляде на прошлое).

Специалисты по Станиславскому настаивают на универсальном и всеобщем значении «системы Станиславского». Вл. Прокофьев и Г. Кристи считают нужным отвергнуть «ошибочную мысль, которая сводится к отрицанию объективного значения «системы Станиславского», к отказу признать за ней характер всеобщности». Во многих статьях щедро рассыпаны упреки едва ли не всем режиссерам, активно и интересно работающим в советском театре,—Г. Товстоногову, В. Плучеку, Н. Акимову, Н. Охлопкову, Р. Симонову, А. Эфросу, О. Ефремову: они-де неверно понимают Станиславского, они-де не умеют правильно пользоваться его «системой».

Между тем «систему Станиславского» глушат и сводят на нет именно люди, которые считают себя самыми ортодоксальными ее приверженцами. Как раз они и отнимают у «системы» то, что в ней может быть всеобщим, универсальным, подгоняя «систему» под свое узкое и давно отжившее понимание сценического реализма. В той же статье Вл. Прокофьева и Г. Кристи (журнал «Театр», № 8, 1958) содержится протест против попыток «атаковать и дискредитировать... ведающее направление (подчеркнуто мной.—Т. Б.) в нашем театре, стремящееся отражать сущность жизни в

реальных формах самой жизни (подчеркнуто Вл. Прокофьевым и Г. Кристи.— Т. Б.)». И продолжают: «Искусство, стремящееся к созданию иллюзии подлинной жизни, существовало и существует по сей день... Известно, что на позициях этого направления в русской литературе и театре стояли все классики, начиная от Пушкина, Белинского, Гоголя, Островского, Л. Толстого и кончая Чеховым и Горьким».

Сказано решительно и твердо. Вдумаемся, однако: в «реальных формах самой жизни» нос вряд ли мог бы сбежать от майора Ковалева и начать самостоятельное существование. Данко вряд ли мог бы осветить дорогу пылающим своим сердцем. Каменная статуя с кладбища не смогла бы принять приглашение Дон-Гуана. И т. д. и т. п.

Луначарский был, думаю, прав, когда очень просто сказал: «Жизненность, которую требовал Станиславский, вовсе не сводится к непосредственной правдоподобности». Сам Станиславский отнюдь не отрицал нарушения «реальных форм» и пропощий и писал: «Пусть постановка режиссера и игра артистов будет реалистична, условна, правого, левого направления, пусть она будет импрессионистична, футуристична, — не все ли равно, лишь бы только она была убедительна, т. е. правдива или правдоподобна, красива, т. е. художественна, возвышенна, и передавала подлинную жизнь человеческого духа, без которой нет искусства».

Таким образом, Станиславский гораздо шире понимал правду в искусстве, чем иные нынешние его интерпретаторы. Станиславский был великим реалистом. Необходимо подчеркнуть и заново ощутить смысл обоих слов. От частого повторения они как бы уменьшились в своем значении, в своем масштабе. Великим, мощным и — очень смелым реалистом был Станиславский.

Пока «система Станиславского» вдвинута в узкое и серое понимание реализма, пока она отлучена от развития современного режиссерского искусства, ее перспективы безрадостны. Подлинное же, действительное применение и обогащение «система» обретает в творчестве артистов, направляемом волей режиссера, который остро чувствует время и создает сценические формы, активно связывающие искусство с жизнью. Кстати, самые убедительные, на мой взгляд, конкретные примеры подлинной «всеобщности» и универсальности «системы Станиславского» подчас даются актерами в спектаклях, совершенно не схожих по режиссерской концепции, тогда, когда актеры верны главному требованию Станиславского — требованию «правды жизни человеческого духа». Во имя этой правды и создавалась «система». Она отнюдь не требует унификации постановочного искусства, напротив — дает фантазии режиссера-постановщика свободу, простор, всегда позволяет этой фантазии опереться на живую натуральность актерского творчества.

В лучших спектаклях сегодняшнего театра — независимо от того, в какие формы изливается фантазия режиссера-постановщика, — всегда сказывается сила бесспорной актерской правды. Современный выразительный язык сцены не терпит никакой приближенности в поведении актера, каким бы монументальным ни был спектакль в целом, каким бы гиперболическим ни был создаваемый образ. Гулливер у Свифта в любых обстоятельствах ведет себя, как свойственно ему, Гулливеру, хотя соотношения его с окружающим миром меняются, — отсюда и комический эффект, и сатира, и философия. Гулливер остается верен себе и среди великанов, и среди лилипутов — он живет жизнью своего «человеческого духа». Найти в новой, особенной стилистической природе образа физически точное поведение артиста, выраженное в слове, жесте, мизансцене, — такова, в сущности, цель, к которой шел, создавая свою «систему», Станиславский.

Он не считал, будто «система» возможна лишь в той объективной повествовательности сценических композиций, которые рождала его собственная режиссура. Повествовательность, сценическая «проза» была его особенностью и — одновременно — некой необходимой линией развития театра современности. Этой повествовательностью подсказаны были затем новые направления развития режиссерской мысли — такие, к примеру, как театр Брехта. В них возникли, естественно, новые ритмы и соотношения, резко выделяющие общую идею, стимулирующие зрительскую активность восприятия спектакля.

Но органичность человеческого поведения на сцене, обоснованная Станиславским, остается важнейшим эстетическим и по природе своей гуманистическим принципом и в том новом синтезе средств сценической выразительности, который характерен для театра наших дней.

Образная правда совершающегося в данный момент на сцене — пусть это будет гротеск, любая гипербола, условный лаконизм или обстоятельное воспроизведение обозримой реальности; свобода «фона» и конкретная безусловность («сверхнатуральность») действующего на этом фоне человека — таков язык современного театра, основы которого созданы и сформулированы Станиславским.

Но это не значит, что путь, которым шел сам Станиславский, или особенности его художественной индивидуальности следует превращать в обязательную для всех норму. Такая тенденция глубоко, трагически даже противоречит самому духу исканий Станиславского.

Мы тщательно и с любовью восстанавливаем сегодня справедливость по отношению к искусству тех художников, которые погибли или подверглись гонениям во времена сталинского культа. Но в определенной реабилитации нуждаются и те художники, чье живое творчество превращалось в догму и — в таком уже качестве — искажалось, умертвлялось. Пора понять, что слепое, догматическое преклонение, неуважительное по сути дела идолопоклонство по отношению к Станиславскому — тоже несправедливость, унижающая его действительный и могучий гений.

Надо, чтобы он был самим собой.

«Я боюсь,— писал он,— стать молодым старичком, который подлизывается к молодому, притворяясь их сверстником — одинакового с ними вкуса и убеждений, который старается кадить им и, несмотря на одышку, прихрамывая и спотыкаясь, ковыляет в хвосте у молодежи, боясь от нее отстать. Но я не хотел бы и другой роли, противоположной этой. Я боюсь стать слишком опытным старцем, все постигшим, нетерпимым, брюзгливым, брюзжащим, не признающим ничего нового, забывшим об исканиях и ошибках своей молодости.

Я хотел бы быть... тем, что я есть на самом деле, тем, чем я должен быть по естественным законам самой природы, по которым я весь век живу и работаю в искусстве».



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ю. МАНН

★

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ УСЛОВНОСТЬ И ВРЕМЯ

(К вопросу о современном стиле)

Спорам о современном стиле, которые страстно и убежденно ведутся у нас на протяжении ряда лет, недостает иногда одного качества — конкретности. Чаше всего вопрос ставится так: соответствует ли «современному стилю» та или другая черта? Например, краткость. Писать кратким, лаконичным, как иногда добавляют — «телеграфным», языком современно или нет? Фраза синтаксически сложная, тянущаяся, как иногда добавляют — «толстовская», сохранила право на существование или нет? В таком подходе неприемлемы ни средства, ни цель. Цель — потому что принятие решения о современности или несовременности какой-либо черты (даже если бы и удалось его принять) — это слишком тощий плод творческой дискуссии; никого, кроме жаждущего регламентации схоласта, он бы не насытил. Средства — потому что выбирается для решения вопроса не самый верный, хотя, быть может, и самый короткий путь.

Ведь если я говорю, что такой-то признак современен (или несовременен) — значит, мне известно то идеальное выражение «современного стиля», та норма, к которой писателям остается еще только стремиться. Но, спрашивается, каким образом я смог познакомиться с этой нормой, если не из результата деятельности самих писателей — этого первичного и самого полного выражения художественных вкусов современности? Однако допустим, что мне удалось вывести эту «норму» прямым путем, из эстетического самосознания эпохи, к которому я как читатель не могу быть непричастен (в истории не раз бывало так, что критика выражала потребности своего времени раньше ху-

дожественной литературы). Но и в таком случае разве не могла одновременно — пусть менее интенсивно, чем в критике, — проявиться эта норма в сфере художественной, ну хоть в самых начатках, «элементарно»?

Не важнее ли конкретное осознание сильных и слабых сторон определенного явления, чем присвоение ему громкого, но, в сущности, ни к чему не обязывающего титула «современный стиль»? В конце концов выводы сделает каждый для себя сам, были бы представлены критикой соответствующие данные.

1

Усиление элемента условности в новейшей литературе — факт, на который обращают внимание многие советские и зарубежные критики. Но мы поначалу остановимся только на небольшой «части» этой условности — на том ретроспективном, «обратном» способе ведения действия, который получил особое распространение в драме.

У Жана Ануяля в «Жаворонке» герои пьесы разыгрывают историю, давно уже им известную. То же самое и в «Антигоне», где выдерживать «ретроспективную дистанцию» помогает хор.

У Артура Миллера в пьесе «Вид с моста» действие разворачивается по мере того, как его комментирует Алфиери; он как адвокат уже познакомился с историей грузчика Эдди Карбоне и теперь выносит ее на суд зрителей.

У Назыма Хикмета в «Дамокловом мече» на сцене оживают события жизни летчика А. Б. Но эти события уже произошли, они уже описаны в том таинственном пись-

ме, которое получили архитектор и его жена и которое теперь они «читают» вслух зрителям.

У П. Когоута в пьесе «Такая любовь» действие строится как разбирательство дела студентки Лиды Матисовой, как расследование истории ее самоубийства, которое уже произошло.

В «Иркутской истории» А. Арбузова хор предвещает: «Вот такая история случилась на реке Ангаре, недалеко от города Иркутска», и герои, в том числе и погибший Сергей, вспоминают события своей жизни.

Пьеса К. Симонова «Четвертый» разворачивается как воспоминание главного героя, и почти все остальные персонажи пьесы — это «люди, возникающие в его памяти».

У молодого драматурга Г. Полонского в пьесе «Сердце у меня одно» события предваряются обращением главного героя к зрителям: хотя ли они знают о думах и мироощущении сегодняшнего советского юноши; если знают, то он, Олег Чубарев, расскажет им историю своей любви.

Сходных примеров из литературы последнего времени можно привести немало. Что это — мода, подражание, увлечение одним удавшимся приемом построения драмы? В какой-то мере и мода, и подражание, и увлечение приемом — но, кроме того, очевидно, и выражение общей насущной необходимости; ведь наблюдается это явление и в творчестве больших художников. И отдают ему порой дань те, кто был строго верен традиционному построению драмы. И не только драмы.

Вы читаете роман Джузеппе Томази ди Лампедуза «Леопард». Традиционнейшая по форме хроника жизни одной семьи. Обстоятельная, добротная, реалистическая манера повествования. Стиль, который, по отзыву Марио Аликаты, «далек от проблем итальянской прозы послевоенных лет, особенно от проблем молодых писателей». Подробности жизни Сицилии в середине прошлого века, которые мог увидеть только очевидец или восстановить исторический романист. И вдруг в описании визита Анджелики к дону Фабрицио вы наталкиваетесь на имя Эйзенштейна: «...удачнейший прием, который по силе режиссерского замысла можно, пожалуй, сравнить с появлением детской коляски у Эйзенштейна». Старые романисты обычно разрешали себе лишь перестановки «кадров» («То, что случилось перед этим,

читатель узнает из следующей главы...»). А тут отмерено доброе столетие! Рассказчик, который видел, как улыбалась Анджелика, слышал, что говорил князь дон Фабрицио своему племяннику, то есть играл роль о чем и д а описываемых событий, — оказывается, знаком с «Броненосцем «Потемкинским»... Зачем автору понадобилось нарушать последовательность этой роли, старательно поддерживаемую в традиционном романе?

Явление, с которым мы сталкиваемся в этих примерах, заключается не в замедлении или ускорении хода событий, не в переброске действия через десять, двадцать или сто лет, а именно в определенном нарушении системы его объективного разворачивания. Для реалистической литературы XIX и начала XX веков и особенно для драмы это было в общем не характерно. Реалистическая драма приучила нас не только к тому, что автор отходит в сторону, старательно прячется за кулисы, полагаясь целиком на своих героев, но и всеми силами поддерживает иллюзию непосредственности действия. События разворачиваются по мере того, как мы узнаем о них. Действие происходит на наших глазах, и мы вместе с автором выступаем его первыми очевидцами. Конечно, и здесь было много условного (автор «только» притворялся бесстрастным очевидцем; действие «только» казалось непосредственной данностью), однако в общем это не выходило за рамки первичной условности всякого искусства; к тому же она всемерно скрывалась, делалась незаметной.

В приведенных примерах соотношение «реального» хода действия и хода его воспроизведения меняется. Реальное действие уже свершилось. О нем уже знает рассказчик — отдельное лицо или хор. А мы узнаем о нем от рассказчика лишь в той мере, в какой он считает нужным нам об этом поведать. Условность не только не маскируется, но и достигает более высокой степени, нового качества.

Какова подоплека этого изменения? Те, кто рассматривает его как хитрый прием «уловления» читательских сердец, не совсем правы. Пусть субъективно это иногда и так: сами писатели любят говорить об особых путях к сердцу читателя, которые приходится ныне искать, учитывая, в частности, конкуренцию новых видов искусства — кино, телевидения. Однако в произведении искусства — не только в выдающемся про-

изведении, буквально в любом — ни одно нововведение не остается чисто формальным, но, напротив, приобретает смысловую, содержательную нагрузку.

Содержательность отмеченного выше «приема» видна уже в стремлении усилить обобщенность действия. Это основано на простой психологической закономерности. Ведь если рассказчик — адвокат Алфieri, летчик А. Б., поэт Олег Чубарев, хор из «Иркутской истории» и т. д. — считает нужным что-то поведать, то это неспроста. Мы уже настораживаемся. Вспоминают обычно не всё, а только то, что показалось особенно интересным и важным, запечатлелось в сознании надолго. Рассказчик обращается к прошлому (давнему или только вчерашнему — неважно), чтобы вытащить из небытия то, что достойно воспроизведения, и в такой «редакции», которая его досгойна.

Мы знаем, что обобщение — задача искусства вообще, что творчество всегда основано на воспоминании. Но при отмеченном композиционном принципе эта задача выступает наружу, подчеркивается, призвана непосредственно воздействовать на наше эстетическое сознание.

Названный принцип лежит в основе интереснейшего художественного явления нашего времени — «эпического театра» Брехта. Бертольт Брехт сравнивал свой театр с прохожим на улице, который рассказывает собравшимся о только что случившемся несчастье. Но прохожий — свидетель уличной драмы — не будет добиваться в своем рассказе полнейшего сходства с персонажами этой драмы — скажем, с шофером и с пострадавшим. Манерой своего рассказа, интонацией, мимикой он передает нам поведение этих людей так, как оно ему представилось со стороны, хотя при этом поочередно будет играть роль каждого из них. Он выразит «принцип отчуждения» не столько прямой оценкой, приговором, сколько внесет его в самую манеру своего рассказа, и там, где можно было ожидать воспроизведения всего многообразного хода события, возникнут, как писал Брехт в трактате «О повседневном театре», лишь «такие подробности, которые помогают нам понять, как произошло несчастье».

А вот гротескные драмы Жана Ануиля — писателя, который по своей манере далек от эпического театра Брехта и которого, однако, роднят с ним поиски более концен-

трированного способа художественного выражения.

В «Жаворонке», после того как актеры разобрали каски, шлемы и прочий реквизит, оставленный от предыдущего спектакля, Варвик предлагает приступить к суду над Жанной. «Но, ваше сиятельство... Прежде ей надо сыграть всю свою жизнь. Всю свою коротенькую жизнь. Огонек невыносимо яркий и рано погасший». Это говорит судья Жанны д'Арк, епископ Кошон, но в его реплике откровенно звучит теплый, поэтический голос автора.

Кроме того, что значит заново пересказать уже завершившуюся историю? Пересказывать ведь будешь не все, а лишь то, что обнажает внутреннюю логику, и не беда, если при этом в устах персонажа окажутся слова, которые он, по своему положению и уровню духовного развития, произнести не мог.

Выпрашивая у знатного господина Бодрикура эскорт для проезда к дофину, Жанна — неграмотная деревенская девушка, не умеющая даже расписаться, — говорит как завзятый политик. Но внутренняя логика этого разговора, в котором хитрость Жанны может соперничать только с ее простодушием, а безвольный Бодрикур принимает внушенные ему мысли за собственные, — вычерчена с неумолимой строгостью.

Сцена встречи с дофином Карлом — в которой Жанна ободряюще называет его «сыном», а после его решения назначить Жанну главнокомандующим хлопает в ладоши и кричит: «Браво, маленький Карл. Видишь, как это просто!» — эта сцена лишена и тени исторического правдоподобия, однако внутренняя логика «обработки» августейшей особы опять-таки вычерчена со скрупулезной точностью.

Необычный костюм Жанны д'Арк — «вроде спортивно-тренировочного» — в известной мере символичен: скрещение исторического и современного заметно в каждом из персонажей «Жаворонка». В конце концов все они — герои исторического прошлого, но такие, какими бы их увидели и представили люди нашего века, причем в домашней, а не театральной обстановке, не прибегая к перевоплощению.

Правда, для точности надо сказать, что в принципе «отчуждения» у Жана Ануиля нет той беспощадной «объективизации», что в эпическом театре Брехта. У него историю «уличного происшествия» вспоминает не

сторонний прохожий, а сам пострадавший и виновник — пусть с современной душой и современным строем мыслей, — но все же сам участник события. Это не способствует беспристрастию «показаний». В условных пьесах Ануйля герои спорят друг с другом уже не по сценарию, а отступая от него, волнуются, выходят из своей «роли»: то, что они разыгрывают, слишком близко их сердцу, чтобы сохранять невозмутимость. Так у Пиранделло, одного из любимых драматургов Ануйля, текст пьесы превращается подчас в либретто, которое живой герой должен исправить и дополнить...

Однако в данном случае важны не столько эти различия, сколько общее для многих писателей стремление столкнуть противоположные планы — сегодняшнее и вчерашнее, современное и историческое, индивидуальное и «отчужденное», — чтобы вызвать в точке пересечения необычайно яркую вспышку художественной энергии. Всегда ли подобное стремление увенчивается успехом и всегда ли в точке пересечения возникает яркая вспышка, а не что-либо иное — об этом мы скажем ниже... Но коль скоро такая вспышка возникла, то ее художественный эффект еще и в том, что она преображает контуры предметов, отбрасывает на них — воспользуемся термином старых немецких романтиков — некое магическое освещение (*magische Beleuchtung*).

В пьесе, в которой Жанна д'Арк, Карл, Варвик возникают как странные и естественные гибриды XV и XX веков, возможно, чтобы и Инквизитор — этот важнейший для проблематики драмы персонаж — декларировал свое политическое беспристрастие: «Я не знаю ни лагерь английский, ни лагерь Арманьяков. Мне совершенно безразлично, кто будет править Францией». Это лицо идеализированное и символическое. Инквизитор выражает идею смирения человека перед догмой, перед системой, и его спор с Жанной д'Арк, которая своими высказываниями о Человеке и больше всего своим поведением выступила против этой идеи, — образует кульминацию пьесы. Каждое слово этого спора рождает гулкое эхо, как под сводами храма. Это спор о человеке вообще, об его непокорности вообще. Правда, он не настолько абстрактен, чтобы не увидеть в нем реальных, современных забот французского писателя-гуманиста, и, однако же, не настолько конкретен, чтобы его нельзя было приложить к другим эпохам и

ситуациям. Это квинтэссенция идеи исторического прогресса, как его понимал Жан Ануиль в пору создания «Жаворонка».

Гротескное начало, которое stalkивает века, эпохи, извлекает из них некий абстрактный, обобщенный смысл, все глубже укореняется в сегодняшней литературе, в том числе и в произведениях, далеких по манере повествования от гротескной фантастики. Раньше с понятием гротеска (мы имеем в виду не только его разновидность — сатирический гротеск, но гротеск в целом) почти всегда связывалось резкое нарушение бытового правдоподобия. При мысли о гротеске в сознании возникали поющие птицы Звенящего острова из «Гаргантюа и Пантагрюэля», полулюди-полуживотные йеху из «Путешествий Гулливера» или же необычайные приключения носа майора Ковалева. Гротескно-фантастические формы успешно развиваются и в современном искусстве, но подобно тому, как сами они испытали сильнейшее влияние традиционно-реалистических стилей (подчас безудержная, ничем не сдерживаемая фантастика объединяется с бытовым правдоподобием и полной естественностью психологизма), так в свою очередь и эти стили не остались без воздействия гротескно-фантастического начала. В современной литературе все чаще встречаешь произведения, в которых все почти буднично, почти обычно, почти реально; допущено только легкое, едва заметное «остранение» — и вот уже на рисуемое полотно упал гротескный отблеск.

Если теперь снова вернуться к «Леопарду», легко понять, случайно ли мелькнуло имя Эйзенштейна в повествовании, которое относится к событиям столетней давности.

Прежде всего это не единственный случай отступления писателя от своей роли «очевидца» изображаемых событий. Так, в описании бесконечных блужданий Анджелики и Танкреды по старинному замку, в разгар чувственного томления двух юных любящих существ писатель вдруг резко меняет и тон и угол наблюдения: «То были лучшие дни в жизни Танкреды и Анджелики... Но в ту пору они еще не знали об этом и стремились к будущему, которое представляли себе в конкретных формах; на деле же все затем оказалось одним лишь дымом и ветром... То были дни подготовки к их браку, который впоследствии оказался неудачным и в чувственном отношении: но эта подготовка была значительна сама по себе, она

была цельной, прекрасной и краткой и походила на мотив, которому суждено пережить давно позабытую оперу, из которой он взят; в таких мотивах под игриво-целомудренной завесой обнаруживаешь все, что должно было развиться в самой опере, но так и не развилось из-за неумения автора, обречшего на провал свое произведение».

Писатель уже знает все заранее. Он вносит охлаждающий скепсис там, где его герои кажутся слишком патетическими; указывает на своекорыстие или тщеславие, где, на первый взгляд, действует одно благородство; видит черты угасания и смерти в том, что выглядит торжествующим и излучающим силу. Он не идеализирует ни старину, ни новизну, ни консерваторов, ни либералов. И хотя в человеческой истории, как в жизни его героев в пору их молодости, были истинно прекрасные моменты, однако по своему преходящему характеру и непрочности они напоминали скорее случайные пленительные мотивы, чем цельное, совершенное произведение.

Трагедия Жана Ануяля «Антигона» заканчивается словами Хора: «Вот и все... Те, кто должны были умереть, умерли: и те, кто верили во что-то, и те, кто верили в противоположное, и даже те, кто ни во что не верили и попали в эту историю случайно, ничего в ней не понимая. Все мертвецы одинаковы — они окоченели и гниют, никому не нужны. А те, кто остались в живых, понемногу начинают забывать о них и путать их имена».

Это очень родственно тому взгляду сверху, с которым написан и «Леопард». Отразился ли в этом, как считает Марно Аликата, горький пессимизм «одного из последних представителей феодального класса» или же более широких, не только аристократических кругов современного буржуазного общества, — во всяком случае это цельное и симптоматичное в своих основах мировосприятие. Оно и определило поэтический строй романа.

2

Но, скажут, каждое произведение обобщает или претендует на обобщение. Это так, и, однако, в том обобщении, с которым мы встречаемся в современной литературе, есть какая-то новая, настойчивая, проникающая нота, есть что-то от «подведения итогов», от непрерывного поиска философского смысла в любом, даже самом частном,

мелком, удаленном от дорог истории случае. Несомненно, в этом отражается какая-то коренная черта современного философского и эстетического мышления. Предчувствие ли это «апокалиптической гибели» человечества? Вера ли в новые, еще невиданные его взлеты? В разных случаях по-разному...

А как же те литераторы Запада, которым по внутреннему пафосу их творчества вообще чуждо представление об единстве и общности мира? «Это сознание фрагментарности, — пишет в своей последней книге известный австрийский литературовед коммунист Эрнст Фишер, — возобладало вместе с развитием и с проблематикой капитализма, и всякого рода обломки, вещественные и человеческие, рычаги и руки, колеса и нервы, будничность и сенсация, казалось, хаотически включены друг в друга. Теснимая разнообразными деталями, фантазия была уже не в состоянии воспринимать их как целое»¹.

Но крайности сходятся. В утверждении, что мир — это игралище слепых, темных, разрозненных сил, пожалуй, не меньше обобщения, чем в идее исторического единства и прогресса, только последнее оставляет огромное поле неизвестного и подлежащего исследованию, первое же просто воздвигает перед нашим взором непроницаемую стену. В пронизанных болью и отчаянием фантазмагорических видениях Кафки в известном смысле не меньше гротескного обобщения, чем в апеллирующей к разуму и к идее общественного прогресса драматургии Брехта.

Обобщают литераторы, верящие в гуманные начала человечества и разочаровавшиеся в них; обобщают пессимисты и оптимисты — каждый на свой лад. Не хочется называть это качество чувством историзма — это слишком ко многому обязывающее слово, к тому же подчас как раз за счет потери чувства историзма достигается сегодня обобщение; скорее это чувство итоговости. И условность во многих случаях ему подчинена.

Впрочем, в этом дает себя знать и другая «итоговость» — художественная и отчасти психологическая. В рассуждениях В. Турбина относительно психологизма в его книге «Товарищ время и товарищ искусство» есть доля истины. Не в том, конечно, смысле, что психологизм в искусстве изжил себя и отныне должен уступить место раскрашен-

¹ Ernst Fischer. Von der Notwendigkeit der Kunst. Dresden.

ным лубочным поделкам; а в том, что изменяется сама природа, метод психологического письма. Фундаментальные основы психологизма заложены классиками, и нужно какое-то перекрытие, чтобы строить дальше. У великих реалистов прошлого пафосом их психологического анализа было чаще всего создание законченных, рельефных, собирательных типов. Исчерпало ли время резервы психологизма, возможности дальнейшего углубления в человеческую психику? Конечно, нет. Усложнило ли сами способы психологического анализа? Конечно, да.

И тут возникает вопрос: не замечаем ли мы, как в наше время художники стремятся не столько к открытию новых художественных типов, сколько к обнаружению более глубоко упрятанных, так сказать, «первоначальных» человеческих эмоций? Они стремятся перенести центр тяжести на мельчайшие движения человеческой души, которые в своей всеобщности и «элементарности» поневоле размывают рельефные очертания прежних типов. В этом свете психоанализ Фрейда выглядит спекулятивной попыткой ответить на потребность «всеобщности» — спекулятивной, потому что всеобщности и универсальности он достигал ценою одностороннего обеднения человеческой личности. (Франсуа Мориак сравнивает его с злым волшебником, «который обещает открыть двери от всех тайн и открывает, в сущности, лишь одно потайное место, во все не потайное, одинаковое у всех людей».)

Но и многие явления другого порядка говорят об этой тенденции. Главные герои романов Хемингуэя — лейтенант Генри, Роберт Джордан, полковник Кантуэлл и другие — в сущности, представляют варианты одного психологического типа, одного характера. Но мы не замечаем этой похожести, потому что прибавление каждой новой черты к уже сформировавшемуся облику, новое оживание уже не нового характера нам в данном случае важнее, чем многообразие «типов». Так у поэта «одна тема» переходит из стихотворения в стихотворение, обогащаясь только оттенками и нюансами, однако в них-то все дело.

Может быть, это применимо только к «положительным героям»? Но вот у такого современного художника, как Е. Шварц, схожи не только «положительные» — все эти рыцари, Ланцелоты, Ученые, Медведи, — но и отрицательные персонажи; в них тоже

важнее всего развитие и углубление однажды открытых характеров и типов.

И условность в современной литературе часто служит средством обнаружения этого психологического уточнения и уточнения.

Раньше в драматургии, у Мольера например, добродетельные персонажи не только провозглашали дорогие автору мысли, но одновременно выполняли и «полезную работу»: способствовали обнаружению сущности отрицательных героев — Гарпагонов, Тартюфов, Журденов, провоцировали их на высказывания и поступки. Без таких уколов и толчков «со стороны» персонажи раскрываться еще не умели. Со временем было выработано искусство «самодвижения» характеров, теоретически сформулированное Гегелем, герои раскрывались без нажима, без посторонних толчков, в естественном взаимодействии друг с другом и с окружающей средой.

А что, если все-таки нарушить это «самодвижение», вызвать на поверхность то, что при обычном, естественном развитии действия не обнаружилось бы? Такой вопрос все чаще можно слышать в современной литературе. Раньше нарушение «самодвижения» характеров было в основном уделом сатириков, умевших таким путем раскрывать в человеке неожиданное, обнажать, как говорил Салтыков-Щедрин, его «готовности». Теперь оно — с помощью условности — все больше укореняется в несатирической, «обычной» литературе. Это своего рода катализатор, ускоряющий течение психической реакции. Так, появляются Человек в мантии у П. Когоута, властно определяющий и направление, и темп, и тон взаимодействия героев в ходе пьесы, трое военных у К. Симонова, будоражащие совесть «четвертого»...

Писатели нарушают принцип «самодвижения характеров», потому что они хотят получить что-то сверх него (разумеется, мы говорим лишь о тенденции, но не о каждом случае). И в той условной ситуации, которая создана, с тем условным допущением, которое намечено, герои раскрываются обычно с «прежней» естественностью.

Так осуществляется синтез условности и правдоподобия, новых форм художественной выразительности — с традиционными. Те, кто считает, что отныне в искусстве наступает век «чистой условности», едва ли рассуждают в согласии с фактами. Нет, формы безусловные далеко еще не исчерпали

своих возможностей, и предекать их гибель преждевременно. Но, кроме того, не является ли для нашего времени более характерным синтез условных форм с традиционно-реалистическими, а не «вытесненне» одного другим? Дж. Гасснер в книге «Форма и идея в современном театре» видит в подобном слиянии средство выхода из тупика, в котором находится, по его мнению, реалистический театр, путь его развития в ближайшие годы.

Однако и такой вывод не бесспорен. Искусство развивается слишком сложными путями, чтобы можно было втиснуть его судьбу в одну формулу. Будут еще и новые победы безусловных форм искусства (кто теперь, после повести А. Солженицына, способен у нас в этом сомневаться?), и новые обращения к условности, и их параллельное более или менее мирное сосуществование — для того, чтобы предвидеть это, не надо особой проникательности, это поддается самой спецификой искусства, богатством его возможностей.

3

Условность заложена в природе искусства, но конкретную форму выражения сообразует ей время и позиция писателя. Каково индивидуальное своеобразие этой условности, ее художественная особенность у того или иного писателя — вот в чем вопрос.

В нашей критике распространено мнение, будто бы источником подвига героев Ануйля является абстрактный принцип. «Когда Антигона Ануйля ведет борьбу против Креона за право предать земле тело брата и идет на смерть, она делает это не ради брата, не ради какой-то идеи: «Ни для кого. Для меня самой». «Отсутствие цели, во имя которой совершается подвиг, изолированность от общенародного дела лишают этот подвиг трагедийной содержательности», — пишет Е. Старинкевич в статье «Проблемы трагедии и современность» («Вопросы литературы», № 2, 1962).

Часто к этому добавляют: всем, кто окружает Жанну д'Арк, начиная с ее отца и матери, глубоко безразлична судьба отечества, патриотические чувства героини.

Это так, но и не так. Обратили ли внимание оппоненты Жана Ануйля на последние строки «Жаворонка»? Казнь героини вдруг откладывается, и люди, которые готовились быть ее палачами, говорят:

«Карл. Люди вечно будут рассказывать ее (историю Жанны д'Арк.— Ю. М.) другу, а наши имена забудут. Затравленный зверек, умирающий в Руане,— это не конец... История Жанны д'Арк — это история со счастливым концом!

Бодрикур (*довольный, помогая остальным разбирать хворост*). Хорошо, что я поспел вовремя... Вот же дурачье, они собирались сжечь Жанну д'Арк!..

Отец. ...Такой дочерью можно гордиться. Я всегда говорил: у этой девчонки большое будущее!..»

Слова о великом будущем Жанны д'Арк здесь вложены в уста тех, кто больше всего оказывал ей противодействие, кто далек был от понимания ее исторической миссии. Это условность? Нарушение цельности характеров? Да. Но если мы признаем, что условность содержательна, то, очевидно, и такого рода «неправильности» — не произвольная игра воображения, которой можно пренебречь, а форма выражения смысла художественного произведения.

Во имя чего совершается подвиг? Или другой пример. Почему Антигона пыталась похоронить тело Полиника? Действие пьесы разворачивается как последовательное отбрасывание, «отсечение» всевозможных мотивов, могущих показаться причиной подвига Антигоны. Может быть, она идет на смерть ради любви к брату? Но, оказывается, Полиник и Антигона не были дружны. Может быть, она чтит в нем героя, павшего на поле брани? Но, оказывается, это был гуляка и честолюбец, взявшийся за оружие не из-за высоких побуждений. Может быть, она верит в таинства погребального обряда, чести которого лишают Полиника? Но нет: для Антигоны Ануйля с ее современным мироощущением погребальный обряд — это пустая, тягостная формальность. Может быть, она верит в успех своего замысла? Но тело Полиника и днем и ночью охраняют стражники, и, даже если Антигоне удастся забросать его землей, оно будет тотчас снова откопано. А в довершение всего Антигоне говорят: неизвестно, труп ли это Полиника или его противника Этеокла — оба были изуродованы в бою...

«Так для кого же этот подвиг?» — спрашивает Антигону Креон. И та отвечает: «Ни для кого. Для меня».

Но не будем спешить с принятием этого ответа за так называемый «ключ» к пьесе.

Смысл художественного произведения во-обще постигается не с помощью ключа (это было бы очень легкое занятие, благо каждое произведение может предоставить таких ключей с избытком), а из сопоставления всех его частей и компонентов, из их полифонического звучания.

Одна из последних сцен показывает нам Антигону в тюрьме. До казни осталось немного времени. Антигона всматривается в лицо стражника. Ведь это «последний человек, чье лицо я вижу». И, вслушиваясь в его неторопливо-самодовольную речь о том, что в стражниках служить много выгоднее, чем в солдатах, что квартира, отопление, пенсия (опять характерный для Ануйля анахронизм!) — это все вещи стоящие, — Антигона восклицает: «...Это ужасно. Сейчас, рядом с этим человеком, я перестала понимать, за что умираю».

Но подождите: ведь Антигона уже раньше решила, за что она умирает; ведь она уже сказала Креону, что этот подвиг «ни для кого», только «для меня»... Откуда же этот пристальный интерес к окружающему миру, к случайному, чужому ей человеку? И при чем тут разочарование — разочароваться ведь можно только в том, что действительно было, во что действительно верил...

В «Жаворонке», который, в сущности, продолжает ту же гуманистическую тему, мысль автора выражена яснее, чем в «Антигоне».

В «Жаворонке» уже отчетливо видно, из каких побуждений вырос подвиг Жанны д'Арк. Здесь тоже, по законам драматургической манеры Ануйля, «отсекаются» лишние мотивы, но на этот раз это все то, что могло бы создать впечатление мелкой цели, личной заинтересованности. Жанной руководила не месть, не личное горе, не бегство от нужды. Война пришла в стороне от ее селения. Семья жила в достатке. Крестьянская работа была ей по душе. Жанна взялась за оружие, потому что велели ей ее «голоса», ее сознание долга.

И главный обвинитель Жанны на суде — Инквизитор — берет слово тогда, когда понимает, что источник ее подвига не дьявол (как думал Фискал), не гордыня (как считал Кошон), а любовь к человеку. Эта любовь подвергается на суде труднейшим испытаниям. «Человек лжив, своекорыстен, способен на подлость», — говорят Жанне, и она отвечает: «Знаю». Человек —

это грязь, похоть, непристойные видения на ночном ложе, и она снова говорит: «Знаю». Она принимает человека таким, каков он есть, любит человека земного, а не идеального.

«Да, сударь, и он грешит, и он гнусен. А потом вдруг неизвестно почему (он так любил жить и наслаждаться, этот поросенок) он при выходе из дома разврата бросается наперерез несущейся лошади, чтобы спасти неизвестного ему ребенка, и с переломленными костями умирает спокойно...»

И все же Жанне тоже суждено пережить тяжелые сомнения Антигоны. Король отступится от Жанны д'Арк. Товарищи не выручат ее из плена, уйдут прочь, забудут об общем деле. И даже боевой товарищ Жанны д'Арк Ла Ир, от которого так хорошо пахло луком, потом, вином, пахло человеком, с которым так славно было скакать утром по росистой траве, ощущая тепло друга, — Ла Ир тоже продается другому князю...

Что же остается делать человеку, идущему на подвиг ради людей, предавших его? Только одно — идти на подвиг!

Жанна не Антигона, но ведь и она утверждает, что подвиг нужен прежде всего для нее одной, ни для кого другого, ведь и она, после всех обрушившихся на нее ударов и разоблачений, говорит, что Жанну смирившуюся, отступившую она себе просто не представляет (кстати, это почти текстуальное совпадение со словами Антигоны).

Как же понимать это сакраментальное: «Ни для кого. Для меня»? Только ли как утверждение самоуважения, верности высоким качествам своей личности? Не есть ли это в первую очередь верность самим идеалам, стоекски сохраняемая и тогда, когда сами эти идеалы подвергаются труднейшим испытаниям?

Утверждение, что герои Ануйля поступают из «чистого принципа», низводит их до уровня педанта Гуго Пекторалса из повести Лескова «Железная воля». Нет, не абстрактный принцип, а подлинный гуманизм вызвал подвиг, но этот подвиг все же не мог не выразиться несколько отвлеченно.

И тут мы подходим к источнику условности у Ануйля.

В словах Жанны д'Арк о человеке мелькнула фраза: а потом «вдруг неизвестно почему» он становится героем. Превращение непонятно, но оно происходит.

В перспективе люди, которые сегодня пришли поглазеть на казнь героини, становятся ее друзьями, и слова о бессмертии Жанны д'Арк проносят Карл, Бодрикур, отец...

В том месте, где сегодняшнее переходит в завтрашнее, сущее в должное, относительное в абсолютное, «да» в «нет» (любимые категории Жана Ануяля), — возникает некая ослепительная, эмоциональная вспышка; мы отчетливо видим непрерывность развития, но не знаем, как эти противоположности соединились, перешли друг в друга.

Конечно, нетрудно обвинить автора «Жаворонка» в том, что он оставляет противоречия открытыми. Но если не абстрактное морализирование, а жизнь питает конфликты пьес Ануяля, то не намного ли труднее сохранять верность принципам гуманизма в тех случаях, когда повседневно, будничность заволакивает эти принципы едкими, непроницаемыми испарениями. И мы, не упускающие случая отметить какую-нибудь недостачу по этой части, всегда ли по достоинству оцениваем мужество писателя Запада, который говорит «нет» господствующему буржуазному миропорядку и «да» Человеку?

Другое дело, что это не единственная возможная форма утверждения человечности — и не всегда самая острая. И тут «концепция гуманизма» Ануяля заставляет нас снова вспомнить Брехта, у которого идеи революции и социализма наложили отпечаток даже на природу условности. На примере Брехта можно увидеть, кстати, содержательность той обширной области условности, которая связывается с принципом «сгущения красок», заострения.

И. Крылов некогда писал: «Всякое действие должно быть на театре вероятно и исполняемо в своем месте. Автор не должен казаться чудотворцем, но подражателем природы. Скупому очень свойственно зарыть деньги; но если бы автор вздумал заставить своего скупого зарыть их на большой улице середь бела дня, то сколь бы ни комически обработал он такое явление, но зритель все остался бы им более удивлен, нежели восхищен».

Особенность художественной манеры Брехта состоит в том, что автор многократно нарочито подчеркивает условность приема. Скупой у него, говоря словами Крылова, зачастую зарывает деньги на большой улице...

В одном из брехтовских шедевров — пьесе «Человек есть человек» (к сожалению, до сих пор не переведенной на русский язык) — рассказывается о том, как был обманут простой индийский упаковщик Гали Гай.

При совершении налета на буддийский храм — пагоду — пропал солдат британской колониальной армии Джерай Джип. Его товарищи — соучастники преступления — решают выдать случайно подвернувшегося Гали Гая за пропавшего Джерай Джипа. Но как заставить упаковщика стать солдатом? Гали Гай мягок, доверчив, и солдаты приготавливают ему удивительную ловушку: пусть Гали Гай, чью бедняцкую жажду удачи, обогащения они так же хорошо раскусили, как и его податливость, — пусть Гали Гай приобретет и тут же продаст... слона. Солдаты рассчитывают обвинить Гали Гая в спекуляции имуществом британской армии и таким путем получить над ним полную власть.

Но этот слон, которому предназначено погубить Гали Гая, совсем необыкновенный, чудесный слон! На глазах у зрителей начинается невероятнейший фарс — сооружается слон с помощью палки, полевой карты, бутылки с водой и прочих подручных вещей... Но поверит ли Гали Гай, что это слон? — спрашивает один из солдат. Поверит, отвечает другой, если он тут же увидит, что вдова Бегбик (с которой заранее обо всем условились) согласна купить у Гали Гая этого слона.

Так и произошло. «Если вы действительно хотите купить этого слона, то я его хозяин», — говорит Гали Гай вдове Бегбик.

Есть что-то вызывающе дерзкое в том заострении, с каким конструирует драматург эту сцену — до полного освобождения от того, что хоть отдаленно напоминало бы «правдоподобие», до открытой демонстрации всех внутренних пружин. И одновременно — что-то очень поэтичное и грустное: ведь если обмануть Гали Гая так просто, если его легкое верие так слепо, то тем горше...

Фантастическая условность, особенно с той откровенно балаганной окраской, какую приобретает она у Брехта в сцене продажи слона, — всегда рождает подсознательное ожидание разрядки: кажется, вот вот упадут наброшенные «фокусником» яркие покрывала, развеется напряжение — и взгляду зрителя предстанут обычные, со-

измеримые с его понятиями и представлениями предметы. Не может же быть, чтобы Гали Гай — пусть он на первых порах не заметил обмана — дал погубить себя из-за этого слона! И тут мы вдруг оказываемся во власти той смелости изобретения, которая отличает большого художника... Нет, драматург не дает зрителю желаемого спада напряжения. Начиная фарс со слонем, он, оказывается, не имел никакого намерения шутить. Из шутовской, фарсово-комедийной сцены для Гали Гая следуют серьезные, реальные бедствия: суд, расстрел, когда при звуках выстрелов измученный Гали Гай падает в бессилии; похороны, на которых упаковщик, теперь уже солдат британской армии Джерай Джип, произносит речь над «гробом» Гали Гая...

Лион Фейхтвангер писал о пьесе «Человек есть человек»: «Внешние предпосылки этой басни совершенно фантастичны: город Килькоа, в котором происходит действие, явно вымышлен уроженцем Аугсбурга, солдаты самым ребяческим образом украдены у Киплинга, а в кульминационном пункте действия помещен необыкновенно нелепый фарс об искусственном слоне. Нигде нет ни следа внешнего правдоподобия, любая иллюзия разрушается примитивнейшим образом. Но внутренняя логика преобразования этого человечка Гали Гая действует захватывающе, и когда живой Гали Гай держит речь над гробом мертвого Гали Гая, то этой сцене не найдется равной среди пьес современных авторов, и я не знаю ни одной, которая могла бы сравниться с этой по величии гротесково-сатирического открытия и воплощению основной идеи».

В традиционном театре драматург стремится к тому, чтобы скрыть шов между «условным» и «неусловным», подавать преувеличение так, чтобы оно не казалось преувеличением. Брехт (так же, как у нас Маяковский), во многом опираясь на традиции народного искусства, восстанавливая их на новой, уже литературной основе, открыл, какие огромные возможности таятся в нарочитом, наивном, фарсовом преувеличении.

При этом «подражание природе» не только не исчезло (хотя степень правдоподобия действительно уменьшилась), но вдруг раскрыло свою новую, неожиданную грань: резкость и упрощенность, с которой конструировалось художником драматургическое действие, стали выражением резкости и упрощенности некоторых тен-

денций самой действительности — в данном случае в пьесе «Человек есть человек», податливости, легковерия, близорукости таких людей, как Гали Гай. «Смотрите, какой легкой ценой можно изуродовать простого человека, превратить его в послушное орудие сильного», — предупреждал Брехт накануне роковых событий нашего времени — прихода к власти Гитлера, развязывания второй мировой войны и т. д.

Задача, которую поставил перед собою Брехт, — усилить революционизирующее воздействие театра на зрителя — нашла в такой форме условности свою надежную опору.

4

Итак, условность содержательна, потому что конкретна. Эту простую закономерность можно наблюдать и в нашей сегодняшней литературе, где некоторые формы условности играют сейчас заметную роль. Здесь мы сталкиваемся с одной характерной тенденцией в современной драматургии.

Но прежде — одно попутное замечание. Мы везде говорим применительно к драме не о том, что отделяет ее от других жанров, а о том, что объединяет с ними. Просто в драматургии отмеченные выше принципы условности, и в частности ретроспективного действия, проявляются ярче. В прозе (и тем более в поэзии) уже одно присутствие автора-рассказчика создает предпосылки для перебивки планов, выхода за границы характера и т. д., и нужно слишком большое «нарушение», чтобы оно ощущалось как условность. Но в драме (традиционно реалистической) автор устранен, зритель или читатель лицом к лицу поставлен перед действием, перед героями, которые должны обходиться своими силами и вдобавок ничего не знать о наблюдении за ними зрительного зала. Понятно, что любое вмешательство со стороны или же нарушение принципа «четвертой стены» здесь воспринимается особенно остро. Оно ощущается как отступление от канонов классической драмы.

Однако мода есть мода. Теперь даже невинная мелодраматическая поделка редко обходится без нарушения принципа «четвертой стены», без того, чтобы герой перед началом действия не обратился к зрителям и не предупредил, какие важные и интересные события они сейчас увидят. Конечно, и здесь достигается эффект уси-

ления, прием и здесь не остается чистым приемом, и, скажем, если пьеса по содержанию пуста, нелепа, то от этого она становится только подчеркнута пустой и подчеркнута нелепой...

Впрочем, нужно ли говорить о таких пьесах? Наша крика настолько уже навострилась в «ведении огня» по писателям «средним», не имеющим имен, что вряд ли стоит продолжать эту традицию. Писателям «ведущим», входящим во всевозможные «обоймы», у нас вообще уделяется критикой гораздо меньше внимания (апологетическую критику мы исключаем), чем «неведущим», а между тем литературную погоду определяют все-таки первые. Поэтому обратимся лучше к одному из зачинателей этой тенденции в нашей драматургии — к Алексею Арбузову, тем более что как раз литературная форма его «Иркутской истории» (пьеса, поразившей многих своей формой) не была еще подробно рассмотрена.

Между прочим, выражение «огонь критики» в применении к литературе нам не кажется точным. У нас еще бытует превратное понимание задач литературной критики. Критиковать — это значит или ругать, или хвалить. Азбучное положение диалектики о том, что даже простое явление заключает в себе и «плохие» и «хорошие» стороны, еще кажется некоторым подозрительным. Критик, который попытается показать это, рискует услышать недоуменный вопрос: «А к чему ты, дорогой товарищ, нас призываешь? Чем же ты помогаешь нашему общему делу?» Как будто стремление к непредвзятости, объективности вытекает из праздного любопытства лежебоки, а не из желания помочь «нашему общему делу»!

Эта реплика в сторону вырвалась у нас потому, что мы как раз подошли к явлению, не допускающему однозначного ответа. В отзывах об «Иркутской истории», как известно, наметились противоположные точки зрения на условность в пьесе. Одни отнеслись к ней неодобрительно. В выступлениях этих товарищей чувствовалась скрытая мысль: как хорошо было бы без этого! Зачем понадобилось к драматической истории возрождения Вали Серединой примысливать хор, обращение артистов к зрителям и прочие штуки? Разве что из пустого оригинальничанья или, что еще хуже, из подражания иноземным образцам... Сам

драматург, как известно, неоднократно горячо защищал необходимость хора, говоря, что это «душа пьесы, душа, которая любит, страдает, верит и отвечает за героев». Мы согласны с мнением драматурга о необходимости условности в пьесе, но думаем, что у нее несколько иная роль.

Но начнем мы не с хора, а с другой, более ощутимой особенности пьесы. Заметили ли вы, в каком необычном, несколько странном окружении приходится действовать ее главным героям? В произведении, где два-три главных персонажа претендуют на сложный психологический рисунок (один более, другой менее сложный), все остальные подчеркнута, демонстративно однозначны¹.

Вот рабочий Лапченко. Его художественная функция состоит только в том, чтобы в начале пьесы быть лентяем, а к концу перековаться.

Вот молодые Денис и Зинка — совершенно неподвижный трафарет двух простодушно влюбленных. У Дениса, правда, есть еще одна функция — «развлекательная»: вспоминать при каждом случае своего майора, ставить его в пример другим.

И у девочки Леры одна художественная нагрузка — не верить, что на свете есть Чарли Чаплин, о чем трижды говорится в пьесе.

Все параллели обнажены до предела. Паре серьезной противостоит пара немудрящая. Женщине, потерявшей мужа, — женщина, нашедшая его, и т. д.

Даже у главных персонажей пьесы с более сложной духовной организацией мотивировки поступков часто однозначны и противоположны. У Сергея, женившегося на Вале, была прекрасная мать. У Виктора же — ненавистная мачеха, о чем многократно говорится в пьесе. В ответ на реплику Сергея: «Женился бы» — Виктор произносит свою речь женофоба: «Злые они. Добрыми только прикидываются. Которая лучше, которая хуже. (Помолчал.) Ты бы на отца моего поглядел, как она его сломала». Вот, оказывается, почему Виктор не хотел жениться на Вале, а желал обходиться с ней, как говорил майор Ковалев, «так просто, раг апоуг»!

¹ Здесь, как и везде, говорится только о пьесе, но не об ее сценическом воплощении, которое всегда создает «новое» произведение.

В конце концов все эти характеристические приметы приданы персонажам, как номера футболистам, по которым следует отличать одного игрока от другого.

Это недостаток чисто художнического внимания к героям? Только формальные просчеты в пьесе? Нет. Мы не должны забывать, что в соотношении образов (недаром говорят о системе образов) всегда в конечном счете закрепляется представление писателя о жизни, ее закономерностях. Когда Чехов и Горький ломали в своих пьесах привычное деление персонажей на премьеров и статистов, то в этом отражались новые понятия о соотношении людей в самой жизни. Когда у Пиранделло в пьесах «Шестеро персонажей в поисках автора» и «Как мы импровизируем» герои поднимали бунт против автора и режиссера, нарушали своей волей стройное течение пьесы, то это опять-таки был факт не только эстетический: в нем отразились непримиримые диссонансы самой жизни, трагическое «взаимонепонимание» между самими героями — с одной стороны, и между ними и литературой — с другой.

Зачем же понадобились автору «Иркутской истории» неподвижно эмблематические персонажи «окружения», «фона»?

Главные герои пьесы Валя и отчасти Сергей и Виктор словно нарисованы (точнее говоря, намечены) другой рукой. Валька, «Валька-дешевка», которую полюбили, которая сама вначале с недоверием, испуганно отнеслась к своему счастью, — во всем этом есть драматическая «изюминка», и, наверно, именно это привлекло к пьесе симпатии зрителей. «Иркутская история» слишком хорошо известна, чтобы ее нужно было пересказывать. Но пусть читатель вспомнит такие сцены, как ночной разговор Вали и Сергея после кино, беседу Ларисы, Вали и Виктора на берегу Ангары — это «арбузовские сцены». В них заметен большой, полный мягкости и глубокого интереса к людям талант драматурга.

Таких сцен несколько в начале пьесы, почти нет в середине и совсем нет в конце. Количественное уменьшение служит выражением перемены качественной. Наметив драматическую ситуацию, автор поспешно стал заволакивать ее мелодраматическим туманом, вырвал ее из реальной жизни.

Вот тут-то и становится ясной художественная роль «фона». В идеальной чейке «папаша» Степана Сердюка, где самый

большой проступок состоит в том, что экскаваторщик — из невинного озорства — поднимает ковшем своей машины коробок спичек с земли, — все процессы протекают облегченно. Некоторых восхитила смелость драматурга, допустившего в середине пьесы гибель одного из главных героев. Но в том, что это кажется смелым откровением, повинны книжки, где здоровым духом и телом героям возбранялось даже чихать. В остальном же, к сожалению, психология героев «Иркутской истории» изображена с графической прямолинейностью. Критик А. Карганов (при общей положительной оценке пьесы) справедливо отмечает, что драматург «не дает почувствовать, как резонируют в характере Лапченко уроки жизни и воспитательное воздействие окружающих, как «перековывается» Лапченко». Но не так же ли дружно-театрально растут Лариса, Сердюк и сама Валя? Не так же ли деланно-просто улаживает хор взаимоотношения Вали с бригадой, когда та отказалась идти на экскаватор? Драматург словно поднял действие своей пьесы высоко над реальными конфликтами и процессами сегодняшней жизни.

Пьеса начинается словами хора:

«Первый юноша. А правда ли, что, полюбив, человек распрямляется, как цветок на свету?»

Девушка (*задумчиво*). И так бывает.

Второй юноша (*берет ее руку, смотрит на нее*). А разве не может случиться, что сила моей любви переменит тебя неузнаваемо и ты станешь такой прекрасной, что даже я сам не узнаю тебя?

Девушка. Кто знает...

Эта интродукция задает тон пьесы. Мы согласны с автором, что душа может распрямляться от любви, но думаем, что если это действительно человеческая душа, а не цветок, то распрямляться она должна не в искусственно созданной, тепличной обстановке, а «на свету» и на ветру самой жизни.

Хор служит естественным продолжением вереницы эмблематических персонажей пьесы. В ремарках говорится, что между хором и героями существует свободный обмен: то персонажи пьесы входят в число членов хора, то наоборот. В сущности, эту тождественность можно было бы и не оговаривать: безликость и тех и других очевидна.

Но не забудем, что это все-таки хор, следовательно, что-то из ряда выходящее. Эмб-

лематический персонаж выступает в нем подобно некрасивому человеку в парадном костюме: лицо, фигура — все прежнее, а все же что-то в нем есть праздничное и необычное.

«— Только вот беда: некоторые забывают, что дом этот (загс.— Ю. М.) не терпит торопливых решений и слишком трезвых расчетов...

— А жаль, что я не изобретатель, знаете, какой бы я тогда придумал аппарат? Он бы провечивал влюбленных и, определяя степень любви, позволял или запрещал бы вступать им в брак.

— Неужели никто из вас не изобретет такой штуки? А надо бы, очень надо бы, братцы!..»

Все эти наивные сентенции, все эти прозрачные параллели (так, после вступления в брак Вали хор замечает: «Мимо домов бегут ручейки, вода смывает мусор и сор, остатки вчерашнего дня», «Дождь очищает землю...») показались бы неуместными в устах любого персонажа пьесы. Но здесь их произносит не обычное лицо, а хор, и все выглядит по-другому. Поэтому мы не совсем согласны с тем мнением, что «лучше бы без этого». Мы не считаем, что с «этим» хорошо, но думаем, что без этого было бы неестественнее, нарушилось бы гармоническое равновесие пьесы. Ведь хор участвует в формировании той особой, чуть-чуть праздничной атмосферы произведения, в которой и конфликты-то кажутся совсем несложными, и разрешаются они очень просто. Уберите хор и прочие условные элементы пьесы — и нежелание автора идти в глубь темы, в глубь жизни обнаружится отчетливо.

Но в том то и дело, что «убрать» их нельзя, потому что они часть концепции жизни, которую автор «Иркутской истории» строит и отстаивает. Он, несомненно, прав, говоря, что хор — это «душа» его пьесы.

«Иркутская история» — цельное произведение. В нем есть своя поэзия, свое обаяние, нужно только привыкнуть к тем единицам измерения, которые выбраны автором для построенного им мира. Всем этим мы не хотим сказать, что пьеса может нравиться только людям с отсталыми вкусами. Развитость эстетического вкуса выражается не в нетерпимости к инакомыслящим, а и в разумном различении меры объективной глубины и ценности произведения и недопустимости подмены. Можно любить музыку сентиментально чувствительную — всему

свой срок и час, — но плохо выдавать ее за серьезную. Плохо превращать ее в позицию на всю жизнь. То же и с пьесой...

5

Алексей Арбузов считает другую свою пьесу — «Двенадцатый час» — органически связанной с «Иркутской историей». Действительно, в ней получили развитие некоторые элементы «Иркутской истории» — к сожалению, не лучшие.

«Двенадцатый час» написан в иной манере — без хора и без обращения к зрителям. Но в кульминационном пункте действия тоже появляется своего рода «условность».

Когда все герои пьесы собираются у владельца кондитерских эмпана Дора, «внезапно гаснет электричество», «тишину сменяет вопросительный, испуганный шепот», потом «вокруг все стало казаться прозрачным, серым»; и вот уже «в мелькании света, в дрожании свечей» идет вереница гостей, приплясывающих и пританцовывающих. Жутко!.. У наблюдающей эту сцену Катеньки вырывается возглас: «Ой, господи, страшно-то как... Будто и не люди-то они». Но мы, воспользовавшись нашим положением не загипнотизированного зрелищем читателя, попробуем все-таки взглянуть в лицо героям пьесы и посмотреть, за что обречены они на такую жестокую муку.

Драматург во введении подчеркивает широту замысла «Двенадцатого часа»: «Разговор о собственности, идущий в этой пьесе, не ограничивается, однако, частным предпринимательством коммерческого характера; на мой взгляд, не менее опасен человек, предъявляющий права собственника на науку, любовь, искусство. (А именно с такими намерениями выступают в пьесе Петровых, Анна и некоторые другие персонажи «Двенадцатого часа».)

Попытки «прикарманить искусство», как выражается Каретников, сделать его своим, личным достоянием предпринимаются не только в странах так называемого «свободного мира» (там они, пожалуй, не попытки, а закон); в иной форме мы встречались с этим и у нас, к сожалению».

Но давайте подумаем над этими словами. Что значит «права собственника на науку...»? Может быть, инженер Петровых, с помощью которого характеризуются это явление, хочет извлечь личную выгоду из науки? Но нет: из замысла пьесы этого как

будто бы не следует. Может быть, он профан, невежда в своем деле, случайно пробравшийся в науку? Тоже нет. Все дело в том, что Петровых верит в независимость науки от политики и считает, что «во главе промышленности, а следовательно, и государства должны стоять инженеры». Не спорим, это утопическая точка зрения, жизнь давно показала ее несостоятельность. Но ведь это не совсем то же, что предпринимательство Дора — запырай «священные двери своего дома» да подчитывай денежки. Ведь разница есть, и немаловажная; драматическая судьба части старой интеллигенции, изжившей былые заблуждения и верой и правдой послужившей советской власти, кажется, доказала это различие... Но что все эти мелочи с точки зрения «суммарного», обобщенного подхода к истории!

Далее, что такое «прикармливание» искусства? Если под этим подразумевается стремление получить удовольствие, наслаждение от художественного произведения, то таким «прикармливанием» люди занимаются с тех пор, как существует искусство. Никому от такого присвоения никогда не было плохо, никто не оставался в обиде и не оскудевали источники: пожалуйте, подходите, выбирайте по своему вкусу... Следовательно, это опять не то же самое, что приобретательство Дора. Но, может быть, слова поэта Каретникова, сказанные «с прорвавшейся наконец яростью», разъяснят нам данное явление? «Хотели прикармливать искусство, заполучить в собственность, чтобы оно принадлежало только нам... Дурачки претензии! Что у тебя за душой? Размалеванный кукиш! Фиг — в черном квадрате». Конечно, превратить искусство в рупор одной ограниченной группки людей, особенно если за душой у них ничего нет — только «фиг в черном квадрате», — дело бессмысленное. Но ведь это опять не совсем то, что «приобретательство» Дора, ведь разница-то есть, и полная драматизма история советской литературы в двадцатые, борьба группировок в ней, кажется, доказали это... Но что драматургу до этих оттенков!

Наконец что означает предъявление «права собственности на любовь»? Чтобы другие никого не любили? Или чтобы любили только тебя? О, есть ли на свете такие наивные люди!.. Что же касается любви конкретного, земного человека, то мы осмелимся высказать дерзкое мнение, что как бы она ни была высока, нравственна, она все же не

свободна от некоторого элемента — воспользуемся словечком драматурга — «прикармливания», если, конечно, любящий хочет, чтобы любили именно его, а не профгруппу, кассу взаимопомощи и другие очень важные на своем месте коллективные организации. Разумеется, мы говорим только о современности и не вдаемся в догадки о том, что будет через несколько тысяч лет. Человеческие чувства изменчивы, и кто знает, может быть, когда-нибудь любовь приобретет те формы, на которые намекает пьеса. Но что касается сегодняшнего грешного времени, то, при всем коллективизме нашей жизни, нашей идеологии, немного, наверно, найдется чулаков, которые бы хотели, чтобы их любили на артельных началах... При всем этом любовь не гарантирована сейчас (как, очевидно, и в двадцатые годы, о которых говорится в пьесе) от проникновения меркантильности, расчета — этих действительных порождений буржуазного духа. Но любопытно, что внимание драматурга меньше всего привлечено к этим порокам: его формула — «прикармливание любви» — вряд ли служит точным ориентиром в распознавании действительных «пережитков прошлого».

Судя по всему, в пьесе особое значение придано символам, драматическим эффектам. Когда все гости собираются у Дора, тушится свет, причем Каретников говорит: «Электростанция согласовала этот вопрос с вечностью. Мы израсходовали весь полагающийся нам лимит». Свет зажигается, когда приходит сообщение о национализации предприятий Дора... Наивный параллелизм, слишком водевильный для драмы и, увы, слишком претенциозный для настоящего водевиля! Соответствует он только одному — приблизительности, расплывчатости художнического видения жизни, которое господствует в «Двенадцатом часе».

К сожалению, такая приблизительность все более и более дает о себе знать в некоторых произведениях последнего времени, особенно тех, которые пишутся «в условной манере».

Драма А. Левады «Фауст и смерть» — вот уже поистине бескрайний простор условности! Автор свободно парит над пространством и временем. Он воскращает тени Циолковского, Эйнштейна, Мари Склодовской-Кюри, Пьера Кюри, Ирен Жолно-Кюри...

Молодой ученый Вадим перед тем, как предпринять решительные действия против

Ирины — «чтоб с нею слиться, слиться, слиться», произносит такой монолог:

А что Земля? Лишь обреченный прах,
где каждый вздох и каждое движение
неумолимо приближает час,
когда закон всевластный энтропии
энергию погасит, как свечу.
Цените ж миг! Ведь он сегодня наш.
Он — твой и мой! Я — твой, и ты — моя!

Совсем как Администратор в «Обыкновенном чуде» Шварца: «Вы привлекательны, я-привлекателен — чего же тут время терять? В полночь. У амбара. Жду. Не пожалееете». Ссылка на закон энтропии при такой ситуации, оказывается, совсем не обязательна.

Правда, Вадим — эгоист и честолюбец, ему положено произносить подобные речи. Но Ирина-то, которая томится жадной большой любви, которая (как это неоднократно подчеркивает драматург) глубоко чувствует и искренне страдает, она-то каким образом попала в эту игру? А вот каким образом: еще задолго до роковой минуты она, оказывается, проявляла трезвую способность суждений и советовала Вадиму повременить с его притязаниями:

Он (то есть муж Ирины.— Ю. М.) в звездах
видит лишь проблему квантов,
А мне лиловость Космоса видна.
Мои пейзажи, лунные этюды,
Для Ярослава чужды и трудны...
Но честен он. Меня он любит, знаю.
И сердцем он действительно широк,
Не все в себе пока понять умею...
Не порвалась еще меж нами нить.
Надежду я, как искорку, лелею...
Не торопитесь искру погасить!

Однако вскоре Ирина рассталась со своим любовником:

В каком краю причалит мой баркас?
Я ужою. От мужа и от вас.

Некоторое время она «бродила по Карпатам... Искала там забвенья, тишины» и наконец вернулась с повинной к мужу: «Я потеряла где-то, к сожаленью, моих дорог популярную звезду».

Когда Ярослав погиб, Ирина приходит к бывшему любовнику и говорит о себе в третьем лице:

Она пришла. Теперь она вдова...
Рассыпался банальный треугольник...
У вас, я вижу, замерли слова.
А почему, мой пламенный любовник?
Соперник мертв!.. Ликуйте же сейчас!

С какими же приблизительными мерками нужно подходить к душевной жизни человека, к его переживаниям, чтобы заставлять героев произносить такие речи?

В драме «Фауст и смерть» эффект следует за эффектом, один наплыв сменяется другим. «Музыка — волна за волною, приподнятая, патетическая, взволнованная, триумфальная». «Новая волна музыки, завершающаяся величественным хоралом». Звучит мелодия, подобная той, которую мы слышим в концерте электронинструментов. Мелькают звезды и галактики. Но по мере того, как усиливается это голубовато-розовое сияние, пропадают реальные очертания Земли, гаснут ее звуки и голоса — и вот уже начинается свободное и блаженное парение в царстве приблизительности...

6

В пьесе, о которой только что говорилось, «приблизительность» доведена до крайности. И, однако, у драмы Левады есть общее даже с лучшими произведениями, написанными «в условной манере» (например, с «Иркутской историей»). Вряд ли эта тенденция является случайной. В последнее время мы стаякиваемся даже с теоретическим обоснованием приблизительности как признака в лучшем случае — условности, в худшем — всего современного эстетического мышления.

Страстную защиту приблизительности ведет В. Турбин в своей книге «Товарищ время и товарищ искусство» (кажется, в многочисленных рецензиях на книгу эта ее особенность специально не отмечалась). Он считает полезным для познания тот факт, что «почти ни один образованный человек XX столетия не сможет сколько-нибудь внятно объяснить, в чем, например, состоит различие между Египтом XII века до нашей эры и Египтом VII века». «Не наступит ли время, когда люди отнесут к одной эпохе Рамзеса II и Николая I, и никто, за исключением профессоров древней истории, не возьмется растолковать, чем один отличался от другого?.. И кем они будут — невеждами или мудрецами?»

Впрочем, такое познание общественного развития, по Турбину, уже началось — например, в «Истории одного города»: «Салтыков-Щедрин взглянул на прошлое так, как, наверное, будут глядеть на него люди далекого будущего... Его точка зрения —

точка зрения людей, которые уже успели позабыть нюансы, отграничивающие одну общественно-экономическую формацию от другой. Они не сохранили в памяти подробностей, сберегая лишь общее впечатление... «История одного города» — мечта об истории, познанной в синтезе».

Итак, приблизительность, с одной стороны, связывается с познанием, с обобщением, с «синтезом», а с другой — с условностью как специфической формой искусства.

Но в каком смысле можно говорить о «синтезе», о постижении общего людьми, не обладающими необходимыми знаниями? Неужели они или мудрецы? Неужели нет никакой разницы между человеком, который судит о целом («синтезирует»), зная «все» его внутренние и внешние связи, и человеком, который это делает, не зная их? Широта суждений (противоположная ограниченности «узкого специалиста»), склонность к категорическим ответам (противоположная робости и уклончивости) свойственны им обоим, но у первого они от знания, у второго от неведения. То, что возможно открытие, удача и у человека не сведущего, бесспорно, но гораздо чаще его подстерегает опасность, хорошо передаваемая народным выражением «попал пальцем в небо», как это случилось бы при невинном смешении Рамзеса II с Николаем I.

В. Турбин прав, подчеркивая обобщающую, синтезирующую функцию условности в «Истории одного города». Но опять-таки в каких границах, в каком смысле происходит это обобщение? Произведение Салтыкова-Щедрина не история России, не сатира на историю — писатель подчеркивал это недвусмысленно. Он говорил, что имел в виду «не историческую», а «обыкновенную сатиру», «направленную против тех характеристических черт русской жизни, которые делают ее не вполне удобною». Уже одно это не дает права видеть в произведении «мечту об истории, познанной в синтезе».

Но, кроме того, в «Истории...» чувствуется и противоположное стремление: к максимальной детализации, к накоплению оттенков. Тут не то что различие (говоря фигурально) между Рамзесом II и Николаем I — все оттенки «глуповства», все нескончаемые и как будто бы не имеющие значения вариации самодурства исследованы сатириком с пунктуальностью естествоиспытателя, со страстью коллекционера. Все эти Перехват-Залихватские, Грустиловы,

Беневоленские, Негодяевы, Фердыщенко, Бородавкины и т. д. «расписаны» по пунктам, приколоты, как жуки в коллекции. Зачем это? А все затем, чтобы сделать явственным главный аспект сатиры — обнаружение «характеристических черт русской жизни, которые делают ее не вполне удобной». Вот и говорите после этого, что Щедриным представлен такой взгляд на историю, при котором уже нет заботы о «нюансах».

Полемизируя с В. Турбиным, Т. Мотылева правильно писала: «А ведь, если посмотреть, и у Маяковского, и у Чапека, и у Брехта, и у Назыма Хикмета условность выступает не в химически чистом виде, а в сложных сочетаниях с самой доподлинной житейской достоверностью». Но дело еще и в самой природе условности, иногда неверно у нас понимаемой.

Ни широта, ни узость условности не являются абсолютными: обычно «упрощение» в одном тотчас компенсируется усложнением в другом. Просто однозначные фигуры не имеют отношения ни к условности, ни к гротеску.

Не зря, видно, Маяковский называл свои гротескные комедии увеличительным стеклом. У нас же иногда за условность принимается обыкновенное упрощение, не ведущее к познанию сложности, не имеющее в себе качеств художественного открытия.

Кроме того, условность у Маяковского и Мейерхольда всю своей силой была обращена против банального, пошлого, которое для Мейерхольда было синонимом натурализма и чему необходимо было найти антитезу: «Этим объясняется мое оближение с Маяковским, потому что Маяковский этим же самым занимался», — подчеркивал Мейерхольд. Их творческим принципом было: лучше сказать грубо, чем красиво. Некоторые же теперешние сторонники условности предпочитают говорить «красиво», хотя при этом и не так, чтобы очень тонко.

Причины появления такой условности различны. Одну из них можно раскрыть с помощью аналогии.

Хорошо известно, какое бурное развитие претерпевают в наше время все науки. Специализация дисциплин растет с гигантской быстротой, и то, что раньше находилось в ведении одной науки, теперь принадлежит десяткам; то, чем раньше занимался один ученый, теперь стало предметом исследования многих. Это видно и на примере филологии. Кому прежде приходило в голову от-

гораживать здесь узкие «районы исследования»? Уж если брали, так целыми дисциплинами (в одном лице часто совмещались литературовед, языковед, этнограф и т. д.), целыми литературами (и русская, и западноевропейские, и древние), от силы — целыми эпохами, веками (скажем, специалист по древности). Теперь взяты иные масштабы измерения: по писателям, по отдельным периодам их творчества, и даже пошли более узкие специалисты — по одному какому-нибудь роману или поэме. Сколько бы ни обличали такую односторонность, какие бы громы и молнии против нее ни метали, она неостановима, потому что отражает реальный процесс накопления знаний, дробления дисциплин и т. д. и т. п. В этих условиях синтез становится все более трудным делом. Но он необходим. Необходим в первую очередь для самой науки, для ее дальнейшего развития. Вот и появляется большой соблазн «синтеза по наитию», при котором коренные закономерности открываются незамутненному взору человека, свободного от знаний. Но такие чудеса происходят редко: методология открытий осталась древней — надо работать и знать.

Разумеется, все это не может быть прямо перенесено на литературу (хотя проповедь «синтеза по наитию» в эстетике и связанное с этим толкование условности это отчасти объясняют). Но и здесь есть свои трудности постижения целого — художественного синтеза, — рождающие большой соблазн отговориться общими фразами, условными (к сожалению, в прямом смысле этого слова) ответами.

В чем видит А. Арбузов сходство «Иркутской истории» с «Двенадцатым часом», их своего рода программный характер? В том, что «их крепко связывает время — этот ныне единственный, достойный для драматурга сюжет». В. Турбин тоже много пишет о времени, о вечности, которая «пожирает дни», «расшвыривает по сторонам столетия», «переламывает эпохи» и т. д. и т. п.

Но не допускается ли при этом некоторое смещение, когда время, помимо человека, помимо психологической правды (и, может быть, помимо воли самого писателя), выступает «единственным для драматурга сюжетом»? Собственно, история при такой абстракции исчезает, остается «перспектива в чистом виде», дающая богатую почву для приблизительности, психологической и иной фальши.

Было бы ошибкой считать увлечение такого рода условностью формалистическим наваждением. Нет, эта условность не берется с неба, не придумывается как средство оживления или «приманки». Она вырастает из художнического видения мира. В ней заметно стремление — без ясного сознания цели, чувство радости — без четкого понимания причин; основной тон ее мажорный, а излюбленный цвет — розоватый. Один поэт недавно выразил буревающие его чувства в таких словах:

Хочется руки
От счастья раскрылить,
Песнями радость
Великую вылить!

Не желая того, поэт создал классический чеканную формулу той условности, о которой говорилось выше — ее слабостей и противоречий. Руки, хотя бы и «раскрыленные», не крылья. Далеко таким способом не улетишь. Но зато недостаток подъемной силы компенсируется бурным маханием рук, конвульсивными движениями и уж, конечно, щедрым «выливанием» радости на головы читателей и зрителей. Сложность в том, что это не притворная, а искренняя «радость», но к зрелому чувству и мысли она не имеет никакого отношения.

Очень хорошо писал недавно В. Розов в одной из своих статей, что современность «требует от художника знания забот и волнений сегодняшнего дня» и что в театр подчас входят «абстрактные чувства, отвлеченные страсти, никакого отношения к современности не имеющие».

В драматургии у нас можно наметить сейчас два стилистических направления. О первом можно судить, например, по произведениям В. Розова; о втором — по разобранному выше пьесам. У каждого своя особенность. У первых чаще всего ограниченный участок наблюдения; действие обычно не выходит за пределы одной семьи, за стены одной комнаты. Вторые включают в поле своего зрения весь город, всю страну, весь мир, а нередко и всю вселенную. Художественная манера первых отличается лаконизмом; они часто даже не договаривают того, чего знают; вторые охотно дают ответы на все возникшие вопросы: и на те, которые возникают, и даже на те, которые еще не возникли; впрочем, во многом это свойство таланта. (В. Розов попытался в сценарии «А.Б.В.Г.Д...»

затронуть труднодоступные сферы жизни — и неудачно). Наконец первые тяготеют к изображению жизни «в формах самой жизни»; вторые охотно прибегают к условности, символам и драматическим эффектам. Повторяем, у каждого свои достоинства и свои недостатки. Но думается, что, какие бы упреки ни предъявлялись первым, они все же имеют важнейшее преимущество перед вторыми — отсутствие приблизительности и выпренности.

* * *

«Значит, вы совсем не признаете положительной роли условности в современной драматургии?» — могут нас спросить. Нет, признаем: известную полезную «работу» она осуществляла и еще осуществляет. С ее помощью сильнее был поставлен вопрос о связи человека с «исторической перспективой» — поставлен неточно, как говорят математики, «в первом приближении», но все же поставлен. Да и само расширение сферы изо-

бразительной, поиски новых средств воздействия на читателя (зрителя) нельзя сбрасывать со счетов. Давно ли в качестве «катализатора» у нас применялись барабан и литавры? В этом смысле условность тоже содержательна, и если вновь вспомнить споры о современном стиле — современна.

Но ничего нет опаснее в литературе, чем преувеличение достоинства какого-либо явления, нагромождение мнимых богатств. Чего еще не достает у нас современным формам условности — так это больших поисков и больших открытий. На них отчетливо видна печать переходности. Переходности — к чему? Будут ли большие открытия сделаны в формах условности? Сохранят ли эти формы свою суверенность или в каких-то элементах, «в снятом виде» войдут в иные стилистические направления? Это уже вопрос будущего. Важно, что ничто доброе в литературе не пропадает, а все эфемерное и поверхностное обречено на забвение.



Ф. БИРЮКОВ

★

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК» И ЕГО КОММЕНТАТОРЫ

(К 100-летию со дня рождения А. С. Серафимовича)

Не так давно я получил письмо из Краснодара от участника таманского похода 1918 года В. А. Швеца. Он служил тогда ездовым при батарее Днепровского полка и прошел вместе с Таманской армией путь от кубанской станицы Джигинской до Астрахани. В письме сказано:

«Мы, таманцы, бесконечно благодарны писателю Серафимовичу за то, что он так высокохудожественно и правдиво описал начало нашего похода и тем самым прославил дела наши на многие века. Однако в книге «Железный поток» допущены некоторые неточности. В ней говорится главным образом о первой колонне. Она слава и гордость таманцев. Все остальное — не то, здесь видны элементы анархии и т. п. На самом деле это было не так. Первая колонна именно и жила потому, что ее поддерживали остальные. Например, я знаю, что Матвеев для усиления боевой мощи первой колонны в ряде случаев (под Архипо-Осиповкой, Туапсе) передавал ей всю свою артиллерию. Под Белореченской вся армия участвовала в разгроме белых.

Неправильно освещен в книге и Матвеев. Мы знали его как очень способного и волевого командующего. Он был душой армии. Я не хочу умалять достоинств Ковтюха. Он свое дело сделал. За это ему хвала и честь. Но не все надо приписывать ему одному. Если говорить о тех, кто в то грозное время руководил таманцами, то здесь по праву первенство надо отдать Матвееву».

Письмо В. А. Швеца заставило меня задуматься: вопрос о «неточностях», якобы

допущенных писателем в «Железном потоке», показался мне важным и в историческом и в литературном отношении. Не говоря уже о том, что дело касается репутации некоторых реальных лиц.

Заглянем в повесть. Вот восемнадцатая глава. Прошу извинить за длинную выписку — она необходима.

«Вторая и третья колонны, шедшие за колонной Кожуха, далеко отстали. Никто не хотел напрягаться — жара, усталость. Рано становились на ночлег, поздно выступали утром. Пусто белевший простор по шоссе между головной и задними колоннами становился все больше и больше.

...В пустой даче, выходявшей верандой на невидимое море, собрался командный состав обеих колонн...

Смолокуров, громадный, чернобородый, добродушный, не знающий, куда девать физическую силу, сидит в белой матроске, расставив ноги, прихлебывает чай. Командиры частей кругом.

По тому, как курили, перебрасывались, давили ногой папиросы, чувствовалось — не знали, с чего начать.

И точно так же каждый из собравшихся считал себя призванным спасти эту громадную массу, вывести ее.

Куда?

Положение смутное, неопределенное. Что ждет впереди? Одно знали: сзади — гибель.

— Нам необходимо выбрать общего начальника над всеми тремя колоннами, — сказал один из командиров.

— Верно!.. правильно! — загудели.

Каждый хотел сказать:

«Разумеется, меня выбрать», — и не мог сказать.

А так как все этого хотели, то молчали, не глядя друг на друга, и курили.

— Надо ж, в конце концов, что-нибудь делать, надо же кого-нибудь выбирать. Я — Смолокурова предлагаю.

— Смолокурова!.. Смолокурова!..

Вдруг из неопределенности был найден выход. Каждый думал: «Смолокуров — отличный товарищ, рубаха-парень, беззаветно предан революции, голосище у него за версту, уж больно хорошо на митингах ревет, а на этом деле голову свернет, тогда... тогда, конечно, ко мне обратятся...»

И все опять дружно закричали:

— Смолокурова!.. Смолокурова!..

Смолокуров растерянно развел громадными руками.

— Да я, что ж.. я.. сами знаете, я по морской части, там хоть дредноут сверну, а тут сухопутье.

— Смолокурова!.. Смолокурова!..

— Ну да что, я.. хорошо.. возьмусь, только помогайте вы все, братцы, а то что ж это выходит, я — один... Ну, хорошо. Завтра выступать — пишите приказ.

Все отлично знали, пиши — не пиши приказы, а больше делать нечего, как волочиться дальше, — не стоять же на месте и не идти назад к казакам, на гибель. И все понимали, что и им делать нечего, разве только дожидаться, когда Смолокуров запутается и своими распоряжениями свернет себе шею. Да и свернуть-то нечем — тащись и тащись за кожуховой колонной.

И кто-то сказал:

— Кожуху надо приказ послать — выбран новый командующий.

— Да ему все одно, он свое будет, — загудели кругом.

Смолокуров треснул кулаком, и под картой застонали доски стола.

— Я заставлю подчиниться, я заставлю! Он и к городу ушел с своей колонной, позорно бежал. Он должен был остаться и биться, чтобы с честью лечь костыми.

Все на него смотрели. Он поднялся во весь свой громадный рост, и не столько слова, сколько могучая фигура с красиво протянутой рукой были убедительны. Вдруг почувствовали — выход найден: кругом vinoват Кожух. Он бежит вперед, не дает никому проявить себя, использовать вложенные в нем силы, и все напряжение, все внимание нужно на борьбу с ним».

В этой живо исполненной сцене Смолокуров и другие командиры изображены живописно, но в освещении весьма критическом. Растерявшиеся перед трудностями, одержимые мелкими страстями, они во всем противоположны Кожуху. Не мудрено, что во второй и третьей колоннах хозяйничают анархисты-матросы, легко сбивающие с толку бойцов, что колонны движутся инертно, лениво, не вступая в бой.

«Командующий» Смолокуров во всех случаях выступает как самоуверенный дезорганизатор, ведущий людей к гибели. Он не только не помогает первой колонне, но прямо-таки опасен в боевом деле: того и гляди откроет огонь по своим.

В соответствии со смолокуровским характером действует и штаб: рассылает крикливые приказы, вмешивается не в свое дело. Кожух не верит ни «командующему», ни начальнику штаба: «Тоже недорого возьмут и сбрехать». И ведь при этом речь идет не о безделье — о выполнении оперативного плана.

Теперь перейдем к историческим фактам.

История похода Таманской армии подробно изложена в книге бывшего начальника штаба армии Г. Н. Батурина «Красная Таманская армия» и в книге Е. И. Ковтюха «От Кубани до Волги и обратно», которая была переиздана со значительными дополнениями под названием «Железный поток» в военном изложении¹. Много ценного дают воспоминания других участников похода. В 1957 году мне удалось побеседовать с семнадцатью таманцами, установить с ними переписку. Часть материала была опубликована¹.

Движение «железного потока» началось от станицы Верхне-Баканской (Тоннельной). Сюда в конце августа 1918 года стекались со всего Таманского полуострова разрозненные, потрепанные в бою с белогвардейцами части. Епифан Ковтюх привел три полка — Славянский, Полтавский, Советский — из Троицкой, И. И. Матвеев два полка — Днеп-

¹ Г. Н. Батурина. Красная Таманская армия. Краткий популярный военно-исторический очерк. 1918—1919—1920 гг. Ст. Славянская, Кубано-Черноморская обл. 1923. Книжка была переиздана в 1940 году в Краснодаре с изъятием всех мест, где говорилось о Е. И. Ковтюхе.

Е. Ковтюх. От Кубани до Волги и обратно. 1926. «Железный поток» в военном изложении. Госвоениздат. М. 1931 и 1935.

Ф. Вирюков. По следам «Железного потока». «Октябрь», № 4, 1958.

ровский и Крымский — из Джигинской, Сафонов — Кубано-Черноморский полк из Темрюка. Пришел с отрядом, сформированным в Курчанской, Г. Н. Батулин. Прибыл отряд из Анапы и многие другие части. В Верхне-Баканской к отступающим войскам присоединились рабочие цементных заводов и беженцы из разных станиц, которые уходили целыми семьями со скарбом, коровами. Войска находились в состоянии деморализации. Нависла угроза окружения и гибели.

Перед десятками тысяч людей встал вопрос: «Как быть? Кто выведет?» И такие люди нашлись. Это были командиры и комиссары, проявившие волю и организаторское дарование. Они овладели настроением деморализованных частей, взяли руководство в крепкие руки, изолировали паникеров и анархистов, кричавших на митингах: «Бей командиров! Нас продали!»

Уже в Верхне-Баканской командиры созвали военный совет, на котором договорились: двигаться как можно быстрее, навести во всех частях железную дисциплину, выделить резервы для заслонов от противника, беречь патроны для предстоящих боев, влить в боевые части примкнувшие отряды.

Сковывало движение, вносило беспорядок, развязывало руки анархистам и демагогам отсутствие единого командования. 27 августа в Геленджике собрался командный состав совместно с депутатами Геленджикского исполкома. Решено было все разрозненные отряды, дружины, роты, батальоны и полки влить в одно целое и подчинить единому командованию. Армию назвали Таманской. Главкомандующим был избран И. И. Матвеев, начальником штаба — Г. Н. Батулин. Был разработан оперативный план продвижения, выяснена численность войск. Армию решено было разделить на три колонны. Командиром первой назначили Ковтюха, второй — Лисунова, третью возглавил сам Матвеев.

Г. Н. Батулин так рассказывает о выборе командующего в Геленджике:

«У всех ясно вырисовывалось положение и все поняли, что без общего объединения и командования, без определенной цели и общего плана действий — продолжать движение куда-то в пространство друг за другом дальше нельзя, что необходимо общее руководство...

Кандидатами для избрания командующего были выставлены Ковтюх, Матвеев и я...

Ковтюх отсутствовал на собрании. Матвеев в то время пользовался популярностью больше всех присутствующих, и мы стали убеждать его согласиться принять командование, доказывая, что для масс громадное значение имеет имя вождя, а он его как раз имеет. Матвеев сдался на просьбы... «Я буду драться с вами в первых рядах — это вы увидите, но руководит штабом пусть товарищ Батулин», — были слова Матвеева. Пришлось согласиться и мне.

С геленджикским совещанием связано оформление Таманской армии. После этого началась большая работа по воспитанию армии, укреплению в ней военной дисциплины и искоренению партизанщины.

Командование пресекало всякий анархизм, самоуправство, мародерство. Это видно хотя бы из такого дошедшего до нас документа:

«Приказ № 57

по войскам Советско-Таманской армии
Северо-Кавказской Социалистической
Республики
ст. Курганная. 9 октября 1918 г.

§ 1

До меня все чаще и чаще доходят печальные слухи, сопряженные с самочинными реквизициями, произведенными некоторыми частями войск Советско-Таманской армии, причиняющие вред ни в чем не повинным мирным жителям — нашему же брату пролетариату. В этом гнусном деле проявляет себя особенно кавалерия Интернационального полка в расположении ст. Михайловской. Видя этот к прискорбию и ужасу революционных завоеваний распад революционных сил на какие-то единицы, не подчиняющиеся общей дисциплине как целому армии, приказываю: реквизиции такого рода не чинить, а строго придерживаться приказа № 19, где сказано: никакие реквизиции не должны производиться без надлежащих на то мандатов, выданных штабом армии, и что лица, не подчинившиеся приказу, считаются как контрреволюционеры. Виновных в нарушении этого буду предавать самой строгой каре, какую допускает военное время.

Подлинный подписали:

Командующий Армии Матвеев.
Начальник штаба Армии Батулин.
Политический комиссар Воловик.

С подлинным верно: Начальник канцелярии (подпись)»¹.

Нередко говорят о Епифане Ковтюхе как чуть ли не единственным лице, который взял на себя всю ответственность и вывел людей. Е. И. Ковтюху, несомненно, принадлежит огромная заслуга. Он возглавил первую ударную колонну, которая умело и решительно опрокидывала на своем пути всех врагов, обращая их в беспорядочное бегство. Ковтюх проявил большое полководческое дарование. Но походом руководили еще десятки других талантливых командиров. Среди них выделялись своими способностями Матвеев, Батурич, Лисунов, Комаров, Прохоренко, Сафонов, Гладких, братья Россинские и многие другие.

Таманцы сохранили самые лучшие воспоминания о командующем армией коммунисте И. И. Матвееве, в конце похода предательски расстрелянном авантюристом Сорокиным. В. А. Швец рассказывает:

«До этого Матвеев командовал Днепровским краснопартизанским отрядом, который после геленджикского совещания был назван полком. Отряд Матвеева совершил героический поход с Украины через Крым на Кубань. Это было весной 1918 года, когда немецкие войска оккупировали Украину, Крым, Таманский полуостров. Отряд Матвеева вел непрерывные бои с немецкими захватчиками. Силы были неравные, и потому приходилось отходить на Кубань. В отряд влились потом матросы с потопленных в Новороссийской бухте кораблей. Это была, боеспособ, одна из самых боеспособных частей Таманской армии. В последующих боях на Северном Кавказе это полностью было доказано матвеевцами.

Кто такой Матвеев и откуда он — сведений нет. Одно известно, что он служил на одном из кораблей Черноморского флота матросом. Матвеев, как я его помню, среднего роста, плотный, сильный мужчина. Открытое, хорошее русское лицо, которое в зависимости от настроения быстро меняло свое выражение. Ходил он больше без головного убора, в расстегнутом бушлате, грудь украшала полосатая матросская тельняшка; брюки-галифе, на ногах ботинки при желтых полированных крагах, плотно обжимавших икры ног.

Таманцы сразу полюбили нового своего командующего, считая его талантливым и

храбрым военачальником, своим человеком, то есть преданным тому делу, за которое с таким ожесточением шла борьба...

Матвеев часто бывал среди беженцев, лично сам указывал им места стоянок во время привалов, дневок, помогал в добыче продуктов питания, к больным (многие тогда болели лихорадкой, особенно дети) направлял врачебный персонал, который состоял исключительно из фельдшеров и сестер милосердия, санитаров. В беседах с беженцами он подбадривал их, шутил, подымал настроение...

Все это, разумеется, очень близко принималось к сердцу беженцами, попавшими в такую тяжелую обстановку. Авторитет Матвеева рос среди таманцев, и особенно его любили за то, что он не допускал анархии, мародерства, был беспощаден к трусам, разумно и спокойно руководил движением колонн».

С уважением и любовью вспоминают о Матвееве и другие таманцы.

Отмечают они и роль начальника штаба Г. Н. Батурича. Это был офицер старой армии, разжалованный царским правительством и сосланный в Тобольск за участие в революционном движении 1905 года. Славянский исполнительный комитет так характеризует Батурича:

«Его военные познания, организаторский талант, железная воля, умение подходить к людям, скромность и простота в обращении, необыкновенное трудолюбие, способность использовать каждый факт, сделав из него соответствующие выводы,— все эти качества доставили ему вполне заслуженную любовь и беспредельное уважение со стороны таманцев»¹.

Какова же была роль каждой из трех колонн Таманской армии?

В своих воспоминаниях таманцы Кулинич, Самсонов, Якуценя, Швец, Разутов, Прохоренко так говорят об этом: на первую колонну была возложена задача уничтожить заслоны, вторая вела фланговое охранение армии, третья прикрывала ее с тыла. Уже в Новороссийске вторая и третья колонны выдержали бой с наседавшим противником, а начиная с Архипо-Осиповки и до Белореченской охраняли армию от налетов с гор. Они вели потом бои под Дундуковской и Михайловской. Вся армия в

¹ ЦГАКА СССР, фонд 244, опись 1, дело 2, лист 39.

¹ Г. Н. Батурич. Красная Таманская армия. Славянск. 1923. От издателя.

целом громила Покровского в Белореченской. «Таманскую армию нельзя рассматривать отдельно по колоннам», — говорит А. К. Кулинич, — в ней надо видеть одну цельную боевую армию Великого Октября, так как все колонны одинаково перенесли тяжесть непрерывных боев, находясь постоянно в огневом кольце белогвардейских полчищ, нападавших везде и всюду. И если бы не активные действия второй и третьей и их помощь первой, то Таманская армия была бы разгромлена».

Выходит, В. А. Швец прав, утверждая, что в «Железном потоке» есть «неточности» и допущено «неправильное освещение»?

Но не будем торопиться с выводами.

2

В «Железном потоке» таманский поход изображен с исследовательской точностью — так долгие годы настойчиво твердят комментаторы повести, свободно подменяя образы «прототипами», называя воинские соединения, «расшифровывая» текст.

Впрочем, еще Д. Фурманов находил в «Железном потоке» «соответствие обработанных фактов документальному материалу» и утверждал, что «Смолокуров — это покойный матрос Матвеев». Но, конечно, только последующими «изысканиями» и «трусами» точка зрения на «Железный поток» как историко-документальное произведение была «обоснована», «развита» и утверждена как незыблемая истина.

В книге Е. Ковтюха «Железный поток» в военном изложении» (1931) на 62-й странице редактор Вл. Меликов от себя сделал примечание: «С исключительным мастерством художника слова и человека, знающего характерные особенности той эпохи, показана картина выборов в командиры Матвеева (Смолокуров) и его взаимоотношения с Ковтюхом (Кожух) в книге «Железный поток» Серафимовича».

С 1937 года повесть издавалась с комментариями Г. Нерадова. К восемнадцатой главе он давал такое разъяснение: «За колонной таманцев шли еще две организованные колонны. Эти колонны группировались вокруг двух уцелевших полков (2-й Северо-кубанский и 4-й Днепропетровский)»¹.

Комментатор, как видно, не считает вто-

рую и третью колонны таманскими, не включает их в общий поток. Таким образом, сцена, изображенная в восемнадцатой главе «Железного потока», была истолкована как доподлинная реальность. Собрание на пустой даче — это геленджикское совещание. Смолокуров — Матвеев, «штаб» из повести — это тот самый, во главе которого стоял Батурич.

После комментариев Нерадова представление о «Железном потоке» как документальном произведении, в котором с детальной достоверностью воспроизведен поход Таманской армии и представлены портреты ее руководителей, получило самое широкое распространение. Ему отдали известную дань даже такие серьезные исследователи творчества Серафимовича, как Л. Поляк и Л. Гладковская. Оно вошло во все учебники и учебные пособия.

Недавно А. Волков привел подобные представления в стройную систему.

«В литературном наследии писателя есть немало произведений, в которых преобладает художественный вымысел... Другое дело «Железный поток», — заявляет А. Волков. — Это произведение должно было воссоздать недавно имевшее место историческое событие, важное своими характерными особенностями. Кроме того, малейшее идейное искажение истории грандиозного похода Таманской армии могло вызвать законные нарекания со стороны его участников».

Итак, «Железный поток» воспроизводит определенное историческое событие, он точен, исторически верно воссоздает поход таманцев и не может вызвать с этой стороны нареканий участников похода. На основании текста книги Серафимовича А. Волков «восстанавливает» факты, характеризует Таманскую армию и излагает историю ее похода.

«В развязывании анархических настроений повинны командиры, случайно оказавшиеся во главе частей и подразделений Таманской армии. Восстанавливая обстановку, в которой происходит поход Таманской армии, Серафимович должен был показать не только оппозицию Кожуху начальствующего состава колонны, которой он командовал, но и трудности, создаваемые ему командованием двух плетущихся в хвосте колонны. Так возникла побочная сюжетная линия Смолокурова, незаконно избранного командующим всеми тремя колоннами, избранного вопреки здравому

¹ А. Серафимович. Собрание сочинений. 1948, т. IX, стр. 199 (4-й Днепропетровский полк ошибочно назван 4-м Днепропетровским).

смыслу и наперекор логике всего марша, говорившей о том, что Кожух — единственный человек, способный возглавить поход»¹.

А. Волкова заворожила идея фактографичности произведения. «Рабочие-читатели, — пишет он, — упрекали Серафимовича в том, что он вывел матросов контрреволюционерами и бандитами... Серафимович тем не менее отстаивал написанное им о матросах потому, что это полностью соответствовало действительности Таманского похода... Серафимович не погрешил против исторической правды» (стр. 312).

«Полностью соответствовало...» Но ведь нельзя сказать о всех моряках Таманской армии, что они были деморализованы, разложились. Например, черноморские моряки, влившиеся в 4-й Днепровский полк, в боях доказали свою революционную преданность народу. А. К. Кулинич рассказывает о том, как еще в Новороссийске «одна из рот моряков стала на смерть в бою с белыми и почти вся пала смертью храбрых за Советскую власть». Белогвардейцы, как только заняли Новороссийск, живыми закапывали в землю моряков. А. Волков, цитируя Серафимовича, опустил слова: «Мне, впрочем, рассказывали, что часть матросов стала потом в таманской колонне в строй. Вот эту здоровую часть действительно надо было отметить, выделить. Я этого в «Железном потоке» не сделал, и в этом моя ошибка».

Признание ошибки делает честь писателю. Но едва ли в этом была необходимость. Ошибки — одну за другой — нагромождают комментаторы, смешав художественное произведение с документальным репортажем, правду повести с правдой конкретного события.

Странно читать у Волкова: «Таманской армией уже пройден немалый путь после того ночного совещания, на котором Кожух утвердил свое решение безостановочно идти по маршруту: Новороссийск — Геленджик, Туапсе — Белореченская — Армавир» (стр. 295).

Но ведь Серафимович избегает наименований: «Таманская армия», «таманцы», нет в повести и командующего Таманской армией (Кожух ведет «железный поток»), нет и ее точно обозначенного маршрута.

¹ А. Волков. Творческий путь А. С. Серафимовича. Гослитиздат. М. 1960, стр. 278, 299—300.

Вот, оказывается, откуда идет смешение представлений — превращение художественного полотна в историческое сочинение — от комментаторов. И если столько лет они настойчиво внушают читателям представление о натуралистической подлинности «Железного потока», то нужно ли удивляться тому, что таманцы критически воспринимают многие страницы повести. Их же постепенно убедили: «Железный поток» — это своего рода докладная записка, военное донесение.

Но ведь, возражат мне, писатель и сам указывал на документальную основу повести, говорил, что события изложены так, как они происходили, что вымысла мало.

Попробуем в этом разобраться.

А. Серафимовича интересовала проблема участия крестьянства в революции. Этот замысел владел его воображением еще до того, как стало известно о таманском походе. Он был обусловлен опытом всей жизни писателя, и в особенности опытом гражданской войны. Серафимович почти всю гражданскую войну ездил по фронтам, был и на востоке, и на юге, и на западе страны, всюду наблюдал, как крестьянство, разбуженное революцией, «идет гудящими толпами» с оружием в руках сражаться за свободу.

Фронтные наблюдения привели писателя к мысли «нарисовать полотно, которое дает обобщение, в отдельных картинах выразить что-то общее, пронизывающее все одной идеей, которая осмысливает эти отдельные картины». Это был большой эпический замысел, позволяющий «как-то широко захватить» действительность.

Рассказы участников таманского похода определили выбор сюжета. «Меня словно осенило, — вспоминал Серафимович. — «Да ты пусти на эти горные кряжи поднявшееся революционное крестьянство. Они же, эти бедняки-крестьяне, действительно тут шли, тут клали головы...» Сама жизнь подсказала мне: «Лепи этот «Железный поток» — недаром тебя там носило, по этим самым местам. И крестьян этих ты хорошо знаешь...»

Работая над повестью, писатель, естественно, самым тщательным образом собирал различные материалы, относящиеся к Таманской армии и ее походу. Им была проделана обстоятельная работа.

А. Серафимович справедливо критиковал тех авторов, которые выдумывают, «сочиняют» свои произведения, целиком пола-

гаясь на воображение. Сам он, дорожа правдой жизни, искал характерные факты, расспрашивал очевидцев, интересовался всевозможными «реалиями». Писатель имел основание сказать, что в повести «выдумки мало», «события в большинстве случаев представлены так, как были».

Но «Железный поток» — произведение искусства, а не иллюстрация и не фотография. Прислушайтесь к диалогам, присмотритесь к портретам, к типам, деталям — вы почувствуете во всем силу художественного изображения, самобытность густых и ярких красок. За «кубанскими» сценами и характерами вы увидите сцены и характеры саратовские, самарские, тульские, орловские, сибирские.

«Я ставил себе задачей — дать реальную правду, но правду, конечно, не фотографическую, а правду синтетическую, обобщенную», — подчеркивает Серафимович. «В этих целях, — рассказывает он, — приходилось вносить элементы выдумки. Часто я принужден был жертвовать некоторыми рельефными чертами, характеризующими быт, отношения с близкими и т. д. Образ, благодаря этому, отходил от живой модели». Иначе говоря, писатель в полной мере использовал свое право на художественное преобразование реального материала. И дело здесь не только в том, что в повествование введены образы Горпины, ее мужа, попа и другие, а в том, что реально-историческим образам и ситуациям придан обобщающий характер.

«Я старался... — рассказывает А. Серафимович, — с наибольшей силой выявить в «Железном потоке» основные мысли, основные идеи, основные задачи массы. И соблюдать огромную экономию — ничего лишнего: не только лишнего человека, но даже лишнего куска пейзажа, лишней фразы, даже лишнего слова, запятой, если они не служат для продвижения всего повествования вперед... Два с лишним года я корпел над произведением в восемь печатных листов...»

Эти слова хорошо раскрывают и характер замысла писателя, и самый процесс создания «Железного потока» как художественного произведения.

Таманские колонны по условиям похода шли на некотором расстоянии друг от друга. Писатель мог бы поступить и так: провести читателя по всем трем колоннам, показать всех руководителей похода. Так обязан сделать историк, не смущаясь

даже однородностью фактов. Но Серафимович по этому пути не пошел. Не следуя рабски за реальным материалом, писатель изобразил колонны по принципу резкого противопоставления: в первой колонне, возглавляемой Кожухом, побеждает сознательность, дисциплина, организованность, во второй и третьей — движение масс проходит замедленно, инертно, оно сковано анархическими действиями Смолокурова и его помощников-командиров. С точки зрения художественного обобщения, художественной правды такое противопоставление вполне оправдано. В то время, когда только что создавалась Красная Армия, еще сильны были проявления анархизма, партизанщины, самоуправства.

Д. Фурманов писал: «Было великое искушение дать поход всей «Таманской армии», то есть всех трех колонн... Там тоже было свое особенное, и искушение сочетать его с тем, что было в кожуховской колонне, — немалое искушение. Но автор на это не пошел, и жизнь этих двух колонн он дал лишь настолько, насколько было необходимо на ее фоне еще ярче осветить деятельность 1-й колонны, главной героини всех операций. Этим путем достигнута экономия средств, и напряженное внимание читателя все время концентрируется на главном, на основном... Здесь только «нужное» художнику отбрасывается от менее нужного, и тем самым удесятеряется сила впечатления. Автор сработал свою повесть по системе: минимум слов, максимум действия».

«Материал, даже хороший, даже яркий, но не продвигавший каждый раз основную линию, основную мысль вперед, я отбрасывал», — свидетельствует и сам автор «Железного потока».

Для того, чтобы дать «правду синтетическую, обобщенную», необходимо было типу организатора противопоставить типа безвольного, импульсивного демагога — так возникла антитеза Кожух — Смолокуров, пробивающаяся вперед первая колонна и плетущийся позади анархизирующий сброд. Такая антитеза, даже в том случае, если ее в таком виде в реальной Таманской армии и не было, отражала правду эпохи.

Свободно распоряжаясь материалом, писатель в согласии со своим художественным замыслом смекает и по-своему группирует факты.

Можно ли сказать, что действующая в повести колонна, возглавляемая Кожухом,

это первая таманская колонна, которой командовал Е. Ковтюх? Нет, нельзя. В образе первой колонны, нарисованном в повести, найдена отражение вся Таманская армия, а в образе Кожуха воплощены черты, свойственные многим лучшим ее командирам, в том числе Ковтюху (по преимуществу), Матвееву, Батурину. В Кожухе нашли свое воплощение общие черты народного вожака революционной эпохи. Настойчивые утверждения, что Кожух — это только Ковтюх, прямолинейны и обедняют образ, созданный писателем. Они и приводят к тому, что повесть низводится до уровня репортажа. О том, что Смолокуров — это не Матвеев, и говорить нечего.

Прав И. Дубинский, когда пишет:

«Особенно рьяно искажается истина при описании подвига Ковтюха и легендарного похода Таманской армии. Беллетристам прощается многое. Серафимович назвал своего героя именем Кожуха для того, чтобы иметь свободу действий и право вольного обращения с фактами. Так поступил художник. Но почему же историки, не изменяя подлинных имен, свободно обращаются с фактами? Безусловно легендарен Ковтюх, но не менее легендарен отважный и одаренный вожак черноморских моряков Иван Матвеев — командующий всей Таманской армией.

Не умаляя подвига Ковтюха, шедшего с головной колонной таманцев, следует говорить и о подвигах двух других колонн, предводимых главкомом Матвеевым» («Новый мир», № 2, 1962, стр. 185).

Можно привести и другие примеры сознательного смещения и перегруппировки А. Серафимовичем реальных фактов.

Писатель отлично знал, что эпизод с подписями под грозными словами акта о беспрекословном подчинении имел место во второй и третьей колоннах. В повести это происходит в первой колонне.

Писатель знал, что первая колонна из Верхне-Баканской до Новороссийска добиралась поездом. Вторая и третья шли пешком. В повести первая колонна идет пешком.

В Новороссийске под обстрел немецкого корабля «Гебен» попала третья колонна. В повести под обстрел попадает первая колонна.

Беженцы группировались в основном в третьей колонне. В повести они движутся с первой колонной.

Серафимович как художник обрек бы себя на плоский эмпиризм, если бы всегда и во всем следовал за хроникой и деталями похода Таманской армии.

Но дело не только в том, что, синтезируя и обобщая, каждый большой художник обязательно домысливает, изменяет что-то, сдвигает события. Ведь «Железный поток» по своему стилю — это героико-романтическая эпопея, и с этим связана не только яркость и «скульптурность» изображения фигур и событий, но и некоторая условность в обрисовке героев. Взять хотя бы Кожуха. Он предстает в виде железного человека, «вожака», «батяки», спасшего десятки тысяч людей. Романтический колорит несомненен и в картинах боев, митингов, движения «железного потока».

Возьмем сцену выбора Кожуха в вожаки. Ведь в действительности никакого «избрания» на митинге не было. В повести, однако, читаем:

«С железными челюстями разжал их:

— Товарищи, бросьте,— треба делом заниматься. Выбрать командующего, а уж он остальных сам назначит. Кого выбираете?

Секунду неподвижное молчание: степь и станица, и бесчисленная толпа — все замерло. Потом поднялся лес мозолистых, заскорузлых рук, и по степи до самых краев, и в станице вдоль бесконечных садов, и за рекой грянуло одно имя:

— Кожу-ха-а-а!..

И покатилося, и долго еще под самыми под синюющими горами стояло:

— ...а-а-а-а!..

Кожух сомкнул каменные челюсти, сделал под козырек, и видно было, как под скулами играли желваки».

Повествование в духе героического эпоса потребовало густых и сочных красок, резкого подчеркивания контуров, контрастного распределения света и тени, определило приподнятость тона повествования. В повести все дано крупным планом, масштабно, порой плакатно.

Удивительно ли, что художественное описание, даже в тех случаях, когда А. Серафимович придерживается реальных фактов, заметно расходится с конкретными прообразами и прототипами. Нельзя поэтому прямолинейно истолковывать слова Серафимовича о достоверности изображенных фактов и превращать «Железный поток» из художественной картины борьбы советского

народа в беллетризованную хронику похода таманцев.

Правомерно ли поэтому упрекать автора «Железного потока» в неточном и неправильном освещении истории похода Таманской армии? Нет, конечно. Упреки эти вернее было бы переадресовать некоторым комментаторам повести. Это они, смешав художественное с историческим, невольно отождествили образы анархистов и демагогов, созданные Серафимовичем, с Матвеевым и его окружением; бросили тень на штаб Таманской армии, увидели в сборище на пустой даче геленджикское совещание, отняли славу у второй и третьей колонн, направили «Железный поток» против... таманцев.

Когда таманец С. П. Леошкин написал А. Серафимовичу об «искажении» фактов в повести, писатель ответил, что он создавал

художественное произведение, а не исторический трактат. Этому-то и не учитывают наши комментаторы, когда говорят: «Малейшее искажение истории похода могло вызвать нареkanie со стороны его участников».

Подумать только: «малейшее искажение»! Как будто бы А. Серафимович ставил перед собой задачу написать отчет о походе Таманской армии. Нет, его цель была иного, несравнимо большего масштаба. Он хотел создать — и создал! — эпопею о вооруженной борьбе трудового народа за свое освобождение, о том, как разбуженные Октябрем крестьянские массы, сплачиваясь и мужая, «подминали под себя интервентов, помещиков, белых генералов». А. Серафимович создал книгу, которая стала классическим произведением советской литературы, памятником героической революционной эпохи.



ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

БОЕВОЙ ГОД

Япония

«Бунка хёрон» («Культурное обозрение»). Ежемесячный журнал по вопросам идеологии и культуры. Январь—сентябрь 1962. Год издания 1-й. Токио. Издатель ЦК КПЯ. Главный редактор Кураха Кореэхито.

★

В Японии издается две с половиной тысячи журналов. 175 700 тысяч экземпляров — их общий годовой тираж. С декабря прошлого года к их числу прибавился еще один. Впрочем, правильнее сказать иначе: вот уже год, как обильному потоку японской буржуазной прессы противостоит новый коммунистический журнал. Это орган Центрального Комитета Коммунистической партии Японии «Бунка хёрон». Он издается по решению VIII съезда КПЯ. На его подзаголовке значится: «Журнал ЦК КПЯ по вопросам идеологии и культуры». Главный редактор журнала — известный японский литературовед и литературный критик, член Президиума ЦК Кураха Кореэхито.

Буржуазная пресса не замедлила откликнуться на появление «Бунка хёрон» залпом клеветнических статей. Но прошло всего четыре месяца, а журнал уже разошелся в количестве двадцати тысяч экземпляров.

И вот теперь перед нами годовой комплект журнала. Просматривая его содержание, внимательно знакомясь с большими проблемными статьями, понимаешь, что именно так встревожило буржуазную прессу. Убежденность, а отсюда и убедительность — вот что отличает каждую статью «Бунка хёрон» и весь журнал в целом.

Япония — страна древней, многовековой культуры, где еще тысячу двести лет назад появился первый памятник ксилографической печати; страна, давшая миру великих художников Сессю, Хокусая, Утамаро; страна, древние храмы и дворцы которой восхищают и вдохновляют архитекторов всего мира. И вот ныне эта богатейшая самобытная культура находится под угрозой уничтожения.

«Американская культура «оккупирует» Японию», — справедливо писал в одной из своих статей председатель Общества новой японской литературы поэт и прозаик Накано Сигэхару.

Поэтому не случайно новый журнал, определяя круг вопросов, которым он посвящает свои страницы, ставит рядом «идеология и культура» и публикует столько статей в защиту национальной культуры, разоблачающих методы, к которым прибегают Соединенные Штаты, усиливая свою «культурную оккупацию».

В статье Яманэ Хироси «Сущность японо-американского обмена и вопросы культуры, идеологии и науки» (№ 6) приведен чрезвычайно интересный документ, подготовленный американским послом Рейшауэром и американским же «специалистом по Японии» Скалапино. Этот документ — программа нового курса США в отношении Японии. Главная цель этого курса — завоевать умы и сердца японцев, расположить к себе либеральную интеллигенцию. Яманэ раскрывает истинную подоплеку активной деятельности Рейшауэра, который выступает с многочисленными лекциями в крупнейших университетах страны, жонглируя левыми фразами и заигрывая с той частью японской интеллигенции, которая близка марксизму.

Но это не единственный метод культурной экспансии, к которому прибегают Соединенные Штаты. Яманэ показывает, как используется система приглашения в США крупнейших деятелей науки и культуры Японии. Лишь за один год (май 1961 — май 1962), в Соединенных Штатах побывало около четырехсот японских ученых. «В США, — пишет Яманэ, — был приглашен выдающийся борец за мир, известный

своими либеральными взглядами руководитель крупнейшего издательства «Иванами сѣтэн» Есино Гэндзабуро. Ему настоятельно рекомендовали изменить содержание выпускаемого издательством общественно-политического журнала «Сэкай» и всей его книжной продукции.

А разве не симптоматично, что фонд Рокфеллера ассигновал для осуществления так называемой «программы изучения японо-американских отношений» девять миллионов долларов и значительную сумму на «изучение дальневосточных проблем» выделил фонд Форда? «Бунка хёрон» помогает понять причины такой американской «щедрости». В статье «Японо-американское сотрудничество в изучении Азии и ответственность ученых» (№ 8) Фудзино Наохико справедливо говорит о том, что на эти деньги США стремятся создать нечто подобное пресловутой «сфере взаимного процветания Великой Восточной Азии». Только теперь речь идет о «культурном процветании» и — что очень существенно — не во главе с Японией, как это было в период войны, а во главе с Соединенными Штатами. И, конечно, культурное сотрудничество рассматривается лишь как средство для достижения политического и военного единства Японии, Южной Кореи, чанкайшистского Тайваня под эгидой США.

Утрата — даже частичная — национальной независимости неизбежно ведет к упадку, а затем и к гибели национальной культуры. И поэтому очень своевременным и обоснованным был большой разговор о национальной культуре, начатый на страницах журнала Курахара Корэхито в теоретической статье «Национальная независимость и национальная культура» (№ 1). «С тех пор как Япония была оккупирована американским империализмом,— писал он,— в нашу страну беспрепятственно проникает американский образ жизни и образ мышления, реакционная империалистическая идеология, растленная буржуазная культура... Погибают выдающиеся культурные ценности, веками создававшиеся японским народом... Национальная культура Японии стоит перед лицом серьезнейшего кризиса. Вместе с тем исторический опыт учит, что без самостоятельной национальной культуры невозможна национальная независимость. Народы, не сумевшие отстоять национальную культуру своей страны от разрушения ее захватчиками, на долгие столетия попадали в рабство, тогда как народы, которым удалось сохранить самобытную культуру своей страны, рано или поздно добивались национальной независимости... Именно поэтому столь велико значение борьбы за сохранение и развитие национальной культуры, которую ведет сейчас японский народ и которой столь значительное место уделено в программе КПЯ».

Разговор об этом же продолжается и в статье о конгрессе Ассоциации национальной культуры, проходившем в апреле 1962 года в Токио (№ 7). Призывая местные организации принять активное участие в конгрессе, отмечает журнал, устроители говорили о его важности именно сейчас, когда национальная культура находится под угрозой утраты самостоятельности, когда необходимо подвергнуть всестороннему обсуждению вопрос о связи между политикой и культурой. Этот последний вопрос, указывает журнал, возник среди деятелей культуры, озабоченных тем, как органически соединить свою творческую деятельность в области культуры с борьбой народа. Но сюда же примешивалось и «стремление некоторых деятелей... оторвать культуру и себя от политики...». Журнал объясняет это «дальнейшим наступлением реакции, неспособностью некоторых деятелей культуры разобраться в сложной ситуации», возникшей в результате культурной экспансии Соединенных Штатов. Слова «американский империализм», правда, не были произнесены на конгрессе, но там достаточно ясно говорилось о том, кто является истинным врагом национальной японской культуры.

Пятнадцатого июля 1962 года Коммунистическая партия Японии отмечала свое сорокалетие. Седьмой номер журнала почти целиком посвящен этому знаменательному юбилею. Он открывается статьей члена президиума ЦК КПЯ Хакамада Сатоми. Хакамада подчеркивает, что «с момента своего образования партия уделяла большое внимание вопросам культуры, отдавала все силы развитию революционного движения в области культуры». Он напоминает о созданной в 1932 году Лиге пролетарской культуры, «поставившей перед собой совершенно определенную цель — создать пролетарскую культуру, стоящую на позициях марксизма-ленинизма, и одновременно впервые провозгласившей необходимость того, чтобы путем создания кружков культуры на

фабриках, на заводах, в деревне были заложены организационные основы социалистического движения в области культуры среди рабочего класса и крестьянства. И эта цель была претворена в жизнь». Он напоминает о пролетарском литературном движении в Японии конца двадцатых — начала тридцатых годов, благодаря которому была создана пролетарская литература, насчитывающая сотни произведений и выдвинувшая таких писателей, как Кобаяси Такидзи.

Интересны опубликованные в том же номере журнала воспоминания крупного японского поэта Цубои Сигэдзи о журнале «Сэнки» — органе Всеяпонской лиги пролетарского искусства, который выходил с 1928 по 1930 год. Цубои, правда, не упоминает о том, что, будучи редактором журнала, он неоднократно подвергался арестам, но мы узнаем, что из двадцати шести номеров, изданных с мая 1928 по апрель 1930 года, цензура запретила тринадцать, то есть ровно половину. Но несмотря на это, или, вернее, именно потому, что журнал был боевым, что в нем печатались выдающиеся произведения пролетарской литературы, тираж его возрос с семи до двадцати двух тысяч экземпляров. Именно на страницах «Сэнки» были напечатаны «Краболов» и «Фабричная ячейка» Кобаяси Такидзи, «Улица без солнца» Токунага Сунао, «Работница табачной фабрики», «Сын арендатора» Сата Инэко... Развитие пролетарского литературного движения в Японии было связано с общим подъемом демократического движения в стране, но немалую роль в этом сыграл журнал «Сэнки».

Читая в этом же номере статью Курахага Корэхито «Демократия и «свобода науки и искусства», вновь убеждаешься, какими благотворными для мирового коммунистического движения были XX и XXII съезды КПСС. Чтобы понять это, достаточно привести хотя бы несколько последних фраз его статьи: «Я не хочу сказать, что до сих пор в партии полностью соблюдалась демократия. Было, я думаю, немало недостатков. Их необходимо устранить. Но это должно осуществляться не методом буржуазного либерализма, а пролетарскими, партийными средствами».

Очень интересна острая статья Цуда Такаси (№ 7). Полемизируя со сторонниками модной сейчас в Японии точки зрения на «независимость» искусства от политики, автор убедительно доказывает, что в современном мире невозможна «беспартийная литература», не отражающая острой классово-борьбы. Тому же Цуда принадлежит и другая чрезвычайно важная для японской литературы статья — «Рабочая литература последнего времени и теория рабочей литературы» (1961, № 12). Принятый в Японии термин «рабочая литература» означает произведения о рабочих, созданные самими рабочими. Убедительно обоснован вывод, к которому приходит автор: «Рабочая литература занимает все более значительное место в прогрессивном, в революционном движении».

Выдающийся японский писатель Акутагава Рюноске писал: «Среди всей современной иностранной литературы нет такой, которая оказала бы на японских писателей и читательские слои большее влияние, чем русская. Даже молодежь, незнакомясь с японской классической литературой, знает произведения Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова». Эти слова, сказанные более тридцати лет назад, справедливы и сейчас. Подтверждением этому может служить огромный интерес к Советскому Союзу, который мы наблюдаем в сегодняшней Японии. Это находит отражение и в том, что практически все значительные произведения русской и советской литературы переведены на японский язык, и в редких для Японии тиражах путевых заметок японских писателей, побывавших в Советском Союзе, и в пристальном внимании японцев к развитию науки и культуры в нашей стране. Находит это отражение и в том, что появился, особенно в последнее время, ряд художественных произведений о дружбе советского и японского народов. В апреле прошлого года в журнале «Бунгакукай» была напечатана повесть Кино Такуми «Четыре жизни» — о тяжелых испытаниях, выпавших на долю четырех молодых людей, с симпатией следивших за борьбой советского народа против гитлеровских захватчиков. В июньском номере «Гундзо» появилась повесть молодого писателя Сиды Акио «Нивочка» — о любви японского юноши к русской девушке. При обсуждении этой повести, организованном редакцией «Гундзо», известный японский писатель Ханья Ютака сказал: «Когда я читаю романы о России, у меня возникает чувство близости к русским людям, к русской природе, чего не случается со мной при чтении произведений о других странах. Я думаю, что это чувство воспитано еще русской литературой».

XIX века, но так или иначе оно существует во мне,— это чувство близости, а также интерес к современному положению в Советском Союзе...»

Отражая этот интерес к Советскому Союзу, «Бунка хёрон» регулярно помещает статьи, освещающие важнейшие события, происшедшие в нашей стране, и прежде всего, конечно, XXII съезд партии.

В небольшой статье «По следам «Вех» в Москве» (№ 1) Миямото Суэко рассказывает о посещении тех мест, которые изображены в романе «Вехи», написанном выдающейся японской писательницей Миямото Юрико, три года (1927—1930) прожившей в Советском Союзе,— таким образом, показаны колоссальные изменения, происшедшие в жизни нашей страны за тридцать лет. В журнале печатаются и статьи советских ученых, писателей, музыкантов.

Журнал систематически и последовательно разъясняет народу реакционную сущность буржуазной прессы. Боевой дух отличает небольшую статью Ямамото Кадзуо «Кризис и углубляющийся реакционный характер издательского дела в Японии» (№ 8). Издавая ежегодно около двадцати пяти тысяч названий книг, Япония занимает одно из первых мест (а в отдельные годы и первое место) в капиталистическом мире по количеству книжной продукции. Однако эти цифры сами по себе вовсе не говорят о прогрессе. Идет жестокий бой за влияние на умы японцев. И надо сказать, что прогрессивным издательствам с каждым годом все труднее противостоять растущей лавине реакционной пропаганды. «Но оружие истинного прогресса — правда; а правда в конечном итоге пробьет путь, правда победит»,— говорит Ямамото.

Этой же в общем проблеме посвящена и статья Саками Итиро «Усиление правых и свобода слова» (№ 4). В декабре 1960 года в журнале «Тюокорон» появился рассказ Фукадзава Ситиро «Удивительный сон». Министерство двора, а вместе с ним и фашиствующие молодчики усмотрели в этом рассказе «оскорбление его императорского величества». Министерство двора сделало официальное представление журналу и его главному редактору Симанака Ходзи, а один из фашиствующих хулиганов ворвался в дом Симанака, чтобы убить его. Покушение не удалось, но пострадали члены семьи Симанака. Редакция журнала вынуждена была выступить с извинениями и заверениями, что больше императора «обижать» не будут. Под влиянием правых был закрыт журнал «Сисо-но кагаку», на страницах которого были помещены статьи, не особенно лестно отзывающиеся об императорском строе в Японии. Факт, что правые силы заставили закрыть журнал, весьма показателен, говорится в статье. И Саками призывает интеллигенцию не дать поднять голову фашизму, не позволить ему запугать себя. Но для этого, подчеркивает автор, необходим единый фронт японской интеллигенции.

Художественные произведения, которые появляются на страницах журнала, отличаются актуальность, острота постановки проблем. Таков печатавшийся из номера в номер в течение всего года большой социальный роман «Смоковница», принадлежащий перу крупного прогрессивного писателя Симота Сэйдзи, широко известного в Японии яркими публицистическими произведениями об Окинаве, превращенной в базу американской военщины. Таков же рассказ Киси Акира «Рождение партийной ячейки», удостоенный премии газеты «Акахата». Рассказ этот принадлежит как раз к той самой рабочей литературе, о которой говорилось выше. Широко представлен в журнале и художественный очерк.

В течение года несколько раз журнал печатал поэтические произведения. Отраднo, что наряду с такими большими мастерами, как, например, Цубои Сигэдзи, выступившего со стихотворением «Майская песня», в нем появляются и молодые поэты. Большое впечатление оставляют стихи Кадокура Кэцу «Остров — утес Ниидзима» — гневный протест против строительства американских ракетных баз в Японии.

Журнал «Бунка хёрон» приобрел и приобретает все новых и новых друзей среди прогрессивной японской интеллигенции, которой дороги священные принципы мира, демократии, национальной независимости.

В. ГРИВНИН,

кандидат филологических наук.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Е. Старинова. Прощание с юностью.— **О. Чайковская.** Рассказы молодого писателя.— **А. Берзер.** Из лучших побуждений...— **В. Гаевский.** О Дорошевиче и его фельетонах.— **Б. Зингерман.** Книга историка и критика.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Яковлев. Население нашей страны.— **Л. Лопатников.** На подступах к новой науке.— **М. Гутин,** кандидат исторических наук. Это и есть подвиг.— Профессор **Г. Кассиль.** Они рисовали жизнью.— **А. Бельская.** Манифест Уильяма Дугласа.

Литература и искусство

ПРОЩАНИЕ С ЮНОСТЬЮ

Борис Балтер. До свидания, мальчики! Повесть. «Юность», № 8, 9, 1962.

Во врезке, сделанной редакцией журнала к повести Бориса Балтера «До свидания, мальчики!», написано следующее: «В этой повести рассказано о мальчишках, которым в середине тридцатых годов было по восемнадцать лет... Это они — юноши сороковых годов — выстояли и победили в Великой Отечественной войне, а те из них, кто остался в живых, и сейчас несут на своих плечах ответственность за судьбы страны.

Борис Балтер — сверстник своих героев. Он в конце тридцатых годов поступил в военное училище, участвовал в советско-финляндской и Отечественной войнах, командовал полком, трижды был ранен».

В сюжете повести почти ничего нет от этой будущей биографии автора и его героев — только несколько намеков. Действие ее протекает в июньские дни 1936 года и укладывается между окончанием героями школы и их отъездом в Ленинградское военное училище. Жаркие, праздные, сумбурные дни, полные солнцем, морем, первой любовью, нежностью к родному городу,

грустью разлуки, счастливым ожиданием будущего.

Три мальчика и три девочки, крепко связанные между собой многолетней школьной дружбой и только что открытой, только что нарождающейся, пленяющей и пугающей любовью. Каждый из них несет в себе, кроме общей поэзии возраста, свой будущий характер и приметы своей среды. Честный, наивный, добрый Витька, отец которого, рабочий с соляных промыслов, мечтает, что сын станет учителем, образованным человеком, — за ним входит в повесть жизнь рабочей окраины южного города: тяжелый труд, крепкая семейная мораль, грубоватые нравы и откровенные, простые отношения.

Саша Кригер — болтун, выдумщик, набитый анекдотами и житейской мудростью, сын известного в городе доктора и шумной мамы, еврейской мешанки, обожающей и угнетающей мальчика, который с юмором отбивается от ее неутомимых, надоедливых забот. Сам Володя Белов, от имени которого идет рассказ, — фигура не столь харак-

терная, потому что он-то и воплощает лирическое начало повести, почти всегда противоположное характерному и типологическому. Но, конечно, особенно выделяется среди юных героев повести, как удача автора, рыжая Инка. Не изменяя правде возраста и времени, писатель приоткрыл нам и прелесть и опасность этого характера девочки, которая обещает стать женщиной по преимуществу.

Повесть написана как светлое воспоминание о невозвратном времени — не потому, что время было уж очень светлое, а потому, что это воспоминание о юности. И то, что проходила она на Юге, окрасило ее в особенно радостные и яркие тона.

Югу вообще повезло в нашей литературе. Начиная с Куприна, у Бабеля, Олеси, Паустовского, Багрицкого, Ильфа и Петрова, Катаева развивалась эта традиция литературы, блестящей по колориту и пластической выразительности. Поэзия этих книг тем более дорога нам, что в результате исторических катаклизмов от того уклада, которым жило пестрое население российского Черноморского побережья, даже от самого южного говора, столь охотно и, я бы сказала, жадно воспроизведенного и обыгранного писателями, не так уж много сохранилось. Море осталось, солнце осталось, полынный сухой ветер остался, а люди другие и жизнь другая.

Я совсем не хочу сказать, что Балтер входит в литературу столь же оригинально, как Олеса или Бабель, или что он продолжает их стилевые традиции. Напротив, ни сгущенная метафоричность, ни романтическая патетика несвойственны Балтеру, его повесть написана в очень простой, ясной манере. Да и родной город его героев — не Одесса двадцатых годов. Это советский курортный город с теми проблемами и коллизиями, которые рождала жизнь тридцатых годов. Но что-то еще сохранилось в нем от знакомого нам по любимым книгам и освященного традицией колорита, а самого Балтера роднит с этими книгами искренность лиризма, точность деталей, живописность и характерность человеческих типов — а все это идет, быть может, от остроты ощущения ушедшей юности, ушедшей эпохи.

В то же самое время «До свидания, мальчики!», конечно, чем-то близки современной молодой прозе с ее напряженными поисками

«правильного пути» и с ее полнотой встревоженных чувств.

Впрочем, общность прежде всего определяется тем, что его героям восемнадцать лет, а следовательно, выбор профессии, отношения вырастающих детей с родителями, мальчишеская дружба, первая любовь — неперенные слагаемые этой милой прозы, которая только иногда рождает опасение: не выродится ли она в шаблон?

Когда Б. Балтер описывает подробно, весело, со взрослой теплой усмешкой посещение своими героями морского ресторана («Не знаю, зачем пить вино, когда есть крем-сода? Правда, такой крем-соды, как тогда, теперь почему-то нет»), когда он задорно, со смакованием всех перипетий игры изображает невинный разбой мальчиков, добывающих карманные деньги шахматной игрой на пляже, — такие страницы читаются легко и благодарно, но с чувством, словно совсем недавно где-то что-то подобное уже было прочитано. И правда, сцены в ресторане, на пляже чем-то напоминают хотя бы тот же «Звездный билет» Аксенова. Я говорю это не в упрек: видимо, радость жизни восемнадцатилетних выражается всегда примерно одинаково, если им дают радоваться, но сопоставление приходит невольно. Пляж, ресторан, первые мучения ревности к «знаменитости» — все вплоть до материнской заботливости немолодой официантки здесь почти совпадает. Вероятно, именно эти страницы Б. Балтера с особым интересом читаются сверстниками его героев и теми, кто еще собирается стать их сверстниками: как «школа» житейского опыта, как выражение собственных переживаний. Мне же, при всем том, что я оценила и юмор и яркость подробностей, в которых выразилась юная полнота восприятия жизни, хотелось, чтобы писатель скорее вернулся к главному, к тому, что отличает Балтера и от его старших предшественников, и от молодых коллег и что целиком рождено опытом его поколения.

Ощущение времени мне кажется самым главным и самым ценным в повести «До свидания, мальчики!». Того времени и нашего времени. Оба они присутствуют в повести как два полюса, между которыми образуется ток — движение чувств автора и читателя.

Проходящая под окнами женщина напевает: «Утомленное солнце нежно с морем прощалось». Это самая популярная и самая

пошлая песенка тридцатых годов, увековеченная на одном фельетоном. У Балтера даже она облагорожена лирикой воспоминаний, как знак памяти.

После окончания занятий в школе ребята едут работать в немецкий колхоз «Рот Фронт». Немецкий колхоз в Крыму — вряд ли современные дети даже поймут, что это значит, вряд ли они слышали о немцах-колонистах.

Такие мелкие приметы времени — код для посвященных, их оценит только тот, кто их помнит. И Балтер ими не злоупотребляет.

Но есть другие «приметы», составляющие самую суть повести и не просто пробуждающие воспоминания, но уже привносящие в эти воспоминания опыт пройденных лет, понимание, рожденное сегодняшним днем.

Сейчас наша литература (да и вообще наше сознание) часто и по-новому возвращается к тридцатым годам. Как и когда началось то, что принято называть «культом личности»? Как искренний энтузиазм становился у одних формальной декларацией? Когда верность революционному долгу превратилась у других в подчиненность, боящуюся самостоятельного размышления?

У Балтера светлый талант, светлая тема, и прямо он не ставит таких «общих вопросов». Но верность его памяти, искренность его лиризма воссоздают некоторые ушедшие формы жизни в такой конкретности и такой точной временной перспективе, что веселая, молодая его повесть оказывается словно невольной в том общем русле серьезных размышлений о прошлом и настоящем, которые характеризуют нашу сегодняшнюю духовную жизнь.

Когда мы были школьниками, и нам революция казалась делом далекого прошлого. Еще бы, в первом классе мы праздновали ее пятнадцатую годовщину! Сейчас я все чаще вспоминаю, как близко к ней во времени было наше детство. Сколько ее живых примет сохранял и наш быт и люди вокруг нас! То же испытываешь, проникая в странный, нескладный, трогательный семейный мир Володи Белова. Мама Володи — одна из самых серьезных удач повести. Мама Володи — это целая эпоха, целая страница жизни нашей интеллигенции, написанная легко, лаконично, с иронией, грустью и любовью одновременно.

Бывшая революционерка, ссыльная, она известна всему городу своим непомерным

портфелем и непомерным энтузиазмом. Среди голых курортных спин она до сих пор ходит в кожаной куртке и кепочке времен гражданской войны. И какие немислимые носки канареечного цвета на старых ногах в синих мраморных жилках! И какое вообще олимпийское, я бы сказала барственное, пренебрежение к быту! Как неудобно бывало детям в домах таких мам и как нежно, благодарно, восхищенно хранят они о них память!

А что за разногласие происходит в семье Беловых, почему так поспешно покинули Надежду Александровну ее старшие дочери и так насмешливо-непримиримо спорит с ней ее зять, молодой геолог, обожаемый Володей? Рассказано об этих семейных делах предельно кратко и лишь с той степенью углубленности, с какой могло это занимать восемнадцатилетнего мальчика, поглощенного любовью и ожиданием будущего. Но как верно за спором в семье Беловых угадывается стык эпох. Может быть, даже еще не наступивший, а лишь наступающий. Хорошая мама и хороший зять, чего же они не поделят? Мы понимаем, что Сереже может быть смешон энтузиазм Надежды Александровны, по сути дела превратившийся в теорию и практику весьма малых дел. Мы понимаем, что ее дочерей может раздражать жесткая прямолинейность матери, а у подрастающего сына вызывать привычную усмешку ее пренебрежение к интересам ближних ради отвлеченности и почти неосознаваемых «общих интересов». Но мы понимаем, что и Надежду Александровну может страшить деловитость Сергея, равнодушно к этому энтузиазму, которому она отдала жизнь. Володя же мечтает походить на трезвого и деловитого Сергея и любит маму, не может не гордиться ею, не жалеть ее.

Семейные коллизии — всегда широкое поле для размышлений общего характера. То чуть ироничный, то взволнованно-лирический рассказ о маме и семье Володи Белова — нить к прошлому. Вместе с карикатурной и все-таки чем-то трогательной Сашинной мамой, вместе с другими характерными фигурами и бытовыми чертами он приближает к нам революцию, первые годы советской власти, нэп в их особо выразительном южном варианте. Но где прошлое становится настоящим и где оно переходит в будущее? Где эта граница? Ее нет, и потому так ответственно настоящее.

У «мальчиков» Балтера есть постоянный «идейный» враг, которого они неумолимо, последовательно и по-детски наивно преследуют. Это знаменитый в городе жестящик, владелец маленькой частной мастерской, в грязи и копоти которой он целый год торгуется за каждый починенный примус. Но к началу курортного сезона преобразенный жестящик, стройный и загорелый, в белом костюме и роскошных туфлях, в обществе красивых приезжих женщин появляется в ресторанах, концертах, на улицах — романтический капитан дальнего плавания, словно сошедший со страниц Ильфа и Петрова, словно вывернутый наизнанку тайный миллионер Корейко, словно полувоплощенная мечта Остапа Бендера. Слегка смягченный доброй кистью Балтера, этот знакомый тип вызывает нашу снисходительную улыбку — кому он был в этом городе опасен, кроме охотно обманывающихся женщин?

Но как ненавидят его мальчики! «Есть же паразиты. В городе примуса негде починить, а они гуляют...» — в таких беспомощно колючих репликах выражается их беспощадная непримиримость к двойной жизни, к мещанскому идеалу «богатства», к мещанской уверенности, что видимость важнее сути, что комфорт и благополучие стоят всего остального. И какая глубокая святая правда была в их юной непримиримости!

Многие моменты повести, и в том числе ее центральная сюжетная ситуация, прямо ведут нас в будущее, угадывая, нащупывая, предсказывая его.

В ясное, веселое повествование еще не вплелась драматическая нота — сегодняшний голос писателя, знающего это будущее, но уже ворвалось сюда, на эти золотые пляжи, в это праздничное кипение курортного города, предчувствие войны.

Мальчиков, у каждого из которых были свои мечты, планы, неожиданно вызвали к секретарю городского комитета комсомола, где в присутствии военкома тот сообщил им о решении направить их в военное училище: «Комсомольская организация города предлагает вам начать свой самостоятельный путь там, где вы принесете больше пользы делу партии... Современная техника требует от бойцов и командиров всесторонних знаний, — гремел голос Алеши, не знающий снисхождения... — Комсомол должен быть первым и в строительстве вооружен-

ных сил. Вот почему мы решили обратиться к вам, лучшим из лучших, с призывом идти в военные училища...»

Планы рутшатся, но у этих мальчиков тридцатых годов ни на минуту не возникает мысли о возможности уклониться от павшего на них выбора. Балтер не преувеличивает серьезности своих героев — он верен поэзии возраста. В их быстром решении, в их готовности к выполнению долга не только комсомольская дисциплина, но и детская гордость, но и прелесть новизны положения; мечты о морской форме и дальних плаваниях легко вытесняют романтику геологических открытий. Но как это прекрасно, когда естественные порывы юности сливаются с верностью долгу и общественными потребностями. А здесь они сливались. «Разумный мир, единственно достойный человека, был воплощен в стране, где я родился и жил. Вся остальная планета ждала освобождения от человеческих страданий. Я считал, что миссия освободителей ляжет на плечи мои и моих сверстников. Я готовился и ждал, когда пробьет мой час. В пределах этого представления о мире я думал. Самые сложные явления жизни я сводил к упрощенному понятию добра и зла. Я жил, принимая упрощения за непреложные истины. У меня было много разных обязанностей — мелких и крупных, — но я не чувствовал их тяготы: все, что я делал, было для меня естественно, как дыхание». Это голос сегодняшнего дня о прошлом — одно из лирических отступлений автора, создающих в повести второй план, перспективу. Тогда же, в июне 1936 года, заботы у мальчиков другие: не в том, чтобы решиться (они «всегда готовы») и решать (за них все уже решено), а лишь в том, как вдруг расстаться со своей рыжеволосой Инкой, как уговорить родителей. Смешные и грустные эпизоды этих «уговоров», этих полудетских, полувзрослых переживаний, этой сладостной разлуки составляют дальнейший сюжет повести.

И только легкие тени — не предчувствия, а недоумения — ложатся на светлые ее страницы. Зачем «темнит» Алешка Переверзев, почему свой, «пересыпский» парень берет на себя право скрывать от мальчиков, что вовсе не во флот, а в пехоту получают они назначение? «Это — политическое недоверие», — восклицает Саша. Зачем оно, когда они все равно готовы к любым испытаниям, к любой жертве, лишь бы чувство-

вать себя ответственными и необходимыми? Володе смешно глядеть на напыщенного девятиклассника Юрку, который сменил его на посту секретаря школьной комсомольской организации и который так любит парад, шумиху и так не умеет заботиться о реальных нуждах своих ребят. Смешно и досадно. И в том, как сами ребята во время поездки в колхоз карают Инку, не умеющую работать в поле, есть какая-то излишняя настораживающая жестокость. Все эти тревожные ноты лишь едва-едва диссонировать со светлой и мажорной основной мелодией, они легки и неосознанны, так как даны в восприятии очень молодого человека в очень счастливые и тревожные для него дни.

Но даже если бы не было в повести серьезных, горестных лирических отступлений автора о том, что Витька был убит в 1941-м, а Саша погиб в 1952-м, о том, что никогда, даже мертвой, не увидел Володя своей мамы, если бы не было бы голоса сегодняшнего дня, то и эти легкие недоумения и эти тревожные штрихи создали бы ту перспективу исторического времени, которая придает светлой повести Балтера серьезность и современность. Два полуса создают поле, в котором свободно размещается и живет воображение читателя, додумывающего и дорисовываю-

щего то, что осталось за пределами произведения. И я, например, кончив читать повесть, думала не только о том прошлом, о котором рассказал Балтер, и не только о настоящем, когда он это рассказывает, но еще и о том времени, которое легло между событиями и рассказом. Как умерла мама Володи Белова? Что было с мамой Саши Кригера? Что было вообще с людьми, описанными в довести и жившими в Крыму, в страшном, не раз переходившем из рук в руки Крыму 1941—1944 годов? И мне уже кажется, что не случайно так подробно рассказал писатель об отважных столкновениях и драках своих мальчиков с бандитом Степиком. А девочки? Ясноглазая Катя и сухопарая Женя? Неужели они в 1941 году успели вернуться на каникулы в родной город? Или остались в Ленинграде?

Вероятно, это наивная привычка — думать о героях литературы как о живых людях, но все-таки такая потребность читателя в какой-то степени является мерой жизнеспособности произведения. Она тем более понятна, что для людей одного поколения с Борисом Балтером чтение его повести не может не стать поэтическим возвращением к собственной юности и тем событиям, которые ее оборвали.

Е. СТАРИКОВА.

★

РАССКАЗЫ МОЛОДОГО ПИСАТЕЛЯ

Илья Крупник. Снежный заряд. «Советский писатель». М. 1962. 218 стр.

Рассказы И. Крупника различны по характеру. В одних события летят стремительно, люди поставлены в условия необыкновенные, сталкиваются резко. А в других рассказах, напротив, ничего не случается. Едет, например, на грузовой платформе сотрудник научно-исследовательского института, сопровождает ГАЗ-51. А потом оказывается, что вовсе он не едет, а как раз наоборот — стоит в тупике, платформу отцепили, состав ушел. И ходит он по ночным путям, понапрасну тыркается к разному станционному начальству, никак не может уехать, а потом все-таки уезжает.

Тем не менее и те и другие рассказы читать интересно.

В рассказе «Топь», открывающем сборник (это первый сборник писателя), начало кажется вполне традиционным. Трое шли по тайге. Впереди шаггал начальник партии Вадим Нетатов. Положение было трудное — кончались запасы, сели батареи радиации, предстоял тяжелый переход по болоту, но Нетатов знал: люди «верили в него, как в бога», и потому он должен был идти напрямик. Двое других — радист Миша, веселый и простой парень, и студент-практикант Виктор, неумелый еще да к тому же немного и растяпа, — следовали за ним, твердо веря, что Нетатов «из настоящих людей» и что вообще «начальству виднее». А Нетатов шел впереди. «Он был работником и хозяином этой страны — тайги и кочек».

У опытного читателя невольно возникает подозрение: уж не собирается ли автор представить еще один вариант давно известной нам разновидности «сильного человека» и еще раз рассказать о том, как в преодолении трудностей крепнут нетвердые мускулы молодых и закаляется воля.

Только слишком уж достоверна тайга с ее гнилыми завалами, стадами грибов, путаницей костлявых веток и липкой паутиной, слишком ощутима жирная топь, в которой конские копыта, чмокая, оставляют «жидкие дырки», — словом, слишком убедительна жизнь, которая здесь течет, чтобы она могла стать фоном для заимствованных, уже бывших в литературе построений.

Оказалось, что студент-практикант забыл на последнем привале мешок с образцами, работа целого трудного месяца грозила пойти насмарку — и Неталов велит ему вернуться и найти образцы.

С того мгновения, как студент, не оглядываясь, пошел один в уже темневшую тайгу, рассказ медленно начинает наполняться напряжением. Таежная глушь подкрадывается все ближе — сперва красивыми и ласковыми цветами иван-чая с их нежными пуховыми зачесами, потом темнотой, сыростью, шорохами. Виктор «шел по тропе и все время пытался насвистывать грозный марш. А уши будто жили своей, напряженной жизнью».

Неталов же по-прежнему шагал болотом. За ним шел Миша. Он не посмел вступить за студента, быть может, все еще считал, что «начальству виднее» и что, принципиально говоря, Неталов прав. Но и здесь в отношениях этих людей что-то уже изменилось, и здесь накапливается напряжение, готовое разразиться взрывом.

Среди топи уперся конь Бушмен. Неталов дергал за повод, ташил и наконец, «как человека, ударил лошадь кулаком между глаз. Лицо его перекосило. Он притянул вплотную мокрые губы коня и с размаху бил по зубам... И конь закричал.

...Миша глянул в лицо Неталову и, медленно разжав кулак, насухо вытер о штаны потную ладонь. И, опустив повод Рыжего во всю длину, чтобы тот видел дорогу, шагнул в сторону.

— Пошли, Рыжий! Пойдем...»

В этом простом движении — резкий перепад настроения, крутой поворот рассказа. Только в эту минуту Миша понял, что Не-

талову не только человека — коня и того доверить нельзя. Более того, он понял, что ни на кого нельзя переложить свою ответственность в жизни и никому нельзя передоверить свою совесть. Мысль важная.

Мы встречали иногда в нашей литературе такого волевого (и упрощенного до крайности) героя, который, идя к благородной цели, мало заботился о средствах и легко жертвовал своими ближними.

Но тут односторонность характера, неизбежная при неполноте и условности психологических мотивировок, диктуется определенным авторским замыслом. С подобным волевым героем встретился и Миша, которому предстояло понять характер Неталова и найти свое отношение к нему.

И Миша принял решение. Одного за другим обводит он коней стороною — мимо Неталова, мимо топи. «Не страшно, Рыжий», — доверительно говорит он своему коню. А потом бежит навстречу Бушмену. «Черный! Сюда! Не страшно!» — кричит он и протягивает руки, чтобы взять повод. Это Мишино «не страшно» точно выражает его характер — простодушный и мужественный одновременно.

Теперь Миша знает, что делать. Молча развьючивает он лошадей, крихтя стаскивает сумы с рацией, бросает седла на землю и говорит, не оборачиваясь: «Мы будем ждать».

А студент заблудился. Его послали без компаса, без карты, без продуктов. Он сидел у костра, мысли его уже путались, ему казалось, что кругом не тайга, а первобытный юрский лес. «Черные зубья чужих деревьев смотрели в небо. Им было миллионы лет». В этом видении юрского леса — предельное, предсмертное одиночество. Он сидел и думал, что «помирать, оказывается, просто, и все было просто», что Неталов был прав. И в то же время он понимал, что его «бросили, как щенка в воду», и вспомнил потом, что никто ни разу не назвал его Витей, а все звали Виктором. И именно потому, что в этом страшном соседстве «бросили, как щенка», и «Неталов был прав», виделся ему естественный порядок вещей, именно потому, что закон, по которому живет Неталов, он принял как норму, — потому и было так велико его одиночество.

Когда Миша, уже третий день жегший костер на болоте, сидел и заваривал чай, сзади послышались шаги. Это вернулся Вик-

тор. Все-таки вернулся. Что же — счастливый конец, хеппи энд?

Какой там хеппи энд.

«Студент бросил рюкзак, взял кружку и молча сел у костра... А Миша смотрел, как он пьет, обжигаясь и не поднимая глаз, делая большие глотки, как судорожно двигается его кадык, заросший рыжей щетиной.

Студент выпил полкружки и поднял темные тяжелые глаза. Они не моргали. Тогда Миша медленно опустил взгляд.

Студент налил себе еще кипятку. И, глядя на его руки с обломанными ногтями, на чужое и грязное лицо в щетине, Мише вдруг стало не по себе. Студент сидел неподвижно и тяжело — будто хозяин костра, и болота, и этих кустов...»

Ушел славный парень, вся вина которого состояла лишь в том, что он еще «мало умел», а вернулся тот самый, волевой, закаленный и ожесточившийся, тоже — «хозяин тайги». «Здравствуй, Вадим Петрович,— сказал студент, до сих пор называвший Неталова только на «вы». — Фауна цела. Садись». «Неталов вздрогнул и не спеша вытащил из карманов руки. «Садись», — повторил студент».

Тяжело идут часы у костра, и все отпечатывается в памяти с необычной четкостью. Неталов и Виктор сидят, чем-то очень похожие друг на друга. Пьют чай. Студент, кончив пить, «опустил голову и, повернув донышком вверх голубую Мишину кружку, медленно вдавил ее ладонью в пепел». Тоска берет от этого движения, и начинает казаться, что назад вернуть уже ничего нельзя.

Не следует думать, что Неталов терпит поражение или что он оказался не тем, за кого принимали его герои рассказа и кем считал себя он сам — то есть не тем суровым, сильным и закаленным «хозяином тайги», который может идти напролом и вести. Он именно тот самый. Более того — он одержал победу. Он «закалил» Виктора. Он заставил его пройти не только через тайгу и болото, но и через то отчаянное, смертельное одиночество, из которого, быть может, парню уже не выйти.

Словом, здесь подвергается серьезному анализу тот тип волевого героя, который в иных произведениях слишком поспешно выдается за образец. Воля может быть и доброй и злой, гипертрофия безымянной воли — вещь опасная. Только воля, неразрывно сцепленная с сердечностью, с естественным

вниманием к человеку, достойна того, чтобы ее воспевать.

Тревожный тон рассказа мог бы показаться даже мрачным, если бы не было в «Топи» Миши, который, несмотря на все свое простодушие и кажущуюся слабость, на самом деле очень прочно противостоит миру Неталова.

Рассказ «Пальтяев» принадлежит к другому роду рассказов, где «ничего не случается».

Пальтяеву тридцать лет, но он оброс бородой, и ему можно дать все пятьдесят. Он коллектор геологической партии, работу свою терпеть не может, да и товарищей по работе, Сергея и дядю Васю, недолюбливает. Он подолгу живет один на барже, слоняется вдоль борта, валяется в «рубке» на спальном мешке. «От спального мешка давило ватным жаром», — пишет И. Крупник, и образ этот прекрасно передает тяжелое тепло слежавшегося логова, постылого логова, где в тоске и скуке впустую идут часы.

К Пальтяеву иногда приходили гости — старик из поселка, все разговоры сводивший на спирт, рыбаки-якуты. Однажды пришел семилетний мальчонка Шашурин — и вот тут-то сюжет, который до сих пор стоял недвижимо, потихоньку сдвигается с места. Пальтяев ожил, ему захотелось сварить для мальчишки гречневую кашу и рассказать ему что-нибудь интересное. Но рассказать он почему-то ничего не смог, что-то мямлил про метро, где висят люстры и где нельзя курить, и мальчишка ушел, не заинтересовавшись даже гречневой кашей. Пальтяев ничего не понял — и почему ушел Шашурин, и почему у него самого так скверно на душе.

А у дяди Васи с Шашуриным все получается как нельзя лучше, они собрались плыть в Москву прямо на барже (если сломается руль, елку к корме прицепят, будет как хвост в воде). Слушая старика, Шашурин рассмеялся, фыркнул и Сергей. «Дядя Вася обернулся к нему, улыбаясь сонными хитрыми глазами». Взгляд старика приглашал присоединиться к ним, посмеяться с ними, и Сергей тотчас включился в их игру. А Пальтяев опять не смог.

Герой рассказа угрюм и неприятен, в нем есть какая-то душевная вялость и бедность. Откуда же то тревожное внимание, с которым мы наблюдаем за ним, почему его столь неинтересная жизнь нам все-таки интересна? Да потому, что у этой вялой

души свои муки — муки человека, которого сильно тянет к другим людям, но которому нелегко найти к ним пути. Вот откуда эта неосознанная и все нарастающая у героя тоска, которая составляет содержание рассказа и к концу его достигает наибольшей силы.

Дядя Вася и Сергей уехали на ночную рыбалку, а Пальтьева с собой не взяли (им и в голову не пришло, что ему хотелось поехать с ними). «Пальтьев не понимал, что с ним такое. Он стоял здесь один на темной барже, а по лунному свету скользил рыбацкий баркас, и с неба светили звезды.

И тогда он с трудом усмехнулся и понял, что они дураки! И представил, как будут работать они всю ночь, неизвестно за что, ради деда-якута и трех рыбешек... а он зато выпится тут себе вволю!..

— Стойте! — кричал Пальтьев.

Никто не ответил...

— Стойте... — прошептал Пальтьев.

...Лодка уходила быстро, все дальше от Пальтьева, от темной баржи, становилась меньше, а под веслами долго еще взбрызгивал лунный свет.

«Снежный заряд», рассказ, давший имя сборнику, тоже интересен и серьезен. Сюжет его очень напряженный: метельной ночью в ледяной воде тонет траулер, и начинается невиданный по мучительности путь тех, кому удалось добраться до берега.

Но тут нам хотелось бы предостеречь автора от опасности, которая таится в таком построении рассказов, когда бури, аварии, катастрофы выявляют характеры людей и проясняют их отношения. Здесь есть соблазн упрощения задачи и некоторого «катастрофического» штампа. Что такая опасность реальна, свидетельствует рассказ «Сержант». Он начинается враждой рабочего Федьки и начальника партии Татьяны. Читателю легко предположить, что в дальнейшем кто-нибудь кого-нибудь спасет и все кончится к общему благополучию. И когда именно так и случается — плот, на котором плывут оба героя, попа-

дает в быстрину, налетает на завал и Татьяна спасает Федора, — читатель испытывает разочарование. Даже таежная глушь, столь убедительная и необходимая в «Топи», кажется здесь декорацией.

И остальные рассказы не все равно хороши. Если «Листья по 15 рублей» — рассказ точный и свежий, то в рассказе «Возле Службы солнца» противопоставление провинциального энтузиаста-ученого молодому, но уже «остывшему» столичному кандидату наук, жизненно вполне вероятное, литературно не ново.

Но и в этих менее интересных рассказах есть яркие места. Автор хорошо видит и чувствует природу. «Кусты зашумели, серые и пустые», — пишет он, и вряд ли можно одним словом вернее описать печальные осенние кусты, и, как это часто бывает, одна точно найденная подробность влечет за собою в нашем представлении неясное и затушеванное (именно так тут и нужно, чтобы затушеванное) изображение всего пейзажа. Или вот в рассказе «Папирсы»: «Висели тучи. Только слева белело маленькое рваное солнце». Это точное изображение белесого ненастного дня, когда солнце сквозь тучи само кажется рваным облачком.

В «Пальтьеве» герои нашли на камнях соколиных птенцов. Один еще не обсох, он валялся на боку, розовый и отвратительный, «на месте глаз его пульсировали синие выпуклости». Это развороченная биология, с которой художнику еще нечего делать. А вот другой: «То сидел уже обсохший птенец, безглазый и серьезный, с упрямым маленьким клювом. На голове его, до самого клюва, будто нахлобучилась пуховая шапка». Это уже характер, это индивидуальность.

В этом маленьком сборнике рассказано многое — автор внимателен и к общественным проблемам, и к миру природы, и к внутреннему миру человека — и рассказано умно.

О. ЧАЙКОВСКАЯ.

ИЗ ЛУЧШИХ ПОБУЖДЕНИЙ...

Вадим Очеретин. «Сирена». Роман. «Октябрь», № 8, 9, 10, 1962.

Новый роман В. Очеретина называется «Сирена». Если определить его содержание лаконично, в несколько общей форме, то можно сказать, что это роман о стенгазете под названием «Сирена». И в этом не будет никакого преувеличения.

В нашей литературе немало произведений, в которых жизнь героев целиком посвящена заводу или колхозу. Жизнь героев романа В. Очеретина до конца отдана стенгазете «Сирена».

Кому не известна роль стенной газеты в любом коллективе. Об этом мы не раз читали в статьях, очерках, даже в фельетонах. В. Очеретин впервые решил раскрыть эту тему в большом, многоплановом психологическом романе.

В центре романа — стенная газета двадцать четвертого механосборочного цеха крупного уральского завода. Один из главных героев — главный редактор газеты, слесарь-сборщик, молодой рабочий Алеша Зубков. Вместе с ним в романе участвуют члены редколлегии, авторы заметок, герои карикатур, все сочувствующие, продернутые, прославленные. А кроме того — их жены, невесты, дети.

Без этого множества героев, сюжетных линий и, главное, без столь обстоятельного, замедленного темпа повествования попробуй докажи, что двадцать четвертому цеху действительно нужна боевая стенгазета.

Вот впервые появляется «Сирена»:

«В это время в сквере, пышно зеленеющем вдоль застекленного фасада цеха, появилась торжественная процессия. Алеша Зубков и с ним трое... Парни тащили огромный стенд, тащили медленно, держа его торчмя. Завешанный простынями, как неоткрытый памятник, стенд чуть покачивался, и белые края покрывала плескались в воздухе».

Подбор сравнений, повторы и неторопливые строки ритмической прозы подчеркивают особую торжественность, возвышенность момента.

На такой высокой ноте ведется вся история «Сирены». Все герои романа думают о ней, живут ею, мечтают о ней.

А сколько лирических отступлений, сколько речей, сколько писем посвящено «Сирене»: «Да здравствует трибуна критики и

самокритики, орган инициативы и самодеятельности масс, трибуна всего передового, прогрессивного! Гуди, «Сирена!» Гуди!»

«И едва ли не самое дорогое, что я ношу в сердце,— восклицает автор в заключительных строчках романа,— это с трудом дающаяся двадцать четвертому цеху «Сирена». Гуди, родная! Гуди! Я дал себе слово постоянно бывать возле тебя».

А когда открывается, что у «Сирены» есть противники, то Пашка-теоретик, друг Алеша, ночью бежит по городу из одного дома в другой с криком: «Помогите предотвратить катастрофу!», «Несчастье у нас в цехе! «Сирена» может погибнуть!»

Сам Алеша в отчаянии: «Что будет дальше? — восклицает он.— «Сирена!» Стенгазета!.. Как все поначалу казалось просто...»

Этот крик — «Сирена!» Стенгазета! — то ликующий, то скорбный, то торжественно-победный, звучит в романе постоянно.

Алеша много думает о самых разных вещах, пишет письма, стихи. Он часто осорится со своей женой Симой, но всегда в этих ссорах широко участвует весь коллектив цеха и особенно редколлегия «Сирены». Понятно поэтому, что ссоры эти не могут длиться очень долго, и вскоре супруги идут с завода домой, «браврируя своим нежным объятьем», а Сима придумывает для Алеша всякие ласкательные слова: «...щыпочка, лапочка, трыпочка, портяночка... Моя шелковиночка! Нейлончик!!»

Идеалом для Алеша являются отношения его родителей.

Однажды в детстве поздно ночью Алеша «подглядел такую сцену: отец бросился к матери, сдернул с нее одеяло, приподнял и начал одержимо целовать — в лоб, в губы, в шею, в плечи.

— Вставай, Наташка! Наше предложение приняли — следующий катер будем делать по-новому. Приняли!.. Приняли!.. Приняли!.. Пойдем на Волгу!..»

«Как же надо жить, чтобы жить вот так?..» — мучительно думает Алеша и понимает вдруг, что подобная гармония в жизни возможна только через «Сирену»: «И маленькая мысль, что «Сирена» будет делать в коллективе то же, что должны научиться делать Сима и Алеша меж собой, понравилась, показалась большим откры-

тнем, всколыхнула. Нет, Алеша не крикнул что-нибудь бойкое вроде «давай», «нажимай» или просто «ого-го-го», как бывало с ним в минуты сильного возбуждения. Но все-таки порыв Алеши передался парням».

Самые свои сокровенные мысли по этому поводу Алеша излагает в длинном письме жене Симе. Письмо он пишет ночью, когда Сима спит. «Ты уже не девочка-игла, взбалмошная и причудливая,— пишет он.— Ты женщина, жена, скоро будешь квалифицированным токарем, и мы с тобой не последние люди в нашем коллективе... Мы с тобой взяли за такое не совсем обычное дело. Я говорю о нашей «Сирене».

Далее в этом ночном письме Алеша подробно описывает заседание партбюро, посвященное «Сирене». А кончает он так:

«Будь моей боевой и серьезной помощницей, Сим! Мы ведь с тобой — на всю жизнь. Представляешь, когда все научатся относиться друг к другу, как самые близкие единомышленники, и слово «критика» будет означать «мудрая помощь, совет», о нас с тобой станут вспоминать: «Это они начинали, Алешка Зубков и его жена Сима».

Естественно, хочется узнать поподробнее о буднях и делах «Сирены», которые вызывают у Алеши Зубкова эти возвышенные строки, эту надежду на память в грядущем не только для него одного, но и для его жены Симы.

А дела эти немаловажные.

Так, например, из «Сирены» мы все узнаем, что Иван Лукич Черепанов, известный токарь-универсал, плохо работает в комиссии контроля за деятельностью администрации. В романе это известие прозвучало как разорвавшаяся бомба — страсти накалились до предела, герои резко размежевались на два лагеря, а сам Иван Лукич, почувствовав, «что вот-вот упадет, задыхаясь, побежал на заводской медицинский пункт».

Долго тянется эта история, как, впрочем, и все другие, запечатленные в романе.

А вот одна из них, пожалуй, самая важная, самая напряженная. Она целиком поглощает усилия главного редактора Алеши Зубкова, редколлегии, да и всего коллектива двадцать четвертого цеха.

Ее можно назвать историей четырех заявлений. Тут центральное место занимает начальник цеха инженер Шевелев.

Сначала автор сообщает, что Владимир Васильевич Шевелев — «коммунист, бывший

офицер-фронтовик... прекрасный организатор производства, хороший семьянин: жена, двое чудесных ребятишек...»

И вдруг тут же, на самых первых страницах романа, как снег на голову — четыре заявления на Шевелева, и во всех женщины-работницы пишут, что он «развратник», «ведет себя аморально», у него «замашки бая», «безраздельного владыки гарема».

«Когда человека любят и уважают в коллективе, ему невольно прощаешь многое. Но сразу четыре заявления!» — сетует автор. И действительно, было бы одно или на худой конец два заявления, а тут сразу четыре..

И дальше, когда сам автор знакомится с Шевелевым, его охватывают противоречивые чувства: «Если бы не его крепкий, резко мужественный облик, не девять боевых наград, не пять ранений в боях, можно было бы подумать: «Какой чувствительный человек!» Верилось, что обида его шла от сердца, знающего цену светлым чувствам. Но четыре заявления!»

И в самом деле, как тут быть: и человек хороший, и семьянин отличный, и облик мужественный, и сердце, знающее цену светлым чувствам. Но четыре заявления..

Эти «четыре заявления», зловеще повторяясь, звучат почти так же тревожно, как знаменитые «три карты».

И начинается тщательное расследование, которое ведут Алеша как редактор газеты и сам автор (время от времени он появляется в романе, рассказывает о делах Союза писателей, участвует в выпуске «Сирены», читает дневники, письма, раскрывает свою творческую лабораторию).

Для этого расследования неторопливо, но последовательно вводятся в действие авторы заявлений.

Одна из них — «стройная Варя Тагильцева». Она мать-одиночка, и ее ругают, конечно, за это. «Известная... как бы вам сказать по-литературному... греховодница. Мать-одиночка», — объясняет Алеша Зубков. Но многие герои в этом романе умеют проявить широту и признают, например, что Варя в целом очень симпатична и если бы не этот грех (ребенок, разумеется), то была бы и совсем ничего.

Другая героиня — Ася Никишина, комсорг цеха. На протяжении романа она больше всего тратит сил на то, чтобы доказать, что играть в волейбол «в трусиках и кофточке — неэтично». За Асей Никишиной

следует Камилла Красных — «отличный товарищ, любимица коллектива, спортсменка». И, наконец, табельщица Маргарита Власова. Это человек сложный — и отъявленная сплетница, и инициатор нового движения (она сама добровольно ликвидирует свою должность табельщицы и становится воспитательницей в общежитии).

В. Очеретин нашел для них вместе собирательное слово — «жалобщицы», так называет он их мягко и жалостливо.

Одна из «жалобщиц» объясняет, почему пришлось написать заявление: «Разве это по-коммунистически, если он каждой работнице говорит «милочка», «родная», «хорошая моя» и тому подобные пошлости?»

«Обвинения против Владимира Васильевича, столь безапелляционно высказанные, навели на невеселые размышления», — с грустью говорит сам В. Очеретин.

Но Алеша не сдаётся. И в конце концов доказывает, что «жалобщицы» все выдумали. Они признаются, что заявления их — «грубая клевета», это «грязные обвинения», для которых не было ни малейших оснований.

Вообще-то все остались довольны и никто ни на кого не в обиде. Наоборот, оказалось, что подобная история только облагородила всех ее участников. И на этом автор особенно настаивает. Все стали относиться друг к другу как-то просветленно, а Варя Тагильцева каждый день носит на квартиру Шевелеву по букету цветов.

И тут выражена одна из ключевых, наиболее оригинальных мыслей романа. «Заявления, — говорит автор, — написаны из хороших побуждений, жалобщицы осознали свою ошибку». Правда, мы так и не узнаем, из каких «хороших побуждений» были написаны заявления, но это не так важно. Гораздо важнее то, что мы видим, как приятно порой швырнуть парочку-другую заявлений в здоровый коллектив, как будоражит и возвышает это души, как мучают при этом характеры. И в итоге приносит всем полное моральное удовлетворение.

Но на этом интрига не раскручивается, а, наоборот, закручивается еще сильнее. Оказывается, что «жалобщицы» действовали не сами по себе, а были подучены... Подучены же они безнадежно влюбленной в Шевелева «всегда элегантно» красавицей Ниной Ивановной Черепановой. Можно было подозревать, что она влюблена в Шевелева, потому

что оставляла она ему такие записки: «Помни, все равно ты будешь мой. Я добьюсь. Я пойду на все ради этого». Но кто же знал, что она действительно пойдет на все? Да, она не «сумела обуздать в себе страстно влюбленную женщину», не смогла отступить «от своих вожделений».

«Мне не стоило особого труда или стараний, — пишет она в письме к Шевелеву после того, как все раскрылось, — посоветовать вашим милым работницам, заблуждающимся в своих требованиях к руководителю, в требованиях, которые они считают коммунистическими, написать жалобы на тебя. Я знала: что бы они ни сочинили, ничего не подтвердится после умного разбирательства, но расследование и обсуждение, как большей частью у нас бывает, получают широкую огласку, и твоя жена, непримиримая ко всему плохому и очень требовательная к тебе, поспорит с тобой, и ты придешь тогда ко мне».

Всю эту историю автор называет «трагедией Нины Черепановой». И все в романе понимают, что если женщина полюбила, то тут уж ничего не попишешь, тут, конечно, все возможно. Сама Нина Черепанова объясняет отцу гражданские истоки своего поведения. «Ты же сам, — говорит она, — всю жизнь меня учил никогда не отступать, всегда добиваться цели... Я была готова на все!»

В. Очеретин не раз подчеркивает, что времена теперь другие, доброжелательные. Не потому ли он считает, что нужно окружить заботой и лаской всех сплетников и клеветников, участвующих в его романе, нужно понять их чувства, понять благородство их стремлений. А те, кто пытается выступить против них, например, заместитель парторга Вяльников — то это человек сухой, бюрократ и чиновник, который привык действовать по старинке, не уважать людей, их чувства, их внутренний, богатый всевозможными оттенками мир.

Алеше даже взгрустнулось однажды: «Он подумал о Нине Черепановой, о тонкости человеческих отношений». Да и сам В. Очеретин восклицает несклько ниже: «Разве можно разложить по полочкам все тонкости человеческих отношений!»

Да, тонкостей в этом романе очень и очень много, и все герои, как и «жалобщицы», действуют только «из хороших побуждений».

Из хороших побуждений слесарь Боря Деев «поколотил жену, когда она родила белобрысого ребенка. Он, видите ли, черно-волосый, считает себя одесситом и женился на самой что ни на есть вороной брUNETке, из башкир. А ребенок белокурый!.. Хорошо, один мудрый человек сумел выяснить генеалогию возревновавшего отца».

Из хороших побуждений старик Романыч встречает провинившегося Пашку-теоретика словами: «Снимай штаны!..»

Затем «Романыч принялся стегать его ремнем по спине, по ногам, по чему попало, приговаривая:

— За станок!.. За станок, мать твою, демагога-теоретика!.. Мы строили!.. Недоедали!.. Недосыпали!.. А ты ломать? Рушить?.. Во!.. Во!..»

И уж из самых лучших побуждений Алеша Зубков записал однажды на магнитофон

сомнительные речи своего друга Пашки-теоретика и передал на общее обсуждение.

Да и весь роман «Сирена» написан тоже из самых лучших побуждений. И это, пожалуй, самое печальное. С полной откровенностью, вполне доверчиво и чистосердечно писатель делится своими сокровенными взглядами. Этот странный, призрачный мир «Сирены», в котором все нравственные понятия сдвинуты со своих мест, перепутаны, перемешаны, представляется автору вполне естественным и единственно возможным миром. И все это выражено с какой-то первоначальной наивностью и искренностью.

Очень невесело читать это произведение, трудно находиться в этой атмосфере добродетельных склок, идиллических кляуз и идеально-примитивных чувств.

А. БЕРЗЕР.



О ДОРОШЕВИЧЕ И ЕГО ФЕЛЬЕТОНАХ

В. М. Д о р о ш е в и ч. Избранные рассказы и очерки.
«Московский рабочий». 1962. 487 стр.

Вышла книга фельетонов Власа Дорошевича. Дорошевич был дореволюционным русским журналистом, редактором газеты — в лучшие годы своей жизни, тружеником газеты — всю свою жизнь. Читатели любили Дорошевича, у него была слава литературная и житейская, его считали «королем фельетона» и удачливым человеком, баловнем судьбы. Между тем судьба эта трудовая. Дорошевич писал много, невообразимо много, по различным поводам, нередко ничтожным. «Король фельетона» долгие годы был фельетонистом-поденщиком.

Талант Дорошевича — его легкое перо; кажется, что водить им по бумаге доставляло автору одно удовольствие. Дорошевич и ценил-то больше всего такой труд, который был бы свободен от усилия. В своих театральных фельетонах он воспел труд-удовольствие, труд-игру, труд-забаву. Самые проникновенные, от сердца идущие слова написаны им о Давыдове, Рошине-Инсарове, Гореве, Варламове, маленьком чародее Вилли Ферреро, и почти в каждом из этих фельетонов — образ гения и беспутства, и в каждом из них — тема творчества, естественного, как пенья птицы. А вот для Лен-

ского у Дорошевича нашлись лишь слова уважения (слишком это серьезный, «думаший» актер), и даже Ермолову он разрешает себе критиковать (слишком она «драматизирует»). Таковы были не только личные пристрастия Дорошевича — таковы были взгляды и вкусы общественной среды, из которой он вышел, к которой принадлежал. Среда эта — обеспеченная московская интеллигенция, умеренно либеральная и традиционно хлебосольная, умевшая «жить» и не слишком склонная «думать» или «драматизировать», особенно в политике.

Легкое перо Дорошевича неотделимо, конечно, от этой атмосферы, где восторги по поводу шекспировских монологов перемешивались с восторгами по поводу осетрины. Легкое перо Дорошевича неотделимо от всего этого мирка, для которого в Москве было «два университета»: Малый театр и «Славянский базар».

Но сказать так — значит не сказать главного, из-за чего фельетоны Дорошевича сохранили свое очарование и поныне. Легкое перо Дорошевича возбуждалось не только пылью кулис и запахом кухни. Высокое наслаждение, которым воспламенял себя и читателей этот фельетонист-театрал и фелье-

тонист-гастроном, было наслаждение первыми проблесками гласности.

Дорошевич начал работать в газетах, когда они получили какие-то права — самые ограниченные, ничтожные, смехотворные, но все-таки права. Раньше не было и таких, теперь даже и такие вызвали энтузиазм у более или менее прогрессивно настроенных газетчиков. Фельетоны Дорошевича прежде всего отражают это всеобщее упоение гласностью — вероятно, оттого они и немного болтливые. В них масса остроумия и масса трюизмов, но это трюизмы самого Дорошевича, а не обязательные газетные стереотипы. Их содержание подчас случайно, автор может тут же забыть о первоначальном поводе, главное — нарушить осточертевшую тишину, произнести что-то вслух, услышать свой голос. Знаменитая «строка» Дорошевича (а писал он по-особому, оставляя целую строчку для каждого интонационного куска фразы; иногда по одному слову в строчке), эта «строка», вызывавшая столько толков у всех знавших о существовании построчной оплаты в газетах, — конечно же, она была рождена той же эпохой упоения гласностью. Дорошевич как бы любовался печатным словом, повышал его в значении, повышал и в цене.

В «строке» Дорошевича есть что-то детское, от игры, от хитрости, всем понятной, — фельетоны Дорошевича и отражают «детский этап» русской легальной журналистики.

Тогда только возникали традиции массовой легальной газеты. В России издавна — еще с пушкинских времен и даже ранее того — издавались литературно-общественные альманахи и журналы, каких не было ни в одной стране мира. В России тайно распространялась нелегальная пресса, от герценовского «Колокола» до ленинской «Искры». Легальные же газеты, обращенные к обывателю, владели жалкое существование. В начале века положение чуть изменилось. Подписчики стали более требовательными, газеты — более смелыми. Газету «Россия» правительство даже вынуждено было закрыть. Одним из ее редакторов, кстати сказать, был Дорошевич.

Эта новая пресса не поднималась, разумеется, до острой критики самодержавия, но одно важное дело она делала — называла некоторые вещи своими именами. Назвать вещи своими именами было наиболее общественной потребностью в стране, в которой все скрывалось за офици-

ально-бюрократическим и официально-благополучным языком, где голод именовали «продовольственным вопросом», взыскание и казнокрадство — «злоупотреблением по службе», а один из самых зверских, самых позорных пережитков крепостничества — порку взрослых людей плетью — «телесными наказаниями».

Дорошевич старался говорить ясно, насколько это было возможно. Начинал он обычно с заголовка. Вот два примера, два фельетона, помещенные в книге.

Первый фельетон называется «Пытки» — лучшего названия не придумаешь. Все сказано. Ничего не скрыто. Зло названо своим словом. Нет никакого остроумного заголовка, который позволял бы вильнуть, навесить тень на плетень. Пытки — и все тут. Наверняка это лучший заголовок, когда-либо придуманный Дорошевичем.

В фельетоне рассказывалось, что в Одессе в полиции на допросах применяют пытки и таким образом вынуждают признания. Невинные люди под пытками признаются в не совершенных ими преступлениях. Фельетонист давал понять, что это делается не только в Одессе.

Фельетон произвел большой шум, хотя, наверное, мало кого удивил. Факты, в нем обнародованные, — чудовищное беззаконие, творимое в большом городе, на глазах у «начальства», омерзительные нравы полицейских участков — все это относилось к разряду «секретов полишинеля», которыми была так богата общественная жизнь России. Это то, что распространялось молвой, что расходилось в анекдотах, слухах, рассказях, но чего нельзя было прочесть на газетных страницах. Тем более в этом случае: престиж полиции поддерживался свыше. Царизму было в конечном счете наплевать, что пишут о гимназиях, но о полиции все должны были думать с уважением. Из самого фельетона Дорошевича видно, что царизм предпринимал даже судорожные попытки окружить полицейского ореолом: он, мол, защищает честный люд от черносотенцев и бандитов, жизнь свою не щадит на этом деле. «Героника» полицейской службы — это тема для Щедрина и Герцена, не для Дорошевича. Но фельетон Дорошевича сделал свое дело: он показал безокончистей, что «защитники» народа — сами черносотенцы и бандиты, но только на государственной службе и на жалованье, что закон

для них не писан и что истязать людей для них — любимое занятие.

Другой фельетон называется «Старый палач», и это тоже звучит неплохо. Герой его — Буренин, сам журналист, сотрудник черносотенной газеты «Новое время», годами травивший передовых и честных писателей, лютой ненавистью ненавидевший талант, как может ненавидеть мракобес и завистливая бездарность (оттого мракобес, что бездарность, и оттого бездарность, что мракобес). Дорошевич и пишет об этом, пишет как публицист и как психолог, пишет очень зло, и — надо сказать — очень прямолинейно. По обязанностям журналиста Дорошевичу часто приходилось писать о проходимцах, но, судя по всему, особого энтузиазма эта тематика у него не вызывала.

Зато как хороши его портреты актеров. Это лучшая часть книги, здесь даже традиционализм Дорошевича кажется обаятельным. Дорошевич на страже старомосковского театра — блестящий Дорошевич, лучший театральный критик своего времени.

Тогда их было немало, дореволюционных театральных критиков, хороших же среди них — считанные единицы. Почти все они подразделялись на два типа: критики-пошляки и критики-циники. Первые силились доказать, что великие актеры — действительно великие актеры, и делали это с такой страстностью и старательностью, как будто бы именно от их слов зависело, дадут ли Ермоловой новую роль, оставят ли Шаляпина служить в театре. Вторые же дава-

ли понять, что прославленные актеры — так себе, не бог весть что, если не полное дрянцо. Оружие первых — излияния, оружие вторых — экивоки. Впрочем, подтекст — их общее оружие. Не забудем, что ведущие театры именовались императорскими. Поэтому высокопарные статьи были удобной возможностью продемонстрировать лояльность, встать перед властями на колени, вылизать у начальства сапоги — и все это не как-либо по-лакейски, а по-профессорски, не грубо, а очень даже благородно. Наоборот, иронические статьи позволяли показать властям кукиш в кармане, многим не рискуя, но и завоевывая кой-какой престиж, особенно в глазах непримиримо настроенных курсисток.

Короче говоря, они стояли друг друга — высокопарные холуи и осторожные оппозиционеры. Дорошевич на них не походил, и прежде всего — по-человечески. У него нашлась и нужная мера независимости, и нужная мера простодушия. Он был человек с сердцем, смысл его театральных фельетонов — в благодарности. Это самые благодарные слова, когда-либо написанные в адрес любимых актеров.

Все это были замечательные актеры, и Дорошевич оставил нам их портреты, тоже по-своему замечательные. Оставил он нам и еще один портрет — зрителя, каким был Дорошевич, наделенного даром бескорыстного наслаждения искусством. Поэтому фельетоны эти читаются и сегодня.

В. ГАЕВСКИЙ.

★

КНИГА ИСТОРИКА И КРИТИКА

Н. Я. Берковский. Статьи о литературе. Гослитиздат. М.—Л. 1962. 452 стр.

Статьи Н. Берковского о литературе, собранные в только что вышедшей книге, касаются разных стран и эпох. Все они, за единственным исключением, написаны в последние годы — статьи о Леонардо да Винчи, Сервантесе, Шиллере, Ибсене, Пушкине, Чехове.

Одновременно с этим сборником вышло в свет исследование Берковского о Тютчеве. Одновременно появилась его подробная работа о немецком поэте Гельдерлине. В эти же годы Берковским написан цикл статей о театре — об инсценировках Достоевско-

го, немецких постановках Гёте и Клейста, французском театре Жана-Луи Барро.

Ни одна из этих работ не является случайным откликом к случаю, в связи с театральными гастролями или юбилейной датой — перед нами поток глубоких и быстрых исследований.

В кругу научных возможностей Берковского многие эпохи — от античности до Возрождения и от Возрождения до наших дней, многие виды искусства — литература, театр, живопись. И прежде чем углубиться в существо предлагаемых автором идей, нужно

дать себе отчет в самой этой манере мыслить и писать, в этой энергии творческого духа, выразившейся уже в самом типе исследования, избранного автором. На первый взгляд, Берковский поступает неосмотрительно, к невыгоде для себя: в любой из его статей заключено мыслей и сведений на целую ученую книгу — он же ограничивается статьями, чтобы в следующий раз написать на другую тему.

Берковский профессорствует и пишет много лет, и ему хорошо знакомы позиции академической филологии с ее хорошими традициями и дурными предрассудками — первые он отстаивает, против вторых восстает. Мы прекрасно знаем эти предрассудки академического литературоведения. Мы помним эти громоздкие и унылые, как товарные платформы, ученые труды, созданные для многих полезных целей, но, разумеется, не для того, чтобы люди их читали; мы угнетались этим — полным тайной гордыни и гимназического сладострастия — пафосом огромных построчных комментариев, в которых как будто и должна содержаться вся соль академической науки; мы и до сих пор еще не освободились вполне от этой привычки к опасливому уклонению от общих идей в сторону все большего углубления в частности, в трясины забытых сведений о ничтожных исторических обстоятельствах, от этого ужасного жаргонного языка, пахнущего канцелярией.

Вполне объяснимы причины такого научного развития: оно избавляло от необходимости иметь независимые суждения, вводило гуманитарную науку в замкнутый, условный мир, который с реальностью жизни и реальностью искусства никак не соотносился.

Статьи профессора Берковского, по кругу и глубине знаний одного из самых академических авторов, принадлежат к числу тех работ, появляющихся в последние годы все чаще, которые оспаривают эту якобы академическую, казенную науку, разделенную по специальным и узким департаментам, неуклюжую.

Берковский смотрит на произведение искусства и его автора с очень высокой точки зрения, так что ему оказываются видны самые общие условия духовной жизни прошедшей эпохи. Кажется, что тонкости художественного произведения с такой высоты могут остаться незамеченными, но постепенно — на наших глазах — и они становят-

ся опознанными. Берковский всегда выигрывает в понимании целого, в установлении обширных духовных связей каждой эпохи с ее предшествующей и последующей, но не пропускает и ни одной достойной внимания частности — он мастер и мелкого, скрупулезного анализа.

Присущая Берковскому многосторонность не означает, что у него нет главной, «общей» идеи, совсем напротив — именно наличие этой идеи и позволяет ему уверенно переходить от автора к автору, от страны к стране. В данном случае несоблюдение «единства времени и места» объясняется единством идеи, «единством действия», единством интриги, если угодно. Берковский потому так легко и ориентируется в творчестве Леонардо да Винчи и Пушкина, Шекспира и Достоевского, Шиллера и Чехова, что для него они — действующие лица одной драмы, принимающие участие в разных ее актах: конфликты, завязывающиеся в одной эпохе, в другой развиваются, в третьей находят завершение. Сборник статей Берковского читается как исторический роман или как историческая драма, каждая статья — законченный эпизод, двигающий действие дальше; да, это драма, «драма идей», развернутая во времени и пространстве, через столетия и страны.

В книге рассказано о судьбе гуманистических идей: как они возникали, соприкасались с житейской практикой, приходили с нею в противоречие. Нам открывается и картина первоначального цветения гуманистических идеалов, и первые их столкновения с неблагоприятной действительностью, и то, как они сливались с освободительной борьбой и как неполно, противоречиво осуществлялись они в эпохи прошлых революционных переворотов, чтобы потом вновь апеллировать к будущему, лишь на него надеяться.

Начало духовных конфликтов нового времени падает на эпоху Возрождения — как это показано в главах о Леонардо и Шекспире; высшего напряжения и высшей ясности они достигают в век просвещения, завершающийся Великой французской революцией, — глава о Шиллере; новые горизонты и новые духовные конфликты возникают в связи с поисками внебуржуазных путей общественного развития — статьи о Пушкине и Чехове.

Таким образом, книга имеет свою завязку, кульминацию и свой финал. Все ее статьи к

революции подводят или от опыта революции отпавляются, так или иначе с ней соотносятся. Это не означает, что кульминация — эпоха французской революции — оценивается как самый высокий этап духовного и художественного развития (поскольку речь идет о западной культуре), — наоборот, много раз и по разным поводам подчеркиваются все преимущества эпохи Возрождения, как наиболее далеко отстоящей от практического осуществления идеалов нового времени и потому истолкованной их наиболее широко и свободно.

Тон всей книге задает статья о Леонардо. Здесь определяются главные противоречия эпохи Возрождения, заключающие в себе все драматические мотивы дальнейшего повествования. Здесь говорится о первых несовпадениях идеальных гуманистических устремлений и реального исторического развития, об иллюзиях ранних гуманистов: «Они переоценивали ближайшие итоги борьбы со средневековьем, в преувеличенном свете видели новое общество, полагая, что цель всестороннего освобождения человека достигнута». Здесь рассказывается об идеалах доверчивой общительности, гармонии между цивилизацией и природой, о красоте, которая в картинах Леонардо — и положительная сторона драматического конфликта, и «критическая сила, не позволяющая безразлично, как естественное явление, трактовать уродливое и злое». Здесь задается книге ритм — свободный, размеренный и соразмерный, приличествующий рассказу о Леонардо. Берковский замечает, что в отличие от своих младших современников, Рафаэля и Микеланджело, Леонардо избегал как художественной идеализации, так и мрачного трагизма — он писал драму; и сам Берковский пишет соответственно — соответственно высокой и долгой драме идей — не менторствуя и не причитая.

В статье о Леонардо да Винчи говорится о гармонии, которая в жизни готова была осуществиться, но так и не осуществилась, а в искусстве высокого Ренессанса запечатлелась навечно. О «Мадонне в гроте» сказано: «И женщина и дети в этой картине — существа, воспитанные простым мирным обиходом, не изнеженным и не грубым, пристойным, душевно богатым. Здесь угадываются быт и нравы цивилизованной провинции, где промыслы уживаются с сельским пейзажем, с лесом, с лугом и со скалами, где есть кругозор города и где есть

здоровье деревни». Так с самого начала за искусством признается способность достраивать и провидеть гармонию, которая еще не укоренилась в жизни и бог знает, когда укоренится: в очерках о Сервантесе и Пушкине этот активный со стороны искусства мотив снова звучит с победоносной силой.

Статья о Леонардо подготавливает нас к восприятию следующего очерка из эпохи Возрождения — «Отелло», трагедия Шекспира». Единственная из статей сборника, напечатанная сразу после войны, она сыграла важную роль в развитии нашего шекспироведения. Берковский раскрыл глубоко двойственность эпохи Возрождения, эпохи великого революционного переворота, объяснив, что именно эта двойственность и является источником трагического у Шекспира. Трагедию о венецианском мавре, которую старая буржуазная традиция истолковала узко, в духе психологической семейной драмы, Берковский ввел в круг общей проблематики великих трагедий Шекспира. Он показал, что источник трагедии не столько в отношениях Отелло и Дездемоны, сколько в отношениях Отелло с Венецией, в двойственной природе всей венецианской республики, всего Ренессанса, который для Шекспира «уже затягивался буржуазными формами жизни».

Главное место статьи — характеристика Отелло и Яго, двух героев нового времени, каждый из которых по-своему, достаточно предстательно олицетворяет эпоху великого революционного переворота — ее поэзию и ее прозу, ее величие и ее низменность, ее идеальную и практическую стихию.

«В Отелло, в Дездемоне... Венеция новой жизни, освобождения, надежд, бескорыстия, общительности, героизма, красоты. В Яго обретается Венеция — повседневная и официальная... с Яго мы остаемся в Венеции, пользующейся созданными благами, промышляющей, вульгарно борющейся за личные права и преимущества, в Венеции обманов, мелких дел, личных интересов домашних и уличных. Внешняя сила и внешнее преобладание у Венеции Яго, и это предreshает исход трагедии».

В статье развивается уже встречавшийся в связи с Леонардо идеальный мотив цельного и доверчивого общения, которому житейская индивидуалистическая практика всячески препятствует. Берковский замечает, что шекспировские герои «не гратятся на осмотрительность», «на мелкое подглядыв-

ванне», «на мелкую политику в отношении ближних, на междоусобицу» — это, может быть, их самое высокое достоинство, за него они и платятся жестоко. Написанная непосредственно перед войной, статья Берковского вобрала в себя и новый опыт истории, достаточно величественный, достаточно трагичный. В ее идеях, стилистике и в самом пафосе ее выразился подъем нашей культуры.

Статья о Шиллере занимает в композиции книги центральное место, связывая ее западную и русскую часть. Проблемы, которые рассматривались ранее, предстают здесь в новом свете — на фоне практических потребностей и судеб французской революции. Общественные противоречия, исследованные до того в сфере нравственной, эстетической, бытовой, в связи с Шиллером приобретают конкретное политическое содержание. Высокие гуманистические идеалы, мечты о будущей гармонии, носившие в искусстве Возрождения характер отчасти утопический, теперь должны были согласоваться с прямой политической программой, с тем или иным планом освободительной борьбы. Мы оказываемся свидетелями конфликта между идеалами французской революции и ее тактикой, между ее великими целями и ближайшими последствиями, ее первоначальным подъемом и последующим падением, ее лозунгами и ее действиями. Через драмы Шиллера нам раскрывается вся французская революция: ее первые шаги, ее ликующий пафос, ее кризис; показано, в чем Шиллер с революцией совпадал, в чем был уже, в чем ее превосходил.

Статья о Шиллере замечательна свободной игрой разнозвучающих мотивов — самых абстрактных и самых конкретных, касающихся обширных философских систем и политической практики, — тем и другим уделяется равное внимание, и те и другие признаются достойными.

Развитие Шиллера объясняется таким образом, что в сфере стиля он продвигался от индивидуальной колоритности «Бури и натиска» к абстрагирующему классицизму, а в сфере идейной захватывал мотивы все более конкретной политики. В этом смысле характерна оценка маркиза Позы, казалось бы, самого абстрактного из шиллеровских героев, стоящего у порога шиллеровского классицизма. «Маркиз Поза, благородный деятель с высокой миссией, страшно запутывается в своих действиях, в своих пла-

нах придворными, личными средствами решать судьбы стран и наций. Он на пороге того, чтобы стать обыкновенным интриганом... он слишком многое берет на себя, действует рискованно, навязчиво, уверенный, что он-то сам и есть освободительная идея и что от имени ее все ему позволено... Маркиз Поза, сам того не замечая, становится соперником собственной идеи, — есть опасность, что он подменит идею собственной личностью».

В дальнейшем эта мысль рассматривается в своем более широком значении в связи с трилогией о Валленштейне. Берковский замечает, что поражение полководца и вождя Валленштейна обусловлено тем, что, приведя в движение огромные массы, ополчившись против традиционного миропорядка, он сам действует традиционными методами, «методами интриги», в то время как «настоящая цель не уживается с интригой; где средством служит интрига, там малого стоит цель». К тому же в традиционных, неревolutionных методах борьбы старый миропорядок сильнее, биться с ним его же оружием — дело гиблое.

За всеми этими конфликтами великой революционной эпохи, проявляющимися у Шиллера столь многообразно, Берковский видит одно главное противоречие: «По итогам своим революция оказывалась ближе к прежнему традиционному порядку вещей, чем это можно было ожидать, зная первые ее действия, обещавшие все изменить и все обновить».

Так исчерпывает себя в эпоху Великой французской революции круг идей и мотивов, возникших в эпоху Возрождения, на заре буржуазного общества.

Дальнейшая судьба гуманистических и освободительных идей раскрывается в книге через русскую литературу, отразившую поиски новых внебуржуазных путей общественного развития. Рассказывая о неоконченной трагедии Шиллера про Лжедмитрия, Берковский прямо подводит нас к проблемам русской литературы, к Пушкину.

В двух статьях о Пушкине — о «Русалке» и «Повестях Белкина» — развитие литературы исследуется в связи с началом нового, только возникающего этапа освободительной борьбы. Статьи о Пушкине перекликаются со статьями о Леонардо да Винчи: и Леонардо и Пушкин видят начало долгого общественного процесса, которому еще предстоит развиваться, проявить себя во

всей силе; оба угадывают его самые дальние возможности, приветствуют новое время — новые времена — свободно изливающуюся жизнь, несмотря на будущие осложнения и драмы.

«Повести Белкина» рассматриваются как предыстория русского народно-национального эпоса. Главную особенность этого эпоса Берковский видит в глубоком внимании к народной жизни, к массовым движениям, протекающим из убеждения, что любые индивидуальные действия, как бы они ни были великолепны, в новых обстоятельствах истории играют подчиненную роль.

В пушкинской прозе тридцатых годов Берковский замечает картину народно-национальной жизни, накопляющей силы для своего освобождения. Убогая по кругозору и краскам бытовая, провинциальная Россия в «Повестях Белкина» приходит в движение, отправляется искать свободы. Таким образом, повесть частной, обывденной жизни разъясняется в своем исконном историческом значении, в своей всемирной перспективе. Берковский показывает, как в связи со всем этим поэзия и проза меняются у Пушкина привычными значениями: изысканной, пресыщенной и пустой поэзии светской жизни в «Повестях Белкина» противостоит здоровая и содержательная проза обывденной, провинциальной жизни.

«Повести Белкина» разобраны Берковским как единый цикл, всячески подчеркиваются общие им бытовые основы и идейные мотивы, но при этом не упускается из виду своеобразие каждой повести; о каждой и рассказано по-особому. «Гробовщик» анализируется в духе социологическом, почти что даже в категориях политэкономии, «Выстрел» раскрыт в широких исторических связях, на фоне посленаполеоновской Европы; «Метель» и «Барышня-крестьянка» разобраны преимущественно со стороны сюжетной; о «Гробовщике» говорится сугубо серьезно, о «Выстреле» и «Станционном смотрителе» — с тайным волнением, анализ «Метели» и «Барышни-крестьянки» дан несколько иронически. По гибкости и изяществу метода, по богатству интонаций статья о «Повестях Белкина», может быть, лучшая в сборнике.

В некоторых других статьях анализ Берковского кажется слишком жестким и неутолимим. Сравнивая Ибсена и Чехова, Берковский пишет, что норвежский драма-

тург не позволяет ни одной подробности ускользнуть от художественного обобщения, в то время как у Чехова есть непринужденная, свободная игра жизни и мелочей жизни. Замечание, сделанное относительно Ибсена, отчасти можно отнести и к самому Берковскому — в некоторых его статьях художественные подробности изучаемого произведения слишком уж детерминированы: каждая частность обязательно сведена к общим закономерностям, им подчинена, для свободной игры случая здесь вовсе не оставлено места. Занятия русской литературой оказались в этом смысле для ученого весьма благоприятными — статьи о «Повестях Белкина» и о Чехове написаны гораздо непринужденнее, в них больше воздуха, игры, внутренней свободы.

В статье о Чехове, завершающей книгу, подводятся итоги классической русской прозы, начатой Пушкиным. Бытовая народная жизнь, которая у Пушкина только еще открывает себя общему взору, едва приходит в движение, высывая в будущее своих гонцов, у Чехова предстает изученной и изжитой, нуждающейся в решительном обновлении. Отсюда выводится поэтика Чехова — ему приходится иметь дело с национальной жизнью, взятой в ее исторических итогах, многократно обследованной до него, поэтому, между прочим, он обходится намеком, упоминанием, деталью там, где его предшественникам приходилось подробно описывать. Это соображение, сделанное по поводу Чехова, во многих случаях приложимо и к современной западной литературе — ей ведь тоже приходится иметь дело с бытом, по многу раз описанным, себя исчерпавшим.

В книге Берковского — в ее русской части — исследуются начало и конец русской классической литературы XIX века: мы видим завязку и развязку исторической драмы, исторического процесса, продолжающегося в течение многих десятилетий. К сожалению, в книге ничего не сказано о середине, кульминации этого процесса — о литературе шестидесятых—восьмидесятых годов; здесь нет работы, аналогичной статье о Шиллере в западной части сборника. Но это вина издательства, а не автора, потому что работа на эту тему — и не одна — Берковским написана: речь идет о цикле статей, посвященных Достоевскому. Наличие этих статей, написанных по поводу театральных инсценировок «Идиота» и «Брать-

ев Карамазовых», придало бы русской части сборника композиционную полноту.

Посвященные литературе прошедших эпох, работы Берковского современны по своему жанру, идейным мотивам, по типу мышления, в них запечатленному. Статья о литературе незаметно переходит у Берковского в трактат о социальной истории, проблемы эстетические тесно переплетаются с политическими, мотивы возвышенно философские — с житейскими. В его суждениях об ушедших эпохах сквозит современный исторический опыт, а через всемирную литературу, всемирную историю раскрываются коллизии новейших времен. При этом никогда не теряется из виду то, что определяет специфику искусства: в этом смысле работы Берковского — урок и некоторым молодым, весьма способным литературоведам, которые, когда занимаются «наукой», забывают о публицистике, вообще о жизни, а занявшись публицистикой, забывают о литературе.

Полнота и цельность критического метода Берковского сказывается и в готовности откликнуться самыми интимными сторонами души голосам ушедших художественных эпох. Самым отвлеченным мыслям ученого эти лирические мотивы придают поэтическое обаяние.

Может быть, кто-нибудь из постных ревнителей «объективной науки» и сочтет все это беллетристикой; что ж, можно с ними и согласиться: перед нами действительно тот случай, когда научное литературоведение поднимается до уровня изящной литературы — случай не частый. Берковский и пишет, как пристало писателю, языком, одинаково далеким и от казенного литературоведческого жаргона, и от профессорской обкатанной гладкости. Он пишет своеобразным слогом, вводя в наш обиход отчасти забытый (за каждодневной суетой) словарь и синтаксис XIX и начала XX века, он говорит с читателем тонким размеренным и напряженным, полным высокого достоинства и скрытого драматизма.

Не только в своих идеях, но и по своему слогу последняя книга Берковского — новый этап на его творческом пути ученого и литератора.

Работы Берковского печатались раньше в специальных, порою малодоступных изданиях. Собранные вместе в книге, выпущенной Гослитиздатом, они обрели наконец широкого читателя, для которого и предназначены.

Б. ЗИНГЕРМАН.

★

Политика и наука

НАСЕЛЕНИЕ НАШЕЙ СТРАНЫ

Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. СССР (Сводный том). Госстатиздат. М. 1962. 284 стр.

Известный статистик, член Международного статистического института, один из руководителей единственной проведенной у нас в дореволюционное время всеобщей переписи населения (1897) и друг И. Е. Репина, Виктор Владимирович Степанов говорил, что у статистиков, как у писателей и художников, одна и та же задача — изображать жизнь, перерабатывать множество жизненных фактов и представлять их в сводном, типизированном виде. Только средства разные: у писателя — слово, у художника — краски, а у статистика — цифры. Это суждение в особенности верно по отношению к той части статистики, которая изучает самих людей, народ, — к статистике демографической.

В этой довольно специальной области выводят свои «большие дни» — дни переписи населения. Операция эта не из легких, она требует солидной научной, организационной и технической подготовки. Чтобы выполнить ее в такой стране, как наша, надо собрать сведения о более чем двухстах миллионах людей. Причем сведения эти, во избежание расплывчатости и неточности результатов, должны быть приурочены к определенному моменту, и надо собрать и обработать их в кратчайшие сроки.

Кто не слышал в наш век электроники о могущественных вычислительных машинах, способных в несколько минут произвести вычисления, на которые без них тысячи людей должны были бы затратить месяцы

труда! Но мало кто помнит о том, что их предшественники — электросчетные машины (от которых в электронных машинах остался, между прочим почти без изменения, способ ввода информации с помощью перфокарт) были созданы именно для обработки материалов переписей населения. К этому толкали масштабы и сложность работы.

Конечно, такое большое и, надо сказать, очень недешевое дело приходится предпринимать не слишком часто. После революции у нас были проведены переписи в 1920, 1926, 1939 годах и, наконец, последняя — в 1959 году по состоянию на 15 января. В самом кратком общем виде ее итоги публиковались в газетах через несколько месяцев после переписи. И вот сейчас — почти через четыре года — в виде серии наполненных статистическими данными томов выходят из печати ее полные итоги. Они будут иметь огромное значение для планирования социалистической экономики, для организации еще лучшего обслуживания населения и удовлетворения его разнообразнейших нужд. Огромно их значение и для социологической науки, так как в них ярко отражаются гигантские сдвиги в народе, коренные изменения, которые с ним произошли: ведь переделывая общественный строй, развивая свою экономику, народ переделывает и развивает в то же время и самого себя.

Во время переписи о каждом из почти двухсот девяти миллионов жителей страны были собраны сведения по единой программе, состоявшей всего лишь из полутора десятка вопросов. А теперь на основании ответов на эти вопросы составлены таблицы, заполнившие несколько томов: один сводный — с материалами по СССР в целом — и пятнадцать отдельных — по одному для каждой союзной республики.

Основные части сводного тома содержат группы таблиц, посвященных следующим темам: общие итоги переписи, города и села (данные об отдельных городах, их группах и группах сел и т. п.), собственно демографическая, если так можно выразиться, часть (возрастно-половая структура, браки), уровень образования, грамотность, социально-экономическая характеристика населения (общественные, отраслевые, профессиональные группы), национальности и языки, советская семья, таблицы смертности и продолжительности жизни.

В краткой рецензии совершенно невозможно основательно рассмотреть итоги переписи по существу. В самом деле, как решить, что больше заслуживает быть отмеченным — что каждая шестая узбечка имеет высшее или среднее образование, или что число рабочих и служащих (вместе с их иждивенцами) выросло в нашей стране за двадцать лет с половины населения до двух его третей (в чем отражается прежде всего рост народного хозяйства), или что за тридцать два года число медицинских работников увеличилось почти в девять раз? Составители публикации хорошо сделали, включив в сборник не только относительные показатели (на 1000 населения и другие), но и много сравнительных данных. Так, мы узнаем, что в составе женского населения Узбекистана (в возрасте 9—49 лет), теперь почти сплошь грамотного (97,3 процента), в 1897 году грамотных было лишь не многим более одного процента, а в 1926 году — семь с небольшим процентов. Вдумываясь в эти цифры, вы, конечно, вспомните паранджу и прочие атрибуты темного прошлого, на смену которым пришли свет образования, свободный труд, счастливая жизнь.

Итоги переписи отражают тяжелые последствия войн, навязанных нашему народу. Известно, что мужчины среднего возраста (35—60 лет) составляют весьма значительную часть трудоспособного населения. Но взгляните на таблицу, показывающую их численность, и вы увидите там зияющий провал военных потерь. Или возьмите отдельно тех, кто родился в 1942—1946 годах — насколько меньше численность населения этих возрастов из-за резкого понижения рождаемости в военные годы! В течение нескольких лет не оказывалось нормального числа учеников то в младших классах, то в средних, то в старших. А сейчас это означает недостаточное пополнение предприятий и вузов.

Небезынтересно такое сравнение. В 1926 году женщин в нашей стране было на пять миллионов больше, чем мужчин, в 1939 — почти на восемь миллионов, а в 1959 — на двадцать миллионов! И еще одна цифра, заставляющая задуматься: двадцать семь процентов женщин в возрасте тридцати пяти — тридцати девяти лет не состоят в браке. За этими цифрами нельзя не видеть осиротевшие в годы войны семьи, одиноких женщин.

В наследство от дореволюционного времени нам осталась большая неравномерность в размещении населения. Она хорошо видна уже в общих цифрах плотности населения по союзным республикам, приведенных почти в самом начале сводного тома: семьдесят человек на один квадратный километр в Украинской ССР, даже восемьдесят шесть в Молдавской ССР и три человека — в Казахской ССР. Правда, в последние годы в результате освоения целинных земель и большого строительства в восточных районах эта неравномерность несколько уменьшилась. Однако она еще очень значительна, и потребуются немалые усилия для ее преодоления.

В конце сводного тома итогов переписи мы находим один из наиболее важных результатов демографической статистики: таблицы смертности и продолжительности жизни. Если в 1897 году продолжительность жизни в среднем была 32 года, а в 1926 году (к этому времени был осуществлен ряд социальных мероприятий) — 44 года (по европейской части СССР), то в 1958—1959 годах она достигла 68,6 года (для мужчин — 64,4 года, для женщин — 71,7 года). Детская смертность в СССР в последние годы быстро снижается. В 1958—1959 годах она составляла всего 40,6 на тысячу против 278,7 на тысячу до революции. А в 1961 году она снизилась до 32, что уже само по себе должно увеличить среднюю продолжительность жизни более чем на полгода. Следовательно, есть все основания считать, что, пока обрабатывались материалы переписи и строились таблицы, мы по общему показателю средней продолжительности жизни догнали самую богатую страну капиталистического мира — США, где по данным на 1958 год средняя продолжительность жизни составляла 69,4 года.

На день переписи в нашей стране насчитывалось почти двести девять миллионов человек (в 1939 году — сто семьдесят миллионов), на 1 января 1962 года — почти двести двадцать миллионов. Это одна четырнадцатая часть населения земного шара и примерно двадцать процентов населения социалистического мира.

Значительный рост населения нашей страны в послевоенные годы, снижение детской смертности, увеличение продолжительности жизни советских людей — все это яркое свидетельство превосходства социалистического строя над капиталистическим.

Нет сомнения в том, что публикуемые итоги переписи населения СССР привлекут к себе самый живой интерес не только в нашей стране, но и во всем мире. Ведь если не считать переписи 1939 года, подробные данные которой так и не были опубликованы в связи с начавшейся войной, то это первые подробные итоги переписи населения страны победившего социализма, страны, строящей коммунизм. На основе этой публикации будет сделано много глубоких исследований, к ним будут обращаться все интересующиеся жизнью советского народа, судьбами людей в социалистическом обществе.

«Сухие» цифры итогов переписи красноречивее всяких слов говорят об огромном подъеме жизненного уровня в нашей стране, материального благосостояния, культуры.

А. ЯКОВЛЕВ.

★

НА ПОДСТУПАХ К НОВОЙ НАУКЕ

В. Ганштак, И. Розенберг. Пути совершенствования управления промышленным предприятием. Госполитиздат. М. 1962. 192 стр.

Науке об управлении производством не повезло. На долгие годы она, как и многие другие ветви экономической науки, оказалась «не у дел», была оттеснена многословным начетническим толкованием «гениальных» прорицаний одного человека, прославлением «его этапа» в развитии политической экономики. Теория витала в этих туманных эмпириях. Практике же в условиях, когда господствовали методы адми-

нистрирования, «волевых» решений, не очень-то нужна была наука об управлении. Лишь ветераны нашей промышленности помнят, что в двадцатые и тридцатые годы изучением и разработкой рациональных форм управления занимался ряд научных учреждений — таких, например, как Институт техники управления, Институт организации производства и другие, — что выходили тогда журналы «Техника управле-

ния», «Организация производства» и особенно популярный — «Предприятие».

Ныне в централизованном порядке лишь разрабатываются типовые штаты да время от времени на страницах журнала «Социалистический труд» появляются статьи об управлении производством. Впрочем, можно порадовать тех, кто еще не знает об этом: в Минске создается Институт организации и техники управления. Наметился сдвиг и в издании научной литературы. Естественно, что каждая новая книга встречается с большим интересом. Это, несомненно, относится и к небольшой работе доцентов Уральского политехнического института В. Ганштака и И. Розенберга «Пути совершенствования управления промышленным предприятием». Как сообщает издательство, книга рассчитана на широкий круг читателей. Теперь можно с уверенностью сказать, что круг этот еще более расширится. Книга будет полезным пособием для тех, кто войдет в состав новых общественных органов управления: производственных заводских, фабричных и цеховых комитетов.

Однако это не книга для легкого чтения, которую можно «пробежать» в один присест и убрать на полку. Думается, что ее будут читать с карандашом в руке, может быть, по несколько раз возвращаясь к одному и тому же месту, проверяя расчеты и таблицы, не сразу все понимая. Будут обдумывать, сравнивать с тем, что знакомо по работе, по своему заводу. И главное — извлекать уроки.

Предприятие — сложный производственный организм. Это единый коллектив, но он не лишен противоречий; это самостоятельное хозяйство и в то же время неотъемлемая часть народного хозяйства страны. Предприятия различны по размерам, отраслевой принадлежности, видам выпускаемой ими продукции, уровню механизации. Потому и аппарат управления у них неодинаков. Нелегко во всем этом разобраться, выделить главное, общее, рациональное. Авторам книги это удастся. Они вводят читателя в заводские ворота, идут с ним из цеха в цех, из отдела в отдел, советуют, спорят. Они предлагают систему показателей, с помощью которых каждый может проанализировать производственную структуру своего предприятия и попытаться оценить, насколько она совершенна, рациональна. Эти показатели подводят читателя к общему выводу о том, что

при выборе структуры «следует стремиться к повышению серийности производства, к сокращению разнообразия и упрощению маршрутов движения предметов, к образованию предметно или технологически замкнутых участков и цехов»... Вывод совершенно справедливый.

В книге настойчиво проводится идея специализации производства на всех ступенях, от участка до предприятия в целом. Убедительно показано, что возможности для предметной специализации участков имеются на каждом заводе. Рассмотрев структуру цеха, взаимосвязи между участками, авторы делают вывод, что и для цехов специализация по предметному признаку является наиболее прогрессивной. Это относится также к вспомогательным службам и наконец к отдельным предприятиям. Нельзя не вспомнить в связи с этим слова товарища Н. С. Хрущева, сказанные им на ноябрьском Пленуме ЦК о том, что «тяга наших руководящих работников к старой организации комплексных производств еще настолько сильна, что, несмотря на все директивы и призывы организовывать специализированные производства, число универсальных предприятий продолжает расти».

Работа В. Ганштака и И. Розенберга убедительно доказывает преимущества специализации производства — и в этом ее немалое достоинство.

А вот другая проблема, тоже очень актуальная. Около семи тысяч предприятий, подчиненных совнархозам, — карликовые, насчитывающие каждое не более ста рабочих. По своей организационной структуре они, как заметил Н. С. Хрущев, копируют крупные заводы и фабрики с многотысячными коллективами. Авторы книги, когда сдавали ее в печать, не были, видимо, еще знакомы с опытом первых производственных объединений (или, как их называют, фирм). И этот перспективный, экономически целесообразный путь они не сумели показать читателю. Но очень подробно, детально рассмотрели они другой путь упрощения и улучшения руководства мелкими и средними предприятиями — их перевод на так называемую бесцеховую структуру. В книге собран богатый фактический и цифровой материал, способный убедить в ее преимуществах самого недоверчивого скептика. Экономический расчет, выгода — вот главный и решающий довод, выдвигаемый

авторами «в защиту» заводов и фабрик, в которых нет традиционных цехов (и следовательно, нет цехового аппарата), а производственные участки непосредственно подчинены руководству предприятия.

Работники тех заводов и фабрик, которые задумают завтра произвести такую перестройку, найдут в книге ценные советы о том, как к ней подготовиться, узнают о предприятиях, у которых есть чему поучиться. Последнее особенно дорого: авторы как бы говорят читателю — книжка невелика, всего в ней не скажешь, берите адреса и поезжайте — изучайте опыт на месте!

Аппарат предприятия — его боевой штаб. Авторы правильно подчеркивают, что качество управления в значительной мере зависит от степени участия в нем широкой общественности. Мы узнаем о работе общественных бюро экономического анализа на уральских заводах, общественных конструкторских бюро и других примерах участия коллективов в решении дел на своих предприятиях.

Читатель найдет в книге типовые структуры заводоуправлений машиностроительных предприятий, принципы распределения их по группам, методы, применяемые для расчета штатов, и много других полезных сведений. Раскрывается опыт централизации плановой работы и учета, а также технической подготовки производства.

Особый раздел посвящен вопросам экономики управленческого труда, повышению его эффективности. Здесь наибольший интерес представляет изложение опыта ряда предприятий, на которых существенно упрощены учет и отчетность, а также опыт и перспективы применения вычислительной техники. Но в целом этот раздел разработан менее глубоко, чем остальные, что, безусловно, не случайно.

Дело в том, что наука об управлении производством молода, контуры ее только обрисовываются. Думается, что она должна включать отнюдь не только вопросы структуры, сами по себе очень важные. Структура — лишь одна сторона дела. Другая, не менее существенная, — это приемы, методы, принципы управления. Между тем ученые, работающие в этой области, занимаются ими значительно меньше. Примечательно, например, что вышедшая в том же 1962 году книга О. Козловой и И. Кузне-

цова «Совершенствование организации управления производством в машиностроении» построена точно так же, как рецензируемая работа. Две ее основные главы тоже посвящены производственной структуре предприятия (делению его на цехи, участки и т. д.) и организационной структуре (имеется в виду построение аппарата управления). Третья, опять-таки наименее содержательная, посвящена экономии труда в управлении производством.

Вырабатывается, видимо, уже какой-то стандарт в такого рода книгах, как и в лекционных курсах. Между тем при этом построении в тени остается главный элемент управления — люди, их взаимоотношения в производстве. В. Ганштак и И. Розенберг, впрочем, вскользь замечают, что при всех условиях, даже в максимально автоматизированном производстве, «руководство действиями этих людей и представляет собой содержание управления производством». Но это осталось декларацией, повисло в воздухе. В самом деле: где-то в книге промелькнуло замечание о коллегиальности и единоначалии — и потерялось. В другом месте — подсчеты: сколько подписей, виз испещряют некоторые заводские документы. Но сокращение их числа рассматривается только с точки зрения экономии труда — «упрощения документооборота». А ведь есть и другая сторона дела: обилие подписей растворяет, распыляет ответственность людей за принятое решение.

Недавно в «Экономическую газету» пришло письмо секретаря одного из горкомов партии. Он спрашивал, «справедливы ли слухи» о том, что на предприятиях Мосгоссовнархоза освободили главных инженеров от текущих дел, связанных с выполнением плана, чтобы они всецело занимались перспективой, техническим прогрессом? Газета поместила подробный ответ, который вызвал многочисленные отклики. Проблема, следовательно, волнует многих. Но почему сведения подобного рода должны распространяться лишь в форме слухов? Почему наши ученые не изучат такой опыт, не скажут о нем свое слово? Видимо, потому опять-таки, что вопросы функций, обязанностей, прав работников в системе управления предприятиями выпали из поля зрения этих ученых, отодвинуты на задний план структурными проблемами. Вот и в рецензируемой книге есть только один краткий абзац об обязанностях директора и дру-

гой — не более обстоятельный — о главном инженере.

Есть вопрос, который волнует абсолютно всех руководителей предприятий. Речь идет о правах директора или, несколько шире, о правах предприятия. В нашей промышленности выросли замечательные кадры руководителей — плоть от плоти народа. В большинстве своем это люди, досконально знающие производство, экономику, умудренные житейским опытом, прошедшие хорошую партийную закалку. Они распоряжаются действиями сотен и тысяч людей, огромными материальными ценностями. Но при всем этом они подчас связаны всякими ограничениями, условиями, запретами. Ненужная опека, навязывание решений, а иногда и прямая подмена руководителей — все эти пережитки прежних лет дают о себе знать и сегодня.

К сожалению, авторы книги лишь кратко касаются этого там, где они протестуют против устаревшего порядка регистрации штатов. Но дело не только в штатах. Бесчисленными «поправками» и «разъяснениями» финансовых, плановых и других органов по существу сведены на нет или урезаны многие важные права, которые прежде предоставлялись руководителям предприятий. Как отмечалось на Пленуме ЦК, правовые положения, регламентирующие жизнь предприятий, устарели, не соответствуют современному этапу развития экономики. В новом Законе о социалистическом предприятии будет закреплено, как указывается в постановлении Пленума ЦК, дальнейшее расширение прав руководителей предприятий и строек, а также более активное участие коллективов трудящихся в управлении производством. Этому закону ждут с нетерпением на заводах, фабриках, в шахтах. Он нужен нашей промышленности, как воздух. И думается, что ученые, занятые проблемами управления, должны сказать свое слово, помочь законодательным органам.

А как директор использует свое рабочее время? Это ведь тоже небезынтересно. Как он проводит ежедневные «летучки» — диспетчерские совещания? (А может быть, они вовсе и не нужны?) Кто и какие приказы издает на заводе, с кем их предварительно согласовывает? Как следует наладить проверку исполнения поручений, приказов,

распоряжений? Каким образом организовать дело так, чтобы все работники аппарата были равномерно загружены, чтобы развивать их инициативу и самостоятельность в решениях и в то же время уберегать от ошибок? Есть руководители, которые, не доверяя аппарату, все берут на себя и потому многого не успевают сделать. А есть и другие: у них хватает времени и на то, чтобы по цехам «побродить» и в общегитие заглянуть, а иногда (предел мечтаний) даже почитать хороший роман.

Небольшая книга В. Ганштака и И. Розенберга побуждает задуматься над важными проблемами развития науки управления производством. Настала пора сосредоточить на разработке наиболее рациональных форм и методов управления предприятиями творческие силы экономических научно-исследовательских институтов и вузов. Может быть, пора возобновить издание общепромышленного журнала «Предприятие». Нельзя не присоединиться к авторам книги, когда они призывают активизировать изучение зарубежного опыта, — ведь за плечами капиталистов весьма давняя школа управления, и надо лишь разумно отменить все неприемлемое для нас, но широко использовать те стороны капиталистической организации производства, которые В. И. Ленин называл «рядом богатейших научных завоеваний».

В заключение книги авторы подсчитывают, что укрупнение предприятий, сокращение управленческих расходов, внедрение бесцеховой структуры и связанное с этим сокращение штатов, а также механизация инженерно-технических и административно-управленческих работ, связанных с вычислениями, дала бы годовую экономию лишь по заработной плате около одного миллиарда рублей. «К этому надо добавить, — замечают они, — еще экономию от повышения качества, точности и оперативности руководства и контроля за производством».

Вот что такое наука об управлении производством, вот какими обильными могут быть ее плоды, если заняться ею всерьез, повсеместно, практически. Цифры показывают, что любые силы и средства, затраченные на развитие этой науки, окупятся сторицей.

Д. ЛОПАТНИКОВ.

ЭТО И ЕСТЬ ПОДВИГ

Г. Г. Морехина. Рабочий класс — фронту. Соцэкгиз. М. 1962. 430 стр.

Если спросить сейчас любого молодого рабочего, знает ли он о движении тысячников и его инициаторе Дмитрие Босом, вряд ли кто-нибудь ответит утвердительно. Не слыхала нынешняя молодежь и об одной из первых женщин-шахтерок Екатерине Подорвановой, и о знатном сталеваре Ибрагиме Валееве...

А ведь эти имена в годы Великой Отечественной войны произносились рядом с именами Николая Гастелло и Александра Покрышкина, Людмилы Павличенко и Феодосия Смолячкова. Их знала вся страна. Это их руками, руками рабочего класса, в суровое для нашей родины время ковалась победа над врагом. Превозмогая холод, голод, страшную усталость, зачастую под артиллерийским обстрелом и бомбежкой, трудились тогда у станка пожилые рабочие, женщины, подростки.

К сожалению, наши писатели-историки слишком мало сделали для того, чтобы молодое поколение узнало о мужестве и трудовой доблести своих дедов, отцов и матерей. Речь идет о воспитании молодежи на славных традициях нашего рабочего класса. А традиции эти не имеют себе равных в истории.

В годы борьбы с германским фашизмом рабочий класс Советского Союза совершил поистине беспримерный трудовой подвиг, проявил чудеса героизма. Предстоит еще очень многое сделать, чтобы раскрыть величие его подвига. Это тем более необходимо, что долгое время и в художественной и в научной литературе под влиянием культа личности все заслуги в разгроме гитлеровской Германии зачастую приписывались одному человеку. Роль Коммунистической партии, рабочего класса, сознательной деятельности народных масс умалялась.

Рецензируемая книга — фундаментальное исследование роли советского тыла в годы войны. При этом автору удалось избежать обычно сопутствующего изданиям такого рода «академического» шаблона. Фактический материал здесь не теснит мысль. В книге много примеров трудового героизма тех, кого народ по праву называл гвардейцами труда.

Известно, что вследствие временных

преимуществ, которыми располагала фашистская Германия, а также ошибок и просчетов, допущенных Сталиным в руководстве страной, в оценке обстановки, сложившейся к началу войны, наши Вооруженные Силы оказались неподготовленными к отражению внезапного нападения врага. Вражеским армиям удалось прорваться к жизненно важным центрам Советского Союза.

Создалось критическое положение. Чтобы остановить, а затем отбросить и разгромить гитлеровские полчища, потребовались огромное напряжение всех сил народа, гигантская организаторская работа Коммунистической партии. В книге приводятся интересные документы и факты (о некоторых из них многие читатели узнают впервые), показывающие, как промышленность и транспорт в неимоверно трудных условиях перестраивались на военный лад.

Все для фронта! Все для победы! С первых же дней войны на заводах и фабриках началась военная трудовая вахта. Люди, еще вчера ничем не выделявшиеся, показывали образцы самоотверженного труда. Работали, не считаясь со временем, до полного выполнения заказов фронта. Брли обязательства выполнять нормы на двести, на триста процентов. Уже в первые дни войны началось замечательное патриотическое движение двухсотников, трехсотников, многостаночников.

Много места уделено в книге показу творческой инициативы масс. В те годы появился ряд новых форм социалистического соревнования, замечательных патриотических начинаний. Стремление заменить ушедших на фронт породило движение за совмещение профессий. Рабочие роликового цеха Первого московского подшипникового завода совмещали профессии наладчиков и слесарей-ремонтников. И небольшой коллектив, где осталось рабочих в пять раз меньше, чем было в начале войны, стал давать продукции значительно больше, чем прежде.

Потеря южных, западных и некоторых центральных районов европейской части страны вынудила переместить военное производство на восток, усилить темпы военной перестройки.

Слиянием ленинградского Кировского завода с Челябинским тракторным и Харьковским дизельным был создан Уральский Кировский танковый завод. В течение трех недель на площадке завода было смонтировано большое количество оборудования. Танки начали изготавливать в недостроенном здании, в трудных условиях уральской зимы. В сборочном цехе разводили костры. Работа не прекращалась ни на один час.

На самых трудных участках стояли коммунисты. Фрезеровщик Пронин, выполняя срочное задание, семьдесят два часа не покидал рабочего места. Коммунисты паросилового цеха Тимошин, Зенин, Акулькин за трое суток выполнили такую работу, на которую в обычных условиях затрачивалось десять дней. В ноябре 1941 года тяжелые танки с маркой Кировского завода начали поступать на фронт и приняли участие в разгроме немцев под Москвой.

Производительность труда росла не только за счет самоотверженной работы людей. В годы войны колоссальный размах приобрело рационализаторское движение. Бригадир комсомольско-молодежной бригады авиационного завода Василий Голошапов за период войны внес сто пятьдесят рационализаторских предложений. Внедрение в производство лишь одного из них дало пятьдесят тысяч рублей экономии в год и позволило перевыполнять задание в четыре — семь раз.

Бессмертную страницу в историю своего родного города вписали рабочие Ленинграда. В условиях блокады, голода, холода, непрерывных бомбежек и артиллерийских обстрелов рабочие и инженерно-технические работники проявили чудеса героизма. Около четырехсот промышленных предприятий выпускали полтора раза видов военной продукции. «Можно без похвалы сказать, — писал М. И. Калинин, — лучшим украшением Ленинграда является его пролетариат, настоящий хозяин города. Поэтому-то этот славный город и носит великое имя Ленина».

Автор приводит такое примечательное сравнение. Если милитаризация экономики фашистской Германии заняла около десяти лет, а Соединенным Штатам и Англии для перестройки промышленности в сравнительно благоприятных условиях потребовалось два-три года, то Советский Союз в тяжелой обстановке войны, эвакуации материальных ценностей и населения, отвле-

ния на фронт большого количества рабочих, служащих и инженерно-технического персонала сумел переключить промышленность на военное производство в течение трех-четырех месяцев. Это ли не яркое свидетельство неизмеримого преимущества социалистического строя перед капиталистическим!

Говорить о делах рабочего класса в годы войны — значит в первую очередь рассказать о высоком патриотизме советских женщин, нашей молодежи.

Женщины стали решающей силой военного хозяйства Советского Союза, подчеркивается в книге. И это действительно так. Уже в первый период войны удельный вес женщин в тяжелом машиностроении составил пятьдесят пять процентов, в угольной промышленности — около сорока процентов. Женщины овладели сложными мужскими профессиями. Первой в стране медеплавильщицей стала студентка педагогического института Александра Степанова (на Красноуральском медеплавильном заводе), Фаина Шарунова была первой в Советском Союзе женщиной, освоившей на Ново-Тагильском заводе «мужскую» специальность горнового. Трудна профессия вальцовщика, и далеко не всякий мужчина мог освоить ее; тем более недоступной казалась она женщинам. Но раз это нужно для родины, молодые работницы московского завода «Серп и молот» Пикулина, Виноградова и Боброва стали вальцовщицами. Немало женщин в дни войны пришло на железнодорожный транспорт. Они водили локомотивы, работали начальниками станций и участков, слесарями в депо.

Призыв партии о всемерной помощи фронту вызвал огромный энтузиазм молодежи. Сотни тысяч юношей и девушек пришли на фабрики и заводы, овладели производственными специальностями. Только в первые дни войны к станкам стали сто пятьдесят тысяч студентов. В промышленности значительно возросла численность подростков: уже в 1942 году в народном хозяйстве страны их было без малого миллион триста тысяч, причем одна четвертая часть — в возрасте до шестнадцати лет.

На военный лад была перестроена работа ремесленных и железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского образования, они не только обучали молодежь, но и выполняли разнообразные заказы для фронта. Учащиеся добывали уголь, руду, нефть,

плавил чугун, строили жилые здания и заводские корпуса, изготавливали мины, автомашины, гранаты и другую боевую технику.

В ремесленных училищах, так же как и на заводах, развернулось движение тысячников. По примеру знатного токаря Дмитрия Босого комсомолец — учащийся ремесленного училища № 9 в городе Нижний Тагил фрезеровщик Толя Буцан стал выполнять по десять — двенадцать норм в смену, организовал первую фронттовую бригаду «ремесленников», которая была известна под названием «Бесенята». Правительство наградило Толю медалью «За трудовую доблесть».

К своим рабочим местам вернулись сотни тысяч ветеранов труда, ушедших до войны на заслуженный отдых. За двоих трудился шестидесятидвухлетний сталевар Магнитогорского комбината Мирон Сысолятин. У него на фронте было три сына, два зятя и семнадцать внуков. «Не уйду с завода, — говорил он, — пока не загоним в гроб проклятого врага».

Кадры рабочего класса пополнялись и за счет инвалидов Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не могли вернуться в строй. Бывшие фронтовики обучались новым профессиям, становились воспитателями молодого поколения рабочих.

Наступление советских войск и изгнание с советской земли немецко-фашистских оккупантов создали условия для восстановления разрушенного врагом народного хозяйства. Потребовалось новое напряжение сил рабочего класса.

Рабочие с радостью возвращались на родные заводы, шахты, электростанции. Никого не пугали трудности и опасности,

подстерегавшие людей на каждом шагу: заминированные здания, невзорвавшиеся мины и снаряды, отсутствие жилищ, света, воды. Каждый стремился скорее начать работу, оказать помощь фронтовикам.

Развернулось народное движение за быстрее восстановление разрушенных городов. В то время страна узнала о замечательном почине жительницы Волгограда Александры Черкасовой, которая призвала своих земляков в свободное от основной работы время помогать строителям возродить из руин родной город. Патриотическое начинание Черкасовой было подхвачено жителями Киева, Минска, Смоленска и многих других городов.

Великая цель — защита социалистического отечества — породила в рядах рабочего класса, всего советского народа великую энергию. Коммунистическая партия вдохновила трудящихся на героические дела.

Жаль, что автор не осветил трудового подвига рабочего класса среднеазиатских и закавказских республик. Книге не хватает компактности, стройности, встречаются повторения, неоправданно растянута первая часть (она вообще могла быть введением), не всегда достаточно душевности при описании подвигов людей. Все это в какой-то мере снижает ценность труда, однако не может умалить главного его достоинства, суть которого в убедительном утверждении: всемирно-историческая победа Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне была бы немыслима без самоотверженных усилий героического рабочего класса нашей страны.

М. ГУТИН,

кандидат исторических наук.



ОНИ РИСКОВАЛИ ЖИЗНЬЮ

Гуго Глязер. Драматическая медицина. Опыты врачей на себе. Перевод с немецкого В. Хорохордина. Предисловие и научная редакция Б. Д. Петрова. «Молодая гвардия». М. 1962. 208 стр.

Как часто мы не замечаем грандиозных успехов медицинской науки нашего времени! Более того, мы склонны преувеличивать ее слабые стороны и нередко без достаточных оснований (и знаний!) рассуждаем о «беспомощности» и ошибках врачей. Профессия врача далеко не всегда окружена в нашем сознании тем ореолом почета и уважения, которого она заслуживает.

Все ли мы знаем, какой героический путь прошла медицина, прежде чем стала современной наукой? Ведь еще совсем недавно она действительно была беспомощной... Черная смерть — чума победно шествовала по Азии и Европе, оставляя за собой горы трупов, обезлюдившие города и обезумевших от страха уцелевших жителей. Больные корчились от боли во время опе-

раций. Жестокие эпидемии холеры, оспы, малярии, тифа разоряли целые страны, а укусы бешеной собаки грозил неминуемой смертью.

Все это далеко позади! Но для того и существует у людей память, чтобы они помнили тех, кто отдал жизнь и здоровье в борьбе с заразными болезнями, кто, жертвуя собой, подарил человечеству профилактические прививки, лечебные сыворотки, антибиотики, необычайно тонкие и точные методы исследования организма, победу над болью.

Об этом умно и тактично написал профессор Гуго Глязер — выдающийся ученый и общественный деятель, председатель Общества австро-советской дружбы, известный нашему читателю по монографии «Исследователи человеческого тела от Гиппократ до Павлова». Гуго Глязер глубоко интересуется историей русской медицины. Он тесно связан с советской медицинской общественностью, удостоен звания почетного доктора Первого Московского медицинского института.

Не секрет, что до сих пор среди определенного круга зарубежных исследователей считается «хорошим тоном» игнорировать достижения русской советской медицинской науки. Наши работы нередко отсутствуют в научных обзорах, многие из них не удается обнаружить в библиографических указателях. Гуго Глязер свободен от такой «забывчивости». Он отмечает огромный вклад, который внесли русские и советские врачи в развитие мировой медицинской науки.

Без нажима и аффектации, без громких слов рассказывает автор о трагических событиях в истории медицины, о трудных, подчас бесплодных поисках, блистательных победах и горьких, но равных победам поражениях.

Книга имеет подзаголовок: «Опыты врачей на себе». Не сказано только, что опыты эти, как правило, смертельно опасные, они грозили их «авторам» тяжелой болезнью и даже гибелью. Тот, кто сознательно шел на подобные опыты, никогда не был заранее уверен, что все кончится благополучно.

Иногда это были бесполезные жертвы, ничего не давшие для разгадки той или иной тайны. Но неудачи ничуть не умаляют мужества и самопожертвования врачей, которые ставили под угрозу свои жизни в надежде на успех. Они вовсе не считали себя героями.

Один за другим проходят перед читателем герои «драматической медицины», среди которых немало «маленьких великих людей», как их назвал Максим Горький. Наряду с хорошо знакомыми именами Мечникова, Марциновского, Орбели, Броун-Секара, Пуркине и другими мы встречаемся на страницах книги с советскими врачами Кутейшиковым, Бернгоффом, Дассер, которые в поисках возбудителя сыпного тифа в течение многих дней питали своей кровью платяных швей, снятых с тифозных больных, мы узнаем о немецком враче Линдмане, который привил себе отделяемое сифилитической язвы, чтобы доказать заразность второй стадии этой неясной и еще малоизученной тогда болезни.

Автор вспоминает о враче Кларе Фонти, которая предприняла попытку заразить себя раком, чтобы доказать его вирусную природу.

По страницам книги проходят безвестные, безымянные солдаты медицины, заражавшие себя неизлечимыми болезнями, подставлявшие тело укусам ядовитых змей и отвратительных насекомых — переносчиков малярии, сонной болезни, тропической лихорадки, тифа, без страха вводявшие себе в кровь непроверенные яды.

В начале девятнадцатого века английский врач А. Уайт намеренно привил себе чуму. Сделав надрез на правом предплечье, он внес в рану некоторое количество гноя, полученного из железы женщины, болевшей бубонной чумой. Через некоторое время Уайт заболел и умер. Аналогичные опыты ставили на себе французы Рене Деженет и Антуан Клот, австриец Алоис Розенфельд и многие другие врачи. Одни тяжело болели, другие выздоравливали, третьи погибали.

Сколько мужества надо иметь, чтобы провести на себе опыт, о котором с протокольной сухостью пишет французский врач А. Ф. Бюлар: «15 мая 1834 года в 9 часов утра я снял с себя в зале госпиталя для больных чумой в Эзебекви в присутствии всего персонала верхнюю одежду, рубашку и фланелевое нижнее белье и надел, не принимая никаких мер предосторожности и защитных средств, рубашку мужчины, заболевшего тяжелой формой чумы. Эта рубашка еще сохраняла тепло чужого тела и была вся в крови, так как больному пустили кровь. В присутствии большинства свидетелей этого эксперимента я оставался

целый день, чтобы все могли убедиться, что я не принимаю никаких защитных средств для нейтрализации возможных последствий эксперимента. Я ходил в этой рубашке 48 часов, не чувствуя ни обычных симптомов, ни чего-либо другого, что могло бы перейти на меня с этой одежды...»

Бюлар не заболел. Он продолжал свои исследования. И он и его товарищи стремились показать, что дикий, бессмысленный страх перед чумой, парализовавший всю экономическую жизнь страны, необоснован. Не каждый заболевает даже в те дни, когда свирепствует эпидемия.

Какой силой воли должны были обладать Макс Петтенкофер, Илья Мечников, Владимир Хавкин, Николай Гамалея, Даниил Заболотный, Иван Савченко, каждый из которых с разной целью, но одинаковой опасностью вводил в организм миллиарды холерных вибрионов! Семидесятилетний профессор-гигиенист Петтенкофер выпил культуру возбудителя холеры, чтобы доказать (кстати, абсолютно недоказуемую!) безопасность холерной «запятой». Ученые до настоящего времени не могут с уверенностью ответить на вопрос, почему же Петтенкофер не заболел холерой. Опыт его был не только бесплоден, но и отодвинул на долгие годы познание истины.

Однако героями были не только те, кто заражал себя чумой, сифилисом и другими инфекционными болезнями. Как много было медиков, подвергавших себя влиянию самых разнообразных факторов, внешне безразличных, но всегда неизведанных и нередко опасных для здоровья! Биография чешского физиолога Яна Пуркина — это длинный перечень опытов на самом себе. Он испытывал действие до него не изученных лекарственных и ядовитых веществ — ревеня, различных солей, александрийского листа, опиума, камфары, каломели, ряда рвотных препаратов, красавки и других. Это был непроторенный путь — путь, на котором смелого экспериментатора подстерегали самые неожиданные опасности.

Первое внутривенное вливание, казавшееся в то время смертельным, сделал себе во второй половине семнадцатого века хирург Матеус Готтфрид Пурман. А немецкий врач Вернер Форсман в 1928 году впервые ввел в свое сердце через локтевую вену тонкую резиновую трубку и этим положил начало необычайно точному исследованию деятельности сердечно-сосудистой системы.

Вероятно, немногие знают, что немецкий врач Линдеман в 1955 году переплыл на лодке-пироге Атлантический океан, чтобы на самом себе изучить физиологические трудности и стихийные опасности, угрожающие потерпевшим кораблекрушение. Двое участников знаменитого высотного полета Тиссандье, поднявшегося в 1875 году на воздушном шаре, были врачи Кроче-Спинелли и Сивель. Они изучали высотную болезнь и стали жертвами опыта на себе. Оба погибли от недостатка кислорода, и их имена навеки вписаны в историю космической медицины.

Выдающийся советский физиолог Леон Абгарович Орбели «поднялся» однажды в пневматической камере на высоту двенадцати тысяч метров. Это едва не стоило ему жизни, но не помешало провести еще один небезопасный эксперимент в подводной лодке, лишенной подачи кислорода.

Одна из ярких глав в истории медицины — открытие обезболивания — также вписана врачами, экспериментировавшими на себе. Тернистым путем ошибок и неудач шло человечество к победе над болью. И только в прошлом веке, когда методы обезболивания с триумфом распространились по всему земному шару, сметая на своем пути религиозный фанатизм, невежество, косность, традиции и привычки, человек подошел вплотную к устранению, хотя бы на время, этого друга, который так часто превращается в жестокого врага.

В 1844 году зубной врач Горасий Уэлз, житель маленького американского городка Хартфорда, присутствуя на лекции местного профессора-химика, который демонстрировал свойства «веселящего газа» — закиси азота, обратил внимание, что один из обывателей городка так «развеселился» от вдыхания газа, что разбил себе ногу, но не почувствовал ни малейшей боли. На следующий день Уэлз пригласил к себе домой другого зубного врача — доктора Риггса, который удалил у него зуб после того, как Уэлз был «оглушен» веселящим газом. Уэлз не почувствовал боли и говорил только о легком покалывании. Но ему не повезло. Открытие его прошло незамеченным. После долгой борьбы за приоритет он заболел нервным расстройством и покончил самоубийством.

Официальная дата открытия наркоза — 16 октября 1846 года. В этот день бостон-

ский зубной врач Вильям Томас Мортон впервые применил эфирный наркоз при операции удаления небольшой опухоли. Про Мортон говорили, что он вошел в операционную никому не известным дантистом, а вышел из нее всемирно прославленным ученым. Однако, прежде чем применить наркоз, Мортон неоднократно пробовал действие эфира на себе.

Через год шотландский врач, акушер и гинеколог Джеймс Симпсон применил для наркоза хлороформ. Наркотизирующие свойства этого вещества были уже известны, но честь внедрения хлороформа в медицинскую практику принадлежит Симпсону, который много раз пробовал его на себе.

Русская научная мысль сразу откликнулась на открытие обезболивающего действия эфира. Уже в феврале 1847 года великий русский хирург Николай Иванович Пирогов три раза оперировал под эфирным наркозом. Сначала на животных, затем на себе. Пирогов детально изучил действие эфира. Огромную помощь оказал ему в этом отношении профессор физиологии Московского

университета Алексей Филамофитский. В своих исследованиях Пирогов и Филамофитский не ограничивались серным эфиром. Они использовали с целью наркоза также хлороформ, а впоследствии и пары бензола. Значительная часть их исследований была проведена на себе.

Разумеется, книга Глязера не исчерпывает всех случаев самопожертвования врачей. История медицины знает немало подобных примеров. Чтобы убедиться в этом, достаточно перелистать подшивки газет, познакомиться с биографиями современных деятелей медицины, наконец пристальней присмотреться к будничной работе рядового врача.

Небольшая по объему, но насыщенная богатым содержанием книга Гуго Глязера — это летопись мужества и героизма медицинских работников. Она красноречиво говорит о том, что беспредельное умение жертвовать собой — не только обязанность, но и внутренняя потребность настоящего врача.

Профессор Г. КАССИЛЬ.

★

МАНИФЕСТ УИЛЬЯМА ДУГЛАСА

William Douglas. Manifest of democracy. Doubleday and Company. New-York. 1962
(Уильям Дуглас. Манифест демократии. Издательство «Даблдей». Нью-Йорк. 1962).

В последнее время на страницах американской буржуазной прессы все чаще звучат тревожные признания: политический курс Соединенных Штатов не оправдывает себя. Престиж и авторитет страны, претендовавшей в послевоенные годы на роль руководителя капиталистического мира, падает. Идеологи буржуазии пытаются нащупать пути, которые помогли бы восстановить потерянное, вернуть доверие к американской политике.

С этой точки зрения весьма примечательна книга Уильяма Дугласа — члена Верховного суда США — «Манифест демократии», изданная недавно в Нью-Йорке. Автор книги — видный человек в США. Это близкий к правящим кругам опытный и искушенный политик, объездивший весь свет (несколько лет назад он побывал и в Советском Союзе). И если он говорит о провалах и просчетах американской политики, а главное — приходит к выводу, что

ее следует пересмотреть, то это, несомненно, заслуживает внимания.

Уильям Дуглас не скрывает, что политика «с позиции силы» не оправдала себя. С горечью и тревогой пишет он о том, что расчет на военную мощь и устрашение этой мощью не только не укрепили влияния США на Западе, но, наоборот, вызвали всеобщее неодобрение. Он говорит о росте антиамериканских настроений повсюду — в Европе, Африке и Азии. «Американские военные миссии образовали во многих странах большие колонии, — пишет он. — Эти колонии бросались в глаза; временами их голоса были хрипылыми и громкими: они всегда жили отдельно от местного населения, не говорили на его языке и как законченные колонизаторы смотрели свысока на местных жителей... В глазах простых людей Азии, Ближнего Востока и Среднего Востока мы склонялись к войне. Мы окружили Россию кольцом аэродромов, на которых

наши бомбардировщики и истребители день и ночь находились в боевой готовности... Мы приобрели известность благодаря своим генералам, а не работникам системы образования, благодаря военным базам, а не центрам оказания первой помощи или больницам, благодаря военным стратегам, а не философам».

Все это, конечно, верно. Как и признание Уильяма Дугласа, что «помощь» предоставляется Соединенными Штатами другим странам не для того, чтобы улучшить их экономическое положение, не для того, чтобы повысить жизненный уровень людей, но чтобы закрепиться в этих странах, подчинить их американским интересам. Дуглас приводит примеры той нищеты и отсталости, которая царит на территориях, чьи правители подкармливаются долларами. Земля, деньги — все это в руках небольшой горстки феодалов, но зато американцам предоставляется право беспрепятственно хозяйничать, создавать свои базы, эксплуатировать природные богатства.

Но не будем идеализировать мистера Дугласа, крупного капиталиста и выразителя интересов правящих классов США. Все это беспокоит его отнюдь не из моральных побуждений. Нет, Уильям Дуглас видит, что народы слаборазвитых стран поднимаются в борьбе против империалистов, что все больше и больше бывших колоний становятся независимыми государствами. Он сознает, что миллионы людей во всем мире перестали верить американской пропаганде и прислушиваются к голосу коммунистов. «Коммунизм — хотя он и не представляет собой неотразимую волну будущего, но он развивается быстрее свободного общества», — пишет Дуглас, имея в виду капиталистический мир. Он объясняет это тем, что американская аргументация во всех важнейших спорных международных вопросах шатка. У США базы во всех странах, граничащих с Советским Союзом. Как же можно отказать СССР в праве создавать базы на Кубе, в Мексике или Канаде? А если Советское правительство не делает этого, то естественно, что оно выглядит в представлении народов миролюбивым...

Дуглас останавливается на германской проблеме, на вопросе о Западном Берлине. И здесь он видит просчеты американского внешнеполитического курса: политика переговоров и заключения мирных договоров кажется общественности более привлека-

тельной, нежели жесткое и упорное нежелание сделать шаг навстречу Востоку. Дальше, пишет Дуглас, так продолжать нельзя. «Мы одержимы холодной войной», — признает он и предлагает пересмотреть курс, не оправдывающий себя.

Итак, Уильям Дуглас достаточно трезво судит о просчетах Запада и прежде всего Соединенных Штатов. Это само по себе показательно и интересно. Но, конечно, еще большего внимания заслуживает вторая часть его книги — «манифест», программа, которую предлагает он для спасения позиций США в мире. Тут центр тяжести перенесен на политику по отношению к слаборазвитым странам Азии и Африки. «Манифест демократии», точнее «манифест перекрашенного колониализма», очень хитроумен и тонок. Уильям Дуглас строит свои расчеты на обмане народов слаборазвитых стран. Прежде всего он заверяет, что США — ярые, страстные противники колониализма. У США нет колоний, говорит он, естественно, умалчивая о том, что вся история североамериканского империализма — это история угнетения, эксплуатации более слабых стран. Разве многие из латиноамериканских стран — не фактические колонии США? И не потому ли американские правители так ненавидят свободную Кубу, что из их рук ускользнул лакомый кусок?

Уильям Дуглас достаточно умен, чтобы понять: прежними методами ничего не добьешься. И он советует действовать по-иному. Для видимости он рассуждает об экономической, социальной и политической демократии, которая должна быть предоставлена слаборазвитым странам. Кто будет осуществлять ее? Дуглас, конечно, не верит, что африканцы и азиаты могут сами управлять своей судьбой. Это по плечу только американцам — неким перекрашенным, «тихим» и «добрым» американцам, которые будут не просто вкладывать деньги в слаборазвитые страны во имя получения прибылей, но обусловят свои займы и субсидии проведением реформ. Что и говорить, на первый взгляд реформы, предложенные мистером Дугласом, кажутся очень привлекательными — развитие водоснабжения, постройка больниц и школ, внедрение современных методов сельского хозяйства. Но оговорки автора «манифеста» сводят на нет это впечатление. Он против того, чтобы «богатства немногих были распределены

среди многих». Это, утверждает Дуглас, снизило бы производительность труда на полях. Нет, земля должна по-прежнему оставаться в руках горстки богачей. Он отвергает лозунг «Землю — безземельным!». Нетрудно догадаться почему: с крупными землевладельцами легче договориться.

Дуглас намечает широкую программу американской экспансии и советует не жалеть капиталов — они окупятся. Тут и подготовка специалистов во всех областях, чтобы «они могли стать нашими эмиссарами в любой стране», и создание американских школ, американских больниц, но прежде всего — целая сложная программа идеологического завоевания умов путем издания книг, брошюр, листовок для пропаганды идей, угодных мистеру Дугласу.

Автор книги распинается в верности принципам Линкольна, он цитирует великого американца, который считал всех людей равными, независимо от цвета кожи и расовой принадлежности. Но весь его труд пронизан идеей превосходства белых. Именно они, по Дугласу, должны нести цивилизацию, руководить жизнью африканских и азиатских народов. И не просто белые, а американцы. Старые колониальные державы, считает Дуглас, действовали неуклюже, непродуманно. Потому они и потеряли все.

Статус-кво сохранить нельзя. Нужна новая, гибкая политика...

«Мы упустили большинство возможностей, которые имели после первой мировой войны, — пишет Дуглас. — По мере ухудшения международной обстановки нам во все больших дозах давали успокоительное. Нас уверяли в безопасности, покоящейся на нашей военной мощи. Мы можем быть в два раза сильнее всех великих держав, вместе взятых, и все же быть свидетелями того, как Азию, и Африку, и Южную Америку охватывают революции, которые наше оружие не может остановить».

Эти строки из заключительной части книги Уильяма Дугласа — ключ к пониманию того, во имя чего он и другие американские политические деятели призывают к пересмотру политики, изобретают манифесты, давая им пышное название «демократии». Оружие бессильно преградить избранным народами путь к свободе. Азию, Африку, Южную Америку потрясают революции. Дуглас прав. Но столь же бессильна программа политического обмана, которую он проповедует. Империалисты остаются империалистами, колонизаторы — колонизаторами, в какой бы цвет они ни перекрашивались. Народы знают это.

А. БЕЛЬСКАЯ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

КВАМЕ НКРУМА, Президент Ганы. **Я говорю о свободе. Изложение африканской идеологии.** Перевод с английского. Издательство иностранной литературы. М. 1962. 304 стр. Цена 1 р. 37 к.

В книге президента Ганы Кваме Нкрума показано, как шаг за шагом шла к свободе эта старейшая английская колония, первой разорвавшая цепи британского колониализма.

На всем протяжении книги от предисловия до последней главы автор проводит идею о единстве многочисленных стран Африки в борьбе за достижение своих целей, как правило, общих для всех стран Черного континента. «Африканские государства... — пишет он, — действуя в одиночку, мало что могут сделать для своих народов. Но объединенными усилиями они могут добиться многого».

На примере бывшей английской колонии Золотой Берег (золотой он был, разумеется, только для колонизаторов) автор показывает, насколько тернистым был путь к свободе многих колоний и что свобода не преподносилась им колониальными державами в качестве дара, а завоевывалась угнетенными народами в многолетней борьбе, сопряженной не только с многочисленными трудностями и лишениями, но и многочисленными человеческими жертвами.

Недаром более десятилетия назад созданная Кваме Нкрума газета «Аккра ивнинг ньюс» (теперь она называется «Ивнинг ньюс») писала: «Ничто — ни пули, ни английские войска — не удержит нас от решительного продвижения к цели — полному самоуправлению и независимости... Мы всегда должны помнить, что империализм идет на уступки лишь тогда, когда не может поступить иначе».

В отношении Ганы империализм пошел на уступки пять лет назад, будучи вынужденным предоставить ей независимость. С тех пор Гана показывает пример самостоятельного развития молодого независимого государства на африканском континенте.

Книга имеет подзаголовок: «Изложение африканской идеологии». Точка зрения Кваме Нкрума как одного из выдающихся африканских лидеров и идеологов, безусловно, представляет интерес для советского читателя. Наиболее ярко она изложена в

широко известной речи Нкрума в Организации Объединенных Наций 23 сентября 1960 года. Ее основные положения: ООН должна призвать все страны покончить с остатками колониализма; ни одно африканское государство не должно вступать ни в какие военные союзы с неафриканскими державами; вся Африка должна быть свободной и единой.

В. Молчанов.

★

И. Г. ЛЕВИТАС, М. А. МОСКАЛЕВ, Е. М. ФИНГЕРИТ. **Революционные подпольные типографии в России (1860—1917 гг.).** Госполитиздат. М. 1962. 376 стр. Цена 66 к.

Это уже стало обыденным фактом: жители городов, расположенных за тысячи километров от Москвы, получают «Правду», «Известия» и некоторые другие центральные газеты в день их выхода в столице. Газеты напечатаны с матриц, доставленных самолетами.

Интересно, что еще в начале нынешнего века в подпольных типографиях в Баку, Кишиневе и в других городах по инициативе В. И. Ленина «Искра» печаталась с матриц, доставляемых из-за границы. Труд мужественных подпольщиков был исполнен опасностей. Находясь под неослабной слежкой агентов царской охранки, работники тайных большевистских типографий в тяжелых условиях творили свое благородное дело. В плохо освещенных душных подвалах, сутками без сна и отдыха, они набирали и печатали листовки, прокламации, газеты, распространявшие слово большевистской правды.

Еще в годы сибирской ссылки Ленин живо интересовался конструкцией портативного оборудования для подпольных типографий. В лондонской коммуне искровцев, где ежедневно бывал В. И. Ленин, проводились опыты печатания «Искры» с целлюлоидных клише, без набора и без стереотипа (кстати, над этим способом работают и сейчас в советской полиграфии).

Здесь делались конспиративные переплеты, изготовлялась мебель с тайниками. Поразительную изобретательность проявляли подпольщики, изыскивая новые способы работы тайных типографий.

Много интересного и нового найдет читатель в книге «Революционные подпольные

типографии в России». Авторы проделали немалый труд, чтобы собрать множество ценнейших материалов, рассеянных по различным, иногда просто чудом сохранившимся архивам.

О масштабах деятельности подпольных типографий достаточно убедительно говорит тот факт, что тайные типографии существовали в ста пятидесяти городах и рабочих поселках царской России: в Москве, Петербурге, Харькове, Тифлисе, Томске, Иркутске, Минусинске и в других местах. 15 декабря 1895 года в Твери была издана листовка, в которой впервые было опубликовано точное название созданной Лениным организации — «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Вслед за первыми листовками начали появляться бесцензурные рабочие газеты.

Взрывчатая сила печатного станка была поставлена на службу великому делу освобождения народа от ига самодержавия, делу пролетарской революции, делу строительства социализма.

А. Иглицкий.

★

ПЕЧАТЬ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. Западная Европа. Америка. Австралия. Госполитиздат. М. 1962. 416 стр. Цена 87 к.

На страницах нашей прессы читатель сталкивается со множеством источников иностранной информации — газет, еженедельников, журналов. Рядовому читателю не всегда легко разобраться в направлении того или другого издания, кому оно служит, понять его позиции по коренным проблемам современности. А пропагандист, лектор, агитатор и специально интересуется этими вопросами. Книга, о которой идет речь, совсем недавно увидела свет — это первый опыт издания такого рода, — и, хотя не все собранные в ней данные равноценны, она, безусловно, будет по достоинству оценена теми, кто интересуется международной жизнью и особенно печатью зарубежных стран.

Помимо кратких статей, содержащих общую характеристику печати отдельных государств, в ней имеются основные сведения о деятельности телеграфных агентств, издательских концернов, газет и журналов двадцати стран Западной Европы, тридцати восьми стран американского континента, Австралии и двух прилежащих к австралийскому матерiku государств — Фиджи и Новой Зеландии. Справки о важнейших печатных органах каждой страны расположены в алфавитном порядке. В них указано русское значение названия органа, кому он принадлежит, его «возраст», место издания, политическая позиция и т. д. Все это позволяет свободнее ориентироваться в потоке зарубежной прессы, так сказать, «осознаннее» воспринимать непонятные названия печатных органов, яснее представлять себе, что они на самом деле заключают в себе. Теперь, например, тот, кто не знает английского языка, будет знать, что нередко встречающееся в нашей прессе название

«Крисчен сайенс монитор», несмотря на весьма энергичное звучание этих слов, в переводе означает «Наставник христианской науки»; что смиренный смысл названия и небольшой тираж (160 тысяч) находятся в некотором противоречии с тем ведущим местом, которое занимает эта влиятельная и вполне светская по духу газета; что она поддерживает официальную политику американского правительства, хотя по ряду вопросов выступает с критикой его и призывает к более доброжелательной политике в отношении СССР.

Немало любопытных и нужных сведений почерпнет читатель из этого полезного справочника.

Л. Лерер.

★

Л. П. КРАЙЗМЕР. Бионика. Госэнергоиздат. М.—Л. 1962. 72 стр. Цена 16 к.

За миллиарды лет своего эволюционного развития живые организмы выработали в себе такие совершенные аппараты приспособления к окружающей среде, тонкость и надежность которых нас поражает. В век электроники и космических кораблей человек, творя чудеса техники, часто превосходящие силы природы, продолжает все же многому у нее учиться. Исследуя реакцию пчелы на световые раздражения, ученые разработали новый указатель скорости движения самолета относительно Земли, а моделирование глаза рыбы-мечехвоста позволило построить электронный аппарат, который повышает контрастность изображения и незаменим при расшифровке аэрофотоснимков.

Подобными совершенными аппаратами и приспособлениями полон окружающий нас мир живых организмов. Каким образом, например, кузнечик удается ощущать колебания земной коры, амплитуда которых меньше половины диаметра атома водорода? Что помогает гремучей змее воспринимать инфракрасные лучи, ощущать изменение температуры на одну тысячную градуса? В чем сила «антенны» трех нервных волокон уха бабочки, воспринимающей на расстоянии нескольких десятков метров ультразвуки, издаваемые летучей мышью?

Раскрытием этих тайн, изучением биологических систем и процессов с целью применения их принципов в современной технике занимается бионика — новое научное направление, родившееся в самые последние годы, вслед за кибернетикой. Опыт показал, что имитировать свойства живых организмов важно не только для совершенствования и конструкции отдельных приборов. Идеи бионики используются для дальнейшего развития кибернетической техники и преодоления недостатков современных электронных машин.

В небольшой книжке Л. П. Крайзера и рассматриваются главным образом эти проблемы. В ней читатель найдет популярно изложенные идеи моделирования основного структурного элемента нервной системы — нейрона, рассказ о механизмах хра-

нения информации, о памяти машины и человека, о запоминающих устройствах, о созданных уже приборах, моделирующих условные рефлексы, и т. д. Внимание читателя-неспециалиста привлечет раздел о новом достижении кибернетики — перцептроне, предназначенном для автоматического восприятия и опознания зрительным образом. Как указывает автор, в принципе возможно также создание кибернетических устройств, моделирующих органы слуха, обоняния, осязания... Развитие автоматизации в этом направлении позволит осуществить взаимодействие кибернетических машин с внешней средой.

Если не считать специальных работ и статей, опубликованных в различных сборниках и научных журналах, литература по биионике еще очень бедна. В 1961 году Государственное издательство физико-математической литературы выпустило две книги — Д. Гриффина «Эхо в жизни людей и животных» и М. Г. Гаазе-Рапопорта «Автоматы и живые организмы». Книга Л. П. Крайзера содержит ряд новых интересных материалов, показывающих большое будущее нового научного направления.

С. Смуглый.

★

БОРИС ЗАХОДЕР. Товарищам детям. Стихи. Детгиз. М. 1962. 192 стр. Цена 43 к.

Как часто еще польза от той или иной детской книги измерится унылыми мерками ученой дидактики, а главной заслугой того, кто пишет для детей, почитается возможность получения им прочувствованного письма от раскаявшегося первоклассника.

С вышеуказанной точки зрения, книга Бориса Заходера «Товарищам детям» одобрения не заслуживает: ведь ни у одного из ста пятидесяти тысяч ее читателей (допустим, что их количество оказалось равным ее тиражу) не окажется повода написать такое письмо. Но польза от книги этой есть, и большая. Сто пятьдесят тысяч возможных, а говоря точнее, обязательных читателей Заходера проведут несколько драгоценных часов своей ребячьей жизни, такой важной для всей их дальнейшей судьбы, в обществе человека, который хочет, чтобы «товарищи дети» стали потом не только во всех смыслах положительными, но еще и веселыми, легкими людьми — остроумными и не боящимися смеха, любопытными и обладающими свежестью, непосредственностью взгляда на все в этом мире.

Самое хорошее в книге поэта — его верность природе детского юмора. Здесь много острот, но это остроты не только понятные ребятам, но и близкие их пониманию смешного. Здесь есть и тонкое ощущение музыки, ритма, «в к у с а» слова — тоже естественное, тоже не стилизованное.

В сюжетах Б. Заходер слабее. Менее интересными кажутся и случаи из жизни не

слишком прилежных приятелей, и зарисовки детей, играющих во взрослые профессии. Когда же Заходер делает свои крохотные «физиогномические очерки» животных, или басни, или подписи-эпиграммы, это получается отлично.

Борис Заходер много и искусно переводит и пересказывает с английского, с польского. Его «Винни-Пух и все остальные» прочно вошел в круг чтения наших ребят. Заходер не из числа тех поэтов, которые просто переключаются для детей иноземные произведения, он умеет сделать их фактами русского стиха.

В своем предупреждении читателю, котрым открывается сборник, поэт сказал, что хотел написать книжку, на которую не жалко было бы потратить время, которая была бы не скучной и обязательно смешной. Так оно и получилось.

В. Шитова.

★

Р. КИМ. Агент особого назначения. Кобра под подушкой. Приключенческие повести. «Советский писатель». М. 1962. 320 стр. Цена 56 к.

«Люди с древнейших времен следили друг за другом и надували друг друга», — пишет автор этой книги. Нужно ли говорить о том, что там, где обманы и вражда, всегда присутствуют и тайны и зловещие приключения?

Не только захватывающий сюжет и убедительность психологических характеристик отличают произведения Р. Кима: они в значительной мере основаны на фактах реальной действительности. Кроме того, автор — ученый-востоковед и талантливый журналист — всегда старается не упустить возможности дать своим читателям ряд интересных сведений. Познавательный элемент в повестях Кима и острая увлекательность их сюжета не только не противоречат друг другу, но, наоборот, слаженно «работают» друг на друга.

...В гонконгской гостинице убит старик китаец, богач, бежавший из народного Китая, — так до банальности традиционно, с таинственного преступления, начинается повесть «Агент особого назначения». Раскрытие же этой тайны влечет за собой распутывание сложного клубка, в котором сплелись воедино уголовщина и политический авантюризм, а в основе которого оказались проделки иностранных разведок на Востоке — в Китае и на территориях, еще находящихся в руках империалистов, — в Гонконге, Макао и на Тайване.

Конкретность национальной и бытовой среды, в которой происходит действие, ощущение достоверности того, о чем рассказывается, усиливают впечатление мрачности изображенного в повести мира. Здесь нет места ни любви, ни радости, ни обычным человеческим увлечениям. Здесь не дружба, а сообщничество, не ум, а коварство, здесь берет верх тот, кто изощреннее в жестокости и лжи.

Многочисленные опасные приключения, которые пришлось пережить герою повести «Кобра под подушкой» — советскому журналисту Мухину (действие ее происходит в Касабланке, затем в Оксфорде и Лондоне в самый разгар войны), связаны с парадоксом, придающим повести сатирическое звучание: бездумная подозрительность в сочетании с постоянным стремлением всякими способами выслужиться настолько поглощает все интеллектуальные силы западных политических сыщиков, что они теряют профессионально необходимые им качества — проницательность, находчивость и смелость.

От непосредственного соседства с «Агентом особого назначения» повесть «Кобра под подушкой» несколько проигрывает. В ней меньше познавательного материала, обычно так естественно окрашивающего повествование Р. Кима.

М. Блинкова.

★

ЛЮДМИЛА УВАРОВА. Старшая сестра. Повесть и рассказы. «Советский писатель». М. 1962. 352 стр. Цена 47 к.

Более половины этого небольшого томика занимает повесть, давшая книге ее название. Меньшую часть составляют восемь рассказов. Но достоинства повести и рассказов находятся в обратной пропорции к их объемам.

Рассказанная в «Старшей сестре» история о том, как горячий балованный юноша попал в лапы опытного жулика, но в конце концов порвал сети, в которых запутался, не нова. В нашей литературе подобный сюжет был представлен уже не раз. К тому же судьба главного героя повести, Юрки Терехова, втянутого Зайцевым в спекулятивные операции, нашла в повести облегченное решение.

Удачи повести мы находим на ее боковых линиях, там, где Л. Уварова дает себе свободу от намеченного задания и раскрывает свое знание быта и людей. Товарищ Юрки Горислав с его прямым, открытым характером, безответным чувством к подруге Юрки Леле, душевной болью от нечаянного открытия, что у отца есть любовь на стороне, гораздо интереснее и банального уголовного Зайцева, и ненадолго сбившегося с пути Юрки Терехова. В истории Горислава и его родителей, во взаимоотношениях сестры Юрия Вали Тереховой с Виктором Л. Уваровой удалось гораздо больше увидеть, схватить, понять своим собственным чувством, умом и дарованием и возбудить более живые вопросы, чем в основном сюжете.

В «Чаше терпения», «Витиной бабушке», как и в других рассказах, где выступают дети, Л. Уварова обнаруживает неподдельный юмор, любовь к ребятам, умение проникнуться их интересами, понять их психологию. В рассказах «Мы — мужчины», «Главная роль», «Еще не вечер», «Дождь на рассвете» теплится сердечное сочувствие к людям, томимым одиночеством, хорошим, чистым, честным, но обойденным любовью,

хотя именно они ее достойны. В грусти этих рассказов нет горечи и безнадежности, она будит доброе чувство к живущим рядом с нами людям, раскрывает их затаенную душевную жизнь, не видную равнодушному взгляду.

У Л. Уваровой есть уже опыт работы в литературе, «Старшая сестра» не первая ее книжка. И хотелось бы пожелать писательнице смелее искать свою тему, браться по настоящему за волнующие ее жизненные вопросы, добиваться своего «необщего» стиля. Только на этом пути достигаются значительные успехи.

Ф. Левин.

★

НИКОЛАЙ РЫЛЕНКОВ. Традиции и новаторство. Статьи о поэзии. Издательство «Советская Россия». М. 1962. 134 стр. Цена 28 к.

Известному советскому поэту Николаю Рыленкову безусловно есть что сказать всем тем, кто любит поэзию и интересуется ее судьбами.

В книге собраны статьи Н. Рыленкова, посвященные вопросам художественного мастерства и воспитательной роли поэзии, статьи, в которых рассматриваются проблемы гражданской и так называемой личной лирики, анализируется морально-этическая тема в творчестве многих молодых поэтов. Но главное, что волнует автора книги и о чем он говорит не только в специальном разделе сборника, а и в статьях, рассматривающих произведения отдельных поэтов, — это отношение к национальным традициям, понимание смысла новаторства.

«История показала, — пишет Н. Рыленков, — что подлинное новаторство заключается не в нигилистическом отрицании накопленного предыдущими поколениями опыта, а в плодотворной творческой переработке и обогащении его, не в изобретении «неслыханных звуков», «неведомого языка», а в наилучшем использовании того, что создает сам народ-языктворец».

В освоении и творческом развитии всей накопленной поэтической культуры видит поэт смысл подлинного новаторства.

Подтверждение этому он находит и когда анализирует творческий путь ведущих мастеров советской поэзии — М. Исаковского, А. Прокофьева, А. Твардовского, М. Рыльского, — и когда говорит об успехах и неудачах наших молодых поэтов.

Статьи Н. Рыленкова, вошедшие в этот сборник, привлекают не только интересными мыслями, наблюдениями, сопоставлениями, но и свободной, непринужденной манерой письма. Автор отнюдь не поучает своих читателей, он делится с ними своими раздумьями, размышляет о путях развития советской поэзии.

Г. Қойранская.

★

ВЛАДИМИР КАНТОРОВИЧ. Заметки писателя о современном очерке. «Советский писатель». М. 1962. 372 стр. Цена 88 к.

«Однажды на Сахалине, после окончания литературного вечера у моряков, — рассказывает В. Канторович, — несколько молодых слушателей попросили разъяснить, почему фильм «Тихий Дон» кое в чем расходится с романом...

— Как же было на самом деле? — допытывались они. — Мишатка-то разве сразу признал отца? Принес повинную Григорий Мелехов или опять подался в лес?»

Как относиться к такому читателю? Хорошо это или плохо, когда взрослые люди отправляют свои письма не Валентину Овечкину, а секретарю райкома Мартынову, не Галине Николаевой, а Бахиреву или Тине Карамыш? О чем здесь надо говорить — о силе воздействия литературы или о недостатках эстетического воспитания людей, которых так и не научили понимать природу художественного произведения?

С первых же страниц книги В. Канторовича мы включаемся в спор о факте и вымысле. И эта атмосфера спора, от которого заинтересованный читатель уже не отойдет в сторону, будет сопровождать вас до самой последней страницы. Со многим вы не согласитесь, обо многом автор заставит вас задуматься, проверить свои какие-то, казалось бы, установившиеся взгляды, но одно останется для вас несомненным: эту книгу написал человек, умудренный большим жизненным и литературным опытом, вложивший в нее много мыслей и наблюдений.

В этом ее сила, в этом во многом и слабость. Читая яркие, необходимые главы — «Художественная публицистика», «Портретный очерк», «Проблемный очерк», мы отдаем должное эрудиции автора, кругу поднятых вопросов, стремлению обдумать пути развития современного очерка, причины, мешающие еще ему занять подобающее место в советской литературе. Но порой автор очень далеко отходит от темы разговора, и бег его мысли сталкивает нас с массой вещей, весьма отдаленно связанных с современным очерком.

От стремления «объять необъятное» в книге начинается большой обзор всей теоретической литературы об очерке с целью найти самостоятельное его жанровое определение. В. Канторович смело бросается в эту теоретическую пучину. Впрочем, для главы «Споры о современном очерке» в помощь себе он мобилизует двух безымянных коллег-очеркистов, которые долго и остроумно сражаются с автором и, конечно, не приходят к какому-либо реальному результату. В конце этого спора автор вспоминает афоризм одного из своих коллег, что в литературе жанры не господа, а слуги, что гербарий — явление вторичное по отношению к природе. А может, об этом афоризме стоило вспомнить в самом начале данного спора?

Этот пример не единичен. В подглавке «В традиции Герцена» автор связывает возрождение этой традиции с именами

очеркистов Б. Агапова, А. Марьямова, А. Аграновского. Юр. Константинова, Ю. Юзовского... Но почему он подключает их всех — таких разных — к «герценовским традициям» в очерке, остается непонятным, как непонятно и то, что сам он понимает под этими традициями. А ведь вопрос о традициях Герцена далеко не бесспорен в нашем литературоведении!

И все-таки хорошо, что к этой книге нельзя приложить привычных определений — «хорошо», «плохо», «средне». Это интересно, спорно и интересно!

Р. Борисов.

★

Л. Н. ТОЛСТОЙ. Переписка с русскими писателями. Гослитиздат. М. 1962. 720 стр. Цена 1 р. 34 к.

Лев Толстой не раз — порой в парадоксальной форме — отмечал важную роль собеседника в разговоре. «С глупым человеком — я глуп». Но с умными и интересными людьми великий писатель тоже был умен по-разному. Вот почему переписка — большой и серьезный разговор Толстого с русскими писателями о жизни и литературе, длившийся почти шестьдесят лет, — представляет сегодня огромный интерес. Гений русской литературы предстает перед нами в сложном и противоречивом общении с Некрасовым, Панаевым, И. Тургеневым, Григоровичем, Дружининым, Боткиным, А. Островским, Фетом, Гончаровым, Герценом, Чернышевским, Салтыковым-Щедриным, Писемским, Эртелем, Златовратским, Засодимским, Лесковым, Горьким, Андреевым, Короленко и многими другими. Эпистолярное наследие Толстого велико, из крупных писателей-современников лишь Достоевский, Глеб Успенский и Чехов не были его корреспондентами.

Настоящий сборник — наиболее полное отдельное собрание переписки великого художника с русскими писателями. (Упущением составителя можно считать лишь то, что в сборник не вошла интересная переписка Толстого с поэтом Я. П. Полонским.)

Толстой, всегда оставаясь самим собой, предстает перед нами в самых различных ракурсах: по-разному проявляются характер и взгляды писателя в письмах, например, к Некрасову и Фету, к Лескову и Горькому.

Читая эту переписку, можно зримо проследить развитие и эволюцию творческих и философских взглядов писателя. «В трудных и всегда глубоко содержательных взаимоотношениях Толстого с крупнейшими его современниками отразилась вся сложность процесса революционного созревания русского народа — процесса его освобождения от патриархальных иллюзий», — правильно отмечает составитель сборника и автор интересной вступительной статьи С. Розанова.

Кроме ранее опубликованных, в сборник включены сто двадцать шесть впервые пуб-

лирующихся писем русских писателей к Толстому, а также одно ранее не известное письмо самого Толстого к А. Эртлюю.

Б. Яранцев.

★

РЕДАКТОР И КНИГА. Сборник статей. Выпуск третий. Редактор-составитель А. Мильчин. «Искусство». М. 1962. 300 стр. Цена 80 к.

На некоторых книгах редактор обозначается дважды: один раз (шрифтом покрупнее) на титульном листе или его обороте, другой раз (помельче) в выходных данных. Опечатка? Нет, скорее некая издательская «новация», загадочная тем, что редакторов двое. Для разнообразия второго из них иногда титулуют «редактор издательства». Ну, а первый что — с улицы? Загадочно и то, как делят они функции: один присматривает за другим — так, должно быть... Впрочем, разве, когда редактор у книги один, его обязанности и права установлены с достаточной определенностью? Спорного и неясного тут еще много. Очень хорошо поэтому, что вопрос об отношениях автора и редактора все чаще стал выноситься на обсуждение литературной общественности.

Сборник «Редактор и книга» — третий. Первые два назывались «Редакторы книги об опыте своей работы» (1958 и 1960). Прежде в сборниках выступали только редакторы, теперь дано слово и писателям, ибо, как сказано в заметке «От редакции», «в редакционном процессе участвуют также авторы»... Это «также», думается, не случайно и отражает свойственную сборнику недооценку того простого факта, что, не будь автора и его произведения, не было бы и редакционного процесса. При всех своих несомненных достоинствах, сборник несет на себе некий ведомственный отпечаток, заставляющий вспомнить мнение профессора из записной книжки Чехова: «Не Шекспир главное, а примечания к нему».

Вот, например, сборник печатает написанную еще до войны статью В. Вересаева и статью Б. Сарнова. Обе статьи весьма резко ставят вопрос о прак-

тике редактирования художественной литературы. Вересаев пишет о собственном опыте, но выводы его носят широкий и общий характер; Сарнов описывает в почти фельетонной манере крайние примеры редакторского произвола. Статьи интересны и содержательны. Но вот что настораживает — заголовки раздела, в котором обе эти статьи напечатаны: «О мере вмешательства редактора в труд автора». Видимо, по мнению составителей сборника, вмешиваться в труд автора необходимо, вопрос лишь в том, в какой мере...

В разделе «Публикации редакторских работ» под заглавием «Чехов — редактор Короленко» помещен текст двух глав рассказа В. Г. Короленко «Лес шумит» с поправками, сделанными А. П. Чеховым. Публикация эта и подана и прокомментирована более чем спорно. Можно ли эти поправки считать редакторской работой, а Чехова — редактором Короленко? На наш взгляд, для этого нет ни малейших оснований. Е. Коншина в комментариях пишет, что Чехов «никогда никому не сказал об этой работе, ни автору произведения, ни одному из своих литературных друзей». Какая же это редакция, если она не предназначалась ни для печати, ни хотя бы для сведения автора? Поправки Чехова отражают его стиль, его манеру, они устраняют некоторые особенности манеры Короленко, это весьма личные поправки, сделанные только для себя, и не случайно Чехов их никому не показывал. Публиковать их, конечно, стоило, они представляют интерес для сведения автора, но вовсе не как образец редакторской работы Чехова.

Внимание специалистов-текстологов, несомненно, привлекут две работы покойного Б. Эйхенбаума: проспект книги «Основы текстологии» и «Записка об основном тексте «Губернских очерков» М. Е. Салтыкова-Щедрина».

В ряде других статей сборника рассматриваются поочередно разные сферы редакторской деятельности (литературоведческие издания, общественно-политические книги, научно-технические статьи). К сожалению, многое в этих статьях и по содержанию и по языку напоминает учебные брошюры.

Б. З.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТЗИДАТ

Н. С. Хрущев. Современное международное положение и внешняя политика Советского Союза. Доклад на сессии Верховного Совета СССР 12 декабря 1962 года. 64 стр. Цена 7 к.

Н. С. Хрущев. Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства. В пяти томах. Том 3. Январь 1958 года — май 1959 года. 544 стр. Цена 60 к.

Г. Бондаревский. Португальские колонизаторы — враги народов Африки. 104 стр. Цена 10 к.

XXII съезд КПСС и задачи кафедр общественных наук. Материалы Всесоюзного совещания заведующих кафедрами общественных наук высших учебных заведений 30 января — 2 февраля 1962 года. 526 стр. Цена 85 к.

Записная книжка партийного активиста 1963. 352 стр. Цена 45 к.

К изучению Программы КПСС. Сборник методических материалов. 216 стр. Цена 26 к.

Ник. Кондратьев. Сквозь револьверный лай... (О подвиге советских дипкурьеров Теодора Нетте и Иогана Махмастала). 64 стр. Цена 6 к.

А. Н. Косыгин. 45-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Доклад на торжественном заседании в Кремлевском Дворце съездов 6 ноября 1962 года. 32 стр. Цена 3 к.

А. М. Креер. Иосиф Дубровинский (Инноцентий). 64 стр. Цена 8 к.

Материально-техническая база коммунизма. Краткий справочник. 144 стр. Цена 15 к.

В. Московский. Партия всего народа. Беседы о КПСС. 48 стр. Цена 6 к.

Сегодня и завтра. Справочник. Цифры и факты об уровне жизни советского народа. 128 стр. Цена 15 к.

Хронологический указатель произведений В. И. Ленина. В двух частях. 1886—1923. Книги, статьи, выступления, письма и другие документы. Часть 2. Март 1917 — март 1923. 704 стр. Цена 1 р. 64 к.

Шестнадцатая конференция ВКП(б). Апрель 1929 года. Стенографический отчет. 838 стр. Цена 1 р. 51 к.

СОЦЭКГИЗ

Антифашистское движение сопротивления в странах Европы в годы второй мировой войны. 733 стр. Цена 1 р. 97 к.

К. Б. Виноградов. Буржуазная историография первой мировой войны. Происхождение войны и международные отношения 1914—1917 гг. 402 стр. Цена 90 к.

Э. П. Горбунов. Социалистическая индустриализация СССР и ее буржуазные критики. 131 стр. Цена 20 к.

В. В. Кульбакин. Очерки новейшей истории Германии. 671 стр. Цена 1 р. 80 к.

Л. А. Леонтьев. О ленинских «Тетрадах по империализму» (К характеристике творческой лаборатории В. И. Ленина). 207 стр. Цена 50 к.

И. Н. Назаров. Производственный эксперимент и его роль в познании. 134 стр. Цена 32 к.

Рост общественного производства и пропорции народного хозяйства СССР. 455 стр. Цена 1 р. 26 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Волькенштейн. Спартак. Новый Прометей. Пьесы. 200 стр. Цена 42 к.

Г. Ген. Скромные люди. Повести и рассказы. Перевод с еврейского. 344 стр. Цена 42 к.

День поэзии. Москва. 1962 г. Сборник. 312 стр. Цена 1 р. 54 к.

Г. Дзугаев. Добрый гость. Стихи и поэмы. Перевод с осетинского. 64 стр. Цена 8 к.

С. Капутинян. Раздумья на полпути. Стихи. Перевод с армянского. 136 стр. Цена 17 к.

И. Мележ. Люди на болоте. Из Полесской хроники. Роман. Перевод с белорусского. 444 стр. Цена 73 к.

С. Муканов. Валуан-Шолак. Повесть. Перевод с казахского. 188 стр. Цена 37 к.

Л. Ошанин. Я и ты. Новые стихи и песни. 156 стр. Цена 18 к.

Н. Павлович. Думы и воспоминания. Поэма. 96 стр. Цена 9 к.

П. Стронов. Эпопея М. Горького «Жизнь Клима Самгина». 416 стр. Цена 1 р.

А. Турчинская. Шевченковы дубы. Стихи и поэма. Перевод с украинского. 80 стр. Цена 13 к.

В. Федоров. Седьмое небо. Стихи и поэмы. 284 стр. Цена 50 к.

Б. Шинкуба. Сыновий долг. Стихи. Перевод с абхазского. 75 стр. Цена 10 к.

ГОСЛИТЗИДАТ

Иво Андрич. Барышня. Роман. Перевод с сербохорватского. 232 стр. Цена 40 к.

Б. Бурсов. Роман М. Горького «Мать». 119 стр. Цена 16 к.

Михаил Джавахишвили. Повести и рассказы. Перевод с грузинского. 319 стр. Цена 65 к.

Григор Зограб. Новеллы. Перевод с армянского. 247 стр. Цена 33 к.

Никос Казандзакис. Христа распинают вновь. Роман. Перевод с новогреческого. 471 стр. Цена 92 к.

Якуб Колас. Стихотворения. Перевод с белорусского. 479 стр. Цена 1 р. 20 к.

Гелена Малиржова. Мариола. Роман. Перевод с чешского. 311 стр. Цена 54 к.

Тан (В. Г. Богораз). Восемь племен. Чукотские рассказы. 403 стр. Цена 69 к.

Леонгард Франк. Матильда. Роман. Перевод с немецкого. 343 стр. Цена 1 р. 15 к.

Д. Шимуневич. Алкар. Рассказы. Перевод с сербохорватского. 312 стр. Цена 52 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- Б. Бабляк.** Вишневый сад. Роман. Перевод с украинского. 550 стр. Цена 1 р. 18 к.
А. Вольф. В чужой стране. Повесть. 528 стр. Цена 95 к.
Р. Кармен. По странам трех континентов. 144 стр. Цена 39 к.
В. Овечкин. Рассказ об одной поездке. 64 стр. Цена 8 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

- Акад. Е. С. Варга.** Современный капитализм и экономический кризис. Избранные труды. 504 стр. Цена 1 р. 85 к.
Великая Октябрьская социалистическая революция. Документы и материалы. Революционное движение в России накануне Октябрьского вооруженного восстания (1—24 октября 1917 г.). 580 стр. Цена 2 р. 16 к.
К. Ф. Вольней. Избранные атеистические произведения. 320 стр. Цена 1 р. 34 к.
Вопросы народного хозяйства СССР. К 85-летию акад. С. Г. Струмилина. 420 стр. Цена 1 р. 85 к.
Действие ионизирующих излучений на организм. 208 стр. Цена 1 р. 43 к.
История химических наук. 304 стр. Цена 1 р. 33 к.
А. И. Кац. Положение пролетариата США при империализме. 604 стр. Цена 3 р. 60 к.
Николай Иванович Вавилов. 91 стр. Цена 22 к.
Основы текстологии. 500 стр. Цена 2 р. 20 к.
Б. И. Силкин, В. А. Троицкая, Н. В. Шебакин. Наша неизвестная планета (Итоги Международного геофизического года). 296 стр. Цена 1 р. 25 к.
Современные религиозно-философские течения в капиталистических странах. 262 стр. Цена 1 р. 62 к.
В. В. Стасов. Письма к деятелям русской культуры. Том 1. 355 стр. Цена 1 р. 55 к.
Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Образ, метод, характер. 452 стр. Цена 2 р. 28 к.
Е. М. Филиппов. Прикладная ядерная геофизика. 580 стр. Цена 3 р. 22 к.
Сергей Ютевич. О киноискусстве. 363 стр. Цена 2 р. 59 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- С. А. Андреев.** Израиль. 118 стр. Цена 22 к.
Ю. В. Ванин. Феодалная Корея в XIII—XIV веках. 196 стр. Цена 70 к.
У. Б. Далгат. Фольклор и литература народов Дагестана. 204 стр. Цена 70 к.
Н. К. Дмитриев. Строй тюркских языков. 607 стр. Цена 2 р. 70 к.

В. И. Павлов. Империализм и экономическая самостоятельность Индии. 229 стр. Цена 62 к.

Против фальсификации истории колониализма. Сборник статей. 227 стр. Цена 90 к.
Топонимика Востока (Труды совещания по топонимике Востока, 10—13 апреля 1961 г.). 210 стр. Цена 85 к.

С. П. Толстов. По древним дельтам Окса и Яксарта. 321 стр. Цена 1 р. 70 к.

В. А. Трофимов. Политика Англии и Италии в Северо-Восточной Африке во второй половине XIX в. 203 стр. Цена 60 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

Верховный Совет СССР шестого созыва (Статистический сборник). 38 стр. Цена 2 к.
Депутаты Верховного Совета СССР. Шестой созыв (Краткие биографии и фотографии депутатов). 528 стр. Цена 4 р.

СЕЛЬХОЗИЗДАТ

- Н. Е. Авдеев и другие.** Краткий справочник комбайнера. 294 стр. Цена 47 к.
А. С. Александров. Семеноводство хлопчатника 256 стр. Цена 40 к.
И. М. Болотов и другие. Комплексная механизация льноводства. 354 стр. Цена 99 к.
П. М. Демин. Дела и люди опорно-показательного хозяйства. 104 стр. Цена 14 к.
К. Я. Калашников, И. Д. Шапиро. Вредители и болезни кукурузы. 188 стр. Цена 25 к.
М. И. Коваленко. Думы председателя колхоза. 142 стр. Цена 19 к.
Коллектив авторов. Горох (Сборник статей). 280 стр. Цена 61 к.
Коллектив авторов. Кормовые бобы. 328 стр. Цена 65 к.
Коллектив авторов. Экономика социалистического сельского хозяйства. 710 стр. Цена 1 р. 27 к.

КАЗГОСЛИТИЗДАТ (Алма-Ата)

Бердибек Сонпакбаев. Путешествие в детство. Повесть. Перевод с казахского. 166 стр. Цена 31 к.
Жардем Тленов. В степях Джунгарии. Роман. Перевод с казахского. 270 стр. Цена 57 к.

ТУРКМЕНГОСИЗДАТ (Ашхабад)

Бени Сейтаков. Живая дань. Повесть. Перевод с туркменского. 160 стр. Цена 45 к.
Туркменский юмор. Перевод с туркменского. 134 стр. Цена 47 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора),
Б. Г. Закс (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович**
 (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин,**
К. А. Федин

Редакция: Москва Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).

Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76 97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 27/XI-62 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 7/II 1963 г.
 Формат бумаги 70×108^{1/16}. 9 бум. л.—24,66 печ. л.
 А 01905. Зак. 2195. Тираж 102700.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЛЕКТОРИЙ ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОЛИТИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ

Центральный лекторий представляет возможность трудящимся увидеть и услышать видных государственных и общественных деятелей страны, крупных ученых, выдающихся передовиков промышленности и сельского хозяйства, любимых поэтов, писателей, композиторов и артистов.

В этом году в Центральном лектории организованы лекции, встречи и вечера:

Цикл лекций и тематических вечеров «Партия коммунистов — партия созидателей» к 60-летию образования КПСС. В этих вечерах и лекциях принимают участие старейшие деятели КПСС, философы.

Цикл лекций «Философские проблемы современного естествознания» в помощь самостоятельно изучающим вопросы философии. Лекции читают академик Н. Н. Семенов, академик Б. В. Гнеденко, академик Г. И. Наан и другие.

Цикл лекций «Проблемы кибернетики» для широких слоев различных специалистов. В цикле принимают участие: академик А. В. Берг, действительный член АМН СССР В. В. Парин, действительный член АН УССР Е. Б. Бабский, доктор юридических наук Д. А. Керимов и другие.

Цикл лекций «Современные физико-химические методы анализа». В настоящее время эти вопросы интересуют многих специалистов: работников промышленности, врачей, биологов, астрономов и других. С лекциями выступают член-корреспондент АН СССР И. П. Алимарин, профессор С. Л. Мандельштам и другие.

Цикл лекций «Физика плазмы». Принимают участие академик Л. А. Арцимович, профессор А. Д. Франк-Каменецкий, профессор В. А. Фабрикант и другие.

Цикл лекций «Философские проблемы медицины». Принимают участие академик Н. Н. Блохин, член-корреспондент АМН СССР А. Д. Адо, действительный член АМН СССР А. А. Вишневский и другие.

Цикл лекций «Техника коммунизма рождается сегодня». Лекции читают академик Н. В. Мельников, зам. министра строительства электростанций СССР Я. И. Финогенов и другие.

Цикл лекций «Коммунизм и эстетика».

Цикл вечеров «Поэзия разных поколений».

Цикл вечеров «Литературные среды» — встречи с авторами и редколлежиями литературно-художественных журналов и газет, вечера, посвященные литературным датам.

Цикл вечеров «Выдающиеся режиссеры советского театра».

Цикл вечеров «У нас в гостях — творческие коллективы Москвы».

Цикл лекций «Новое в музеях Москвы».

Добро пожаловать в Центральный лекторий!

Наш адрес: Политехнический проезд, дом 2, подъезд 9.

Справки по телефонам: Б 3-69-16 и К 3-48-44.